



Вс. Н. ИВАНОВ

На Нижней Дебре

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НИЖНЯЯ ДЕБРЯ

Глава первая

МАРТОВСКИЙ ВЕЧЕР

Николай Прокшин поправил ремни у лыж, натянул поплотнее варежки, повел плечами, чтобы чувствовать себя ловчее в гимназической шинели, по-спортивному подпоясанной ремнем с буквами на пряжке «ККГ» — «Костромская Классическая Гимназия», разобрал палки.

В ушах сейчас будет свист, будет ощущение почти полета, ветровые прыжки с подтаявших сугробин — через тропинки, деревянный стук лыж по льду промерзшего до дна ручья, грохот в туннеле под железнодорожной веткой, крутой поворот вправо у исковерканной ветрами зеленой елочки, а там снова все вниз и вниз, пока наконец лыжи не вынесут его на лед Волги, на дорогу в город. Эх, хорошо! Жаль только, что это, наверное, в последний раз.

Хотя сегодня гимназию и распустили на страстную и пасхальную недели, едва ли удастся еще раз сходить сюда на лыжах. Доходит март, снегу остается мало. Ушла зима!

Опершись на палки, Николай обвел глазами город, широко развернувшийся по левому берегу, и как всегда почувствовал при этом легкое волнение. Он родился здесь, вырос в этом городе, он связан с ним семьей, детством, школой, наконец, хорошей дружбой. Солнце закатывалось в неоглядные снежные поймы и луга за Ипатьевским монастырем, низкие красные лучи его зажигали то одно, то другое окно в приземистых домах Костромы, разбросанных по холмам, взлобьям, угорам, падам, долинам высокого городского берега. К городу

со всех сторон — прямо, справа, слева — подступали синие леса, да в самом городе сплошь вздымались озаренные закатом купы больших, как рощи, садов и бульваров. Деревьев было так много, что в них пропадали и улицы и люди. Только по широкому въезду на Молочную гору мелкими кучками тянулись в синеватой дымке извозчики: надо быть с вокзала — петербургский поезд пришел.

Сады, бульвары, дома от заката были одинакового розово-бурого цвета, над ними в красных облаках победно горели купола. Среди мелочи домов десятками высоко стояли розовые, белые, красные великаны-колокольни церквей, церквушек, монастырей.

На самом высоком обрыве над Волгой, на месте древнего Кремля, уходила в небо высокая колокольня Успенского кафедрального собора, похожая на старинную модницу-барыню. Купол ее только недавно был вызолочен воротилой из скобяного ряда купцом Колодезниковым и теперь горел, как факел.

Правее, среди домиков на Богословской горе, сияет купол розовой колокольни Ивана Богослова. В самом центре города с высокого холма блещет колокольня Покрова. Внизу, под горой, почти у реки, из чащи рослых яблонь да черемух Нижней Дебри поднялись разноцветные витые главы Вознесенья-на-Дебре. Перед восточной окраиной города у самой Татарской слободы, с ее зеленой сосновой рощей татарского кладбища — Стефан Сурожский... Белокаменными высокими стенами грозит в центре города, на главной Русиной улице, Илья-пророк. За домами, за садами теплится вдали Алексей, божий человек, да храм Кузьмы-Демьяна-на-Гноище. Высокий шпиль устал в багровое облако Спас-в-Рядах. А там еще и еще. Направо, высоко над нагорным бульваром Муравьевской, розовый Борис да Глеб, а с другого конца — голубой храм Всех Святых... Вон колокольня боготцов Иоакима и Анны, правее шпиль царя Константина, Матери Елены, поближе — Рождества Христова, а подальше — Рождества Богородицы, рядом — Введение во храм, а дальше всех — Божья Мать-на-Запрудне. В красной туче высоких деревьев, в середине города, блещет целый отряд толстых колоколен и храмов, — это женский Богоявленский монастырь, славный умильным пением своих монахинь. Слева, прямо на полыхающем

закате, на слиянии Волги и Костромки, силуэтом чернеет Ипатьевский монастырь, былая твердыня в каменных стенах, где посейчас пустуют вековые палаты первого царя из дома Романовых.

Отсюда, с Фроловой горы, ясно видно, что полон город Кострома великих заступников-молитвенников, каменных гигантов в золотых шапках с крестом. Колокольни, как великаны-пастухи, грозно устремленные в вечернее небо, веками сторожат свое тихое стадо. Сейчас они молчат, но время от времени сотрясают город, небо, землю зыком и гулом медных голосов. Святость живет в этом тихом городе, боязнь греха, боязнь сатаны и его воинства видны всюду. Когда Николай Прокшин в молодом своем беспокойстве, не зная, куда бежать, что делать, куда девать силу, целыми вечерами бродит по темным улицам Костромы в свете керосиновых фонарей, под хриплый лай дворовых псов, над каждым глухими воротами поблескивают либо иконы, либо восьмиконечные литые медные кресты. И нет дома, в котором из-за опущенной занавески либо из прорези сердечком на тяжелой ставне не сияла бы лампадка. Кострома до того набухла святыней, что вся соборная стенка, что выходит на Маленький бульвар над Волгой, расписана крылатыми ангелами в золотом сиянии; и когда по скоромным дням публика гуляет под музыку по бульвару и идет к тете Паше есть мороженое, то так и кажется, что ангелы тоже гуляют тут же, между высокогрудыми барынями в модных шляпах, тонными офицерами, смешливыми гимназистами и гимназистками, круглыми усатыми чиновниками в фуражках с кокардами.

В закатном сиянии разлежся, лежит перед Николаем, как на ладони, он — «богоспасаемый град Кострома», как все семь лет поет на утренних чинных молитвах перед уроками гимназический хор из звонких мальчишеских дискантов, бархатных альтов и петушиных молодых теноров. Кострома разлеглась восьмисотлетняя, древняя, еще в притын рубившаяся с монголами Батыя, деревянная, темная, в искрах золота да цветных камней церковных, и над ней клубятся красные крутые облака. В ней, как и всюду в Российской империи, под черным двуглавым орлом тоже стоят, очевидно, гарнизоны небесных воинств, охраняя богохранимую, богом возлюбленную благочестивую Державу Российскую. На земле, как на

небесах, одинаков порядок. На небесах — один всемогущий бог. На земле — один всемогущий царь.

От бога на земле поставлен архиерей Тихон, большой, чернородый, красивый, что часто скачет по улицам с громом в карете четверкой буланых лошадей, благославляя из окошка встречный народ.

От царя посажен на Кострому губернатором его превосходительство Илларион Амнеподистович Ватаци, черный, в пенсне, с синими от бритвы щеками, в черном сюртуке с красными кантами, в погонах с толстым золотым жгутом.

Перед архиереем и перед губернатором гимназисты должны снимать фуражки и вежливо кланяться, «дорожа своею честью», — как написано это в книжечке гимназических правил.

От архиерея по всем церквам наставлены попы: то большие, брюхатые, в шубах, толстых шапках, тяжело ворочающие перед собой сажеными посохами, громозбасистые, а то седенькие, благостные, ехидные, маленькие, как белозерский сняток, и все они — благочинные отцы протоиереи.

От губернатора на перекрестках костромских улиц стоят brave городские, усатые, в медалях, в оранжевых жгутах, и тоже строго смотрят за благочинием губернского старого города, чтобы небесные веления безо всякого промедления воплощались бы здесь, на земле.

Гаснущий помаленьку тихий небесный свет заливал родной город, полный неясных мечтаний, прожигаящих душу насквозь. В темных домиках ответно вспыхивали пылением стекла, блестели на Волге льдины, и галки неслись через великую реку бочком, между двух гибко машущих крыльев...

Николай смотрел, и это молчание города угнетало его. Что-то да должен же сказать этот город!.. Должен! А что? Неужели, так промолчав века, будет молчать и впредь?

— Ха-ха-ха! — вновь вспомнил Николай звонкий хохот Васи Усова. — Ха-ха-ха!.. — Вася вчера хохотал, декламируя в классе дошедшие до Костромы стишки насчет последнего неудачного крещенского водосвятия в Петербурге...

— Мой бог, какая вышла штука,
Согнись перо, сломайся ручка! —

читал своим ломающимся голосом Василий, по-юношески длинный, неуклюжий, словно жеребенек, а глаза горели задором и смехом.

Вот утром января шестого
В само крещение Христово
На Иордань собрался царь,
Наш Николай, наш государь...

В стихах разворачивалась торжественная картина парада. Стоят шпалерами войска в алых, синих, белых мундирах, из Водосвятного подъезда Зимнего дворца под гулкий звон колоколов с Исаакиевского собора идет крестный ход...

Сказал митрополит тут речь —
Салют, и грянула картечь!

Николай уже слышал шепоты про эту историю. На церемонии традиционного водосвятия и парада 6 января этого, 1905 года, на которых всегда присутствовал сам император, одна из пушек, стоявшая напротив Зимнего дворца на Васильевском острове, у здания Биржи, во время салюта ударила картечью по Иордани на Неве, накрыла собравшихся у проруби, выбила окна в Зимнем дворце, сбила знамя какой-то воинской части и свалила городского по фамилии Романов, ранив его в голову... Хотя газеты про это ничего не писали, но факт-то оставался фактом — пушка российской артиллерии во время пышной церковной церемонии ударила по самому императору!

Вася читал смешные стихи, ребята кругом хохотали, а на Николая пахнуло тогда все тем же сомнением, которое все чаще и чаще заполняло собой самый воздух... «Да действительно ли так прочен этот молчаливый вековой порядок? — шевелились где-то в глубине души неясные мысли. — Родной город, старый город! Что ж ты молчишь? Неужели не заговоришь?»

— Бом-м! — перелетел Волгу первый удар тысячелудового соборного колокола.

И важно повторил:

— Бом-м!

Гимназист седьмого класса Николай Прокшин воткнул палки в снег, снял синюю с белыми кантами фуражку, где на тулье ветка серебряного лавра перехлестнулась с серебряной веткой дуба и обе охватили те же буквы «ККГ», и машинально, по старой привычке, перекрестил-

ся по второму удару. По первому звону нельзя креститься — первый удар колокола, как всем известно, изгоняет из храма перед началом богослужения забравшуюся туда нечистую силу.

Перекрестился и тут же будто так и увидел перед собой насмешливую рожу своего друга Пашки Соколова, обрамленную прядями прямых волос, пенсне его с черным шнурочком за ухом, и откровенный бодрый голос зазвенел:

— Николай! Да когда же ты бросишь эту чепуху?

«А разве можно бросить это? — думал Николай. — Ведь это сам родной город, старый город, сама его душа! Как же не повиноваться этим медным звонам, важно катящимся целые века через Волгу, в синь лесов, в снега полей? И разве же не всегда так будет: мир, тишина приземистых домиков, грозные небесные стражи над ними, великаны, обменивающиеся между собой святыми медными словами?»

Но в перебой церковному звону едкие слова Пашки Соколова сверлят его мозг и тут, в этом нагорном уединении.

— Тишь да гладь? — говорит беспощадный голос. — Ха-ха! Да где ж это, позволь спросить? Не на Дальнем ли Востоке? Так там война! Нет никакой тишины! Никакой глади! Уж год там грохочут пушки! Сперва кричали всё — «шапками японцев закидаем!» А теперь замолчали! Плохо-с! Очень плохо-с! Что пишут газеты? Хоть «Русское-то Слово»? Читал? Повторяю, скверно!

Пашка вот он, тут же, на Фроловой горе, словно жжется, колючий, сердитый, болезненный. И откуда только такие люди берутся? В Костроме люди все больше толстые, благодушные, смиренные. В енотах, в овчинах, в высоких калошах...

— Бомм! Бомм! — гудят колокола городских церквей. Невозможно им не греметь, ежели завтра верное воскресенье...

И тревога заныла в Николае:

«Отец!.. Надо спешить домой...» Отец, верно, его ждет, чтобы идти ко всеобщей... А то опять будет ворчать.

Чтобы ускользнуть и от этой, и от всех других тревог, все время неотступно осаждающих его, вот как японцы осаждали Порт-Артур, Николай рывком бросился вперед, стремглав полетел сквозь красный весенний ве-

чер. Свистел в ушах ветер, мимо мелькали кусты, старые снежные навои перемежались с черными плешинами проталин, мелькнул, прогрохотал туннель. Стремительное движение, обегаемые ловко опасности, преодолеваемые препятствия, ловкость, сила своего молодого, надежного тела — все успокаивало Николая. Или он не молод? Или он не одолеет того, что станет ему на дороге? Разве перед ним не бесконечно долгая, смелая жизнь? Такая заманчивая! Интересная! Его жизнь — делай из нее, что хочешь!

Волга летела снизу ему навстречу. Вот юноша вылетел на лед, упруго побежал по снежной дороге через реку.

— Шорк-шорк! — мерно гремели его лыжи. — Шорк-шорк!

Тень от высокого городского берега густела, наваливалась на Волгу, в пятиэтажном корпусе паровой мельницы «Бр. Аристовых» во всех окнах вспыхнуло электричество, из высоченной трубы повалил черный дым, запахло городом: чем-то горьким, кисловатым, горелым.

— Шорк-шорк! — энергично шоркали лыжи. Николай проскочил между зимовавшими под берегом двумя буксирными пароходами, с трубами, обвязанными рогожей, вышел на берег, отвязал лыжи, бросил их и палки на плечо и побежал домой, на Нижнюю Дебрю, где Прокшины давно квартировали в доме Чечевицына. Сам Чечевицын, кривой, редкозубый, редкобородый, жил во флигельке рядом, где помещалась и его лавочка с вывеской

ТОРГОВЛЯ ЧАЮ, САХАРУ И БАКАЛЕИНЫ

Николай с громом распахнул калитку, в углу двора отозвался, взлаял пес на цепи. Пробежав хрустящий ледком двор, Николай поднялся по щербатой лестнице в сени, ощупью за ухо оторвавшегося войлока отворил дверь, вошел в низенькую переднюю, вздохнул облегченно: в столовой было темно, отца не было дома. Направо, в комнатке с лежанкой, с сундуками, периной, подушками, за зеленой настольной лампой читала «Русское Слово» бабушка, Настасья Ивановна, старательно шевеля губами. Из ее комнатки несло теплом — любила старуха, чтобы потеплее. В комнате налево, где жил с братом Николай, сидел младший его брат Костя, выжигая что-то

по дереву. Пшикала резиновая груша, из-под раскаленной иглы валил белый дым, Константин от едкой гари морщил свой круглый нос. На приход брата он не обратил никакого внимания — так был занят.

— Ты, Колюшка? — спросила бабушка, сдвигая очки на кончик носа и зорко смотря в темноту передней.

— Я самый! — отвечал Николай, расстегивая пояс и стаскивая шинель.

— Накатался, есть-то хочешь?

— Спасибо! Все постное, поди! Не хочу. А папа где? В церкви?

Николай вошел в ее комнату, уселся на любимом месте, на разделанном под орех сундуке старухи, хранившем все ее богатства.

— В церкви? Не-ет! — сказала бабушка с кривой улыбкой.

— Да он же мне говорил, что пойдет?

— Завей горе веревочкой, загни хвост колечком! — произнесла старуха, вздохнула и, шелкнув табакеркой, понюхала зеленого табачку. — Где же ему и быть? Там! Опять ухрял! Ай-ай, грех какой! Завтра ведь какой праздник-то!

— Так! — односложно ответил Николай. — Так.

Он хорошо знал, что значило это «там».

— Опять будет пить? — сказал он и нахмурился.

— А как же иначе с муженьком-то и разговаривать? — вскинулась бабушка. — Не иначе, как с водкой... Помнишь, намедни как там сидел до утра, а пришел так и в училищу не пошел — не мог... Страм! До чего же пили!

Пусть великаны в золотых шлемах несли великую сторожу над городом, но в маленьком домике на Нижней Дебре мира не было. Николай рос с отцом, без матери, любил отца очень просто, как все просто принимал в жизни. Любил его добрый взгляд серых мечтательных глаз, мягкие пепельные волосы, остроконечную галантную бородку. Отец его был художник, кончил когда-то в Москве Строгановское училище, и от искусства, от Москвы у него оставалось внутреннее, легкое изящество. В местном реальном училище он преподавал рисование и чистописание, умел делать это так, что ученики любили его уроки и сами начинали рисовать, писать красками. Дослужившись до чина статского советника, он не перестал носить тонких белых галстуков «бабочкой», душить «ве-

реском» и «софранором». Завзятый театрал, он и в Костроме не забыл Лентовского, его постановки и до удивления любил грозы именно за то, что молнии освещали деревья так же, как электричество освещало сад «Эрмитаж» в Каретном ряду. Он постоянно участвовал в любительских спектаклях, несмотря на выговоры и замечания директора, как по поводу легкомысленных галстуков, так и по поводу увлечения сценой. Впрочем, получив немалый чин — «почти генерала», — он ни с того ни с сего начал носить синее пенсне, хотя глаза у него никогда не болели, стал говорить деланным растянутым басом. Широкоплечий, сильный, ладный, когда-то в молодости кулачный боец на Москве-реке, он легко катился своим путем в провинциальной жизни, ничего не требуя себе особенного, довольствуясь тем, что имел.

Николай понимал отца очень хорошо, однако в его нежной любви к нему проглядывал чуть-чуть юмор, пусть в его полной покорности отцу было очень много искренней благодарности. Николай ведь никогда не знал того семейного гнета, которого немало таилось в домиках Костромы: Кольку Забенкина отец-купец порол почем зря, причем крепкого, рослого семиклассника держали дюжие дворник и кучер. Володю Краснопевцева его отец-протоиерей, пышноволосый ключарь кафедрального собора, ни на минуту не выпускал из дому без своего каждый раз на то благословения. А для Николая Прокшина отец был другом, старшим товарищем, заботливым опекуном.

И все-таки за последнее время в отношении отца проявилось два новых тревожных обстоятельства.

Во-первых, бас отца становился все гуще, что порой было просто смешно: очевидно, в этом отзывались события, все стремительнее набравшие ход. Недели две тому назад, в воскресенье, Николай как-то шел с отцом по Богоявленской улице к площади, к памятнику Сусанина. Отец молчал, был, очевидно, чем-то озабочен, хотя озабоченности он вообще не любил. На углу, между пожарной каланчой и гауптвахтой в ложноклассическом стиле, отец вдруг приостановился, взял сына под руку и прошептал ему в ухо:

— Коля, ты слышал, что было в Петербурге?

Николай насторожился, ответил нарочито легким тоном:

— Говорят, что-то было... В газетах-то ничего нет!

— Если слышал — молчи! Молчи! — вплотную на-
двинулся на него отец, и его серые большие глаза гля-
дели тревожно и испуганно на сына из-под выцветшего
синего околыша форменной фуражки. — Это очень, очень
опасно!

Отец гудел басом, словно читал заклятье. Николай
улыбнулся уголком рта. Ага! Как же тут замолчишь, ког-
да уже по всей стране катилась глухая молва о 9-м янва-
ря? Бедный отец! Должно быть, что-нибудь его сильно
напугало.

Уже до этих слухов Федор Петрович был однажды
сильно потрясен, о чем, однако, он не сказал сыну. В
декабре, перед рождеством, в «Большой Московской» —
так назывался самый большой ресторан в городе — со-
стоялся банкет местной общественности, куда был при-
глашен и Прокшин-отец. То было выражением тогдаш-
ней «эры доверия», возглашенной министром внутренних
дел князем Святополком-Мирским, двинувшимся было с
радушной улыбкой на сближение с либералами и про-
грессистами. В большом зале, где часто местным купе-
чеством устраивались то грандиозные свадьбы, то оче-
редные поминки по усопшим предкам и потомкам, пыш-
ные пьяные тризны с духовенством, с архиерейскими пев-
чими, с протодьяконской «вечной памятью», провозгла-
шаемой так, что звенели хрустальные подвески у люстр,
теперь люстры и канделябры сеяли зыбкий свет на под-
крахмаленные скатерти, на серебро, хрусталь столов, на
бесконечные закуски, кокетливо убранные розами из
свеклы с листьями из капусты... Собралось до двухсот че-
ловек — адвокатов, инженеров, докторов, купечества, учи-
телей, старых и молодых, лысых, кудрявых, бритых, бо-
родатых, большинство в черных сюртуках с золотыми
часовыми цепочками по круглым и тощим животам.
Было несколько прогрессивных дам. Была даже одна ли-
ловая ряса местного либерального священника, отца Ва-
силия Соколова.

— Господа! — зазвенел высокий тенор председателя,
присяжного поверенного Николая Елисеевича Ого-
родникова, лысенького, вертлявого, в синем пенсне. —
Прошу к столу! — сказал он, потирая руки и с удовлет-
ворением оглядывая многочисленных собравшихся.

Публика долго усаживалась под оглушительную му-
зыку ресторанной «машины» — духового органа, в ко-

тором от двухпудовой гири вертелся за стеклом толстый
вал, усаженный медными шпеньками, гремел марш «Под
двуглавым орлом». Зазвенели рюмки, зажевали рты. Ото-
шли обильные, как осенние дожди, закуски, и «человеки»
во фраках, в высоко поднятых руках потащили к столу
груды таявших во рту пирожков к бульону... Все это под-
лежало уничтожению в честь сорокалетнего юбилея су-
дебных уставов блаженной памяти императора Алексан-
дра Второго, что служило отличным предлогом для бесе-
ды на современные жгучие темы. По жесту Огородникова
захлопали пробки, и председатель, чувствовавший себя
именинником, поднялся в центре сдвинутых покоем
столов.

— Милостивые государыни и милостивые госуда-
ри! — звенел его голос снова. — Господа! Внимание!
Э-э-э! Сегодня вся наша костромская общественность от-
мечает тот памятный день, когда с высоты престола бы-
ли произнесены великие слова: «Правда и милость да
царствуют в судах!» С этими словами ушел в невозврат-
ное прошлое дореформенный суд, этот свидетель мрачно-
го прошлого, ушел, милостивые государи, провожаемый
проклятьем русского народа, горьким смехом наших бес-
смертных сатириков — Гоголя и Щедрина... Взошла, та-
ким образом, милостивые государыни и милостивые госу-
дари, заря нового общественного самосознания... Э-э-э...
Народ, освобожденный от векового крепостного рабства
реформой 1861 года, выходит теперь на широкую до-
рогу новой, законом охраняемой, гражданственности...
Э-э-э... Провозглашенная уставами 1864 года, закон-
ность благодетельно сказала в быстром развитии
нашего хозяйства. Одна за другой основывались же-
лезные дороги, э-э-э, открывались банки, частные и об-
щественные, умножались фабрики и заводы. Благоден-
ствовали и промышленники и рабочие. Наконец ино-
странный капитал благотворно и живительно потек в нашу
страну под покровительство этой новой законности!..

Оратор говорил пламенно, но недолго: накрытый стол,
бокал, искрящийся в руке, и умоляющие взгляды метрдо-
теля не давали ему простора... Закончил оратор свою речь
указанием на то, что костромская общественность в на-
стоящее тяжелое время надеется по-прежнему на мудрое
руководство с высоты престола, в знак чего он предложил
послать министру внутренних дел князю Святополку-Мир-

скому для всеподданнейшего доклада государю императору телеграмму такого содержания...

Красноречивый златоуст, мигнув пенсне, судорожно порылся в одном кармане, потом в другом, в третьем и наконец извлек то, что искал:

«Почтительнейше просим ваше сиятельство повергнуть к стопам его императорского величества верноподданные чувства более чем 200 русских интеллигентных людей и их непреклонную уверенность в том, что только он, государь, может вывести Россию из тяжелого положения, созданного небольшой группой внутренних врагов. По поручению собравшихся подписал председатель обеда верноподданный Николай Огородников».

Раздавшееся «ура» потрясло зал, медный вал машины опять завертелся, засверкал шпеньками, заиграл туш... Звон ножей и вилок дружно аккомпанировал ему.

Выступали и другие ораторы, хотя главное было уже сказано.

Выступал член земской управы Спасский, указывал на недостаточность использования государством земства, говорил председатель судебной палаты Жохов, указавший на недопустимость практики военных положений, когда и обыкновенные суды могли быть достаточно справедливо строги. Это все были уже детали. Выступила начальница частной женской прогимназии Александра Павловна Смольянинова, в горячих взволнованных словах просила облегчить положение до сих пор закабаленной русской женщины. Недаром «Гроза» Островского написана в Костроме!

От всех этих хороших, благонамеренных речей по кушающему и слушающему залу плыла сытая, умиротворяющая оптимистическая ласковость, похожая на теплое масло из восхитительных киевских котлет. И Федор Петрович Прокшин чувствовал тоже, как его душа проникается самыми лучшими, теплыми надеждами... Паровая осетрина с каперсами была превосходна, и от нее становилось как-то очевидно, что и будущее, к которому звали речи, придет превосходным, сытым, обильным, мирным... Начальство должно же позаботиться об этом!

Хорошему настроению Федора Петровича содействовало и то, что он ощущал при этом всем телом, как ловко сидит на нем его новый сюртук, к которому он по своей собственной либеральной инициативе заказал неожи-

данно светло-серые брючки в полоску, что было тогда совершенным новшеством. И все же было тут и еще одно обстоятельство, которое как-то царапало, туманило возрасставшее оптимистическое настроение пирующих.

Дело в том, что на дальнем конце огромного стола, у органа, сидела небольшая группа не в сюртуках, а в черных пиджаках, в студенческих серых тужурках, изпод которых выглядывали черные и вышитые косоворотки. Группа эта пила, ела, аплодировала слегка, только из приличия, больше молчала. В ней иногда мелькали иронические улыбки.

Кончился список записавшихся ораторов, и любезно зазвенел голос Огородникова:

— Господа! Список ораторов исчерпан. Кому угодно еще слово?

— Позвольте мне! — раздался с того конца стола звучный, с металлом голос. Федор Петрович увидел, как поднимается небольшого роста молодой человек в пенсне, с буйной копной волос на голове, с черной бородкой.

— Кто это? Откуда? — проговорил кто-то.

— Товарищи! — заговорил новый оратор. — Я обращаюсь к вам с этим великим словом «товарищи»! Вы — костромская общественность! Адвокаты, учителя, судебные деятели, земцы, врачи, инженеры! Ведь вы все — в прошлом студенты. Вы — носители заветов народных демократов — Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова! Зачем вы собрались здесь? Почему? Да потому, что уже не могли не собраться! Уже не то, что люди — камни вопиют о том, что творится в России! Идет никому ненужная, позорная война с Японией, льется драгоценная кровь народа. Народ на фабриках, на заводах, на поле изнемогает от непосильного труда! Обескровленный, нищий, он голодает! Вы вспоминаете, что сорок лет тому назад были приглашены новые судебные уставы. Или вы не видите, что для народа эти уставы остались пустым местом, что он до сих пор остается бесправным и забитым? Вы говорите о народном образовании, но это образование лишь для ваших благополучных детей, а народ по-прежнему остается темным и безграмотным! Вы говорите об экономическом процветании страны. А разве вы не видите, что процветают только одни капиталисты, которые ради своих прибылей выжимают пот из рабочих! Вы говорите о земледелии, а мужики разбегаются с

тощих полей! Почему вы собрались сюда? О, вы понимаете, что идет буря, та буря, о которой говорит писатель Максим Горький!..

— Вы собрались сюда, но что вы делаете? — продолжал оратор. — Вы обставили себя этими кушаньями, вы говорите о милостивом суде, вы посылаете низкопоклонную телеграмму! Почему? Потому, что вы боитесь, что идет народный суд, перед которым вам придется отвечать... Вы считаете себя либералами, даже демократами, а просите подачек у правительства! За этот стол, за это шампанское вы продали все, чему служили в вашей молодости! Вы изменили революции, для которой когда-то работали.

— Вы говорите о будущем процветании России, а кто же будет работать для этого? Рабочие? Крестьяне? Нет, вы не заставите больше нас таскать для вас каштаны из огня! Ближе время, когда встанет народ, когда он сметет вас с вашей презренной, жирной политикой! Подумайте, что вы делаете? Вы «припадаете к стопам» прогнившего насквозь самодержавия! А мы, социал-демократы, говорим: «Долой самодержавие! Только это спасет страну... Да здравствует Учредительное собрание, носитель воли народа!»

— Что это? Кто это? — раздавались крики со всех сторон. — Рабочие! Студенты! Как они сюда попали? Безобразия!

Председатель банкета стучал ножом о рюмку так, что разбил ее, и тогда забарабанил по тарелке.

— Господин оратор! — кричал он. — Господин Свердлов! Призываю вас к порядку! Лишаю вас слова! Вы обязаны говорить здесь в рамках приличия! Мы — конституционалисты! Говорить так — это же хулиганство! Да-с!

— Как это хулиганство? — загремели голоса с дальнего конца стола. — Это оскорбление! Товарищи! Мы уходим! Нам нечего тут делать!

Все собрание поднялось и стояло теперь на ногах. Против солидной плотной стены черных сюртуков и мундиров — маленькая кучка пиджаков и тужурок, но сильная, решительная.

Дружно, товарищи, в ногу, —
запел чей-то баритон —

Духом окрепнув в борьбе,
В царство свободы доро-о-гу
Грудью проложим себе!

— Орган! Давай скорей орган! — вскричал председатель, он очень волновался. — Орган!

И снова в машине закурился толстый ёж со шпеньяками, в серебряные трубы пошел воздух, и вальс «Дунайские волны» поплыл в прокуренный досиня зал, колебля пламя оплывших свечей.

Группа молодежи и рабочих выходила теперь из дверей зала, бежала вниз вдоль бархатных красных перил, и скоро ночную тишину утонувшего в сугробах Сусанинского сквера вокруг памятника Сусанину огласила песня:

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой!

Вскоре в молчании морозной звездной ночи Федор Петрович шагал, подпираясь тросточкой, к себе на Нижнюю Дебрю. В желудке его была тяжесть, от водки и шампанского стучало в висках.

«Откуда они, откуда такие люди? — пугливо шевелились в нем неясные мысли. — Когда они выросли? Когда они научились так говорить? Кто их учит?»

Прошло время, впечатления эти потускнели, отступили, старая жизнь как будто брала свои права. Но тревога все-таки оставалась. А тут еще это девятое января!

Вот почему Федор Петрович и шептал сыну на углу Богоявленной улицы и Сусанинской площади, под самой пожарной каланчой:

— Это опасно! Так опасно! Надо молчать, сынок!

Но почему — отец не говорил: он так и не рассказал сыну, что случилось тогда в «Большой Московской».

Федор Петрович очень тревожился за своих детей, но что делать, он не знал. Он только усиленно слал их в церковь, словно это могло от чего-то удержать их, спасти их от каких-то опасностей. И Николай отлично понимал, что отец делал это панически, не по убеждению, и потому, что это было неискренне, не хотелось подчиняться.

Вторым, за чем постоянно зорко следил Николай, было увлечение отца. Мать Николая давно ушла от мужа, и было вполне естественно, что отцу хотелось свить себе второе, позднее гнездо. Но вить приходилось на глазах подросших детей, на глазах своих многочисленных учеников, на глазах всей Костромы. Да к тому же избранницей отца оказалась замужняя женщина, и, устраивая свое гнездо, отец разорял чужое.

Александра Дмитриевна была самой заурядной костромской дамой, женой Суворова, письмоводителя в техническом училище, толстоусого Павла Николаевича. Бледная, сутуловатая, многодетная, такая обыкновенная, она все больше и больше брала власть над отцом... Е го, Николая, отцом! Вот и сегодня отец не пошел ко всеобщей, ушел к Суворовым, хотя сам же говорил, что нужно идти в церковь. Или на словах для них, для ребят, одно, а для себя — другое? А как неприятно было Николаю смотреть на отца недавно на масленице, когда Суворовы ели у них блины. Улучив минуту, отец ей пел своим верным тенором под гитару:

Только станет смеркаться немножко,
Буду ждать, не дрогнет ли звонок...
Приходи, моя милая крошка,
Ты со мной поскучать вечерок!

Отец пел, улыбался, а глаза у него были грустные, молящие, а она то смешливо прятала нос в платочек, то опасливо поглядывала на пьяного мужа, тупо тянувшего шумный разговор с соседом, то скромно опускала глазки. Николая коробило, как коробило от фальшивых нот, которые намеренно пускал Пашка Соколов, когда его заставляли петь утреннюю молитву о «богоспасаемом граде Костроме»...

— Бабушка, — тихо проговорил Николай. — Как же это так выходит?

Та махнула рукой и, наклонясь, страстно зашептала:

— Колюшка-батюшка, я мать, я понимаю! Он ведь мужчина в соку. Да за него, слава те господи, любая пойдет. Девочек мало ли? Вдовы вон есть какие хорошие, сами набиваются! Дак нет, навязался этот горбатый черт, господи прости... Грешная я, ох, сердце у меня против Елены Васильевны, против матери твоей... И как же она смогла его бросить, вас сиротами покинуть!

Николай молча поджал губы: снова соль на открытую рану. Он хорошо помнил, как семье тогда был нанесен тот непоправимый удар. Ох, как он помнит ту ночь!

— Ну, ладно, не воротишь, — продолжала бабушка. — Так с чего он возле этой крали таким петухом ходит? Весь город смеется! Намедни зашла ко мне инспекторша Зинаида Николаевна чайку попить... Жаль мне, говорит, Федора Петровича, ах жаль!

«Инспекторша! — даже качнулся Николай. — Худу-

щая, злющая, словно злобой припудренная, всегда в черном платье, с мысиками по самые восковые ушки. Ей-то чего? Наверно, шпионит!»

— Нет, это не ее вовсе дело! — проворчал он.

— Ну, теперь-то я все сама знаю! — дробно, как дождик, сыпала слезами и словами бабушка. — Все знаю, откуда дело пошло. Спасибо, хозяин наш, Василий Васильевич, научил. Я тут, помнишь, на богомолье ездила? Не на богомолье это! Василь Васильич посоветовал: вы, говорит, Настасья Ивановна, съездите к одному старичку, колдует он уж больно хорошо. И гадает. Он, говорит, Федора Петровича сразу ослобонит. Жаль, говорит, мне Федора Петровича, образованный он господин и душевный... Хорошо. Доехала я до станции Нерехты, где Катя, наша беловейка, живет. Помнишь? Катя и встрела меня, подыскала мне дровни, и поехали мы с ней в деревню... Нашли Егора Геннадьевича, колдуна. Изба ладная, пятистенная, под потолком и по полатам сушеные травы разные да коренья навешаны. Сам он, колдун-то, мужчина постный, борода седенькая, глаза, как уголья. Выслушал меня, взял ковшик, ну простой, деревянный, ну, — зачерпнул воды из кадушки, насупил эдак, смотрит, а потом говорит: «Вижу, говорит. Все вижу... Сделано это ему, говорит, на пиве...» Ну, ты смотри! Видит, а? Недаром они с муженьком-то пиве все хлестали. Вон оно... На пиве его и околдовали...

Бабушка вытерла глаза уголком платочка.

— Что же, говорю, Егор Геннадьевич, делать-то? А вот что — клин клином вышибают... И подает он мне вот эту бутылку... Пусти-ка, Колюшка!

Бабушка проворно поднялась, со звоном отперла свой сундук, достала зеленую бутылку с пивом завода Дурдина, показала.

— На нее, на эту бутылочку, Егор Геннадьевич шептал что-то долго-долго... Все, все, что полагается. Потом мне отдал: «Дай, говорит, раба божья, сынку твоему выпить этого пива, и все сразу как рукой сымет». Погоди теперь у меня она, су-ука! — торжествующе закончила она.

Николай молчал, опустив голову. Что сказать? Бредни? Суеверие? Ни к чему! Да разве что-нибудь изменишь в этой низкой комнатке с жаркой лежанкой, с сундуками, с лампадами? И разве не больно самому будет огорчать

эти серые, полные слез глаза, отнять у них надежду? А что же он мог посоветовать? Ничего! Ведь он уже сам начинал понимать, каким чувством занялась, загорелась, может быть, душа отца... Он вспомнил Валю Артищеву, и на сердце у него сладко захолонуло...

Часы из темной столовой пробили семь.

— Ну, бабушка, я пошел!

— Ко всенощной?

— Ну да, — с замедлением сказал Николай. — Куда же?

— В добрый час! Я сама-то завтра пораньше, к утрени! Иди! На улице-то хорошо как... Весна...

На улице действительно было очень хорошо. Николай быстро поднялся с Нижней Дебри по лестнице к розовому губернаторскому дому, где у парадного подъезда горело два фонаря и стояли полицейские, быстро зашагал по Верхней Муравьевке. На Кострому спустился весенний ясный-ясный вечер, какие бывают только в северной России. Синее над головой небо ниже переходило в зеленое, потом в палевое, в алое. Слева от вишневого заката повис тонкий серп месяца. Волга отсюда казалась сиреновой, с черными прожилками дорог. Заволжские угоры, Фролова гора, щетина лесов за ней были слабо подкрашены гаснущим светом. С Нижней Дебри против засыпающего заката чернью вставали пять куполов-луковиц храма Вознесенья-на-Дебре, от крестов протянулись вниз суставчатые цепочки. Падали редкие удары колокола...

«Хорошо!» — подумал Николай, и это ощущение в нем уже не первый раз перелилось, обернулось в одно воспоминание детства. Он болен, лежит в скарлатине один в комнате, под портретом деда. Окно закрыто неплотно, и по стенам скользят тени — отражения прохожих. И тут приходит к нему какой-то памятный на всю жизнь бред. Неуловимая, необычайная сладость звуков, шелестят какие-то необыкновенные слова. Или может быть на него спускается воздух, или нежное, как детское дыхание, чье-то объятие, чистейшее насквозь. Словно его кто-то зовет тихо-тихо, ласково говорит ему прямо в его маленькую душу, кто-то хороший ходит около, непременно кто-то очень хороший...

И теперь на душе у него было бы так же по-молодому вдохновенно, хорошо, если бы в ней не чернело словно

пятнышко. Вот ведь не смог же он напрямую сказать бабушке, что идет он вовсе не в собор. И ни к какой не всенощной! И другие товарищи все тоже сказали по домам, что идут ко всенощной, а всенощная только предлог, чтобы удрать и идти на собрание самообразовательного кружка... А почему он не сказал? Враг ли ему его славная бабушка? Нет, не враг, а вот какая-то она другая, не такая, как он... И говорить ей про это нельзя... И хоть это пачкало душу, но в то же время было совершенно необходимо... В самом деле, почему же они, юноши-семиклассники, не могли собираться открыто, чтобы заниматься тем, что их интересовало, а должны были вот прятаться, шептаться по углам? Почему?

— Бомм! — мощно ударил прямо у него над головой большой колокол Всех Святых. Николай проходил вдоль синей церкви. Стрельчатые окна были озарены мерцающим светом, высокий алыт звенел в приглушенном хоре, а из дверей уже пошли первые темные торопливые фигуры, с огоньками в руках, разнося их свет по темным своим домам. Огоньки уходили в дома, там от них зажигались лампы, там свечами накапчивали кресты на притолках дверей, над головой, чтобы дьявол не мог войти в тихую жизнь. Жизнь должна идти так, как всегда, без всяких перемен, без всяких волнений.

Глава вторая

В КРУЖКЕ

Николай шел к Парфену, к своему однокласснику, у которого собирался их кружок. Собственно, звали того Аполлодором, что было слишком торжественно, но его фамилия была Парфенов, и прозвище «Парфен» уж очень пристало к его красному круглому лицу, к длинному телу на коротковатых ногах, к пышным кудрям на голове.

Парфен жил с матерью при школе, которой та заведовала, и собираться там было очень удобно. К тому же и Васса Алвиановна, так звали мать Парфена, очень сочувствовала работе кружка.

Сам Парфен к разговорам в кружке относился по-особому. Говорят, положим, при нем, что смысл жизни в том, что человек живет полезным сыном общества, а Парфен, широко расставив свои короткие ноги, в лага-

ных на коленках и на заду серых штанах, показывая в улыбке сплошные зубы, которыми он перегрызал на спор медные грошики, потрясает кудрями и восклицает:

— Ну, а если я и жить-то не хочу, а? Что тогда? — Ему очень нравилось постоянно сыпать свои бунтовщические вопросы, возражать ради возражения.

— Ну, не живи, черт с тобой! — с сердцем ответил ему тогда Николай. — Раз не хочешь, значит, и разговаривать не о чем.

И Парфен по обыкновению обиделся, заволновался, стал долго, нудно доказывать право иметь свои собственные настроения, право думать, как он хочет... Парень он был добрый, его любили, но от него всегда исходил какой-то досадный сумбур, который мешал окружающим и заниматься и думать. При этом Парфен был уверен, что вести нескончаемые споры — это и значило работать в кружке.

«К чему споры? — думал Николай, вспоминая его с добрым, но со смешанным с досадой чувством. — Не спорить нужно, а искать ключ для решения вопроса, если такой возникает. А найдешь сообща — и использовать всем сообща. Нужна всегда мысль точная, ясная, но это трудно... Что делать? Как ее добиться?» Вот и сегодня он бегал на лыжах за Волгу один, хотел подумать как следует... А ничего, кажется, не придумал...

Подходя к серой, фигурно вырезанной калитке школы, Прокшин увидал, как с противоположной стороны, через карманы приподняв над лужами полы пальто, сшитого на будущий рост, подходил Марк Погребецкий. Марк был очень маленького роста, но подбородок у него уже был густо синь от постоянного бритья, его голову увенчивала сугубо форменная фуражка с широкой уставной тульей, с огромным гербом «ККГ», как то требовалось гимназической администрации.

— Здравствуй, Прокшин, — сказал он, снисходительно хмыкнув в сторону по своей привычке.

Николай подждал его, положив руку на щеколду калитки.

— Здравствуй, Марк! Не опоздали?

— Э, нет! На соборе часы пробили только что половину восьмого, а ведь все кружки в городе работают именно по этим архиерейским часам: они всем слышны.

Марк опять хмыкнул, но теперь уже иронически.

— В философии это называется «гетерогения целей», — ронял он небрежно. — Предназначенное для одного — служиг для другого... Часы звонят к молитве, а сегодня мы начинаем изучение марксизма по архиерейским часам! Парадокс!

— Ну, пойдем! — сказал Николай и толкнул калитку — разговор-то угрожал затянуться. — Верно, наши собрались...

Через темные сени оба прошли в обширный класс, где на передней парте тускло горела керосиновая лампа с черной стрелочкой копоти в стекле. Окна выходили в сад, сквозь деревья смотрело звездное небо. В печке трещали душистые березовые дрова, сквозь щели в дверце на полу, на потолке играли румяные отсветы. Как во всех школах, со стены рядком смотрели длинноносый блондин — «европеец» и «азиат» — черноволосый, с расплюснутым носом, красовались два полушария мира. На партах были навалены гимназические шинели, в их серебряных пуговицах играл огонь печки. Здесь же расположились собравшиеся.

— Колька, Маркушка — здорово! — раздались юношеские голоса, вибрирующие, наполненные силой: гимназический этикет требовал некоторой грубоватости обращения.

На передней парте у самой лампы Борька Альбицкий, красивый женственный юноша, играл в шахматы с белым, упрямым поповичем — Серегой Писемским. Они были ребята положительные, твердо определившие свой курс в жизни. Борис, конечно, будет медалистом, а потом инженером, Сергей, тоже медалист, — преподавателем литературы. Если они и пришли в этот кружок, то для того только, чтобы не упустить возможности пополнить знания.

За игрой их наблюдал Ливенцов. Подняв глаза, чтобы взглянуть на Прокшина, он тотчас спрятал их.

Ливенцов был чистенький, аккуратный, очень ровно, неплохо учившийся юноша, обладавший необыкновенно красивым почерком. Выходя отвечать урок, он всякий раз неукоснительно крестился на классную икону мелкими мелкими крестиками, словно хотел предупредить какой-то возможный подвох и с этой стороны.

И вместе со всем тем Ливенцов ни к одному предмету гимназических наук не обнаруживал никакого особого интереса. Он хорошо отвечал уроки потому, что это

должно было охранять его от известных неприятностей, и только. Он жил в каком-то изолированном от всех своем мирке, доступном и известном только ему одному, оберегая сам себя. Раз их класс посетил инспектировавший гимназию товарищ министра народного просвещения, знаток древней истории и спросил Ливенцова после отличного сделанного им перевода из Тита Ливия:

— А скажите, э-э, господин (он заглянул в классный журнал)... господин Ливенцов... Как вели, например, стрельбу римские войска?

И Ливенцов точно и, как всегда, очень обстоятельно ответил:

— Из луков, пушек, пулеметов, ружей и револьверов...

Серебряная голова старика оскорбленно задрожала от столь явной нелепости. Он обвел взглядом лица гимназистов и кивнул головой Прокшину:

— Вы!

Николай встал и, прямо смотря в гладкое, словно на желтоватой кости точеное лицо старого ученого, перечислил виды луков, пращей, катапульт, баллист, стрел, копий, зажигательных снарядов. Он впрямь точно видел перед собой эти укрепленные лагеря римлян в Галлии, Германии, Британии, Сирии, видел их боевые тройные строи, их «черепяхи», составленные из медных щитов, под которыми они штурмовали крепости... Старик внимательно смотрел на него поверх золотых очков, слегка поджавши нижние веки, и сказал наконец:

— Очень хорошо! Видно, что этот юноша понимает. Понимать — вот что важнее всего... Очень хорошо, — налег он на слово «очень» и вскользь взглянул на Ливенцова.

После урока к Прокшину подошел Ливенцов и криво усмехнулся.

— Похвалило тебя начальство? — спросил он. — Рад, небось?

— Да, очень! — отвечал Николай. — Старик, должно быть, хорошо понимает.

— Еще бы! Значит, нужно слушаться начальства? Подлизываться к нему?

— Да разве ты сам не слушаешься?

— Я — другое дело! — ответил Ливенцов. —

Я — лишь бы меня не трогали... А стараться, как ты?

Это уж...

— Ну, если ты не понимаешь таких простых вещей... — сказал Николай.

Ливенцов тогда молча ушел, между ними пробежала черная кошка. При виде Ливенцова здесь, на собрании кружка, у Николая мелькнуло в голове:

«А от чего же должны уберечь его такие занятия?»

Альбицкий опять проиграл. И Писемский окликнул Николая:

— Хочешь партию?

Николаю не пришлось ответить: с подносом, уставленным стаканами жидкого чая вперемежку с ломтями белого хлеба, вошел в класс Парфен. Сама Васса Алвиановна шла рядом, здороваясь направо и налево, и с ее заботливой помощью поднос был водружен на учительский стол.

— Прошу, — негромко говорила она. — Кушайте, пожалуйста!

От волнения ее носик покраснел, добрые пухлые щеки прыгали, она теребила черный шнурочек к часам с зеленым камушком-яичком.

«Она, должно быть, очень добрая! — жалостно колыхнулась вся душа Николая. — И у ней, должно быть, нет никого, к кому бы она могла пригугиться, кроме этого чудака Парфена. Ах, какой же он идиот! — улыбнулся Николай, вспомнив любимую поговорку Васи Усова. — И ведь как она рискует, пуская нас в свою школу читать о диалектическом методе! Но где же Василий? Не пришел! Опять не пришел!»

— Здравствуйте, Прокшин! — подошла Васса Алвиановна и крепко встряхнула ему руку. — Рада вас видеть... Очень интересно будет послушать реферат Павла... Марк, конечно, совершенно прав. Без понимания диалектического метода нельзя двигаться вперед. Положительно невысказано! Это — азбука! Ах, здравствуйте, Краснопевцев!

В дверях в это время показался румянощекий Володя Краснопевцев, за ним ввалились другие юноши.

— Вот и отлично! Подходит публика! Кушайте чай, пока не простыл.

В темном углу оживленно о чем-то совещались руководители кружка — Марк Погребецкий, толстоголовый Виктор Козлов, низкорослый юноша с землистым цветом

лица, с прекрасными карими глазами, и только что пришедший, не успевший снять шинели Павел Соколов. Говорили, по-видимому, о чем-то важном.

— Господа, — повторяла Васса Алвиановна, — берите чай... Пока не остыл...

Гимназисты стали разбирать стаканы, обжигаясь, дую на пальцы. Но в это время тройка в углу закончила сощещание, и к партам, к собравшимся, снимая на ходу шинель, шел Соколов.

— Товарищи! — тихо объявил он, поправляя пенсне. — Строго конспиративно! Только для надежных товарищей. Я прочитаю сейчас обращение Центрального Комитета Российской Социал-Демократической Рабочей Партии... Товарищи, вы увидите, каково положение в стране...

— А доклад о диалектическом методе? — вытянул шею Ливенцов.

— Отложим до следующего раза, — сказал Марк. — Я думаю, что члены кружка не будут ничего иметь против такого изменения в порядке дня?

— Ничего не имеем! — раздались веселые голоса. — Правильно!

Соколов сел на парту, пододвинул лампу к себе, откинул длинные волосы, опять поправил пенсне.

«Центральный Комитет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии по поводу расстрела царскими войсками мирного шествия петербургских рабочих Девятого января 1905 года, — прочел он. — Девятое января в Петербурге, — обвел Соколов глазами лица слушателей. — Есть ли на Руси человек, который забудет этот день? Сотысячные толпы рабочих пошли к своему царю, в которого еще многие верили, на которого еще многие надеялись...»

— Бомм! — звонили у Всех Святых. — Бомм!

«Безоружные, с женами и детьми, с крестами и иконами они пошли к царю — их встретили пушки и ружья, нагайки...»

Николай сидел, опустив плечи, уткнувшись взглядом в парту, где детской рукой по черному лаку было нацарапано «Люба». Как испуганно предупредил тогда его отец — не говорить о девятом января...

«Они просили свободы — тюрьма и каторга разверзлись перед ними! Они просили хлеба — пули и картечь посыпались на них! Они просили отдыха от невыносимо-

го, каторжного труда — им дали вечный отдых могилы...» — читал Соколов.

Про что же это читает Соколов? Разве он, Николай, сегодня не видел с Фроловой горы старой мирной Костромы, сиявшей в закатном свете, охраняемой колокольнями-сторожами, говорящими медными, вечными голосами?

«Они просили прекращения ужасной бойни на Дальнем Востоке — царь устроил бойню на Невском, на Морской, на Васильевском острове! Разбитый в войне с Японией, он открыл войну с Россией! Тысячи трупов легли на улицах столицы... Царь досыта напился народной крови!» — взволнованно читал Павел.

Никогда отроду Николай не слышал таких ужасных, таких потрясающих слов. Если бы услышал их его отец, Федор Петрович! Да он просто бы умер! Умер!

— Бомм! Бомм! — гудел колокол, но как теперь звон казался бесконечно слабее против того, что читал Соколов!

Из листовки вставала ужасная, возмутительная, несчастная картина кровавого побоища, в котором одна сторона была простодушной, мирной просительницей, идущей за помощью к другой стороне, как к своей защитнице и покровительнице, но эта другая сторона оказывалась неопишимо кровавой и жестокой.

«Вот почему петербургские рабочие, — продолжал четко и убедительно читать Соколов, — пришедшие к царю с мирной просьбой, ушли оттуда с грозным криком:

— Долой самодержавие! Смерть царю...»

Васса Алвиановна вздрогнула, заглянула в ближнее окно, но в саду было темно, между путаными ветками лип и кленов блестели звезды. В природе все было как всегда. Там шла тихая весенняя ночь, движение соков, набухание почек, там жила и работала вечная природа. А здесь что-то рушилось, падало, начиналась какая-то катастрофа. Откуда-то из темноты возникали точные, умные, рассчитанные слова. Трещала под их ударами вековая махина самодержавия, лопался, трещинами бежал твердый его алмаз.

«День Девятого января открыл глаза петербургским рабочим. Они увидели, что нельзя им бороться за лучшую долю, пока коронованный хищник и палач царит над всей Россией, — гремела прокламация... — Рабочие

увидели, что просить милости у царя — это все равно, что ждать благодеяния от разбойника с большой дороги...»

Неслыханно! У всех юношей были широко раскрыты глаза, полураскрыты рты, только Марк улыбался. Все они были потрясены тем, что они слышали, и самое-то главное, что это была правда. Сама правда! «Вот почему, — думал Николай, — отец шептал так тогда на Сусанинской площади — «молчи, молчи», вот почему он, бедняга, заговорил пугающим басом, вот почему он стал гонять сыновей ко всеобщей...»

«Рабочие всей России! — читал Павел. — Захотите ли вы на своих женах и детях повторить те ужасные уроки, которые так дорого дались нашим петербургским братьям? Нет, пусть Девятое января научит всех, как вести борьбу!.. Долой царя, долой убийц и палачей! Долой царя и да здравствует всенародное Учредительное собрание, избранное всеобщим равным прямым и тайным голосованием. Учредительное собрание устроит новый порядок в государстве, водворит свободу союзов, стачек, собраний, слова, печати, совести...»

Но этот старый порядок так добром не уйдет прочь. Нет! Он будет обороняться оружием, как показали события у Зимнего дворца! Значит, и те, кто хотят изменить старый порядок, должны тоже быть вооружены!»

«Вооружимся же! — читал Павел, все более и более воодушевляясь. — Позаботимся о том, чтобы достать оружие и научиться владеть им. Будем готовы вооруженным восстанием завоевать свободу!»

Ураган мыслей несся теперь в голове Николая. Эти каменные великаны, оказываётся, не только сторожа родного города, они — враги. Они мешают думать родному городу, это они убаюкивают его звоном и сладким древним пением, уговаривают его молчать!

«Все измучены позорной войной, — читал Павел, — все полны ненавистью к царскому правительству...»

«Царское правительство! Кто они, эти люди? Все эти городничие, городовые, околоточные... Эти тупые, приниженные люди, трясущиеся за свою шкуру, абы им только одним было хорошо. Эти генералы с седыми бачками, усами и с грозными очами, которые гонят солдат — эту «серую скотинку» — в Маньчжурию воевать. Инспектор гимназии — Алексей Семеныч... Значит, не убе-

регли от них небесные сторожа. Значит, нет этим небесным сторожам никакого дела до людей. Пусть сами делают, как знают...» — ураганом гудели мысли в Николае.

«Гибнуть ли народу из-за царя? — читал Павел. — Нет, пусть царь погибнет. Пусть народ, свободный и могучий, сам устраивает свою судьбу! «Смерть или свобода!» — написали на своих знаменах петербургские рабочие. «Смерть или свобода!» — скажем мы вслед за ними!

Долой самодержавие, долой царя!

Да здравствует всенародное Учредительное собрание!
Да здравствует Республика!

Центральный Комитет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии.

Павел дочитал, снял пенсне, протер глаза, отпил из стакана глоток чаю. Царила глубокая тишина. Ее прервала Васса Алвиановна заботливым голосом:

— Кому еще чаю?

Разве время пить сейчас чай? Чаепитие сейчас было в высшей степени неуместно! — почувствовали все.

— Кто из товарищей хочет высказаться? — спросил, блестя глазами, Козлов.

Зашевелился, вышел вперед к лампе Марк Погребецкий. Его бархатные глаза потемнели еще больше.

— Товарищи! — начал он. — Вы теперь знаете, что случилось в Петербурге, на Дворцовой площади. Об этом ходили только слухи, теперь мы знаем все наверно. Царь расстрелял свой народ, шедший к нему за помощью. Что вы еще хотите?

Марк помолчал.

— Значит, на царя никто больше рассчитывать не может. О нем следует забыть!

Марк опять помолчал.

— Значит, у народа царя больше нет, хотя, — Марк хмыкнул, — он и остался в Петербурге. Прошло всего два месяца с этого бесчеловечного расстрела, и мы видим, что положение царского правительства серьезно ухудшилось. В Маньчжурии войска царя терпят поражение за поражением... Если за двадцать дней до 9-го января был сдан Порт-Артур, то через тридцать дней армия имеет еще поражения — под Сандепу и под Мукденом. Царские войска бегут от японцев, как хорошие рысаки... Любой самый розовый либерал, вроде Огородникова, дол-

жен быть огорчен таким положением дела, факт — вещь серьезная. Смотрите, что пишут про Мукденский разгром газеты.

— А ведь Огородников, — хмыкнул Марк, — ни на одном банкете аппетита еще ни разу не терял. И почему же, товарищи, происходят все эти безобразия. Очень просто — у кровавого и жестокого пьяницы-царя такое же невежественное и жестокое правительство... Каков поп, таков и приход. Ну, а что же нам делать? Вы слышали, что обращение это не только излагает факты. Оно учит что делать! «В о о р у ж а т ь с я!» — вот что говорит оно. Вооружаться, чтобы стать сильными, чтобы быть в состоянии свергнуть правительство... Вот почему нам, товарищи, придется заняться и этим... Все годится для вооружения народа. Поэтому предлагаю, не откладывая в долгий ящик, вынести резолюцию, что каждый из нас обязывается взять на учет то оружие, которое пусть даже и не принадлежит ему, но находится, так сказать, в поле его зрения... Годится все — револьверы, двустволки, старые берданки. Мы должны быть готовы пустить все это в ход, когда придет время! Пусть в следующий раз каждый из нас ответит, что он знает об оружии, где оно хранится, может ли он его достать... Это — главное.

Погребецкий хмыкнул и опустил на парту.

Николай не узнавал его. Вот тебе и форменная гимназическая фуражка по всем правилам. В речи Марка звучала уже выработанная, направленная сила! Для него, для Николая Прокшина, сегодняшнее чтение было первым открытием, от которого только дрогнул, закачался привычный старый костромской мир с его колокольнями и церквями... А тут звучал уже и вывод — призыв «вооружаться!» Он-то, сам Николай, никогда не думал об этом. «Вооружаться!» Да как же, значит, он, Николай, отстал от Козлова, от Марка, от Соколова!

Пар уже не подымался над стаканами, а только чуть дымился у самой поверхности чая.

Поднялся Ливенцов.

— Товарищи! — тихо проговорил он. — Если требуется, я знаю, где у моего отца лежит револьвер... Системы Смит и Вессон. Патронов, правда, маловато, всего восемь!

И он сел, оглядываясь, — как другие. Но все молчали. Сыновья чиновников и дворян, поповичи, сыновья

учителей, одним словом, сыновья людей «двадцатого числа» (20 числа каждого месяца в старой России платилось жалованье) — они были потрясены самой этой мыслью — восстать против оплачивающего, кормящего их отцов правительства с оружием в руках.

Васса Алвиановна нервно теребила на широкой своей груди черный шнурочек с зеленым камушком, пошептала с Козловым и Соколовым.

— Товарищи! — начала она. — Борьба может вестись не только оружием. Вы знаете, товарищи, что по стране ширятся все больше и больше забастовки в высших и средних учебных заведениях. 12 января, в Татьянин день, в Москве правительство праздновало 150-летие Московского университета, и триста пятьдесят ученых выступили с протестом против этого лицемерного празднования, требуя реформы русской школы. И в настоящее время бастует много средних учебных заведений... В Курске, Минске, Двинске. Еще где-то... И, действительно, как же можно спокойно учиться, когда на Дальнем Востоке льется кровь? Когда расстреливаются мирные рабочие демонстрации? Когда по городам стоят виселицы? Народ бедствует, а любовница Николая Второго — Кшесинская — стоит стране семь миллионов народных денег! Как можно быть, товарищи, академически спокойными в такие времена?

Опять наступило молчание, а колокола гудели, накрывали, заваливали могучим водопадом звуков всю школу, затаившуюся, с коптящей лампой. И эти привычные старые звуки будили, выявляли другие мысли.

Первым встал Альбицкий, развел ладными белыми руками.

— Бастовать? А учиться? — сказал он. — Я всегда думал, что нужно учиться. Бастовать теперь, когда учебный год перед окончанием? Да мы же целый год зря потеряем... В наших семьях год зря на шее просидим. Конечно, в решительную минуту мы все пойдем, как один... За прогресс... За культуру... Но кончать-то гимназию надо... Куда без школы пойдешь!

— Студенты Петербургского университета постановили — прекратить занятия, чтобы целиком заняться революционной деятельностью! — волновалась Васса Алвиановна.

— Ах, мама, да ведь они уже гимназию-то кончи-

ли! — завопил и Парфен, обеими руками ероша буйные кудри. — Или мне еще год сидеть за партой?

— И большой вопрос еще в том, как наши родители встретят наши забастовки, — раздумчиво вставил Володя Краснопевцев.

— А вот я Чижовский стипендиат! — крикнул Степанищев, сутулый юноша в очках. — Не заниматься — значит пропала моя стипендия! Так, что ли?

Без всякого предварительного сговора, силами самой живой жизни в этой небольшой кучке зеленой молодежи возникали эти тоже живые вопросы и предъявлялись для решения к трем своим же юношам — к Соколову, Марку и Козлову. Ливенцов, один высказав здесь готовность безоговорочного подчинения, сжался, замолчал, а у других явились, росли и колебания, и раздумье, требования уяснения возникавших неясностей.

Сумеют эти трое дать нужный ответ — они поведут вперед за собой эту молодежь, все наращивая разбег, напор общественной активности. Нет — эти юноши могут закоснеть на месте; провинциальная, вековая, густая жизнь поглотит, засосет, удержит их в медных своих лапах.

Поднялся Саша Стоюнин — кроткий, могучий атлет с черным пушком усиков над румяной вздернутой губой, аккуратно, словно выйдя отвечать урок учителю, одернул сзади гимназическое «полукафтанье», поправил пояс и сказал то главное, о чем все думали и о чем все молчали:

— Ну, хорошо, а если с нами за наши такие выступления начнут расправляться жандармы? Что тогда? Пока наш кружок занимается самообразованием, пусть хоть сам Серко (так звали инспектора) приходит: у нас все в порядке...

— Маркса изучаем? В порядке? — хмыкнул Погребцкий.

Но Саша был ясен и прост, как полный месяц.

— Хотя бы! Ничего, кроме пользы, мы не получим, если будем знать, чему учит Маркс...

— Но Маркс учит как раз революции! — вскричала Васса Алвиановна.

— Но в таком случае, подготавливайте нас к этому... Вы не подготовите — самим придется! Мы пока слепы! Подготовьте нас так, как надо, и тогда можно будет го-

ворить о забастовках и действиях и о чем нужно... Но слишком торопиться нельзя! Кроме того, товарищи, напоминаю — скоро десять, всенощная идет к концу, и все мы вовремя должны быть дома, чтобы «ключ был положен на место!»

Вскочил Марк:

— Товарищи, верно, пора заканчивать... Правильно — обстановка такова. Повторяю — полная конспирация. Рассказывать можно подробности о девятом января таким людям, что не подведут... Второе. Правильно сказал Стоюнин — нужно учиться... Действительно видно, как мы все еще, товарищи, мало подготовлены... В следующее собрание Павел должен непременно прочесть свой реферат. Мы поработаем над ним и затем будем раз за разом читать обстоятельные доклады. Нужно учиться всему, даже и революции. У образованного, значит, у правильно мыслящего человека и действия будут тоже правильными... Где соберемся и когда — скажем потом... А теперь — расходимся... Сразу не выходить — по одному! По одному...

В классе сразу вспыхнула оживленная возня с шинелями, топот ног, набивавших калоши, шутки, смешки. Юноши один за одним исчезали в темной двери.

Очутившись у калитки, Николай глубоко-глубоко вздохнул и, бросив в темноте кому-то последнее «до свиданья», скользнул из калитки не налево, откуда пришел, а направо и пошел темными улицами, пустынными переулками прямо под гору — хотелось поскорей остаться одному...

О, сколько волнения несет с собой этот год! И, возможно, сколько он еще принесет! И откуда это достал Соколов эту листовку? Они, должно быть, вместе с Марком... А Козлов молчит и точно посмеивается...

Позапрошлой осенью Николаю довелось видеть, как темной, воробьиной ночью горела на Волге баржа с нефтью. По черной смолевой воде под проливным дождем металась, крутились красные колесья безудержного пламени, летали белые и синие искры, лоскутья огня. И когда Соколов сегодня читал, у него из сердца тоже рвалось, плясало буйное пламя гнева. Словно где-то ночью били в набат, где-то просили спасения, помощи свои, добрые, хорошие люди; и надо было хватать, что попадет под руку: топор — топор, кол — кол — и бежать,

бежать в ночь, в непогоду навстречу своей смерти за спасение, за жизнь других!..

Николай мчался напрямик вниз, прямо к Нижней Дебре, кривым Медвежьим переулком. Мимо него неслись в гору присаженные деревянные домики со ставнями, откуда сочился тускло свет, за заборами брехали, звеня цепями, собаки, и лай их не казался злобным, а напуганным тем же испугом, в каком дрожали и дома. Хорошо, что хоть звон этот затих... Переулок был такой глухой, что, должно быть, даже из церквей сюда не принесут сегодня ни одного огонька! Но сколько здесь тревоги!

Прошел какой-нибудь всего один час — и все как-то изменилось! «Или это действительно правда, что все уж так безнадежно плохо? — думал Николай. — Ах, как бы хотелось, чтобы все было по-другому». Пролетали в гору, мимо, вверх дымы из домов, высокие деревья, но чем скорей бежал Николай, чтобы убежать от своих мыслей, тем неподвижнее казалось небо. Он задержал шаги, остановился, поднял голову, окинул небо взглядом хозяина. Ведь еще в пятом классе он целую зиму просидел в саду на бане с подзорной трубой, которую отец купил ему в Москве на Сухаревке за двенадцать целковых, — до того юноше хотелось узнать вселенную. Николай тогда приладил к трубе самодельный штатив и соорудил на бане целую обсерваторию, куда они с братишкой затащили раз отца. Однако отец, запутавшись в полах шубы, свалился с крыши прямо в сугроб к великому ужасу бабушки и хохоту обоих молодых астрономов. В ту зиму у Николая даже глаза заболели от напряжения, с которым он рассматривал в трубу фазы Венеры и спутников Юпитера...

Зато теперь Николай бегло читал звездное небо. «Весна!» — вот что было написано в этой книге. Высоко стоял Лев. Великолепный сноп Ориона, перехваченный трехзвездным поясом, уже садился низко к западу, зато с востока подымался красный горячий Арктур. Плыли Лира с Вегой, Возничий с Капеллой, ровной парой свеч теплились Близнецы. Ручка Большой Медведицы обращена была на восток.

Снова грянули колокола.

Весна была написана на небе вечными огненными знаками, и обаяние этой небесной молодости было чудес-

но. Еще ничто не производило на Николая впечатления более углубленного, чем звездное небо.

Он наконец выбежал на Нижнюю Дебрю, звон у Вознесенья-на-Дебре как раз оборвался — всенощная отошла. Из церкви тек ручей огней — и голых, и в цветных фонариках, и желтые пятна от газет. Слышались девичий смех, шутки весеннего флирта около храма, как и века тому назад.

— Нет, правда, разве уж так все безнадежно плохо? — хотелось Николаю кого-то спросить, кому-то пожаловаться. А кого спросить? А кому пожаловаться? И как бы хотелось, чтобы люди жили только правдой, только одной правдой. — А может быть, и не так уж все плохо? — успокаивала его весенняя, свежая ночь.

Когда он был около своей калитки, то услышал издали скрип, тархтенье по льду и по камням санок извозчика. Николай постоял — едет отец! Он! Извозчик остановился, ворча на бездорожье, отец вышел, стал расплачиваться. Теплое чувство залило грудь Николая. Кого же спросить, как не его? Кому же довериться, как не отцу?!

Николай тихо подошел к отцу, взял под руку. Под фонарем блеснула фарфоровая трехцветная черно-белозолотая кокарда, ниже — двуглавый золотой орел. Знакомый отцовский запах табака, одеколона и вина обдал Николая.

— Николай, ты?

— Я!

Отец двинулся с ним к калитке.

— Где был, сын? Молился?

«Сын» — это было самое ласковое слово в их обращении.

— У всенощной! А ты, папа?

— Я... Я тоже...

Николай долго гремел гулкой калиткой под бешеный лай пса. Вспыхнул свет в окне у калитки. Федосья в одной розовой рубашке бесстрашно неслась босиком по острому, колкому льду, вихрем сбросила засов и умчалась, крикнув:

— Сами запирайте!

Бабушка в серой шали стояла в дверях своей комнатки.

— И стар и млад! — сказала она и понюхала табач-

ку. — Все в сборе, ворота на запоре... Ужинать-то будете?

— Нет, мама, спасибо! — сказал отец.

— Спасибо, бабушка! — сказал внук.

— И где ж это вас так угощали, что и есть-то не хотите? — проворчала бабушка и затворила к себе дверь. — Спать, спать, спать! — крикнула она из-за своей двери.

Николай вошел к себе в комнату — Костя уже спал. Он быстро разделся, лег и, как всегда теперь перед сном, стал думать о Вале. На него опять смотрели ее карие глаза, куда, казалось, можно было уйти с головой, спрятаться, как в пещеры. Это было очень хорошо. И только одно теребило и теребило без конца сознание — это то, что он, сын, солгал отцу и что он, отец, солгал сыну.

Возможно, это было уже просто непоправимо.

Глава третья ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ

Если от Костромы недалеко, сутки всего, сбежать на пароходе по Волге вниз до Нижнего, до его Дятловых гор, да оттуда поворотить вверх по Оке, то и шестидесяти верст не будет, как вырастет по левой руке, на горах, тихий город Горбатов, неподалеку от Павлова, от Ворсмы. И главная слава тому Горбатову — вишня, крупная, сладкая, темная, — горбатовская.

И как цветет эта вишня по ранней весне! Бело-розовые цветки так и обольют еще безлистные веточки-растопырки. Солнце по-весеннему нежарко, небо густо-синее над зеленой свежей травой, и висят над садами на деревьях душистые облака. Тонкое благоуханье, нежное, словно девичья застенчивая улыбка, витает между ними... Все, все потом даст природа деревьям — и рост, и силу, и пуды сладких плодов, но вот этой-то первой могучей, ароматной нежности не будет больше.

Розовой пеной цветут по весне вишневые сады под Горбатовым, а в крепком юношеском теле Николая Прокшина зацветал по весне его жизни впервые молодой разум. Потом на всю его жизнь великолепная костромская весна тысяча девятьсот пятого года оставалась неповторимой.

В нем тогда бурно зацветала молодая сила, и он встречался с миром весь в цвету мыслей, чувств, глубоких первых переживаний.

Он тогда мучился обидой, ревностью за отца, узнал острое горькое чувство утраты матери. Он сердцем горевал за свою семью, понимая мало-помалу из мучений отца, как в ней не хватало материнской теплоты и ласки.

Его захватывала наука. Целый год он уже помогал за лаборанта у их преподавателя физики Василия Михайловича в физическом кабинете гимназии, впервые узнавал, как бы видя, ощупывая законы природы. Его влекла к себе рождавшаяся и вокруг и в его собственной душе революция. Он видел, что в мир приходит новое, светлое, лучшее, чем этот старый, бесконечно скучный город, идет более сильное, более нужное людям... В нем зарницами вспыхивал молодой, могучий энтузиазм, он все больше и больше верил, что люди могут, что они должны совершить большие дела, что их дело — не тихое житье, а бурная работа. Он видел уже, как неудержимо бежал трещинами, ломался, разваливался вокруг него обреченный старый быт, еще так недавно так полно владевший. Как можно было так жить целыми веками? — удивлялся Николай.

Наконец в нем весенним обжигающим цветом вспыхнула первая любовь...

Как все в его начинающейся жизни, эта любовь в нем объявилась нежданно-негаданно на пустом месте, словно огонь, выметнувшийся из-под земли. Раз шел он в гимназию, был легкий предвесенний мороз, солнышко уже вставало, в ампирных аркадах Табачного ряда перед купеческими иконами горели лампы. И вдруг в его душу вошел и впервые опалил ее блеск огромных девичьих глаз...

А потом повторялось ежедневно все одно и то же.

Уже далеко впереди, среди идущего навстречу народа, он угадывал ее короткую черную шубку, из-под черной шубки передник и зеленое платье гимназистки, на тяжелых темных косах барашковую шапочку пирожком с серебряным гербом на левой стороне, с буквами «КГЖГ» — «Костромская Григоровская Женская Гимназия», и на розовом, чернобровом, таком милом лице — сияющий взор.

Ничего не знал он сначала об этой девочке: ни кто она такая, ни где живет, но с каждой встречей становился ближе к ней, и все сильнее в душе пела звонко и победно музыка. Чувство это даже пугало его, так мощно оно выпирало откуда-то из самых глубин души, вот как иногда из-под тротуара, неудержимо разворачивая случайную трещину в асфальте, растет молодой тополек. Оно по-новому перестраивало душу Николая, заканчивая его детство. До того он жил в прочном гнезде — отец, брат, бабушка, вращался в крохотной орбите семьи. А теперь появилось и стремительно неслось мимо какое-то неведомое могучее светило, вырывало Николая из семьи. Его захватывал, влек непреодолимый ураган чувства, которым был, оказывается, наполнен окружающий мир, где люди на любовь тратили много времени, помыслов, сил, пели о любви, писали стихи, и поэмы, и романы, а больше всего мучались ею, когда их кружил этот ветер, словно сорванные с веток легкие листья. Его иногда просто пугали жестокие романсы под гитару, которые в сумерках одиноко пел отец, углубленность его тона, когда он говорил о «Митревне», то его ласковость добродушие, то угрюмость и суровость с детьми. Этот ветер любви унес из семьи его бедную маму, о которой почти не говорили ни отец, ни бабушка. Любовью мучается и кухарка Федосья, их прислуга, у которой как-то отец вытащил из-под кровати сапожника Сережку (его учуяла носом бабушка по сапожному духу). И ею страдала белошвейка Катя, часто истерическим шепотом о чем-то жаловавшаяся бабушке, плача и утирая нос очередным заказом. Да даже и сама бабушка как-то взялась было рассказывать, как весело в старые годы жили в Москве студенты, и, рассказав, как у одного студента на квартире она испугалась, увидав на столе человеческий череп вместо пепельницы, вдруг совсем по-молодому подобрала губы и коротко засмеялась, очевидно, каким-то своим воспоминанием...

И вот «это» само теперь овладевало и им. Сияющий девичий взгляд следил его неотвязно, все время чудился ему где-то вот тут, близко, за плечом, вот-вот он вновь ворвется в сознание, выбросит оттуда все остальное, утопит Николая в какой-то бездне. «Не забывай меня! Люби меня! Не оставляй меня!» — словно чей-то голос уговаривал без усталости юношу. И все это приливающее море

чувства было связано, концентрировано в одном только имени:

— Валя!

В воскресенье Николай еще спал, свернувшись калачиком под своим белостокским зеленым одеялом, колыхаясь перед пробуждением в волнах образов, мыслей, слов, когда в их комнату шмыгнула бабушка.

— Вставать, вставать, вставать! — говорила она. — Марш в церкву, греховодники! Лбы-то перекрестите, праздник-то какой сегодня — вербное воскресенье! А там и пирог поспеет... Больше с маслом всю страстную ничего не дам... Говеть будете. Будете за грехи с отцом, ребята, попа по церкви в тележке катать... Ха-ха-ха! Будете! А в великий четверг — приобщаться! Телу на здравие, душе на спасение!

И выкагилась.

Все сходили к обедне, потом ели пирог, как полагают, пили чай, обедали — шел пустоватый праздничный день. А когда день почти уже прошел и перед вечерним чаем Николай валялся у себя на кровати, читая увлекательный, хоть суровый эпос Калевалы, неожиданно явился Павел Соколов. Неловко поздоровавшись с бабушкой, он прошел к Николаю, сел прямо в пальто и в фуражке на кровать и по-деловому осведомился:

— Николай! Будешь говеть?

— А как же! — ответил Николай, откладывая книгу на рядом стоящий стул. — Буду!

— Ты веришь этой чепухе?

Соколов представился Николаю теперь чем-то вроде совести. Колючим. Очень твердым.

— Я еще не продумал всего как следует. Не знаю!

— А я з н а ю! — подчеркнул Павел. — Знаю, что ты не должен говеть... Именно ты...

— Почему я?

— Потому что ты из культурной семьи... Сын учителя... Художника... От попovichей, от купеческих сынков ждешь нечего... А тебе говеть — это отдавать дань общественным предрассудкам... Поддерживать их... Понимаешь же ты это?

— Да не могу я не говеть, чужак ты человек! — возразил Николай. — Вся Кострома сплошь говеет. Мой отец говеет, он, учитель, а я, ученик, — нет! Как можно?

Наконец я отца могу обидеть. А отучать отца от предрассудков, — ей-богу, не могу! Не берусь.

И Николай улыбнулся.

— Нет! — стоял на своем Павел. — Ты не должен считаться с предрассудками, с пережитками. Ты должен бить им морду! Бросать им вызов именно твоей дерзостью! Надо, чтобы в нашем классе, кроме нас, сознательных, еще кто-то выступил в этом смысле... Это ты...

— Нет. Не могу!

— Но идет борьба. Надо наносить удары старому... Везде. Всюду... Надо его раскачивать. Церковь держится за самодержавие. И, нападая на попов, раскачиваем царя. Это тебе понятно... Ну, согласен?

Николай присел на кровати.

— Слушай, Козел! («Козел» было прозвище Павла с первого класса). Помню, я перешел из приготовительного в первый, а ты поступил прямо в первый. И тебя пригласил на первый урок твой отец...

Павел сидел выпрямившись, пенсне от окна блестело закатной искрой, из-под фуражки прямые пряди обрамляли худое, страстное лицо, толстые губы твердо сжаты.

— Он посадил тебя на парту как раз за мной и давал тебе разные наставления. Показал на классную икону и сказал тебе: «Паша, смотри — это Николай-чудотворец. Не забудь. Если тебя спросят, знай, как ответить...» А мне, как уже не новичку, объявил: «Бывает, начальство спрашивает, нарочно такими неожиданными вопросами сбивает...» И ты думаешь, ты переделаешь родителей твоими вызовами? Ерунда!

— Моего отца уже нет, — ответил Павел. — И я не совсем помню даже, что он с тобой разговаривал. Я почти не помню и первого класса.

— А я помню! Я все помню... А где твой отец?

— Умер. Чахотка! Наследственная... Учитель в церковной школе... Сам знаешь, что такое... Мать жива...

Павел ссутулившись молчал. Потом тихо заговорил:

— Должен тебе еще сказать, что если ты этого не сделаешь, не будет тебе доверия от друзей, которое бы ты мог иметь! Надо свалить царя... Ты согласен?

Николай наклонил голову. Красное полымя нефти опять вспыхнуло, забушевало в нем.

— Это попы сделали из царя золотую куклу, — продолжал Павел. — А что вышло! Весь мир смеется над

нашей Россией! Россия на краю гибели, — шептал Павел. — Почитай, что пишет газета «Вперед»... Там, за границей... В Женеве. Надо спасти народ...

Он вытащил из кармана бумажку.

— Слушай, что пишут из-за границы. «...Переживаемый Россией исторический момент требует от нашей партии напряжения всех ее сил, — читал он. — Революционное возбуждение в рабочем классе, брожение в других слоях населения все растет, война и кризис, голод и безработица подкапывают основы самодержавия все глубже, позорный конец позорной войны не так уже далек, и этот конец неминуемо удесятрит революционное возбуждение, поставит рабочий класс лицом к лицу с его врагами, потребует самых решительных наступательных мер от социал-демократии».

— Ты понимаешь, Николай, в чем дело? — шептал Павел, вцепившись Николаю в плечо, тряс его, словно будил.

— Пусти, Пашка! Кто это пишет?..

Соколов оставил его, поправил сбившуюся на сторону фуражку, пенсне. Посуровел.

— Ленин.

— Ленин? Кто такой?

— Единственный, кто знает, что делать! Как спасти Россию!

Николай живо сбросил ноги с кровати, сел рядом с Павлом, с удивлением смотрел ему в глаза. Впервые среди этой окружающей традиционной бесформенности, благодушия, молитв, колокольных звонов, растерянности, добродушной безвольности он почувствовал перед собой в этих словах упорство, волю, ясность. Семь лет они учились с Павлом в гимназии, разговаривали, играли, дружили, дрались, а вот он и не заметил, как выросло в Павле что-то такое, что отвечало его собственным поискам, его запросам, пока еще скрытое, но такое несомненное, как на ощупь иголка в вате.

— Павел, — все так еще сопротивляясь, выговорил он, — прости ты меня. Не могу я сделать теперь того сразу, чего ты хочешь... Не могу... Я должен подумать...

— Ну, ладно, — согласился после молчания Соколов. — Думай. Делать нечего, но свет и без тебя не клином сошелся. Всегда есть выход из любого положения... Но вспомни, Колька, мое слово — твое говенье в этом году, в девятьсот пятом, последнее...

— Почему?

— Да смотри же, что творится вокруг! В воздухе весна! Революционная... До свиданья!

Павел ушел.

Когда Николай вышел в столовую, там сияла семейная знаменитая лампа с калильным колпачком, на столе кипел самовар, между ломтей холодного пирога стояли стаканы, баранки заваливали хлебницу. Во главе стола сидел отец, читал «Русское Слово», помешивая ложечкой чай. Бабушка из-за самовара расставляла посуду.

— А Константин где? — взглянув на сына, осведомился отец.

— С приятелями все! С обеда как закатился, так и не бывал, — ответила бабушка.

— В бабки, видно, режется! — сказал Николай, подставляя под кран стакан.

— Кто это у тебя сидел? — спросил отец.

— Да наш, Соколов... Пашка

— О чем говорили?

— Просил помочь по латинскому... Горация...

— Вид у него уж очень того... угрюмый. Мировая скорбь его снедает, — засмеялся отец. — Нет, мы в наше время такими не были. Правда, мама?

— Веселые были. Как вы с Зиной-то польку, бывало, отплясывали, любо-дорого глядеть!

— Теперь не до польки! — буркнул значительно в стакан Николай.

Крадучись, входил в столовую Костя, красный, растрепанный. Отец строго смотрел на него.

— Где шлялся?

Тот бычком мотнул головой:

— Ну, на Волге!

— Папа, что в газетах нового? — спросил Николай, чтобы отвести нависшую грозу.

— Эх, да все то же! — помолчав, подвигав губами, ответил отец, обшарив взглядом огромный лист «Русского Слова». — Плохо... Убийца Сергея Александровича, великого князя, все молчит... Не назвал пока еще себя.

— Ах, ах, — заахала бабушка, — ишь ты какой упрямый!

— А театры в Москве опять работают! — продолжал, с удовольствием скользя глазами по газете, отец. — Вон идут «Корневильские колокола». «Диги-диги-диги, ди-ги-диги-дон!» — пропел он.

— А разве они не работали?

— Нет, мама. После убийства театры были закрыты...

— Ну да, ну да, как можно, — сразу согласилась и та. — Ведь великий князь!

— А вот это интересно! — сказал отец и прочел подчеркнуто заголовок: — «Встреча генерала Стесселя в Петербурге»...

— Это тот, что Порт-Артур сдал японцам? — спросила бабушка, смотря через полное блюдо. — Как же его встречали? Об лавку носом?

— Тот самый!

— И его японцы выпустили?

— А на черта он им! А мы и встречали. Слушайте вот...

И отец читал:

— «...Подошел поезд... В тамбуре вагона показалась высокая фигура с обнаженной головой... Черная папаха в руках... На пальто — Георгиевский крест»... За что? Издевательство. За то, что крепость-то сдал?

И помолчав, помотав неодобрительно головой, отец продолжал:

— «... «ура» встречавших было слышно на Невском проспекте... Генералу бесконечно жали руки... Хм... Плакали... Кричали: «Спасибо, Стессель! Ты — герой! Единственный герой у нас!» А какой-то студент Духовной академии даже упал на колени, отдал земной поклон ему, Стесселю — «страдальцу за Россию!» Черт знает, что такое!

— Дурак! — бросил Николай и засмеялся. — Ну, дурак. Еще из Духовной академии! Ну, а где же теперь наша эскадра?

— Где? А вот, есть! Тридцать пять судов эскадры Рожественского прошли Сайгон. И, наверное, его, беднягу, опять не пустили туда французы... Не дали ни угля, ни воды... Да, пожалуй, оно и лучше — злей будут драться! Ну, держитесь, японцы! Константин, тащи сюда карту с моего стола.

Костя, уныло, смиренно жевавший баранки, повеселел, живо принес карту, ее раскинули прямо на пирог, на баранки, на стаканы.

— Ага! Вот где это... Да! Сай-гон. Тут, значит, Рожественский... И о Небогатове тоже есть: прошел Суэцкий канал, прибыл в Порт-Саид... Вот это где...

Отец откинулся на спинку стула, закрыл глаза рукой.
— Ребята! — сказал он через минуту, и на его глазах выступили слезы. — А что это будет, если бог даст нам эту победу на море? Как отлетит тогда от нас все это удушье, этот мрак... Ах, какая была бы это радость! Все, все наши надежды на Рождественского!

Николай посмотрел на отца:

— Едва ли! — тихо сказал он.

— Почему? — вскинулся тот.

— Ну, победа... А там что? Дальше? То же самое? Повторение пройденного? Снова «Девятое января»?

— Ни-ко-лай! — предупреждающе выговорил Федор Петрович.

— Ничего не Николай! — сорвался тот. — Будет победа — будет по-прежнему. Как было... Ты же, папа, сам читал нам, что писал в газетах английский адмирал про нашего Рождественского: «... Он плывет в железном гробу на собственные похороны». А что писал Немирович-Данченко? Ты читал же нам его статью «Слепая война»? Что мы, русский народ, — «босяки истории»? А?! Это русский-то народ — «босяки истории»? Нет, мы не босяки! И ты увидишь, увидишь, есть, есть настоящие люди... Они знают, что делать! — твердил упрямо Николай, и слезы застлали его глаза.

— Ты замолчишь? Мальчишка! — выговорил отец, угрожающе приподымаясь со стула.

— Я... я замолчу... Конечно, замолчу! Да другие-то не замолчат! — тихо ответил Николай.

Отец тяжело опустил на стул.

— Что вы это, греховодники! — закричала бабушка. — Отец! Николай! Или забыли, какой день сегодня? Завтра вам говеть, а вы что? Ты бы, Коля, хоть перед отцом-то постыдился!

— Верно, мама! — выговорил Федор Петрович. — Грех! Один грех кругом... Не нужно спорить... Мы только спорим. Но, Николай, ты смотри...

Он поднялся, обстоятельно собрал как всегда со стола свои папиросы, спички, портсигар, платок, мундштук и молча ушел к себе.

Все скоро разошлись, и семейная лампа в столовой потухла.

Только выйти из калитки Прокшиных, пройти один дом, завернуть направо, и тут, на самом берегу Волги, — старая церковь Вознесенья. Вставало слева за лукою Волги розовое солнце, прямо из алтаря солнечные лучи освещали низкие скрещенные своды, скрепленные железными полосами, темную живопись на стенах, иконы древнего храма, его ставники-подсвечники. Вознесенье стояло, когда вокруг Костромы бродили польские и казацкие шайки. В нем, наверно, молились бородатые ополченцы, проходившие за Мининым и Пожарским с Нижнего на Ярославль и на Москву. Здесь читались трогательные грамоты Троице-Сергиевской обители. С этого истертого каменного амвона оглашались, писанные кнутом и кровью, указы Петра. Здесь беженцами из занятой французами Москвы пелись молебны об избавлении от Наполеона.

И куда ушло все это? Неужели ничего не осталось от этого, ничего, кроме вековой копоти да воска на тусклой позолоте икон? Ничего не осталось от страданий народа, от его подвигов, его побед, от тернистых трудных путей нашей истории?

Нет, не мог народ забыть своих подвигов, он смутно, без слов, но помнил о них, неясные образы прошлого мерещились Николаю под этими сводами. Старое рождало почтение, почтение приковывало к себе... Как можно было забыть их? Но и новое наплывало на него, звало, тревожило. Недаром вчера еще Пашка Соколов так жестоко тряс его за плечи. Или в Пашку ушла теперь та старая сила?

Эти и подобные мысли ходили облаками в голове Николая Прокшина в понедельник и вторник, когда два сына и отец «отстаивали» у Вознесенья утром и вечером положенные перед говеньем обедню и вечерню. Подошла и среда. Бабушка Настасья Ивановна вместо обеда дала им только черного хлеба да чаю без сахара. Вся семья ударила друг перед другом челом в землю, испросила друг у друга прощения накопившихся за год обид, и под редкие, унылые великопостные удары колокола Федор Петрович с сынами двинулся к вечерне и к исповеди...

Вечерню отпели, в гулкой тишине дьячок перетаскил столик из-под колива поближе к окошку, под самый клирос, принялся записывать исповедь. На площадке за окном его тоже рыжие ребята и внуки отца Алексея, настоятеля церкви, азартно играли в городки, их голоса, звон-

кие удары палок перебивали октаву дьячка, робкие ответы записывающихся. Перед высоким распятием, в нарастающих сумерках все яснее и яснее пылал целый куст свеч. Рядом ширма, верхняя половина ее была затянута лиловым коленкором, сквозь который просвечивала одинокая свечка на аналое священника, оттуда сыпался непрерывный шепот.

Вот за ширму продвинулся купец, мучник Толстопятков, и по всей церкви раскатывался, глухо урча, его тяжелый бас:

— Грешен! Грешен!

— Ох, грехов-то сколько! Целый мешок! — пожевав губами, проговорила старушка в татарке. Сказала и зашла.

Следующей на очереди стояла незамужняя дочь самого отца Алексея. У нее было подсохшее напудренное лицо, брови тоненько подведены. Наклонив голову, она нервно трепала перчатку, и волосы на затылке сияли от свеч. Николай слышал ее историю, — конечно, и здесь замешана была любовь: бабушка рассказывала, как она «спуталась» с каким-то офицером, тот уехал, бросил ее — и вот тоска и одиночество на всю жизнь...

Только брюхо Толстопятова выехало из-за ширмы, она привычным гибким движением стала на колени так, что сразу скрылась за ширмой... На очереди остались отец гимназистки Лены Баскаковой, похожий как две капли воды на гимназический бюст Сократа, только с яркомалиновым носом; потом судебный пристав Надеждин; какая-то женщина в платке с синяком под глазом; вольноопределяющийся в солдатской шинели с университетским значком, в рыжем башлыке, лежащем аккуратными лапами на выпуклой груди... И на них всех с саженого креста смотрел Христос, такой худой, что видны были все ребра, с каплями крови, что катились у него со лба из-под тёрна и заливали впадины глаз; черные гвозди страшно торчали из раскрытых ладоней рук, из пробитых ног.

Как и раньше, Николай чувствовал робость перед исповедью. Сегодня даже больше. Неужели это — «последняя»? На него надвигалась многомиллионная, двухтысячелетняя церковь... Сейчас она ему будет задавать вопросы, а он должен отвечать, отвечать по всей правде... Иначе ведь все это было бы лишь недостойной комедией

тоже двухтысячелетней давности. А как отвечать, когда нет прежней ясности в душе? И какие это будут вопросы?

Совсем стемнело уже, когда наконец Николай попал за ширмочку. Он, как полагалось, положил приношение в виде свечей на небольшой ставник, сделал земной поклон перед крестом и евангелием на аналое и наконец поднял глаза на отца Алексея.

У того полузакрытые, привычно добрые глаза лучились утомленной улыбкой, правая сухая рука перебирала цепочку наперсного креста.

— Федора Петровича сынок? — умильно осклабясь, осведомился батюшка и на утвердительный кивок Николая продолжал:

— В каком классе? В седьмом? Так, так! Скоро, значит, в университет? Ну, так какие же грехи признаешь за собой, молодой человек?

Такого вопроса Николай не ждал. Признаваться в своих проступках на вопросы — это одно. Связдо изложить то, что сам считаешь в себе неправым, — это совсем другое...

— Я, батюшка, ничего так сразу не могу сказать! — срывающимся голосом отвечал Николай, смущенно колотя фуражкой о полу шинели.

— Так! Значит, сам не размышлял над тем, что делаешь? Хорошо или плохо?

— Я, батюшка, не знаю, что хорошо, что плохо! — ответил Николай и с ужасом подумал: «Как нелепо говорю! Вроде Парфена!»

— А вот это — неправда! — быстренько отвечал священник, словно этого и ждал. — Неправда! Каждый из нас всегда может сказать: это вот сделано хорошо, а это — плохо. Таково свойство совести... Она, брат, никогда не солжет...

— Значит, чтобы узнать, что нехорошо, нужно его наперед сделать?

— А как же иначе? Законом всей жизни не обнять... Не предусмотреть... А согрешишь — и увидишь, что сделал нехорошо, и тогда покаешься — вот и приобретешь свой опыт. Идем аки хрские, грехом да покаением. «Не согрешишь — не покаешься!» — говорит народ.

— Так, значит, все можно делать? — чуть вскинулся Николай.

— «Все мне позволительно, — говорит апостол Па-

вел, — но не все полезно», — тихо бормотал священник. — Вот об этом-то теперь у нас и речь пойдет... О полезном... Слышал, что делается кругом? Что в Петербурге было? А? Слышал? Та-ак! Ну, полезно это или нет? Позволительно или нет? Сказывай! Товарищи, поди, много рассказывают... А что они говорят? Кто говорит? И с чего же ты так обрадовался, что все-де можно делать? А что про царя говорят, а? Ну, что молчишь? Кайся! Как веруешь?

— Я ничего, батюшка, не слышал! — резко, глухо ответил Николай. — Ничего. А я верую так, как учит церковь.

— Ишь ты какой. Ловок! Ловок! Ершист! Отец-то пришел? Ну ладно, поговорю с ним. Учителей хоть уважаешь?

Перед Николаем встал Василий Григорьевич Переверзев, классик, высокий, худой, изящный, с длинными усами, похожий на Дон-Кихота. И, думая именно про него, смотря отцу Алексею в глаза, полускрытые в восковых морщинах век, Николай ответил честно:

— Уважаю!

— Ну хоть и на том спасибо... Тронулась молодежь, ох, тронулась. Старого не уважают... Царя поносят... Ну, да вы сами вашей жизни хозяева. Сами смстрите, что будет. Сами за все и отвечать будете.

Легким движением руки он указал Николаю встать на колени, наложил ему на мягкие волосы епитрахиль, читал разрешительную молитву.

— Иди с миром!

Следующим стоял Костя, за ним отец. Выйдя из-за ширмы, Николай посмотрел на отца: слышал он или не слышал? Но тот рассеянно смотрел на свечи перед распятием, и в его глазах, во влажных дужках, скользили искорки света.

После исповеди домой все трое возвращались из церкви молча.

«Неужели же это моя последняя исповедь? Пожалуй! Как все меняется! И какой древний он, отец Алексей! Мумия! И как далеко все это от жизни... Это очень страшно...»

Дома бабушка и сына и внуков отправила в баню, как это было предписано старыми законами дома. Баня стояла в полном подтаявших сугробов саду, позади сараев.

Федосья уже заботливо сбегала туда с медным начищенным тазом, с мочалками, мылом, веником, бельем, с квасом, и огонек свечи приветно желтел в перекошенном, со склеенными замазкой стеклами окошечке предбанника. Из забухшей двери шибануло теплом, дымом, прелью, мылом, пареными вениками, вылетело облако пара.

Быстро разделись. Отец первым открыл дверь из предбанника в баню. Оттуда выдохнуло жаром, пламя свечи закачалось.

— О-го-го! — закричал отец, и его гогот потряс густой воздух. — О-го-го! Берегись, ребята, поддаю!

Схватив ковшик мятного квасу, он плеснул его на каменку. Струя раскаленного воздуха с белой бородкой пара поднялась с красных камней. В бане стало жарко и душисто. Отец заботливо обдал веники кипятком, и на средний полук сперва полезли Николай и Константин.

Отец сидел внизу на лавке, возился с веником и пел. От его голоса пламя свечи танцевало, с ним прыгала по темным бревнам перекошенная тень от его крупного, розового тела.

Ямщик лихой, он встал с полночи,
Ему взгрустнулося в тиши,
И он запел про звезды-очи,
Про очи девицы-души...

Константин вдруг перестал действовать веником и укоризненно выговорил:

— Папа, ты исповедывался, а поешь... Грех это!

— Грех? Почему грех?

— А про девицу... Про любовь — значит это грех! — внушительно сказал третьеклассник.

Отец ничего не ответил, однако петь он перестал. Тень скользнула по его доброму лицу.

— Ну, марш с полка! — скомандовал он. — Париться буду.

Оба брата скатились вниз на скамейку, развели в тазу казанское мыло. Они знали, что такое для отца — «париться». Сын николаевского солдата в Венгерском походе, потом кондуктора, сопровождавшего первые поезда Николаевской железной дороги, и московской швеи, он сохранил в себе все склонности к удовольствиям московской своей молодости. Впрочем, левый глаз его жестоко пострадал когда-то в кулачном бою, чин статского советника закрыл для него этот спорт, но баню он продолжал любить

страстно. Еще недавно, распарившись, он выбегал и катался по снегу, но он и теперь парился с самозабвением, вскрикивая, ухая, приказывая детям время от времени обливать ему голову снеговой водой. Пар нарастал и нарастал, густел, заволакивал полок, мальчики бродили в нем, сгибаясь все ниже и ниже, а с полка, из белого облака, неслись уханье, крики, стоны, хлестанье веника, полное наслаждения бормотанье.

Когда отец, сладко обессиленный, спускался с полка, чтобы лечь на лавку отдохнуть с веником под головой, Николай, улыбнувшись, сказал ему:

— Ты сейчас, папа, как пророк Моисей, сходящий с Синая!

Отец рассеянно взглянул на его красное мокрое лицо, залепленное волосами, и притворно равнодушно произнес:

— Дурак!

Конечно, то была шутка, но шутить так для Николая не было ли слишком дерзко? Отец есть отец! Эта шутка напомнила отцу, что ребята, того гляди, «отобьются от рук» и хорошо бы было для восстановления своего авторитета побеседовать с ними.

Но беда! У него не хватало нужной для этого настойчивости, нажима, да и он не чувствовал себя подготовленным, чтобы вести беседу о том, чем сам никогда не интересовался. И все-таки, окатив себя водой из десятка тазов, и уже в предбаннике, натягивая на скрипящее тело свежее белье, он наставнически вдруг заговорил басом:

— А что, Николай, в классе у вас ничего не говорят об этом... о социализме?

«Это еще что такое? — внутренне насторожился Николай. — С чего это он?»

Но, сделав равнодушное лицо, ответил:

— Как не говорят — говорят!

— И ты знаешь, что это такое? — встревожился отец.

— Слышал, — отвечал Николай, дипломатически возясь с тугими носками.

— Это ученье такое, что... Ну, вообще, от него нужно подальше! — солидно проговорил отец. — Подальше... А то, слышал, у Степана Николаевича-то сына выгнали из реального... Ну, куда он теперь с волчьим билетом! А?

Говорить, предостерегая, запугивая, было самым легким делом — не нужно было ведь ни знаний, ни теорети-

ческих выкладок. «А если Николай вдруг станет возражать? — побаивался Федор Петрович. — Наверное, подлец, знает уже много. Больше меня! Ведь бьет же уже он меня в шахматы!»

Но Николаю после сегодняшней исповеди не хотелось ни о чем спорить.

— Д-д-да... — неопределенно протянул он. — Трудно ему!

— Ну вот! — с облегчением сказал и отец, вставая со скамьи и дергая ногой, чтобы лучше легли брюки. — Это и есть! Это очень опасно!

И вздохнул облегченно: наставление было дано...

На следующий день с восходящим солнцем все трое отправились в церковь. Волга вся поднялась, почернела, набухли и почки на тополях, в морозце плавал нежный, чистый их дух. Заботливо причастники обходили лужи, чтобы не забрызгать своих новых, в складочку брюк — пред лицо господа бога они, как и все, шли в новых, лучших своих одеждах. Отец особенно был импозантен в синем сюртуке с бархатным воротником, с погонами, с Анной на шее из-под белого галстука, со шпагой с пышным темляком на левом боку. Стоя еще в полупустой церкви, причастники рассеянно выслушивали «правило», которое им наскоро отхватывал барабанно и совершенно невнятно гугнивый дьячок Лебедев.

Шла литургия Василия Великого, византийская поэтическая оратория, составленная полторы тысячи лет тому назад. Пел небольшой хор — три семинариста в черных сюртуках с синими высокими воротниками и с серебряными пуговицами, страшно выкатывая кадыки в потрясающих низах, да четыре девушки закатывали глаза при пианиссимо и дрожали при тремоло.

Причащавшиеся чиновники были в парадной форме, при орденах и шпагах, гражданские — в черных сюртуках, с медалями, учащиеся и военные — в мундирах, женщины — все больше в белых платьях.

Бас дьякона возгласил приказание уйти оглашенным, то есть еще непринятым в полноправные члены церкви. Никто, конечно, не шевельнулся, ведь мало кто понимал, что значили эти слова: остался только обряд. И все-таки от этого окрика все еще больше притихли, оробели. Даже лица стали похожи друг на друга: у всех было одинаковое выражение притихшей настороженности.

Отец Алексей нес на голове золоченую чашу, полную этих святых тайн — тела и крови... Среди мертвого молчания в церкви дребезжал одинокий старческий голос. И каким же диссонансом, режущим уши и душу, зазвенели для Николая его слова:

— Благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего Николая Александровича... да помянет господь бог во царствии своем...

И снова черная осенняя ночь и полыхающая нефть.

«Благочестивейшего!» Того самого, к кому шло сто тысяч питерских рабочих и который расстрелял их... Почему «благочестивейшего»? — возмутился Николай. — Нет! Так не может продолжаться! И все молчат и молчат... «Самодержавнейшего»... По единой воле которого совершается все, что совершалось в стране... По воле которого зачем-то идет война на Дальнем Востоке...

Подошло причащение. Хор почти смолк, и на фоне его смутного певучего рокота назывались чьи-то имена, и отец Алексей всем обещал сладкую «вечную жизнь»... Николай подходил к золотой чаше вслед за отцом, смотря в его затылок с русой косичкой над белым воротничком. Золотая чаша была в двух вершках от его лица, он видел на ней цветную финифть, ложечку с крестиком, старческую сморщенную руку, во рту его появился вкус вина и хлеба, и вдруг снова голос Павла внятно проговорил:

— Причащаешься в последний раз!

После причащения полагалось идти прикладываться к иконам иконостаса, и Николай покорно брел вслед за братом и отцом, видел близко огромные, горящие глаза святых, чувствовал запах меди, краски, пыли и замечал в себе с тревогой, как каждая секунда разрывала, распускала петельки в его сознании, наблюдал, как сквозь клеточки его души сочилось, утекало, исчезало прошлое и в то же время властно вступало что-то новое, чтобы жить, бороться и действовать.

Но жизнь все-таки пока еще оставалась старою жизнью, и, спускаясь с амвона, Николай заметил в толпе молящихся знакомую белую фетровую шляпу.

«Александра Дмитриевна была в церкви!» Злоба, ревность опять вспенили душу юноши.

На момент он было надеялся, что отец ее не заметит. Куда там! Отец уже энергично пробивался через толпу прямо к ней, и глаза его блестели так молодо,

будто никого, кроме их двоих, не было в переполненной церкви.

Домой отец со своей дамой шел впереди, оба сына демонстративно плелись сзади. Костя, увидев около зеркальной лужицы стайку голубей, запустил в них снежком:

— Вот вам!

Помрачнела, увидев не ко времени гостью, долго ждавшая с пирогом бабушка, сухо сунула ей руку совочком и уселась, как за нерушимой стеной, за своим самоваром, подперев щеку правой, зловеще постукивая по столу пальцем левой руки.

— Не утерпел, причастник! — упрекнула она сына, когда он подошел к столу.

Тот молча поцеловал у матери руку.

— Убирайся! — отняла она руку.

Митревна за стол не села, устроилась у окна, а Федор Петрович сидел за столом и говорил так, как говорит мягкий, добрый человек, находящийся между двух огней: свои реплики гостье он адресовал как бы от имени всех и у всех этих тревожно оглядывал лица, ища и не находя в них поддержки. Сыновья угрюмо расправлялись с пирогом, и выражение лица бабушки тоже не предвещало ничего хорошего.

Брякнул звонок с парадного.

— Костя, открой! — поднял голову отец.

Из передней послышалось густое бормотанье. Мальчик, смущенно выскочив оттуда, объявил:

— Павел Николаевич!

Приподняв зеленую драпировку, за ним медведем лез Суворов. Он был по обыкновению выпивши, усы обвисли по обе стороны рта, словно кот держал в зубах мышку.

— А, вот где моя жена! — вскричал он. — А я-то после причастия иду домой... Ищу ее — где она, такая-сякая... Нет ее! А она вон где, — у кума! Ну, Федор, будь здоров, встречай гостя.

У Александры Дмитриевны по побледневшим щекам пошли красные пятна. Отец явно был смущен. Только бабушка, как боевой конь, высоко вздернула голову и возмущенно нюхала табак.

— Я рад, что ты зашел! — егозливо выговорил наконец отец. — Сейчас нам бабушка соорудит что-нибудь закусить.

— Ничего бабушка вам не соорудит, греховодники вы

этакие, — побагровев, закричала бабушка. — Ишь ты, причастники — сейчас же водку жрать... И ты, — обратилась она к Суворовой, — вместо того, чтобы в велик день по гостям шлендрать да Федора моего смущать, дома бы сидела, к празднику готовилась... А то страм какой...

— Правильно, — раскатисто подхватил Суворов, — правильно... Я того же мнения, ей-богу! Настасья Ивановна дело говорит... И я вот поехал сюда, дай, думаю, поговорю, наконец, по делу... Что же это так-то нескладно мы живем? В церковь ходим, говеем там, а ничего не получается. Я хотел давно тебе сказать, Федор, прямо: уж коли она тебе так мила, так забирай ты ее себе со всеми потрохами!

Александра Дмитриевна бросилась к нему:

— Панюш! Панюш! — кричала она. — Что ты! Что ты!

— Ничего не «что ты»! Прочь... — И позорное слово хлестнуло всех по ушам. — Прочь! Не с тобой дело, а о тебе дело! Надоело мне смотреть на жизнь нашу неурядную, убогую, надо когда-нибудь привести ее в порядок... Вот я и пришел к Федору: хошь — бери! Ха-ха! Бери да помни: назад не возьму! И ведь возьмешь! Возьмешь! К тому дело клонится, не первый год... Все говорят! Все знают! Но не думай, Федор, что возьмешь ангела: черта берешь. Ведьма она! Ох, сколько я с ней намучился!

И, уронив тяжелую, косматую голову на тарелку, он икнул, всхлипнул пьяным рыданьем...

— Послушай, Павел Николаевич, это просто смешно! — деланно проговорил Федор Петрович. — Послушайте, вы являетесь в чужой дом в пьяном виде, и это в такой день, после причастия, производите скандалы, оскорбляете незаслуженно вашу же жену.

— Ввашу? А не ввашу? — пьяно взревел снова Суворов. — А черт ее знает, чья же она жена — моя или ваша? Или просто — «наша»? Черт меня задави, да чья же она жена? Ха-ха-ха! Ребята Прокшины, хоть вы меня, дурака, просветите!

— Сейчас же едем домой, пьяная свинья! — вплотную подбежав к нему, шипела Александра Дмитриевна. — Слышишь? Я тебе покажу, чья я жена!

Сперва она то плакала, то смеялась, а теперь откровенно взбесилась, как дикая кошка.

— Я тебе покажу!

Схватив его за рукав, она рванула его, чуть не стащила со стула. Суворов, однако, усидел, взмахнул рукавом шубы и ударил жену по голове сверху вниз.

— Вот тебе, горбатый черт! Вот тебе домашнее равновесие!

— Так ее, так, хорошенько, шлюху этакую! — взвизгнула бабушка. — Ишь, каштелянша! Шлендрает сюда, стыдобушка, хоть бы бога побоялась, коли на людей-то стыда нету!

— Мама! — таким отчаянным голосом вскричал отец, что Николаю стало его жаль чуть не до слез. — Мама! Вы хоть замолчите — ведь с ума можно сойти! Павел Николаевич, — продолжал он тем же криком, — извольте уйти, завтра мы с вами поговорим. Окончательно...

Рыдания упавшей от удара на стул Александры Дмитриевны становились все отчаянней, все громче — подходила истерика.

— Николай, принеси холодной воды! — крикнул Федор Петрович. Николай бросился на кухню, распахнул дверь в прихожую. Прильнув к двери, стояла там Федосья, а за ней, в затылок, слушала разыгравшийся спектакль домохозяйка — старуха Чечевицына. Николай влетел так быстро, что они даже не успели согнать с лиц злорадно-торжествующего выражения.

Николай долго возился на кухне, искал чистый стакан и когда принес воды, Александра Дмитриевна полулежала на диванчике, билась в истерике. Бас Павла Николаевича гремел уже за дверью, под окнами:

— Изво-о-ошик! — орал он. — Изво-о-ошик!

Отец склонился к плачущей, покрывая поцелуями ее руки.

— Боже мой, что ж это такое! Разве это люди? Звери какие-то! Родная, успокойся, ради меня успокойся! Это просто пьяный зверь... Надо идти на все... Да, на все!

Бабушка смотрела на эту внезапно открывшуюся пару, поджав губы, подняв брови. Все было ясно. Все шло прахом!

И бабушка выдворила братьев из столовой.

— Уходите, уходите, не годится ребятам смотреть на этокое!

Костя уселся на свою кровать, руки в карманы, стал смотреть перед собой. Потом сказал:

— Какие сумасшедшие! А еще большие!

Двери в столовую долго не открывались. Федосья ходила с победным видом, «не я одна-то» — словно говорило ее красное лицо. Бабушка как воды в рот набрала. Дети и обедали у бабушки. Картофельные котлеты пригорели, а про прибной соус Федосья забыла. Над домом нависла разруха...

Николай валялся на кровати с «Калевалой», но было не до чтения. Неужели же эта нарушительница семей и есть любовь? Так было — он смутно помнил это — и тогда с матерью. Раз ночью в доме у них был страшный шум, крики отца, матери; маленький Костя плакал на руках у няньки... Сквозняк приоткрыл дверь в соседнюю комнату; там свеча на столике колыхалась под ночным ветром, мать в чепчике, в розовом капоте сидела на раскрытой постели, откинувшись назад, опираясь на руки. Шея была склонена, слезы текли из глаз.

— Федор! — говорила она низким своим голосом. — Михаил!

И вдруг вскрикнула:

— Господи! Господи!

Услышав этот крик бедного женского сердца, сердца матери, пригостишка Николай тоже вскрикнул, забился, заплакал. Потом, укрытый одеяльцем, уснул. И проснулся, чтобы сердцем впервые ощутить ту самую пустоту, которую ощущал и по сей день.

Матери не было дома! Отец выгнал ее... А что особенно было обидно — няня Пелагея уже в то утро щеголяла в маминой красной кофте... И жаловаться было некому.

«О господи!» — опять захотелось вскрикнуть и ему, вздохнуть, жаловаться. Он поднял голову, прислушался.

Хлопнула входная дверь — это отец ушел, должно быть, с Александрой Дмитриевной.

Сегодня, как и тогда, ломалось, крушилось старое. С трудом налаженная, хотя неполная семья, которая давала Николаю возможность расти, учиться, читать, думать, бегать зимой на лыжах, летом кататься на лодке, очевидно, рушилась.

Но вдруг все эти неприятности стали быстро-быстро являться назад, тускнеть, только в памяти загорелся взгляд Вали, явилась ее бело-розовая улыбка.

Ведь сегодня Володька Розов обещал познакомить Николая с Валею. В соборе за «двенадцатью евангелиями». Больше ждать было невозможно...

И, свалившись на подушку, Николай забылся неожиданно крепким сном — до самого вечернего чая. Отец к чаю не вернулся, бабушка швыряла стаканами и блюдечками так, что те звенели, словно жаловались и плакали. Константин убежал на Волгу, катался в закраинах на льдинах, свалился в воду и явился мокрый.

— Вот наградил господь! — сдержанно бросила бабушка. — Вытащили меня, грешницу, из Москвы... Уговорили... Едем к нам! В провинции, говорят, у нас тихо... Спокойно у нас... Как разбойники, на ножах ходите... Ложись, — крикнула она на Костю, — в кровать, сейчас водкой с солью натирать буду... Ложись! Ну!

— Бомм! — ударили в соборе, и медный голос, как ни в чем не бывало, вил свой могучий узор по темнеющему смарагдовому небу. — Бомм!

Глава четвертая

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Николай проталкивался в высокий, набитый народом собор. Свечи сияли перед иконами, в паникадилах попеременно с лампадами. У всех молящихся в руках тоже горели свечи.

Мужские, женские подбородки бросали тень на верхнюю часть лиц, из этой тени сверкали глаза. Шорох, шарканье ног, шевеление, покашливания то тут, то там — тихие звуки эти летели по огромному храму, блестящему полированным мрамором.

Постояв, Николай почувствовал на лице щекотанье, прохладу, словно к его щеке прикоснулись мятой. Осторожно, по-волчьи поворотив голову вместе с шеей, он встретил все тот же невозможный, сияющий, как сигнал, взгляд.

Валя Артищева смотрела на него, чуть приоткрыв свой большой, припухлый по-девчоночьи рот. Потом отвернулась, но чуть-чуть и продолжала рассматривать его уже, должно быть, боковым зрением: ее опромный глаз чуть косил из-под пышных волос с черным бантом на затылке.

У Николая опять защекотало в носу, пересохло во рту: ему вспомнился один из тоскливых взглядов, который он подсмотрел у отца. «Интересно, какой у меня самого теперь взгляд?» — рассердился он.

Его тронули за локоть — лисья мордочка Володьки Розова кисло улыбалась. Он на цыпочках подтянулся к самому уху рослого Николая и зашептал жарко:

— Валька велела сказать, после восьмого евангелия она выйдет... Ты тоже выходи, голова!

И Розов, как истый Лепорелло, исчез в толпе.

Одно за другим разворачивались длинные и короткие чтения двенадцати евангелий, в которых рассказывалось про арест Христа, суд над ним, про его казнь, разворачивались его «страсти», его трагедия.

...Каждый раз с первым тягучим ударом колокола, отбивавшего счет чтениям, Николай гасил свою свечу и налеплял на нее восковой шарик. Вот налеплен и восьмой. Чтение замолкло, пчелами загудел хор... Валя несколько раз мелко-мелко перекрестилась и, опустив голову, не показывая своих темных глаз, повернулась, стала пробиваться к выходу.

Выждав, Николай сунул свечку в карман шинели и, приподняв фуражку на уровень лица, роняя «простите, простите», двинулся к выходу, лавируя среди плотной толпы молящихся.

На балкончике влюбленный Володька Розов безнадежно ухаживал за Валею. Он и Прокшина-то решил с ней познакомить для того только, чтобы доказать ей все рыцарское благородство своих чувств.

— Коля Прокшин, — несчастным голосом сказал Володька. — А это вот Валя... Артищева...

Церемония представления совсем недлинна, но Валя не дождалась даже ее окончания. Она победно надвинулась прямо на Николая, обдавая его всего девичьей белозубой самозабвенной улыбкой.

— А я знаю, Коля, вы на шестой неделе в гимназию опоздали! — засмеялась она, и широко открытые глаза излучали свет.

— Да, да! — смеялся и Николай. — А вы откуда знаете?

— А я вас ведь всегда у булочной Гээп встречаю, а тогда встретила гораздо дальше... Я-то выхожу всегда аккуратно, меня тетя высылает из дому, чтобы не опоздать... И я вижу, опаздываете вы или нет. Я ведь у Железновых живу!

— Знаю!

— Знаете? Ой, вы какой! Значит, вы спрашивали?

Скудная осведомленность Николая и то очень льстила ей.

— И я еще знаю, — говорила скороговоркой она, — что вы пятерку получили за сочинение. А вы не знаете? Ага! — она торжествовала.

— За какое сочинение? — недоумевал Николай.

— «Доля русской женщины по русским народным песням». Ага! Правда, писали? Ага!

— Да откуда же вы это знаете, что пятерку?

— Соня Левикова сказала, дочка вашего учителя... Она у нас в классе.

Их так влекло друг к другу, как влечет, должно быть, издали друг к другу двух бабочек, порхающих над ромашками над огромным лугом, под ярким солнцем. Разговор их был прост — о чем же могут в первый раз разговаривать семиклассник с семиклассницей? И все-таки даже в этом первом разговоре у Вали так и хлестало желание нежной своей лаской схватить юношу, окружить его, связать так, чтобы он никуда бы не улетел больше!

Как все это было далеко от того, что сегодня утром Николай видел и переживал дома.

Там — любовь — скандал, любовь — мука, проклятье, любовь, осложненная прошлым, его ошибками. Тут любовь, как утренняя песня, как светло сияющие лучи солнца, от которых даже невзрачное окружающее начинает светиться.

Сиянье это было настолько ярко, что смушало Николая: ему казалось — все видят его чувство, что вокруг него все кричат «ага!» зверскими надсадными голосами. Валя же не выказывала никакого смущения, сразу прекрасно, безошибочно ориентируясь в новой обстановке, и она немедленно приняла меры против того, что действительно смушало Николая.

Присутствие Розова тут было решительно не нужно. Да и Володька это понимал сам очень хорошо. Отвернувшись, он деликатно любовался малиновым закатом, х ты стриженный его затылок с прижатыми фуражкой ушами выражал глубокое страдание.

— Володька! — строго спросила Валя. — Ты сейчас куда?

— Я... — начал было Розов, но, взглянув на Валью, осекся. — Я домой!

— Ну и ступай! Меня Коля проводит.

Когда они вдвоем шли домой, совсем стемнело, но улицы, качающиеся, как клавиши пианино, деревянные тротуары, покосившиеся керосиновые фонари, уже чисто протертые и зажженные проворными фонарщиками в рогожных своих пелеринах, медные звуки вечерней зори в учебной команде Рославльского полка, наконец, сами звезды — все это явилось Николаю в освеженном, вымытом, преувеличенно сверкающем виде. Мир хитро и уступчиво отступил со всех своих грубых позиций, сразу выстроился журавлиным строем, и во главе этого угла, опая все сиянием глаз, стремительно летела вперед она, Валя.

«Неужели же положение в стране настолько плохо, как говорил Павел Соколов?» — не то что бы думал, а готов был подумать каким-то краем души каждую секунду Николай. Но он не думал.

— Я все, все знаю о вас, Коля! — между тем говорила Валя и чуть прикасалась к нему. — Все! Ага!

И смотрела с восторгом.

И Николая тоже тянуло к этой девочке, как должно быть луну тянет к земле, — бешено, невозможно, неодолимо. Он смущался и преувеличенно строго следил за собой, преувеличенно вежливо отодвигаясь в сторону при каждом касании ее плеча.

«Что это она еще знает обо мне? — думал он. — Неужели о сегодняшней истории? Не может быть!»

А Валя крепко хватала его за руку:

— А вы зачем Лизке Набатовой записки писали, Коля?

Он? Лизе? Да никогда в жизни! Клевета! О, он знает, кто ее пустил! Ливенцов... Да, да!

На его оправдания Валя хохотала добрым сильным смехом, таким, что встречная старушка проворчала — такой день, такая всеобщая, а она регочет, кобыла! А по смеху Вали было слышно, что она и сама-то не верит, что он, ее Коля, писал записки Лизе Набатовой.

В душе Николая подымался, курился сладостный туман, который отгораживал их с Валею от мира. И случилось вдруг так, что сама природа чудесно ответила молодой любви: из-за Волги подул необычно теплый ветер, волны густого влажного тумана покатались по старым улицам, радужным ореолом овеялись фонари, они исчезали в тумане и появлялись только тогда, когда

Коля и Валя шли под ними. Туман постепенно закрывал весь город, даже весь мир, и оставались в нем на всем свете лишь двое: Николай Прокшин да Валентина Артищева, гимназист и гимназистка — оба из седьмого класса.

Долго стояли они у калитки дома, где жила Валя, пока наконец в окне не всплыла теткина тень и не забарабанил в стекло теткин палец. Валя быстро сказала, что она в заутреню и в обедню на пасху будет в соборе, направо, за второй колонной.

И ушла в скрипнувшую калитку. В волнах белого тумана Николай домой не шел, а летел, и душа его цвела. Уже у себя в комнате он долго стоял, держа в одной руке фуражку, в другой шинель за один рукав, смотрел прямо перед собой и улыбался.

— Где, тебя спрашиваю, отец? — твердила, стоя перед ним бабушка. — Вот возьми их — что отец, что сынок! Да ты откуда?

Николай посмотрел на нее, продолжая молча улыбаться.

— Молчит, как истукан! Право, статуя!

И старуха сердито шмыгнула из комнаты, припадая на одну ногу.

Что-то говорил, рассказывал Константин, но Николай не слышал. Он только чувствовал около себя Валу, а через Валу был связан со всем миром. Хорошо бы, чтобы вот такая связанность стала обреченностью, осталась бы навеки! И эта мысль среди жара души веяла на него сладким покоем.

— Вот так дождь! — завопил вдруг Костя и в одной короткой рубашонке прилип к черному окну.

Дождь мощно и ровно гудел о деревянную крышу дома, бормотала, захлебываясь, водосточная труба, в лужу шумно грохотала вода.

«Весна!» — в восторге думал Николай; и весна в душе и весна в природе сливались, обнимались одна с другой.

Нет, не следует удивляться, что туман и дождь в природе подоспели так вовремя, чтобы собой ответить на чувства Николая, подкрепить их... Весна в природе и весна в душе — одной породы, и почему же было им не перекликнуться друг с другом, не улыбнуться человеку?

Долго не мог уснуть Николай — около подушки под

шум дождя реял милый образ Вали, звучал ее грудной голос. Он чувствовал словно тяжелое щекотанье, жжение где-то в глотке, в пищеводе и, уснув, то и дело просыпался, глотая слюну, чтобы утишить это жжение. Он чувствовал любовь почти как физическое недомогание.

Поздно проснувшись, Николай за окном не узнал двора.

И земля, и сараи, и заборы стали черными, как замасленные сажей, на черной же земле брошенным кем-то платком белел сквозистый последний сугробик, одну из своих лап запусивший в канаву. На сереньком небе острая колоколенка втыкалась в низкие облака над сплошными грибами черных, зеленых, красных крыш, на рябине мрачно сидел нахохленный и мокрый грач.

— С приездом, брат! — озорно крикнул Николай. — Что, недволен? Извини, брат, не приготовили еще тебе квартиры как следует!

Постукивая по полу голой пяткой, Николай уже похолодному, по-утреннему раздумался про вчерашнюю встречу:

«Телячий восторг!»

Ядовитое слово это жужжало и жужжало у него в голове, словно гнойная, зеленая муха, порождая чувство досадной неловкости. Валя в этом утреннем освещении стала казаться просто «обыкновенной гимназисткой». Как она пожимает плечами! Как побрякивает, не находя сразу нужного слова! Как обыкновенны все ее рассуждения! Ну, правда же, правда — разве вчера был какой-нибудь разговор?

— Ах! — сказал он любимым отцовским неторопливым словом и отмахнулся рукой. Действительно, и с чего же это он так «таял»?

Глава пятая

ПРАЗДНИК

Однако раздумывать не приходилось. Последняя неделя поста стремительно неслась вперед сплошным хором старых обрядов. В кухне в русской печке уже черна пережигалась «четверговая соль». По всему дому шла капитальная уборка к празднику. Федосья носилась вихрем, ее голые икры так и мелькали. На окнах забелели

свежие тюлевые занавеси, стулья были протерты воском, подкрашены и смотрелись, как в зеркало, в блестящие полы, укрытые цветными дорожками. От мыла и мела сияли ризы икон, отдушники в изразцовых печах, ручки на дверях и окнах.

Всем командовала бабушка.

— Ребята, ноги вытирать! Полов не топтать! Федор, а ты специй к куличу купил? Нет? Да что же ты делаешь? Да нешто так можно? Корицы, ванили, гвоздики, кардамону, цукату, мармеладу, сахарного горошку — да поцветистей!

— Хорошо, мама! — улыбался отец. Он сидел в комнате мальчиков — все красили яйца. Красные, синие, зеленые, пунцовые, золотые, серебряные, лиловые яйца лежали на резном деревянном блюде.

Семейные катастрофы вчерашнего дня меркли перед наступлением праздника.

Под полуденным солнцем все трое Прокшиных пошли в колбасную. Колбасная братьев Головановых в Костроме была самым шикарным, культурным передовым магазином — с цельными витринами, мрамором прилавков, с электрическим освещением. Покупатели стеной шли на мраморные прилавки, за которыми металась запаренная приказчики в белом, в клеенчатых нарукавниках. На полках, на прилавках высились горы свиного, телячьего, птичьего мяса. Залитые глянцем каплуны гордо растягивали толстые ноги в кружевных панталончиках. Гуси, утки, индейки, фаршированные и заливные, лежали на длинных блюдах. Белокожие, словно господа, поросята улыбались под розовыми и белыми сметанными разводами. Грудами сложены были окорока, навалены были без числа колбасы, какие только можно было себе вообразить: красные, розовые, желтые, пунцовые, кремовые, шоколадные, темно-бордовые, совершенно черные и напротив того — белизны слоновой кости.

К колбасам, к гусям, уткам, индейкам, поросятам тянулись десятки рук — белых и желтых, хрупких и крепких, пухлых и худых, рук, в которых блестели золотые монеты, и рук, где шелестели кредитки, — все это под аккомпанемент непрерывного гулко-го грохота автоматической кассы.

Один из хозяев, Михаил Васильевич, человек с интеллигентным лицом, в каракулевой шапке пирожком, с шар-

фом, висящим на шее, весело потирал руки и перебрасывался приветствиями со своими покупателями.

— А, Федор Петрович! Наше вам-с! — крикнул он, завидя Прокшиных, и тут же распорядился:

— Корзинку господина Прокшина! Готова ли корзинка господина Прокшина?

— Готова-с, готова-с!

В такой суете удачливой торговли ему приятно было раздавать свои подбадривающие приказания.

— Михаил Васильевич! — неслось из другого угла магазина, где стоял толстый присяжный поверенный Вармунд, в пенсне на крупном носу. — А что ж это вы меня без гусиных полотков оставили? Ведь праздник! А?

Николай выбрался из толпы, подошел к зеркалу, увидел в нем себя, а за собой в толпе — ее, Валю!

Он обернулся. Действительно, Валя стояла у прилавка и, напряженно сдвинув брови, считала на левой ладонке деньги. Она заметила Николая, и лицо ее осветилось длинной, радостной улыбкой.

И разом все утренние сомнения слетели с него прочь, хоть вчерашней Вали он не узнавал. В ней не было и следа вчерашнего волнения. Чистое белое лицо с розовыми ушами под пышными волосами было скромно оттенено снизу узеньким кружевным воротничком и выглядело таким деловитым, таким занятым.

Ее спокойствие передалось и Николаю. Он пробрался к ней сквозь толпу, почувствовал длинное пожатие ее крепкой узкой руки, утонул в радостных глазах.

— Вы тоже покупаете? — спросил он. Надо же было что-нибудь спросить.

— Праздник! — серьезно ответила она. — Федор Петрович вас ищет! Идите, Коля!

Действительно отец стоял и, вытянув шею, оглядывал магазин.

— Бери, Коля, корзинку, да и на извозчика. Поедем за вином.

Выходя из магазина, Николай обернулся — так и есть! Она улыбалась ему вслед.

По-весеннему звонко тарахтела пролетка извозчика своими железными шинами. Костя сидел впереди на скамеечке, а Николай бочком приткнулся около отца. Дребезжали пролетки, люди по улице бежали муравьями, нагруженные пакетами, рогожными кулками, лубяными

корзинками, лица всех преувеличенно выражали заботу. Тащили окорока, куличи, пасхи, цветы...

В колониальном магазине Петрова была такая же суматоха, как и в колбасной. Седой старик Петров в серебряных очках стоял у кассы, следил, как отпускали товары покупателям его одиннадцать сыновей-приказчиков, розовых богатырей. Федор Петрович обстоятельно отбирал тут разноцветные бутылки с вином — пирамидальную рябиновку, широкоплечую с длинным горлышком английскую горькую, какую-то глиняную бутылку с ликером, водку с золотой печатью и настойчиво требовал зеленой водки «Тархун».

«Любимая водка Павла Николаевича!» — отметил Николай, но даже не огорчился — так весело несся мимо этот весенний день.

Наконец вернулись домой, где бабушка так хлопоталась с куличами, что, выскочив из кухни с расстроенным лицом, сунула на стол только горшок пустых шей и исчезла.

И все понимали, что иначе нельзя:

— Праздник!

Пусть в Маньчжурии кровавая война, пусть правит жадное, неумное царское правительство, несмотря на все потрясения, несчастья своей жизни, обыватели города Костромы, словно сговорившись, делали все одно и то же: суетились, бегали, как муравьи, пекли, варили, жарили, и все это для того, чтобы встретить наперекор всему праздник — праздник воскресения.

...Так думал Николай, выходя на воздух, и вдруг остановился в восторге:

— Лед на Волге тронулся!

То была первая подвижка льда, но на берегу, на крохотном бульварчике было уже полно народу.

Русский народ любит ледоход. Любит сочувственно наблюдать, как с шуршаньем, скрипом, сопеньем плывут мимо, лезут на берег двухаршинной толщины стеклянные льдины — так очевидно была сильна зима, сковавшая тысячи верст течения Волги. И на глазах — река рвет с себя пути, взламывает оковы — явно, что весеннее солнце сильнее! Все оживает, все воскресает, сбрасывает с себя белоснежные смертные саваны, и снова вскрывается, бежит, струится вечно живая, веселая вода, плещется в булыжники откоса.

— Что же это? Воскресение? Или революция?

Николай задумался, жадно смотрел, ветер дул ему в лицо, и мысли неслись в нем смутно и мощно, как бурное половодье. Он не заметил, как ушел отец, как Костя уже возился у самой закраины, под берегом.

— Эй, голова! Николай! — окликнул его крепкий баритон. — Чего задумался? Америку опять открываешь?

Николай поднял голову. Неподдалеку стоял, лихо задвинув руки в карманы короткой гимназической тужурки с синими петлицами, их гимназист Мишка Прозоров. Он щурился, показывая крепкие зубы, в зубах лихо дымилась папироса.

*Немного лет прошло с того времени, когда ни одна драка на Набережной либо на соборном дворе не обходилась без участия Мишки Прозорова, младшего, последнего сына соборного протодьякона. Мишка был и восторгом и грозой всех окрестных мальчишек. До пятого класса у него за поведение не бывало больше четверки в четверти, а то и тройка. И до сих пор он сохранил свою полную оппозиционность в отношении гимназического режима, что, впрочем, делал теперь исключительно за счет здравого смысла. Этот же здравый смысл заставил его в конце концов прилично учиться, выправить поведение, но руки в карманах, серая тужурка, жесточайше преследовавшаяся гимназическим начальством, буйный вихор над лбом из-под синей фуражки с недопустимо маленьким гербом — все это дышало вызывающей независимостью и веселой бодростью.

— И чего ты все гадаешь? — продолжал он посмеиваться. — Все думаешь? А знаешь, кто думает? Знаешь что, приходи-ка, брат, к нам на праздник! Потолкуем! Есть о чем!

Николай дружил с товарищами умными, начитанными, с которыми можно было поговорить, но тянули его к себе и такие, как Мишка, которые умели и хохотать во все горло, умели и Волгу переплыть, выжимали пятипудовые мешки, и даже, когда говорили гадости, те не звучали у них отвратительно грязно, как звучали у слабых и смущающихся.

— Ладно! — крикнул Николай. — Приду! Погоди-ка!..

Но Михаил двинулся, стал уходить, твердо ступая своими кривыми ногами в высоких сапогах, ладный, сколоченный — живой вызов всей гимназической классике.

Подвижка кончилась.

На другой день, в субботу, когда Николай сидел у себя в комнате за «Теплотой» Тиндаля, Костя влетел в комнату с криком:

— Волга идет! Вовсю!

Схватив свою реальную черную шинель с желтыми пуговицами, он метнулся из дому. Николай выбежал ему вслед.

Со звоном, с бормотаньем неслись к воде ручьи из последних снегов. С криком, шумом спешили к воде люди... Учащиеся в шинелях с блестящими пуговицами, чиновники в фуражках, салопы, демисезоны, редкие уже тулупы, шубы, чуйки — густо перемешивались между собой. Половые из нового трактира «Порт-Артур», что стоял на Набережной, зябко жались в дверях в белых своих рубахах с малиновыми опоясками. Даже известный своей строгостью всей Костроме городской Сергей Андреич Яичкин выглядел снисходительным.

— Ничего, это можно! Не возбраняется! — говорил его вид.

Зимний лед несся теперь широко и свободно среди коричневых, всклянь налитых берегов. Его белая скатерть, перерезанная там и сям черной трещиной, зеленой дорожкой, медленно поворачиваясь, уносилась неодолимой силой в солнечную даль. Солнце уже прожигало спину сквозь вату и сукно, добивало зиму всюду, куда падали его лучи. Откуда-то вынырнул Володька Розов и весело объявил Николаю, что Валя только что была здесь, но уже ушла, видно, домой — он торжествовал, что встреча их не состоялась.

Когда Николай вернулся домой, утомленный от солнца, словно выдутый до дрожи весенним ветром, там было уже уютно по-праздничному. По всем комнатам плавал запах только что вынутого из печки в тесте запеченного окорока, аромат «досиживающих» свое время куличей. Перед всеми образами горели лампы.

Николай прошел к себе, сел опять за «Теплоту», отдался ходу увлекательного и строгого исследования. Обедать в этот день бабка не дала совсем, время за книгой летело быстро, надвинулись сумерки. Николай прилег на постели, его охватил молодой, беспечный сон, медленное кружение, словно погружение куда-то в глубину. Кружение это потом перешло в музыку... Сперва слабая, она

звучала все уверенней, сильнее, и перед Николаем из музыки развернулась гимназическая большая узкая комната, так называемая «сборная». В ней много народу, идет вечер, вальс звенит все увлекательней, Николай весь в ожидании — сейчас он увидит Валю... Он и видит ее — в голубом платье, с голубой лентой в темных волосах, она, как птица, кружится по воздуху, все время причудливо изменяясь... У нее каждый миг разный взгляд, другое платье, другая улыбка — но это все она, все Валя, с сиянием ее взгляда, она охватывает его со всех сторон голубой метелью...

Николай вскочил, сел на кровати, закрыл лицо руками. Вальс продолжал звенеть в ушах, плыл, отстукивая звучную меру. Не меньше минуты прошло, пока он наконец прогнал это голубое колдовство, и тогда, войдя в столовую, увидел, что брат Костя одет уже в мундир реального училища, а отец, наклоняясь вперед грудью к зеркалу и отпятив зад, прикалывает к сюртуку ордена. Выбритый, напудренный, он был очень красив.

— Николай, скорей! — сказал отец. — Тебя только ждем! Пора к заутрене.

Была нарядна и бабушка в кремовом платье китайского шелка, с кружевной наколкой в седых волосах. Строго сжав губы, она переставляла посуду на праздничном столе, передвигала приборы, куличи, цветы — будут гости разговляться.

Когда они вышли из дому, была почти полночь, но все окна улиц светились — никто не спал. Из дворов, под лай собак, под скрип калиток вытягивались фигуры — мужчины с поднятыми воротниками пальто, женщины. Со всех сторон между деревьями блистали усеянные разноцветными фонариками колокольни...

В эту ночь сплошным гулом ревели кругом колокола, их все медные голоса крыл тысячепудовый бас собора. Земля вокруг церкви была уставлена глиняными площадками с горящим салом, подальше же, по берегу Волги — пылающими бочками из-под нефти и смолы, отчего по белым стенам храма трепетали отблески огня. Усердные старатели, явно купеческого склада, приволокли сюда еще медную пушчонку, и она то и дело извергала из себя блеск, дым, громовые удары. В черное небо взвивались цветные ракеты, то и дело вспыхивали бенгальские огни, синим, зеленым, малиновым светом озаряя валяющую под

хоругвями, под церковными фонарями — со свечами в руках — поющую, гудящую, возбужденную толпу.

Крестный ход повалил из церкви, как рой из улья, с народом вывернулись из храма и Прокшины.

Волга стлалась черным зеркалом, по ней плыли отдельные льдины, струились звезды, и за рекой было видно, как там, на Фроловой горе, тоже светился точками иллюминации заречный храм, как вокруг него полз огоньками крестный ход, слабо доносившись звон...

А в старом храме гремели почти что плясовые мотивы, один другого иступленнее, веселее, песни, звоны, огни, выстрелы... Валя была недалеко, Николай скоро ее увидит, ее глаза так сияли в глубине его души... Валя! Да разве может оно умереть когда-нибудь, это огненное чувство, эта первая любовь?

Заутреня отошла, началось христосование. Священник, дьякон, псаломщик Лебедев вышли на амвон, перед ними проходила сплошная река людей. Каждый из этих людей трижды целовался с клирошанами, трижды качались крест-накрест головы, и каждый совал им в руки красное яичко. Уже целая бельевая корзина стояла полной, когда вслед за отцом подошел христосоваться и Николай. Теперь уже можно было идти домой. Пировать. Народ после заутрени в церкви сразу поредел...

Что-то говорил отец, чему-то смеялся Костя. Чему-то охала, ковыляя, бабушка, но Николай все это слушал вполуха. Надо спешить в собор к Вале, где уже началась обедня. И перед самым домом он незаметно ускользнул от своих.

Занялась заря, розовели от нее на берегу вывороченные льды, ветер веял предутренне, на улицах было пустынно, но в окнах, в щелях ставень горел яркий свет, оттуда доносились громкие голоса и смех.

«Уже разговляются!» — одобритительно подумал Николай — он любил, когда люди веселятся. Калитка какого-то домика вдруг распахнулась, оттуда выскреблась приземистая фигура в пальто, в форменной фуражке, со значительным креном направо стремительно пересекла тротуар, удержалась на самом краю, дала крен налево и пошла удаляться зигзагами вправо и влево...

Фигурная колокольня собора, очерченная в своем барокко фонариками, тонула в светлеющем уже небе, двор чернел народом, всюду стояла полиция.

В толпе, в блеске и жаре свечей, в синем ладане Николай пробился в условленный уголок. Валя стояла там такая же, как он видел ее давеча во сне, только в розовом платье, с розовым бантом в темных волосах. Подымался, разгорался сквозь ладанный дым рассвет, свет с востока лился прямо из алтаря, заливал полнеба, когда юноша и девушка вышли из собора.

В этой огромной толпе они затерялись, как в дремучем лесу, они чувствовали, они видели только друг друга, однако живой, роевой гул народа все время давал знать, что их охватывает общая, огромная, бесконечная жизнь...

— Христос воскрес, Валя! — сказал Николай, став перед ней заставой на дороге.

— Воистину воскрес! — ответила Валя, приподнялась на цыпочки, вытянула вишневые губы, смешно скосив на них глаза. Так в то раннее апрельское утро в гуще толпы Николай Прокшин получил первый поцелуй от женщины, которую, как ему тогда казалось, он любил.

«Казалось» — потому что позднее на жизненном его пути не раз любовь являла ему свою силу, и не раз было трудно ему решить — любит ли он, или же это ошибка.

Взявшись под руку, они шли к дому Вали. Вставало солнце, в свежести утреннего бульвара звонко насвистывали птицы. Они шли по улицам родного города, в полководьи взглядов, улыбок, касаний друг к другу, незначащих слов, звучащих особенно углубленно... А на Еленинской улице остановились.

Обгоняя их, со свистками, звонками, распластавшись на скаку, мчались серые в яблоках тройки пожарной команды.

Они бросились вслед за ними — на Алексеевской улице, неподалеку, бушевал пожар. Черные клубы дыма на малиновом подбое выворачивались из выбитых окон горящего дома, из-под его нахлобученной, как шапка, крыши. Нарядные люди сновали взад и вперед, торопливо вытаскивая лохматые узлы с постелями, охапки платья, какие-то вещи, даже блюда с праздничного стола. Хозяйка в белом платье с обгоревшим в лохмотья подолом, плача в голос, рассказывала свое горе:

— Стала готовить горячую закуску — нельзя, ведь праздник, — а бензинку и взорвало!

В подвыпившей толпе горе погорельцев находило полное сочувствие, народ работал очень энергично, качал на-

сос. Примчалась и добровольная пожарная команда, и ее брандмейстер Сережка Белянкин выказывал чудеса храбрости и распорядительности. Во фраке, в белом открытом жилете, с накрахмаленной грудью рубашки, в медной каске он лез на крышу с топором в руках:

— Растаскивай! Растаскивай дом! — командовал он, и его красное, пьяное лицо с раздвоенной бородкой выражало полное самозабвение и жертвенность.

Шумела толпа, белые струи водометов спазматически взлетали из медных стволов, откуда-то донесся детский плач. Валя вдруг повела на Николая притаившиеся, широко открытые глаза.

— Встретили праздник! — сказала она. — Подумайте, Коля, как это можно так...

Она подбирала слово.

— ...так неосторожно! — наконец выговорила она.

И быстро пошла вперед, опустив голову.

Николай простился с нею у ее калитки, бросился домой. Вся их маленькая передняя была завалена шубами, пальто, столовая полна непривычного утреннего света, синего от табачного дыма. Разгромленная пасхальная снедь завалила стол, скатерть была залита соусами и вином, и над столом висели утомленные, красноглазые лица пирующих. Николаю прямо с порога бросился в глаза штабс-капитан Полянский, только что раненым вернувшийся из Маньчжурии. Серое, испитое, дергавшееся лицо его казалось еще несчастнее от блеска мундира с круглыми эполетами, от орденов с мечами и бантами.

Рядом с ним сидела неизбежная Александра Дмитриевна, за которой раздувал пузырем свои усы и покачивался ее муж. Пьян он был окончательно. Дальше осторожно ковыряла ложечкой пасху пышная сорокалетняя француженка, Жанна Людвиговна, преувеличенно внимательно разглядывая эту непонятную душистую снедь рачьими глазами в толстом пенсне. Рядом с нею сидел ее супруг, аккуратный господин в серой щегольской визитке, седой, с бачками-котлетками. Это был Юрий Максимилианович Гейгель, преподаватель французского языка в реальном училище. На полстола выставила свой пышный, обтянутый синим шевиотом бюст учительница русского языка Ольга Васильевна, дебелая особа, с зычным голосом, около которой притулился смиренный и ласковый, как

котенок, чернобородый законоучитель отец Сергей Кравцовский, читавший сегодня в церкви Вознесенья евангелия по-латински и гречески. Откинувшись на спинки стульев, навалившись на стол, сидели другие гости, все знакомые до скуки педагоги, сослуживцы по реальному училищу Федора Петровича.

Полянский мельком взглянул было на Николая и глухим голосом продолжал рассказ:

— Наш полк отходил прямо на Мукден... А нас японцы обошли со всех сторон... Почти окружили... Кругом острые сопки, покрытые лесом, острые голые горы... Слово головы сахара торчат... Поля уже все под зелеными всходами... Японцы наступают, как бешеные. У них две тысячи орудий... Много пулеметов... У них армия триста тысяч человек... Легкий обоз на ста тысячах рикш...

— Рикш? Черт знает что такое! На рикшах? — переспросил и дернулся от негодования толстый, в золотых очках Наймушин — «недоучившийся студент всех российских университетов», как он сам всегда рекомендовался. Анархист по отсутствию убеждений, талантливый математик, он жил в Костроме под надзором полиции без права выезда, репетируя дворянских и купеческих сынков, натаскивая их к конкурсным экзаменам в разные институты.

— Да, рикш! Люди запряжены в легкие ихние тележки, бегут, как лошади... А мы все на себе тащим! Когда подошли к Мукдену — еще бомбардировки не было, но все кругом горело. Дым... Зарево. 24 февраля с рассветом пошли поезда — увозили раненых. Десятки тысяч раненых. Поезда по сорок, по пятьдесят вагонов... Утро было тихое, без ветра, дым стоял стеной. А раненые стонут, словно сама земля!

— В вагонах?

— Больше — прямо в полях... Наш полк мотал, кто как может... Полк! Да разве это был славный наш Зарайский полк? Смешно! Солдаты вшивые, бородатые, не евшие, не спавшие... Подпираются винтовкой, как палкой... Я вот тут сижу, — Полянский покосился на эполеты, — в золотом шитье. В орденах! Посмотрели бы вы там на меня! Подошли к вокзалу — все горит! Интендантские склады, дрова. Лесные склады... Ихний китайский гаолян пылает, трещит — весь в клубах искр... Мешки с мукой лопаются, как бомбы.

— Иллюминация! — пьяно усмехнулся Наймушин. — Как сегодня по случаю светлого праздника.

Улыбки никто не принял.

— Вокруг станции светло, ну как днем. И мы бежим. Ах, как бежим! И я, офицер российской императорской армии, офицер армии Суворова, должен был смотреть на все это! О-о-о! — заворочался он на стуле, словно от зубной боли. — О-о-о!

— Те-те-те! — засмеялся Наймушин, покачивая пальцем под носом. — Так называемая честь мундира? Старо! Старо!

Полянский жадно глотал красное вино, не разбирая, из чьего стакана. Он взглянул на Наймушина, горько улыбнулся:

— Куда там до «честь мундира», — отмахнулся он. — Легко рассуждать, господин студент! Просто надо было спасать от смерти тысячи и тысячи искалеченных русских людей... Вижу несколько вагонов — приказываю грузить раненых. «Приказываю»... А кому грузить? Разбежались! Тут, на площадке перед вокзалом какой-то наш купец раздает солдатам свою лавку: «Православные, тащи все, чтобы не пропадало... Врагу не оставалось...» Ну и тащили... Пили, как звери. Все пьяно... Да и вообще всю эту войну, можно сказать, — пропили!

— Разговенье! — опять ухмыльнулся Наймушин.

— Нет, это уж не разговенье... Стыд и позор... А грабежи? Идет, представьте, по дороге не солдат, нет, а какой-то узел с барахлом... Только и видно, что штык торчит... И тут начал он нас, уже по свету, обстреливать... Да как! Шимозами своими желтыми. Загорелось кругом все, что еще не горело... Грохочут поезда, крики. Плач...

— Плач? — спросил кто-то.

— Да, солдатский плач! Плакали, как дети! О-у! — взвыл Полянский и стал закуривать папироску, нервно жмурясь и тратя зря спички.

— Ну, а «кто виноват?» — как пели у нас в училище юнкера, «Паулина»? — несчастно улыбнулся он. — Не знаю! Не знаю! И вижу вот я — в этом аду, в дыму, в огне, в разрывах едет шажком обозная двуколка, около нее дама — бледная, худая—шагает... Еле на ногах держится. Тут же солдатик, денщик, обозными клячами правит. Повозка плюшевым одеяльцем прикрыта. Я как увидел—обомлел... «Сударыня,—говорю подбежавши.—Вы

куда же это?» А она пальчик вверх подняла и — «Тссс! Тссс! Не разбудите, Андрюша уснул... Пусть спит! Смотрите, как спит!» И одеяло откинула немного. Вижу, покойник, из нашего брата, из офицеров... Поручик... Красивый... Я вижу, барыня не в себе, к денщику шепотом: «Куда его благородие везешь?» — «Да барыня говорит — до Казани!» Я к ней. Так, говорю, и так, чего же вы себя мучите? Он же умер! Да и кругом вон что делается! А она как завизжит, заплачет... Я — прочь.

— Куда же они девались? — спросила, трудно выговаривая слова, Ольга Васильевна.

— Хм... Не знаю! Далеко-то они не ушли. Разве тут усмотришь? Солнце встало через дым, как красный факел. Подошли мы к Бейлину — тут роща старая большая, сосны вековые, императорские ихние могилы... И кругом — без могил — лежит побитая наша христоробивая рать... Трупы, трупы... Лежат, дорогие... Одного никогда не забуду: сидит, бедняга, руки вверх поднял и глазами прямо на солнце смотрит... Мертвый... А раненые стонут... Все поле стонет. Меня тут осколком и стукнуло... В голову и погон пробило...

Полянский шевельнул плечом и показал на темя.

— Пардон, какие наш потёр? — спросил француз, любезно улыбаясь и мизинцем стряхивая на тарелку пепел с сигары. — Очень крупни, э?

— Тысяч девяносто! Так думаю! — просто ответил Полянский. — А может, и все сто... Побольше, чем весь наш город Кострома... А какие люди, ай, какие люди погибли! Какие склады! Запасы! Нам там очень трудно. Китай — чужая сторона! Японцы окружили нас со всех сторон шпионами... На каждом шагу! Мы, как слепые, словно в жмурки играли... А кругом нас какие-то нищие, фокусники, табаком торгуют, японскими папиросами, консервами из ананасов, продают нам скот, гаолян, ассенизаторов одних сколько... Мы идем, — а по сопкам кругом синие курмы, что-то сверкает, сигналы подают, не зеркалами, нет, просто фляжками или банками из-под консервов... А у нас и разведки нет... Китайцы так и говорят: «Русский солдат смерти не боится, а смотрит и ничего не видит, слушает и ничего не слышит». Солдат наш дерется честно... Кто же все-таки виноват? Нужно смотреть правде прямо в глаза. Чему все это приписать? Очень просто — чему! Нужны горные орудия — их нет, нужны снаря-

ды — не шлют гранат, а одни шрапнели... А шрапнели наши под Ляояном рвались у самого дула орудия или шлепались в наших же траншеях. Подвезли патроны Луганского завода — выкидывай их вон — обоймы не держат гильз, гильзы истрескались, — не держат пуль... А кто командует? Генералы — не лучше этих шрапнелей... Больные, старые — им на покой пора, а не командовать против такого сильного противника. Надо полководцев, — а у нас в эту войну будущие Скобелевы да Суворовы еще в капитанах ходят. Почему так плохи командиры? Да потому, что солдаты, из которых они вышли, не образованы. Темны... Ведь за пятьдесят лет последних образования-то народу не давали... Церковно-то-приходскими школами дела не поправишь! Дело не в благочестии... И мы проипрываем эту войну по всем причинам: по дальности, во-первых, расстояния и слабости наших коммуникаций с центром, потом по нашей материальной неподготовленности, по темноте нашего народа, по слепоте, испорченности вообще всего бюрократического порядка...

— Война макаков с кое-каками! — шумно снова бросил Наймушин. Он все время даже ерзал на месте, так ему хотелось говорить.

— Шуточки генерала Драгомирова? — прищурился грустно Полянский. — От них не легче! И там трудно, а приехал я сюда, домой — и еще хуже. По улице не пройдешь! Кричат — вам, офицерью, только с рабочими воевать! Не с японцами! Рысаки, говорят, бегайте только... Опричники! Дармоеды! И никто, никто нас не подерживает...

Он замолчал, снова невпопад тыча тухнувшие спички в дрожащую во рту папиросу.

— Те-те-те! — пропел Наймушин, и все теперь на него посмотрели недружелюбно. — Поддержки не чувствуете? Все об интересах «России»? «Родины»? Да черта ли в этой родине, в которой одни только городничие да держиморды? Где все полно дикости, унижений и оскорблений? Ну, скажите, пожалуйста, ради чего я должен вас поддерживать? Чтобы вы колотили меня по приказу начальства или «обожаемого монарха» именно ради этой самой «России»? Ради чего стреляли солдаты 9-го января — мы можем теперь говорить об этом прямо... И это — власть? И это — родина? Нет-с, мы поддержали бы действительно свободную Россию, без всякой тирании... Власть, до-

рогой мой, всегда тирания... Надо жить каждый сам по себе и мирно делать свое дело. Нам, мирным людям, свободным в своем сознании, нет дела до вас... Вы сами пошли на военную службу, вас силком никто не гнал. Какое же право вы имеете жаловаться, требовать поддержки? Да никакого! А если вы возмущаетесь, господин офицер, — за дело! За дело-с! Сбрасывайте самодержавие! Долой! Долой!

Наймушин поднялся, стоял — толстый, ослабившийся, очкастый, — держа в пухлой белой руке полстакана водки, высился над истерзанными мертвыми птицами, окороками, поросенком, у которого кто-то отрезал пяточок. С куличей были сшиблены цветы, крашенная яичная скорлупа заваливала стол, встревоженные лица пирующих были серы у мужчин, лиловы от плохой пудры у дам...словно с далеких полей и сопок Маньчжурии сюда повеяло смертью и разрушением...

Однако возглас Наймушина перепугал всех присутствующих еще больше.

Долой самодержавие? А все они ведь были чиновниками, состоящими на царском жаловании! И вдруг — долой! Они так привыкли к тишине, к порядку, к праздникам, к сытой жизни... А сказать, возражать — как-то неудобно!

— Я с этим согласиться не могу-с! — вдруг завопил штабс-капитан. — Господа! Да неужели же вы согласны с этим господином? Со всех сторон у нас в армии действительно твердят — «долой самодержавие!» Допустим, может быть, это и правильно... Убрать, убрать нужно этих нерадивых, бездушных чинодралов... Но, господа, — вытянул он руки в белых манжетах, — не в этом дело... Убрать! А скажите, пожалуйста, главное — кто их заменит? Кто возьмет власть в руки? Кто сможет взять ее? Вот вопрос!

— Не-е-ет-с! — взревел Наймушин, подымая вверх стакан в жирном кулаке. — Не-е-ет! Не главное! Главное только — надо все сбросить к черту, и все пойдет, как надо... Само! Надо разрушать! Больше ничего-с! «Страсть к разрушению — творческая страсть!» Слышали?

— Ошибаетесь! Само собой ничего не делается! — кричал и Полянский. — Нам люди нужны! Как воздух, как хлеб... Руководители. Люди, которые могли бы поста-

вить государство на правильные рельсы. Наладить его... Мы хотим конца этой войны, но именно поэтому мы и не можем бросить воевать, хотя там, где вы только терпите от чиновников, мы, военные, гибнем... И мы все-таки верим, что есть они, смелые, сильные люди, которые сумеют положить конец вековой разрухе в нашей стране. Господи ты боже мой, да неужели же наш народ не способен создать такую власть, которая бы собрала все едино наши бесконечные силы и двинула бы страну вперед? Есть, есть они! Есть люди! Они должны явиться! Мы ждем их! Ведь даже раненые там, в бою под Мукденом, стонали не о себе, не только оттого, что у них грызет место, где оторвана нога... О России они стонали! О той России, за которую они клали свои души... Бедные мои! Кто бы пришел к вам, кто бы вам помог не отдать жизнь зря! И пусть мы, офицеры, ответим за все эти прошлые вековые вины наши, но, ей-богу же, все мы хотим быть на правильном пути... Где же эти люди?

Полянский уронил голову на стол, руки его и плечи дрожали и дергались, поперек черной головы розовел голый шрам. Все смущенно и испуганно молчали, смотря, как плачет взрослый мужчина. Да еще офицер.

Штабс-капитан поднял голову, обвел всех взглядом припухших, растерянных глаз, поднялся со стула.

— Господа! Вы все молчите! Вы, значит, согласны с этим господином студентом? Я вернулся на родину после ранения — лечиться... Отдохнуть. И что я нахожу? Почему вы все молчите? Неужели же нашей славной, образованной интеллигенции нечего сказать в такой момент?

Полянский, ни с кем не прощаясь, шагнул к двери. Николай побежал за ним, подал ему серую шинель с золотыми погонами о четырех звездочках, помог натянуть на раненое плечо, вышел за ним на улицу, стоял и смотрел, как уходил этот искалеченный человек, время от времени тщательно звавший извозчика. Сказать ему, что есть такие люди... Есть... Ведь Соколов говорил тогда... Про Ленина... Но сам-то он ничего еще не знал про них...

Колокола с утра трезвонили весь этот первый день, всю неделю, заглушая глубокую боль и тревоги в сердцах. И праздник шел мимо, похожий на нарядную девушку в ситцевом подкрахмленном платье. На просохших

тротуарах ребята играли в бабки, катали крашеные яйца, били свайку. На площади, против памятника Сусанину, уже крутилась в красном кумаче и в синей китайке, в стеклярусе под звуки шарманки карусель, с ярыми конями на дыбках, львами, медведями, лодочками, взлетающими и ныряющими, как на волнах. Бойко работали дощатые балаганы, на которых ветер вздымал серую парусину. Особенно много народу было у новинки — в балагане показывали первое кино братьев Пате с Максом Линдером. Огромные вывески на дощатом «Паноптикуме» кричали, что тут можно увидеть царицу Клеопатру, Наполеона, Бисмарка и других великих людей. На шаткой стенке «Европейского зверинца» красовался на фоне песков и пирамид ярко-рыжий лев рядом с индейцем в разноцветных перьях вокруг головы. Толпа народа — рабочих, солдат, девушек в платочках, в скромных шляпках, учащиеся — заполняла площадь. Народ толкался по непросохшей весенней грязи, хохотал, смеялся, переключался друг с другом, щелкал семечки под сплошной гул колоколов, под музыку каруселей и балалаек, под писк дудок, свистулков, тещиних языков.

И куда бы в этот день ни заходил Николай — всюду стояли столы с едой, с питьем, всюду сидели за ними полупьяные, сонные, ленивые люди.

По городу сновали «визитеры», передвигались от дома к дому на извозчиках, собственных выездах, пешком, везде поздравляли, выпивали и закусывали. И все это выглядело так, словно пир этот должен продолжаться вечно. Все ело, пило, плясало, все радовалось. Начинили зеленеть деревья в садах, трава на обочинах тротуаров — хоть день, да мой! Эх! Хоть часочек! И колокольни-великаны в золотых шапках уверяли своим трезвоном, что так и надо!

Чем выше поднималось солнце, чем круче громоздились в небе облака, тем шире развевался по тихому городу разгул. Уже пьяные валялись на каждом шагу. На окраинах города — в конце улиц Царевской, Власьевской, на Запрудне, на берегу Волги у мукомольной фабрики «Бр. Аристовых» — по мостовым валили толпы пьяных людей с песнями, с плясками под гармошку. Словно в этом празднике над русской землей плясал кто-то бражный, неумный, сутолокошный, хмельной.

Близился май, а с ним и переход из седьмого в восьмой — последний — класс гимназии, что заботило Николая, отодвигало острые впечатления и переживания ушедшей зимы. Весна усиливала его чувство к Вале. Однако того беспечного, звенящего молодого покоя, который он знал еще в прошлом году, не оставалось. Он уходил в чтение, в занятия, но то и другое быстро опостылевало и оставалось лишь одно средство — утишить нарастающую внутреннюю нетерпимую тревогу — шагать вечерами по улицам Костромы почти до полного изнеможения.

Иногда за две копейки он переезжал за Волгу на стареньком пароходе «Бычков», стремительно неся там вдоль березовой Екатерининской аллеи на вокзал — светливый, освещенный, нарядный своими майоликовыми лампами и восковыми цветами на столах, а там вышагивал дальше — по шпалам, между позванивающих, убегающих в бесконечность рельсов, под гуденье телеграфных проводов, за красные и зеленые огни выходных семафоров, словно чтобы встретить там какое-то несомненно приближающееся, но пока неизвестное будущее.

Майские вечера на линии, тонкие туманы в березовых перелесках, басовое гуденье майских жуков, бледное небо, перегороженное зарей и впрямь были полны обещающей, обнадеживающей силы. И когда в черных ольшанищах звучно пощелкивал, а потом заливался соловей, сердце переполнялось таким тревожным счастьем, что Николай не мог разобрать, где он сам, а где остальной мир с его прекрасным будущим.

После таких прогулок приходил мертвый сон, а утром снова в гимназию, причем оказывалось, что и гимназия не та, какой была еще вчера: юноши росли так же стремительно, как росла вся страна... Новые впечатления рождали новые мысли, те в свою очередь ставили вопросы, и Николай жадно ждал очередного кружка, чтобы там получить нужные ответы.

— Что же делать?

Очередной кружок собрался в квартирке Нины Ивановны, старой, очень популярной акушерки, которая первая и единственная в Костроме коротко стригла уже се-

дые волосы. Сидя между узенькой кроватью и шкафом, Соколов опять огласил листовку РСДРП, в которой говорилось, что Мукден пал, что потери наши достигают ста двадцати тысяч, что сто тысяч больных и раненых солдат осталось в Мукдене в плену, а также много пушек, оружия, боеприпасов, складов и что царские войска снова бегут на запад. И листовка спрашивала — долго ли еще будет продолжаться эта кровавая бойня и требовала решительно от лица русского народа и от лица японского народа прекращения войны.

И снова гремел призыв:

— Долой царя, виновника всех этих несчастий. Долой самодержавие!

Николай слушал эти негромко читаемые слова, а его душа загоралась огнем. Слова жгли, требовали дела...

Но в Костроме жизнь текла по-прежнему, под ее тихой поверхностью не видно было пока внутренних течений. И такие собрания исходили в страстных, молодых, взволнованных речах.

В первое после пасхи воскресенье Николай наконец собрался и заглянул к Прозоровым. Двери дома оказались не заперты, в маленьких комнатах со старинной мебелью было светло и уютно. Брекетовские часы отщелкивали маятником, на круглом столе в столовой кипел самовар, мать — старуха Прозорова, с ястребиным, прекрасно очерченным носом, зорко глянула на него из-за собранных чашек.

— Миш, а Миш! — прикрывая глаза рукою, крикнула она в ответ на приветствие Николая. — Должно, к тебе! Товарищ!

Михаил вышел в одной рубашке, в помочах.

— А, это ты! — крепко потянулся он всем телом. — Ну, голова, заходи! Чаю хочешь?

— Спасибо! — ответил Николай. — Нет.

— И то ладно! — ухмыльнулся тот. — Пойдем-ка, голова, в сад. Дело есть.

Через кухню они вышли во двор и, прыгая по грязи с камня на камень, добрались до калитки. Сад буйно цвел бело-розовой пеной яблонь и вишен, на высоких плакучих березах нежно зеленела молодая листва, сквозь цветы, сквозь листву синело небо, в нем витые, цветные главы соседней церкви Воскресенья, похожей на московского Василия Блаженного.

— Садись, голова, здесь! — сказал Михаил, опускаясь на подсохшую скамью и доставая папиросу. Николай сел, дышал во всю грудь.

— Вот, голова, — сказал Михаил, — какое письмо передали нам от сестры из Петербурга... Она там на Бестужевских... Я тебе прочту... Тут, брат, все ясно.

«Милый Миша, — читал он. — Ты, конечно, годишься сейчас переходить в восьмой класс, кончать гимназию. Однако на тебе, как на всех нас, на молодежи, лежит большая другая ответственность. Тебе известно, что делается в стране. Бездарное царское правительство губит ее. Нельзя оставаться равнодушным к этому, ты должен что-то делать. Что? — спросишь ты. Я отвечу тебе. Ты должен присматривать, подбирать товарищей — умных и надежных, которые понимают, что происходит, которым можно доверять. Жизнь-то идет так быстро, что того гляди, отстанешь от товарищей, останешься позади. Ты знаешь, Миша, наши основные положения?»

Подбирай парней смелых, решительных — таких, которые могут вести борьбу при помощи нашего метода...»

Михаил остановился, поглядывая на Николая.

— Здорово написано, голова? А? — спросил он.

— Что дальше?

— А ты согласен, что к революции нужно идти таким путем? Крестьянство-то самый многочисленный класс! Ну, а все остальное ясно!

— Дело не в числе! — отозвался Николай. — А про какой же это метод пишет твоя сестра?

Михаил в кружке у Соколова не занимался: ему не доверяли по броскости, по отчаянности его характера, по его дерзости, решительности, наконец, по непокорливости, недисциплинированности.

В ответ тот смело глянул в глаза Николаю, качнул лихим чубом на голове:

— Про какой? Ясно, голова, про какой! Про террор! — сказал он, понизив голос. — Как у Пугачева: «Руби столбы — заборы повалятся!» Крестьянская революция! Террор в широком масштабе... Сестра мне рассказывала, — шептал Михаил, — что будут действовать так... Могут захватить Государственный Совет целиком и заставить вынести нужное постановление... Вот план так план... Или так, что к какой-нибудь знатной персоне, вроде генерала Трепова, вдруг влетает во двор автомобиль,

гуженный динамитом... Момент — и никого нет... Все взорвано, весь дом... Дорога открыта для дальнейшей борьбы. Нету этого вредного рябчика. Свободно... Здорово, брат, а?

— Кому же дорога открыта?

Народу! Пусть строит свою свободную жизнь! Этого и добиваются социалисты-революционеры.

— Так это же анархизм! — потемнел Николай — перед ним вырос пьяный Наймушин со стаканом в руке. — Ломай все, чтобы в конце концов что-нибудь получилось! А что получится? Известно. Крестьянин получит землю, а кулак съест этого мелкого крестьянина. Тем все дело и кончится. Дело не в том только, чтобы сбросить самодержавие, а дело в том, чтобы взять власть в руки... С перспективой. А у вас какие же перспективы для социализма? Да никаких! Все пойдет само собой, что ли?

— Эге, да ты не в кружке ли у Соколова? — иронически поглядывая на Николая, отозвался Михаил. — Ишь, как режет!

— Нет, — отперся Николай.

— Да, слышал я стороной, что есть такой кружок... Эсдеки его ведут... Слышал?

— Нет, я просто читал кое-что по этому вопросу...

— Сестра настаивает, чтобы я подбирал ребят «подходящих», — говорил Михаил, просматривая конец письма. — А кого? Вот я с тобой и решил поговорить!

— Подбирай ребят! Подбирай ребят! — говорил Николай. — Да ведь как-то нужно разъяснить, в чем ваша программа!

— Террор и есть наша программа. Прямо к делу!

Николаю всегда нравился Михаил. Нравился своей силой, решительностью, откровенностью. В Соколове, в Марке, в Викторе много было чего-то слишком скрытного, осторожничанья. А тут — вся душа нараспашку. Николаю не хотелось огорчать Мишку прямым своим отказом.

— Я, брат, подумаю! — отвечал Николай. — Такие дела скоро не делаются.

Чтобы не нарушать приличий и не уйти не прощаясь, Николай вернулся в дом. Пришлось присесть за стол. Там уж сидели многочисленные гости — люди все, как на подбор, особого, крепкого, полнокровного склада. Едва ли могли бы с ними сговориться Соколов или Марк!.. На

синем триповом диване восседал отец Архип, священник от Кузьмы-Демьяна, румяный, полнолицый, с черной, как смоль, разбойничьей бородой. Золотой крест с цветными камнями тяжело лежал на его сиреневой муаровой рясе, приподнятой высоко раздавшимся животом. Рядом — его попадья, сутуловатая, сгорбленная уже, с отчетливым взглядом серых глаз из-под дуг высоких бровей. Пятеро черноглазых ребят окружали эту чету. Пришел еще розовый, тщательно вымытый, причесанный всегда волосок к волоску доктор Дримпельман, человек пожилой, уже полуседой, но такой душистый, такой ласковый, что весь город его звал: «доктор Костя». Должно быть, люди, как грибы, растут семьями: в одном месте мелкие рыжики, там — вялые подберезовики, там — широкие вальняжные грузди, а тут же подобралась сплошь ядреные, крепкие боровички.

За залитым солнцем столом ели с розовых с золотом тарелок. Отец Архип резал ветчину толстыми, аппетитными ломтями, намазывал густо горчицей и, отправив в рот, основательно жевал, потягивая себя то за одну, то за другую сторону бороды. Хозяйка неумоимо подливала гостям большие рюмки «озимовки» — ярко-зеленой водки, с осени настоенной на ржаной озими.

Говорила больше всех Архипова попадья. Она побывала на лекции популярного священника отца Григория Петрова, властителя дум тех дней, выступавшего в Костроме в Дворянском собрании и за свои либеральные речи уже заточенного церковным начальством в монастырь.

— Отец Григорий, — тараторила она, — говорил на лекции, что для здоровья полезно дышать через нос, а не через рот. Чтобы бактерии не попадали нехорошие... Правда, доктор? — отнеслась она к Дримпельману.

— Правда, правда, — с улыбкой кивал головой тот, разрезая душистый ломоть кулича на части.

Вся жизнь этих людей, должно быть, была похожа на вот такое же сытое, мерное чавканье священника, евшего много, вкусно, с сознанием полного своего права на еду. С сознанием своего права на многодетность. Своего права на покой. И вообще, если они все и хотели чего-либо, так это, наверное, прежде всего, чтобы все оставалось по-старому, чтобы им не мешали.

Это безмыслие, однако, было так противно, что Николай отказался от еды, проглотил голого чаю и распро-

шался. Какие люди! Крепкие! Беззаботные! Нет, надо искать людей по сердцу.

Но в душу вдруг пахнуло, как теплым ветром.

Сегодня вечером он уговорился с Валею кататься на лодке — вспомнил он.

Солнце золотым углем горело в бескрайнем разливе, со всех сторон окружившем розовыми разводьями Ипатьевский монастырь, когда Николай увидел Валею, подхлывшую к пристаньке, где сдавались на прокат лодки. И, садясь в дощатую шлюпку, с бьющимся сердцем подерживая девушку под крепкий локоть, он услышал — от нее пахнуло словно свежим яблоком. Какая она сильная! Как близки к его лицу темные завитки волос на крепкой белой шее! У Николая кружилась голова, и он пришел в себя только за веслами. Они плыли уже по самому стрежню.

С десятка белых шлюпок вокруг лились песни, а с соборных часов падал мелодичный перезвон.

Молнии нас озарили, —

бархатно пели на одной из шлюпок семинаристы, —

Мы на распутьи стоим...
Мертвые в мире почили,
Дело настало живым!

Николай видел только глаза Валеи, что сидела у руля и рассказывала о последних новостях в женской гимназии. Оказывается, там был тоже организован кружок самообразования. Когда же девушки собрались в первый раз и пришел Соколов, чтобы читать реферат, вдруг явилась эта синявка Вишницкая — кто-то, очевидно, проболтался — и разогнала девчонок. Вот тебе и позанимались! Ха-ха-ха! — смеялась добродушно Валея.

— Ну и что ж? — спрашивал Николай, любясь ее раздумывавшимся, оживленным лицом. Несложный разговор снова заключал в себе то, что горело одинаково в них обоих, пылало, жгло, будоражило их молодые души.

Потом Валея обстоятельно рассказывала Николаю о своем доме, о матери, о сестре. У них есть небольшое имение на Волге, под Кинешмой, на речке Мере.

— Сколько у нас сирени, Коля, сколько черемухи! Яблонь! Там теперь все бело кругом... И вы, Коля, непременно приедете к нам летом... Непременно, непременно!

Этот разговор носил уже другой, более интимный, бо-

лее обстоятельный характер — Валея хотела, чтобы он увидел их жизнь собственными глазами.

Волга текла расплавленным алым маслом, большая звезда стояла над закатом в высоком небе. Все переживания, впечатления отходили, сглаживались, Николай успокаивался, был готов раствориться в благодущии...

Стемнело, когда они вернулись к пристаньке, озаренной желтым фонарем, огни города мирно светились на горе... «Нет, неужели же так все плохо, как говорят Марк и Павел?» — подумал Николай, вытаскивая весла из уключин и бросая их на причальный плот.

Лодочник с рыжей бородой метелкой принял шлюпку, весла, уключины, из-за вымазанного смолой передника вытащил книжку, взглянул на ходики, мелькавшие коротким маятником в его будке, — сколько катались, долго считал монетки изуродованными вечным трудом пальцами.

— Покатался, баринóк? — вдруг хрипло спросил он у Николая.

Слово «баринóк» — фамильярное и уничижительное — сильно царапнуло Николая. «Баринóк! Почему? Разве мы чем-то разделены?» — думал он, провожая Валею до дому.

А завтра был рядовой, обычный уже день занятий в гимназии. Шли уроки, правда, с некоторым ослаблением, обычным в школах к концу учебного года. На большой перемене Николай отвел к классной доске Альбицкого, и они с ним горячо обсуждали, нельзя ли попытаться к самодельному штативу подзорной трубы Николая приспособить часовой механизм, который бы сам двигал трубу так, чтобы она не упускала из поля зрения перемещающихся с небом звезд.

Подошел неслышно Соколов и, смотря поверх пенсне, потряхнув прямыми волосами, зашептал:

— Сегодня в восемь вечера общая массовка. Идти по Мшанской улице... У церкви Богоотцов на углу будет патрульный... Техник! (так назывались в городе ученики Среднего технического училища имени Ф. В. Чижова). Спросите его: «Который час?» Ответит: «Скоро семь!» Спросите о здоровье... И тогда он укажет, как пройти... Важное! Приехал товарищ из Иваново-Вознесенска — товарищ Арсений. Будете?

И Альбицкий и Николай кивнули утвердительно, продолжая беседу.

Следующим уроком была физика. В дверях показался синий с золотыми пуговицами сюртук Василия Михайловича; семиклассники разлетелись, как воробьи, по своим партам. Зазвучал знакомый, чуть с гнусавинкой голос преподавателя, стук о стол его обручального кольца, означающий требование внимания...

Уходя из класса, Василий Михайлович подозвал к себе Николая, и, наклонившись к самому его носу с длинными ноздрями, откуда торчали черные и седые волоски, Николай услышал:

— Прокшин, придите сегодня вечером в восемь часов в физический кабинет. Поставим новые опыты. Приготовьте все после уроков, как мы говорили.

Таким образом на массовку Николай не попал. Деревья большого гимназического сада сливались с сумерками, когда Николай, наскоро перекусивши дома, подбегал снова к парадному крыльцу гимназии с Муравьевки. Влетев в темный вестибюль, он бросил шинель на руки дремавшего на стуле швейцара Афанасия, бородатого, с медалью на шее, оправляя куртку и, пригладив волосы, вошел в физический кабинет из «сборной».

— А я думал, — протянул Николаю руку Василий Михайлович, — что вы с барышнями гуляете-с!

И тоненько засмеялся:

— Хи-хи-хи!

— Василий Михайлович, я Бунзеновскую батарею давеча после уроков долго готовил. А с барышнями — не гуляю...

В азарте самозащиты он простодушно позабыл про Валу, — а то как бы он выговорил эту фразу?

— Ну-с, давайте, давайте... Не будем терять времени! Зажмите вот эти провода в клеммы катушки Румкорфа. Так-с! Правильно-с... Воспроизведем некоторые знаменитые опыты Герца!

Цикадой пронзительно свиристел прерыватель катушки Румкорфа, над катушкой между двумя никелированными шариками вспыхнула и повисла, извиваясь, зубчатая судорога голубовато-зеленой молнии.

— Очень хорошо-с! — сказал Василий Михайлович. — Закройте, пожалуйста, лампу!

Николай прикрывал керосиновую лампу черным экраном, и у него дрожали руки: он всегда волновался в физическом кабинете, чувствовал себя, словно загляды-

вал куда-то в тайны природы. Тут на шариках этих трепетала пойманная молния, та самая, которая летом грозно раздирала над Волгой лиловые тучи, грохотала пушечными ударами.

— Отлично! Дайте теперь трубки Гейслера!

Николай молча, быстро подавал их учителю, и тот включал их одну за одной в электрическое поле.

Присоединенные к катушке самых разнообразных форм трубки вспыхивали светящимися разноцветными газами.

Учитель выключил катушку. Настала тишина.

— Тэк-с! Теперь трубки Крукса. Вот ту... С камешками.

Николай подал стеклянную реторту.

— Сейчас мы увидим с вами свечение, или флуоресценцию, минералов под воздействием лучей, — говорил учитель, налаживая провода.

— Каких лучей, Василий Михайлович?

— Не-из-вест-ных! Вот каких! Да-с, молодой человек, неизвестных-с! Все дело в этом! Можно сказать, что мы-с с вами возмемся с этими явлениями и не понимаем, что в них происходит! И когда мы их поймем, мы, может быть, станем могущественны... Как могущественна природа... Могущественнее даже! Получим такие возможности, которых мы и представить себе не можем!

— Не можем?

— Потому что мы их еще не знаем-с!.. Представлять себе можно только то, что знаешь. А думать о неизвестном — значит фантазировать-с! Смотрите, смотрите!

Учитель и ученик, старик и юноша, смотрели зачарованные, что творилось в трубке. Кусочки разных минералов, такие невидные, невзрачные в свете лампы, теперь сияли рубиново-красным, небесно-голубым, изумрудно-зеленым, глубоко-синим светом — цветами чистейшего спектра, и по беленым стенам, по потолку физического кабинета от них бродили цветные тени.

Николай смотрел на своего учителя, как на волшебника, который так знает тайны природы, что может полизать из них такие чудесные явления! Пожалуй, и учитель-то выглядел сегодня не как всегда. Косматые брови у него были нахмурены, лицо сосредоточено, в кабинете носилось дыхание науки, той могущественной науки, которая может совершать еще более замечательные дела.

И все на основании законов — точных, твердых, неизменных.

Может быть, как раз эта точная наука и приведет человечество к радостной, к счастливой жизни?! К такой, в которой обыкновенные будни засветятся такими же чудесными красками, как серые камни? Без всяких этих рейдов автомобилей с динамитом? Учиться, учиться, чтобы узнать наконец эти законы полностью, чтобы овладеть ими! И может быть для него, для Николая, самый правильный путь впереди в жизни — это и есть путь науки?

А Василий Михайлович священнодействовал все дальше и дальше. От шариков катушки по кабинету протянулись две медные параллельные проволоки. Включена катушка, и снова забила, запела в них цикадой пленная молния. Василий Михайлович взял в руки медный круг, в который была включена маленькая электролампочка.

— Вот-с, смотрите, Прокшин, это уловитель-с! То, что мы с вами сейчас должны увидеть, — по существу необыкновенно, — нахмурясь выговорил учитель. — Оказывается, электрическая сила передается на расстояния и без проводов-с! Вот-с!

Василий Михайлович медленно повел уловитель над проводами, не касаясь их, и лампочка вспыхнула, засияла. По мере движения вперед она то вспыхивала, то затухала.

— Волны! Это волны-с! — взволнованно говорил Василий Михайлович и сам тоже будто сиял: он ведь тоже был в этот момент уловителем новых, еще неизвестных явлений. — Попов уже построил телеграф по этому принципу... Беспроволочный... И до чего дойдем в этом — мы и думать не можем... Учиться и учиться — вот прежде всего дело человечества. Наука — вот самое могущественное на земле!

Он помолчал, покачал головой, глядя на Николая:

— Да-с! А вот при ваших способностях, Прокшин, вы занимаетесь недостаточно усердно... Разбрасываетесь! Медалистом, к сожалению, не будете. Нет-с, не будете! Вы не можете сосредоточиться на чем-нибудь одном... Вы слишком своенравны! Независимы! Нельзя-с так... Вы и сами когда-нибудь увидите, поймете — нельзя! Надо работать сосредоточенно. Дисциплинированно! Над чем-нибудь одним!

Опыты кончились, Василий Михайлович надел огромного «енота», поставил воротник, бросил «до свиданья» и заскреб высокими кожаными калошами к выходу.

Николай остался, надо было прибрать батареи. Он постоял посреди комнаты, смотря на приборы, поблескивавшие за сплошными стеклами шкафов при свете шипевшей керосином лампы. Какая-то дорога чудилась ему. Дорога, уходившая в необозримую даль, где горят огни. Путь куда-то ровный, спокойный. Вроде железной дороги. Никаких споров — все ясно. Все доказано. Кто теперь посмеет спорить, что электрические лучи не распространяются вне металлических проводников? Нужно жить, работать по законам науки, и тогда никакого динамита не потребуется... А как они едят, Михайловы динамитчики! Николай снова услышал смачное чавканье отца Архипа, — им нужны больше всего эти окорока! Свое кровное... Свое собственное. Динамитом-то они других от своего отпугивают!

Николай прикрыл холстом налаженную аппаратуру, оделся в темной швейцарской, вышел. И опять над ним встало звездное небо во всем своем великолелии. Переливный зимний Сириус с Орионом уже заваливались за горизонт, еще выше вставал в красном блеске весенний Арктур.

Дома Федосья, ожесточенно гремя тарелками, живо собрала все к упрощенному ужину, как всегда бывало, когда отца не было дома, злобно сунула на стол сковороду с жареной гречневой кашей, кринку молока.

— Ты чего, мать, бушуешь? — строго спросила ее бабушка, глядя на ее исстрадавшееся лицо. — Опять с Васькой не поладила?

— Васька — Фенькин жених! — едва выговорил, набив кашей рот, Костя.

— Молчи, пашенок! — вскрикнула отчаянно Федосья и с срывчатым рыданьем, насунув платок коробком на лоб, выскочила на кухню.

— Эх, везде все одно и то же! — философски заметила бабушка, безнадежно махнув рукой. — Глупы вы еще, ребята! А бог даст подрастете — сами будете этак бушевать! Константин, подвинь мне молочка!

«Как это «одно и то же»? — думал Николай. — А сегодняшние опыты? Нет в науке волнений! Беспокойства!»

Мысль его быстро бросилась вперед и сразу же наткнулась на память:

«А разве не бывало этак, что именно за научные открытия, за показ правды люди шли на костер?»

И он сконфузился, что допустил такую прямолинейность мысли. Нет, думать следует осторожнее... Внимательнее...

— А Васька Феньку сегодня опять прибил! — выговорил задумчиво Костя. — Помнишь, бабушка, как Суворов Александру Дмитриевну! Ха-ха...

— Ешь ты, пузырь! — прикрикнула на него бабушка. — Помалкивай! Рот-то лучше перекрести... Туда же!

После ужина Николай сел за латинский — надо было сделать перевод из горациевой оды Криспу Саллюстию:

«У серебра, скрытого скупцом в землю, нет блеска!» — быстро разобрал он первую древнюю строку.

Это как с жизнью... Как завалена своими же отбросами эта самая жизнь... Деревянные домики ушли в землю. Завалены, забиты колокольным звоном... Молчат, а сколько там злобы! Сколько ярости! Бабушка вон недавно, хватив полбутылочки, клялась, что отравит погубительницу семьи горбатую Митревну. Колдунью! Какой уж там блеск у этаккой жизни! А ведь эта самая бабушка так чудесно умеет рассказывать сказки. Какие светлые слова она знает!

«И видит Иван-царевич зарево над лесом, ровно месяц встает!» — услышал он умиленно-напевный старушечий милый голос.

Встрянул от набегавших волнами мыслей, закончил перевод, разделся, дунул в лампу, лег.

У входных дверей скоро послышалась возня, очевидно, возвращался отец. Он шуршал за стенкой, вешая пальто, прошел в столовую, долго сморкался. Из-за притворенной в комнату бабушки двери мерцал красный свет, слышался шепот — старуха, должно быть, молилась.

Отец в темноте ощупью вошел в комнату сыновей, наклонился сперва к Косте, подошел к Николаю. Костя спал, Николай притворился спящим. Отец перекрестил и его и тоже наклонился, чтобы поцеловать. Опять пахло водкой, духами... Все то же!

Отец ушел, а Николай сжался под одеялом в комочек. Так стало ему жалко себя, брата, отца. Почему с ни-

ми нет матери? Почему она живет где-то далеко? Зачем? Поэтому и отец их занят той... Другой! Почему даже письма матери идут со штемпелем «почтовый вагон»? Куда же девалась мать? Где она после той сумасшедшей скандальной ночи? Почему она оставила в семье словно какое-то открытое окно, в которое несет таким сквозняком? А надо, чтобы семья была крепкой. Как стены Кремля...

Но ночной покой уже катился на него морским приливом, в теле нарастало ощущение возвращающихся сил, Николай мощно вытянулся во весь рост, и что-то хорошее, как музыка, загудело в нем. Валя! Валя! Разве можно было бы от нее уйти? В ушах заговорили голоса, в глазах поплыли люди, лица.

Два выстрела разорвали ночную тишь, ударили, могуте нагнетая воздух.

Один за одним.

— Раз!

— Раз!

Завыли, заголосили, забрехали собаки. Волна собачьего лая залила всю Нижнюю Дебрю, поднялась по Богословской и по Губернаторской горе, добежала до Русинной улицы и затихла где-то далеко, должно быть, у самого Покрова. Верные костромские псы пробили ночную тревогу, а вот колокольни молчали.

Николай медленно приподнялся на локоть, прислушался и опять опустил в сон, под жаркий шепот затихшей было и возобновившейся бабушкиной молитвы. Бабушка молилась, чтобы благополучна была эта маленькая, искалеченная семья на Нижней Дебре, чтобы миновали ее житейские бури.

Утреннее солнце так ярко, что даже толстые листья фикуса просвечивают, зеркалом блестит желтая клеенка на столе, чашки, стаканы, чищенный самовар.

Отхлебывая стоя горячий чай из стакана, разрывая и жуя французскую булку, Николай листал наскоро учебник истории:

— И на черта всех их знать, всех этих Людовиков пятнадцатых, восемнадцатых, а своего — не знать!..

Из двери просунулась Федосья, завязывая платок:

— Иди, там тебя товарищ спрашивает!

Николай вышел в сени, потом с рундука прыгнул прямо на доску, что лежала на земле поперек лужи. Грязь разлетелась в стороны.

— Пошел к черту! — пробасил Прозоров — это был он. — Пойдем куда-нибудь, поговорим... Дело есть!

— Сказывай, девушка, сказывай! — беззаботно отвечал Николай. Но, взглянув в лицо товарища, встревожился:

— Ты что такой? Что случилось?

— Ночью сегодня убили... Ваську Усова! — тонко, горлом сказал Прозоров. Губы у него прыгали, он отвернулся.

Какой-то ветер так и дунул прямо в лоб Николаю Прокшину, он даже покачулся.

— Что? Что ты говоришь? — схватил он товарища за рукав.

А у самого уже мышью мелькнула мысль, что вот Вася на днях обещал ему дать книгу Гюго «Собор Парижской Богоматери», а теперь, ясно, уже не даст. Никогда не даст! «Никогда» — это и есть смерть.

— А где он?

— Лежит в полицейском участке!

Михаил качнулся.

— Да с тобой-то что? — заботливо расспрашивал Николай. Он уже взял себя в руки и казался самому себе тверже товарища.

— Да не спал я... В участке был... Пойдем куда-нибудь, хоть на сеновал, расскажу...

Мерзлый воздух на сеновале был полон стрелками солнца, сквозь щелястые стены в них плавала радужная пыль.

Прозоров достал было папиросу, но спрятал обратно.

— Еще заронишь! — сказал он опасливо. — Не буду, не буду... Ну, вчера была массовка... Общая... Были у Нины Ивановны. У акушерки... Во дворе, на сеновале. Гимназисты, гимназистки, техники... Прошли мы через патрули, — ничего не было заметно... Говорил товарищ Арсений из Иванова, говорил о том, что нужно нам, учащимся, бастовать. Везде забастовки... Сидели мы долго, холодно, темно — один только фонарь горит... Вася слушал, слушал и шепчет мне: «Ладно, — говорит, — бастовать, так бастовать! Пусть, как решат... А пока пойдемка, — говорит, — тут недалеко есть портерная Дурдина...

Туда, — говорит, — гимназистов пускают... Выпьем пару пива — у меня двадцать копеек найдется!»

— Ну и что? — торопил Николай замолчавшего было Михаила.

— Только мы сели, — вваливаются двое городских и с ними эта рыжая сволочь... Пристав Слободской. Ну, с бородой. Вот, кричит, они! Гимназисты! Наверно, оттуда! Где, говорит, ваше собрание? Василий вскочил, раз ему по зубам, да бежать... И мне кричит: «Беги, — кричит, — беги!» Я не успел, меня схватили, он-то ближе к задней двери был — убежал... Меня в участок... Как и что... Где были? Нигде, говорю, не были, просто зашли с товарищем пива выпить... А потом, потом и приносят Васю...

Он помолчал, а затем продолжал:

— Оказывается, — полицейские потом говорили, — Вася-то убежал, побежал прямо к Волге, берегом... Мимо интендантских складов... Да набежал на часового... Тот — стой! Бежит! Тот и стал стрелять! Сразу убил!

Солнце из слухового окна теперь для Николая задернулось словно черной кисеей. Значит, не почудились ему сегодня ночью два выстрела... Тогда под собачий лай умирал Василий. Ярость и злоба пеной замутили душу.

— А кого еще арестовали?

— Многих... Как из сарая на улицу выходили — тут и хватали... Огородникова Серегу взяли, Анютку Матвееву — малинку. Да много... Целый участок навезли. Инспектора нашего, Алексея Семеныча, вызвали, начальницу женской... Родители прибежали... Переписали всех...

— И выпустили?

— Ну, утром уже...

— Ну, надо все-таки в гимназию! Пойдем?

— Отец твой ушел?

— Кажется... Идем. Я только оденусь. Ранец возьму.

Ты не спавши?

— Не до сна, голова!

Но Федор Петрович не ушел. Когда оба приятеля подбегали к шерботой лестнице, он как раз осторожно спускался с нее.

— Здравствуйте, молодые люди! — сказал он солидно, останавливаясь, чтобы зажечь погаснувшую папиросу. — Откуда вы это? Судя по сему на вас — с сеновала? Что вы там делали? Опять революцию?

Михаил, опустив голову, молчал, Николай подскочил к отцу:

— Папа! — выкрикнул он, не помня себя. — Папа! Пойми! Сегодня ночью негодяй солдат застрелил Васю! Усова!

Отец оторвался от папироски.

— Что за вздор?

— Нет, не вздор! Убил... Васю... — почти кричал Николай. — Наши собрались на сеновале, обсуждали свои вопросы... И за это—убил! Ну, что ж ты теперь скажешь, господин статский советник?

— Ничего я, Коля, не скажу... Ты слишком взволнован. Надо успокоиться! Не повторяй листовок!

— Листовок! Да тут скоро за оружие возьмешься! — пробормотал Николай и бросился в дом. Отец молча посмотрел ему вслед, потом на Прозорова, покачал головой и двинулся к воротам, поблескивая своей стальной тростью из Златоуста, с вывертом ступая блестящими калошами.

Прозоров и Прокшин бежали в гимназию. «Бастовать! — думал Николай. — Объявить протест! Мстить и мстить... И кто убьет? Василий! Такой хороший товарищ! Такой веселый. Всегда трунивший над горячностью своих друзей. Такой музыкант!»

Оба они, не разбирая луж, куч песка, мчались по Муравьевке, и от бега раздувались их незастегнутые шинели.

— Эй, Прокшин!

Кто в пальто, а кто и без пальто — навстречу неслись Писемский и Альбицкий, за ними другие. В щегольской широкой фуражке мерно вышагивал Корольков, обладатель больших черных усов, против которых протестовала вся гимназическая администрация, но ничего не могла поделать.

— Николай, ты слышал? — кричал Писемский. — Фараоны убили Василия! Идем! Айда в участок. К нему!

— Эх! — спохватился Николай. — Туда бы и бежать сразу! Как это я не догадался...

Полицейский участок был недалеко—на Никольской. Помещался он в старинном здании, где на улицу глядели шесть ампирных окон с веночками над ними. Два окна были заложены почти наглухо, остались лишь небольшие просветы, забранные решетками; у лестницы, ведущей на высокое крыльцо, стояло несколько здоровых городских,

в несокрушимых сапогах с резиновыми калошами, с оранжевыми шнурами и с номерными бляхами на груди. Николай вспомнил: раз зимой покойный Вася, проходя с ним мимо этого участка, взглянул на городских на лестнице и бросил, блеснув по обыкновению глазами:

— Как раз, — как, помнишь, в сне Иакова, ну, в законе божьем. Ангелы восходят и нисходят по небесной лестнице...

У лестницы стояли уже толпой гимназисты, подбежали со всех сторон. Горько плачущая девочка сидела на низкой ступеньке, и пшеничные косы ее дрожали от рыданий. То была Леля Баскакова — «пассия» Василия.

Прошло немного времени, и накопившаяся молодежь вдруг сразу, не сговариваясь, двинулась вперед, на лестницу, в участок. Во всех полицейских участках бывшей Российской империи стоял всегда один, словно начальством установленный, специфический запах — смесь прелых сапог и портянок, черного хлеба, махорки и еще чего-то, невыразимо казенного и векового. В большом помещении в три окна, в углу, головой под иконой богоматери с горящей синей лампадой на лавке, жутко вытянувшись, лежал труп, покрытый мешковиной с красным клеймом «Высший размол бр. Аристовых». Прямо со стены смотрел на эту мешковину его императорское величество, государь самодержец Николай Второй, император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая.

Кто-то посмелей других откинул дерюгу, и все увидели Васю. Глаза были спокойно закрыты, брови чуть удивленно приподняты, казалось, вот-вот он откроет глаза и улыбнется. И только севшая на правое нечуткое веко муха доказывала воочию, что он, Василий Усов, воспитанник седьмого класса Костромской Классической Гимназии, — убит.

Юноши и девушки толкались около него стайкой, то подходя, то отходя, не зная, что делать, что предпринять, растерянные, обиженные, оставленные, покинутые своими старшими, предоставленные самим себе.

Старшие-то ведь не смели вмешиваться в это «мокрое» дело — оно было делом «государственной важности». И тут же сидел собственной своей персоной мастер этих «государственных дел» рыжебородый пристав Слободской, строча что-то у стола.

Вдруг толпа зашевелилась, раздвинулась, вперед вышел Соколов, снял решительно синюю фуражку, поправил пенсне.

— Товарищи! — начал он.

Рыжий пристав, как на пружине, повернулся всем телом к гимназистам, уставился на оратора.

— Товарищи! — продолжал Соколов. — Вот перед вами еще одна жертва тиранического самодержавного режима в нашей изнемогающей России, — злобствующего, насильнического... Товарищи!..

Пристав Слободской, вскочив, хватал его за рукав:

— Молодой человек! — зашипел он. — Извольте-с прекратить вашу агитацию-с! Или я задержу вас!

— Вы тоже убить меня хотите? — презрительно спросил Соколов.

И крикнул, покраснев:

— Царский палач!

— Сапогов! — заревел пристав. — Сапогов! Взять его! Остальным — очистить помещение. Жива! Ну, вон! Вон!

— Позвольте! Вы не имеете права! — кричали и Николай и еще кто-то около него и сзади него. — Убитый — наш товарищ! Что же это, и проститься с покойником не дают! А убивают!

Вы жертвою пали в борьбе роковой, —
затянул тоненький девичий голосок, —
Любви беззаветной к народу...

Похоронный марш был подхвачен. Но на поющую толпу стала наступать плотная шеренга широкоплечих, уса-тых городских, оттесняя гимназистов к выходу. Сбравшиеся быстро оказались на улице и с пением пошли по Русиной улице.

Прощайте же, братья, вы честно прошли
Ваш доблестный путь благородный! —

пели они, а прохожие останавливались на тротуарах и крестились.

В участке остался один Соколов.

Когда Николай и другие добрались до гимназии, там уже шли уроки. В седьмом классе с немногими оказавшимися там юношами занимался преподаватель греческого языка Николай Васильевич Мурашев, шуплый человек, всегда в темных очках, за что гимназисты звали его «Бе-

ликовым» и «Антропосом». Перегнув пополам книжку Гомера в тейбнеровском издании, он как ни в чем не бывало расхаживал по классу, переводил очередной текст, сопровождая комментариями, которых по обыкновению никто не слушал. Николай проскочил на заднюю парту, где собрались Альбицкий, Стоюнин и другие. Место Усова жутко пустовало.

— Господа! Соколова задержали в участке! — шептал Николай. — Что-то надо делать! Идти к директору? Пусть принимает меры! Должны же нас, учащих, защищать!

— Ты, Николай, сегодня говоришь — ну точно директор! — отозвался Марк Погребецкий. И хмыкнул. — «Господа!» — передразнил он. — «Мы, учащиеся!» Не как учащиеся должны мы выступать, а как граждане... Иначе это ни к чему не поведет!

У Прокшина кружилась голова: смерть друга стояла перед глазами. Нужно сегодня же созвать большую сходку в сборной. Выступить с речами... Как Антоний над убитым Цезарем!

Во время поднявшихся дебатов с треском распахнулась стеклянная дверь. Вошел Соколов и шел через класс, не снимая фуражки.

Мурашев задержал свое скучное мотанье по классу и удивленно воззрился на Соколова.

— Соколов Павел! — раздался его писклявый голосок. — Откуда это вы? И почему вы в фуражке?

— Я из-под ареста! — бросил ему Соколов через плечо. — Меня задержали палачи!

— Какие палачи?

— Царские палачи! И только люди в футлярах, только Беликовы не знают этого. Сегодня ночью убит Вася Усов. Вы — антропос, больше ничего!

— Я знаю, что Усов убит. Я очень жалею об этом! — вскричал обиженно Мурашев. — Усов лучше вас всех понимал греческие конструкции. Но как вы смеее разговаривать со мной таким тоном? Вы — мальчишка! Дерзкий мальчишка!

Класс угрюмо загудел:

— Мальчишка? Это уж слишком! Извиниться, извиниться должен Николай Васильевич!

А Мурашев был в истерике.

— Вы не учитесь! Вы ничего не знаете! Вы невежест-

венны! Необразованны! Вы не классики... Вы ничего не читаете, кроме политических брошюр! Только моя любовь к вам, к молодым мальчикам, позволяет мне сожалеть о вас, видеть и понимать ваше глубочайшее невежество! И жалеть вас!

Корольков, не спеша, поправляя черные усы, приподнял свой зад над скамейкой парты.

— Николай Васильевич! — раздался его бархатный, барский голос. — А как по-гречески будет «любовь к мальчикам»?

— Вон из класса! — затопал ногами Мурашев. — Сию минуту вон! Вон!

— Я не могу уйти! — отвечал с наглым достоинством Корольков. — Я должен именно здесь получать и усваивать преподаваемые классические знания!

— Тогда я уйду! — кричал Мурашев. Схватив классный журнал, он треснул им о стол: — Сволочи! — выкрикнул он и выскочил из класса.

Класс гудел встревоженным ульем. Нет, дело уже зашло слишком далеко. Пусть вопрос Королькова — возмутителен, но ведь обзывать весь класс сволочью никак недопустимо. Или так все наши преподаватели думают о нас, о своих учениках?

Николай отошел к раскрытому окну, засунул руки в карманы. В зазеленевшем саду на высоких березах и вязах уже ремонтировали свои прошлогодние гнезда грачи... Из-за деревьев подымались усыпанные золотыми звездами синие купола церкви Всех Святых. Гладкая Волга отражала в себе крутые облака, заволжские дали дрожали от струившегося теплого марева. Ах, Василий, Василий! Что бы ты сказал, как бы ты пошутил над этой кутерьмой в нашем классе?

Тишина заставила Николая обернуться.

Возложив на стол круглый, усеянный золотыми пуговицами живот, упираясь в столешницу костяшками пальцев, стоял и молча смотрел на класс инспектор Алексей Семеныч.

— Господа! — вымолвил он наконец, наклонив на один бок голову. — Господа! — он наклонил ее на другой бок. — Ах, господа! Вы так нарушаете правила общественного приличия, что будто вы не образованные люди, стоящие накануне получения аттестата о вашей духовной зрелости! Я понимаю ваши чувства, господа, по по-

воду гибели Усова Василия. Это потрясло и меня! Иначе и быть не могло. Но мы, господа, должны реагировать лишь в рамках полной законности. И мы предприняли с нашей стороны все, что возможно... Господин директор дал уже телеграмму госпоже Усовой, чтобы она приехала взять тело для христианского погребения, и выразил ей полнейшее наше соболезнование. Несомненно, мы вместе с военными властями тщательно обследуем все обстоятельства этого печального дела. Но вы, конечно, понимаете, что инцидент носит характер политический, что обостряет положение. Вы как сознательные граждане должны понять, что часовой стоял на посту и, следовательно, должен был выполнять свой долг так, как требует у него присяга богу, царю и отечеству! Он был обязан охранять государственный порядок!

Алексей Семеныч налег на слово «государственный», придав ему торжественный, несколько мрачный оттенок.

— И в этом именно случае мы здесь почти бессильны что-либо предпринять. Наша область — такое ваше воспитание, чтобы вы понимали, что значит государственный порядок. Но сам-то этот порядок — не в нашей компетенции...

И замелькали, пошли в ход все эти и «по мере того как»... «таким образом, выходя из вышеизложенного»... «принимая во внимание вышесказанное» и так далее. От тяжелых чиновничьих оборотов на класс полилось что-то скучное, успокаивающее, словно масло на бушующее море.

— Вы понимаете, — продолжал инспектор, — что ни одна школьная администрация не может пройти мимо того, что сказал один из вас, а именно господин Корольков вашему преподавателю господину Мурашеву. И мне приходится прежде всего просить господина Королькова принести извинения перед его наставником. Недопустимо равным образом и тот тон, которым разговаривал в классе господин Соколов. Он тоже обязан извиниться перед Николаем Васильевичем.

Соколов, сидя на своем месте, скрестил руки на груди, откинул голову.

— Ни в коем случае! — демонстративно заявил он. — Не могу.

Конфликт явно слишком углублялся, и Алексей Семенович счел нужным принять более примирительный тон.

— Нужно все-таки искать выход из создавшегося положения, — говорил он, — поскольку это все в связи с предыдущим может привести к очень неблагоприятным последствиям для некоторых из наших воспитанников...

Класс гудел, но в этом гуле уже не было прежнего напряжения. Да, пожалуй, необходимо извиниться перед Мурашевым, но и Николай-то Васильевич должен понять, что должен тоже извиниться перед классом.

Корольков снова приподнял на вершок свой зад с парты и, пощипывая усы, невозмутимо, не спеша выговорил:

— Что ж, я, э-э, пожалуй, готов принести мои извинения Николаю Васильевичу... Прошу меня простить...

И сел, не моргнув глазом.

Но вот загремел спасительный звонок, и в класс ворвалось обычное, всегдашнее. Пришла напудренная заплаканная вдова Мясникова, у которой жил на хлебах покойный Вася. Гимназисты обступили ее кругом, словно молодые сатиры дебелую нимфу, и вразнобой передавали ей подробности вчерашней трагедии.

В большую, почти часовую перемену, Николай ушел на Муравьевку. Кострома — в который раз! — развертывалась перед ним со своими приземистыми зелеными, серыми, коричневыми домами, садами, церквями, уступами падая все ниже и ниже к Волге. Такая же самая, какая она была и вчера и пятьсот лет тому назад.

И все же сегодня она стала другой, на ней оказалась какая-то новая зарубка, след времени. И эту зарубку сделала смерть Василия. В своей молодой жизни Николай видел не раз покойников, но это все были или старики, которым была уже «пора», как жестоко говорили более молодые люди, потому что они уже «чужой век заедали», либо тяжелобольные, которые наконец «отмучивались» и уходили куда-то из тяжелой жизни. Но уход из жизни юноши, полного сил и надежд, уход, когда смерть, казалось, не имела на него никакого права, — было другим делом. Это не он умирал, нет — его выгоняли из жизни другие, убивали его своей волей, своей пулей. И жестокость этой смерти, причиной которой была государственная организация, то есть организация известного людского порядка — никак и ничем не могла быть оправдана.

Николай сидел на дальней скамейке, подставив солнцу плечи, половину лица, как вдруг заметил — в своей длин-

ной шинели приближался Марк Погребецкий. Николай встал и пошел в гимназию: было противно принимать участие опять в разборе какой-нибудь «запутанной конструкции»... Когда в дело вмешивается смерть, дело становится слишком серьезным.

Подходя к гимназическому парадному крыльцу, прикрытому издавна почему-то розовым тамбуром, Николай увидал, как к подъезду подкатила, стуча железными шинами, большая коляска с солдатом на козлах. В коляске сидел грузный седой офицер, с большими усами с подусниками, с решительным выражением мясистого красного лица, в светло-серой шинели с золотыми погонами.

Это был командир Рославльского полка, часовой которого застрелил Василия, он ехал для объяснения с директором. Полковник быстро поднялся в коляске, накренившейся набок, и энергично шагнул на кирпичный тротуар.

Не прошло и двадцати минут, как Николай, пробегая по галерее над лестницей, увидал, как их высокий, сутуловатый, важный директор Сергей Павлович, волоча вывернутые, в мягких штиблетах ноги, идет по галерее вместе с полковником. Директор ласково придерживал его за талию, кивал приветно головой, что-то говоря ему в малиновое ухо, набитое седой шерстью, а бычья шея у полковника была вся в складках и морщинах.

Это было очень страшно.

Два старика решали — как им оправдаться в смерти юноши. И что могло бы спасти других юношей от того же самого?

Глава седьмая

ВЕСЕННИЙ МЕСЯЦ МАИ

В те далекие годы в северных русских губерниях — Костромской, Вологодской, Вятской, Архангельской — часто горели неохраемые леса. Небо желтело, бурело, краснело солнце, воздух пах гарью. Это означало, что шел «низовой» пожар, горели миллионы пудов торфа.

Сперва чернолесье — ольшаники, осинники, березняки — помалу роняет бурющую листву, тянется сизый дымок, стелется среди высоких деревьев, прорезанный косыми столбами солнечного света, курится над кустарниками. Подсыхают зелено-серебристые мшаники, не-

расти больше и немудрящим наливным ягодкам на мирную потребу лесным зверью и птице. Под ними ползет, роет огненные пещеры, набирает силу тот самый солнечный жар, который веками по крохам вобрали в себя эти дерева, кустарники, мхи скудных северных пород.

А за длинные дни северного лета высокое солнце тоже сушит живую хвою, листву, валежник, самые деревья. И низовой тихий огонь кой-где уже вспыхивает, зацветает алыми цветами на косогорах, под иссохшим кочкарником в болотинах — только бы ему добраться до мертвого сухого великана, обвешанного белым мхом!

А когда наконец доберется, разом взвивается во весь мах, прямо на вершину клубом скачет свистящее, гудящее, тугое пламя. Рушится вся лесная тишина, рев, треск, гул пламени и огненного ветра слышны теперь за версты кругом: красными белками прыгает, летит огонь по вершинам дерев, зажигая их, — лесной пожар идет теперь «верхом».

Хлопотали тогдашние власти — становые, урядники, стражники, — сгоняли народ, чтобы копать спасительные канавы, охватывать огонь, зажигать бы встречные «нарошние» пожары, чтобы, столкнувшись, два пожара гасили один другой. Да не в характере русского человека противиться стихиям: он с ними, за них! «Э-э-эх, сила-то какая, мать честная!» — говорит он, и сам, копая без охоты канаву, любит палящим огненным половодьем, великим освобождением ревушей солнечной силы.

Целыми веками тлели в России силы революции таким тихим подземным огнем, выбрасываясь то там, то тут в крестьянских восстаниях, в рабочих волнениях, курясь синим дымком интеллигентских шепотных мечтаний. В тяжчайшие годы своей истории русский народ никогда не был рабом, всегда сознавал свою солнечную силу, хотя веками гнули его под свои ярма то баскаки Золотой Орды, то закрепляли его за собой на вотчинных полях толстые бородатые бояре, то тещие, бритые голштинские выходцы окружали, опутывали его своими хитрыми канавами. Были прустны его песни, потому что пел он, думая лишь о потерянной, скрытой свободе...

В девятьсот пятом — тихий низовой пожар, вымахнув на сопках Маньчжурии из-под земли, пошел, повалил по Руси в открытую, верхом, требуя себе по праву простора для своей бурной, солнечной породы.

В девятьсот пятом огонь народного гнева, подожженный дальневосточной авантюрой в Маньчжурии, шаял, вспыхивал, рвался всюду — во всех слоях, сословиях, классах России. Все останавливало работу, говорило, вопило, требовало:

— Долой самодержавие!

И застрельщиком в этом по размаху первом в истории мира движении нарастающих народных масс шел молодой русский рабочий класс. Рабочие забастовки показывали миру, кто настоящий хозяин труда, а стало быть и культуры и государства. Зарево верхового русского пожара вставало над миром зарей грядущей эры человечества.

Из старых пожелтевших газетных листов мы видим и то, как бросались тогдашние государственные урядники, становые и другие стражники окапывать те места, где вырывался народный огонь. Бездарный старый строй, после кровавого воскресенья девятого января, очевидно, не собирався сдавать своих позиций, вовсю шелкал своими волчьими зубами.

13 февраля девятьсот пятого в Царском Селе царем был дан рескрипт на имя графа А. П. Игнатьева. На этого прославленного своей «твердостью» администратора царем возложено было поручение — разработать в срочном порядке проект о повышении полномочий правительственных органов, коими... «...ограждались бы потребности государственной безопасности». Самодержавие подымалось на открытую схватку с растущим народным движением.

Через пять дней после рескрипта на имя графа Игнатьева из того же Царского Села, где под усиленной охраной отсиживался император, последовал «высочайший манифест», адресованный «ко всем верным Нашим подданным». Манифест этот в длинном своем тексте, писанном архаическим языком, указывал, не обинуясь, что «... злоумышленные вожди мятежного (читай — революционного) движения, дерзновенно посягают на освященные церковью и утвержденные законами основные устои государства Российского, полагая... разрушить существующий государственный строй и вместо оного — учредить новое управление страной»...

В том же феврале буржуазные газеты прямо указы-

вают — кто же этот «внутренний враг» и крамольник, печатая, например, такое:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вследствие происшедших 1 и 2 сего февраля на наших заводах стачек рабочих, — всем рабочим объявляется расчет, и производство прекращается.

Правление Т-ва Русско-Американской Резиновой Мануфактуры.

Вместо того чтобы потребовать к ответу самодержавие, повинное в навалившихся великих бедствиях, русская говорливая либеральная интеллигенция на банкетах «эпохи доверия» расшаркивалась перед царем и министрами, ожидала спасительных указаний «с высоты престола», а ее родная сестра, русская буржуазия, потребовала к ответу рабочих и за их патриотические выступления начала выкидывать их тысячами на улицу. У интеллигенции нашлись и публицисты, бесстыдно доказывавшие безнравственность этой рабочей борьбы.

Газета «Новое Время» обратилась к рабочим страны со статьей, в которой писала:

«При повышении заработной платы рабочим, вследствие забастовок, возможно, что некоторое короткое время фабрика могла бы работать без убытка для работодателя, но долго так дело идти не может. Фабричная промышленность стоит на акциях, то есть работает на капитал, в который вложили деньги много небогатых людей. Если повысить рабочим плату, — доказывала эта статья, — то этот капитал доставит меньше дохода тем, кто доверил ему свои деньги, что недопустимо»...

Однако этого красноречивому публицисту было мало.

«Если при этом забастовки совпадают с наличием у фабриканта большого заказа к сроку, — продолжала газета, — то со стороны рабочих пользоваться этим средством борьбы — безнравственно, неблагоприятно и бесчеловечно».

Манифест 18 февраля, таким образом, обозначил врага, капиталисты его указали. Теперь нужны были и кадры для борьбы с этим врагом. Манифест 18 февраля призвал поднять на борьбу все внутренние темные силы страны.

«...Бог, испытав наше терпение, благословит наше оружие успехом, — утверждал манифест и продолжал: — Мы призываем всех благомыслящих людей всех сословий и состояний соединиться в дружном содействии нам словом и делом в святом и великом подвиге одоления упорного врага внешнего, в искоренении в земле нашей крамолы и в... противодействии смуте внутренней... к вящему укреплению истинного самодержавия».

Этим призывом манифест делал ловкий двойной ход.

Во-первых, пытался поддержать в народе ложную надежду на «успехи нашего оружия», что должно было в известной мере ободрить еще колеблющихся в вере в самодержавие.

И, во-вторых, воодушевить всех реакционеров, тем самым готовя гражданскую войну. И, как грибы после дождя, после этого манифеста начали возникать искусственно монархические организации, коих раньше и в помине не было, как-то: «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела» и другие. Одновременно либеральная и буржуазная пресса стала усиленно распространять известия о близком окончании войны между Россией и Японией, очевидно, с целью ослабления напряжения в стране, хотя публикуемые тогда предварительные условия мира были жестоки. Японцы требовали:

— Кроме того, что Россия должна навсегда оставить Маньчжурию, она в течение 25 лет не имела права держать военный флот на Тихом океане. Крепость Владивосток должна быть скрыта, самый порт нейтрализован, то есть отдан под международный контроль.

Наконец Россия должна была уплатить Японии военную контрибуцию в пять миллиардов золотых франков.

— Но на какие же военные успехи надеялись авторы этого манифеста? — спросит читатель.

Еще осенью 1904 года, 10 октября, за несколько месяцев до падения Порт-Артура, после долгих и шумных, обуждаемых всеми газетами, приготовлений из порта Либавы отплыла на Дальний Восток русская армада военных кораблей — двинулись одна за другой три эскадры. Эскадры шли сперва Атлантическим океаном, затем в большей своей части принуждены были огибать вокруг мыса Доброй Надежды, другие же своей меньшей частью проходили Суэцким каналом, чтобы затем идти бурным Индий-

ским океаном, направляясь в еще более грозный Тихий океан.

Плыть вообще мало плававшим русским кораблям пришлось по дороге, давно уже обжитой империалистами всех национальностей, а главным образом англичанами, которые были в союзе с Японией. Легко представить себе, какие трудности приходилось испытывать русским морякам.

«Сотни миллионов рублей были затрачены на спешную отpravку балтийской эскадры, — писал тогда из Женевы В. И. Ленин. — С бору да с сосенки собран экипаж, наскоро закончены последние приготовления военных судов к плаванию, увеличено число этих судов посредством добавления к новым и сильным броненосцам старых «сундуков». Великая армада, — такая же громадная, такая же громоздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся Российская Империя, — двинулась в путь, расходуя бесценные деньги на уголь, на содержание, вызывая общие насмешки Европы».

Русские корабли на этом длинном пути, где хозяйничали англичане, были вынуждены снабжаться водой и углем не в портах, а в открытом море, под свежим ветром... Одним словом — старым и цивилизованным миром было сделано все, чтобы всеми возможными способами ослабить русскую армаду.

А между тем вот эти самые «самотопы», как называли деды эти корабли, и были царским козырным тузом в кровавой игре на Дальнем Востоке. Это именно они должны были обеспечить победу. Эти «самотопы» должны были и Порт-Артур отобрать, и занять порт Дальний, и прервать морские коммуникации между Японией и Маньчжурией, словом — выполнить то, чего не могли сделать ни погибший Тихоокеанский флот, ни Стессель, ни Куропаткин, ни, наконец, Линевиц, в феврале назначенный командующим армиями на Дальнем Востоке.

Как ни смешно, а не мало было горячих доказательств, что такой козырной туз «не пронесет». С печальной улыбкой приходится читать теперь в газетах, как в те дни командир миноносца «Решительный» лейтенант Рошачковский, прорвавшийся перед самой сдачей из осажденного Порт-Артура, вернувшись в Петербург, выступает с «вонким интервью на страницах того же «Нового Времени», где утверждает:

«Я уверен, что адмирал Рожественский разобьет японскую эскадру, сойдясь с нею на близком расстоянии. Ослепленные своей удачей японцы не выдержат близкого боя, успех которого дается не числом кораблей, а смелостью и отважностью команды и духом моряков. Это не мои слова, — прибавляет лейтенант Рошачковский, — так учит история, вспомните хотя бы Нельсона...»

И сейчас интересно следить по желтым от времени страницам газет тех далеких дней, по этим коротким телеграммам с фантастически чужими именами городов, портов, заливов, отдельных маяков, как и где, в невозможных трудных условиях, плыли на восток эти эскадры адмиралов Рожественского, Небогатова, Фелькерзама. Теперь это только холодная история. Прошлое. А тогда, не переводя дыхания, за этим плаванием следила вся страна, — следила, как брели на свою Голгофу обреченные на гибель, на плен корабли, в большинстве с изработавшимися механизмами, со слабой броней, с устарелой, частью стрелявшей еще дымным порохом артиллерией.

И вместе с тем на эти корабли были возложены надежды всей правящей России, которая всегда слепо была убеждена в силе, в удаче своего оружия. Вместе с ними вся народная Россия подходила к тому историческому распутью, откуда уже путь лег прямо в революцию.

Где-то в морских просторах, дымя черным дымом, бесконечными океанами шли эти корабли, все время по всей стране вызывая тревожные вопросы: «Да где же они?» — «Скоро ли наконец победа?» Русские газеты как-то в числе других сообщений перепечатали сообщение юркого французского корреспондента Гастона Леру, будто бы русский император, не выдержав этой неизвестности, запросил адмирала Рожественского:

— Где же вы, адмирал?

И тот будто бы отвечал:

— Я прячусь, ваше величество!

Такую телеграмму вслух прочитал в «Русском Слове» Федор Петрович Прокшин, мирно сидя всей семьей за вечерним чаем, вслед за сообщением, что 10 мая повешен убийца великого князя Сергея Александровича — Каляев.

Он остановился, положил газету и, сняв пенсне, про-

тер глаза и вдруг залился тоненьким, самодовольным смехом:

— Ха-ха-ха! Вот здорово! «Где вы, адмирал?» А адмирал-то, а? «Ваше величество, я прячусь!» Тю-тю! Тю-тю! Хха-ха! Замечательно!

Он улыбался, снова и снова просматривая газету, но, очевидно, думал все о том же. Потом опять значительно выглянул из-за серого листа.

— Уж если сам император не знает, где его эскадра, то где знать япошам! — уважительно сказал он.

И снова взялся за газету.

Был вечер 13 мая. Окна столовой были открыты, с улицы несся треск извозчичьих пролетов, голоса. Мимо окон то и дело мелькали головы прохожих. Бабушка сидела за самоваром, Костя уплетал бублики с маслом. Николай смотрел в книгу, но не читал ее.

«Чего это так смеется отец? — думал он. — Странно... Тут смерть Каляева, а там — идут на смерть наши... Что чувствуют они теперь в океане, на кораблях, неизвестно где? Им-то не до смеха... Неужели же проскочат мимо японцев? Мимо англичан? Отец верит, как ребенок... А как можно верить, когда столько было неудач? Один Порт-Артур чего стоит!»

— Бомм! — донеслось звучно и широко.

— Звонят! — вдруг, опуская блюдце на стол и крестясь, сказала бабушка. — Да какой же это завтра праздник?

Отец выглянул из-за газеты.

— Царский день, мама! — значительно выговорил он. — Коронация! Как вы не помните! Четырнадцатое мая!

И он приподнял большую эмалированную кружку с орлом и вензелями царя и царицы, из которой всегда пил чай. Коронационную.

— Вот она! Память! — сказал он. — Девять лет! И как это я только тогда жив остался, когда этот царский подарок доставал!

Отец очень любил повторять рассказы свои о пышном празднике коронации, которую он в 1896 году видел «вот так» — выставлял он ладонь перед собой. Из отцовских этих рассказов доходила до ребят торжественность тех дней, кремлевские колокола, дым и гром пушек на набережной Москвы-реки, торжественное шествие в тот погожий майский день царских вельмож с самоцветными ре-

галиями в Успенский собор с золотыми куполами, Кремль, подновленный, помолодевший, вечером блестяще иллюминированный цветными фонариками... Это было самое розовое, золотое утро венчания на царство.

А на другой же день солнце первого дня этого царствования померкло в зловещих тучах.

На Ходынском поле, в бесчисленных толпах москвичей произошла жестокая давка из-за «царских» подарков, из-за этих кружек погибли тысячи народа... Или и царствованию этому суждено быть последним?

— Николай, ты завтра куда пойдешь к обедне? — пробурчал отец в газету.

— Завтра парад на площади. Наш и восьмой классы должны явиться! — хмуро отозвался Николай.

— Маршировать, значит, будете? — поддразнил отец. — Та-ак-с!

На другой день около полудня голубое майское утро было полно трезвоном, перезвоном, треньканьем, гулом градокостромских колоколов, блистали соборные купола, над ними плыли облака, мелькали голуби... Под зеленью липовых аллей старого бульвара публика спешила из собора после обедни на парад. Дамы и девушки были в весенних платьях, в соломенных шляпках с маками, незабудками, с ромашками — тоненькие и веселые, полные и солидные, смеялись, щебетали. Разноцветились околышами фуражки чиновников и дворян над красными, бледными, желтыми лицами, на фуражках сверкали золотые орлы, фарфоровые кокарды, чернели глубоко насаженные на голову картузы плотных людей купеческой складки... Людской поток бурно тек ампириными рядами Гостиного двора на Сусанинскую площадь, круглую, с радиально разбегающимися улицами. В центре площади коленопреклоненно стоял на красном граните памятник — Иван Сусанин — величественный своей темно-зеленой бронзой. Перед ним белели правильные квадраты войск в белых рубашках и фуражках, горели костром медные инструменты духового оркестра. Тротуары, чахлый скверик вокруг памятника были полны колыхающимся народом, всегда любившим сильное, молодое, звучное военное зрелище. У тротуаров прыгали, боролись и дружественно играли молодые собаки, рыча внарошку и скаля белые зубы.

Николай Прокшин стоял тут же, в строю гимназистов, тоже в белой фуражке и рубашке и смотрел влево, где

стояли гимназистки в своих зеленых платьях, в белых переринках и фартучках, которые пошевеливал теплый душистый ветер. Где-то там, наверно, стояла Валя, и солнечный ветер, казалось, шевелился у него в самом сердце.

На площади служили молебен о благополучном дальнейшем царствовании, сверкали тяжелые ризы духовенства, алмазы митры архиепископа, раскатилось, потонуло в колокольном звоне ликующее «многая лета» архиерейского хора.

Отошел молебен. Плотному полковнику, тому самому, что приезжал в коляске в гимназию улаживать вопрос о смерти Васи, подвели широкого, как турецкий диван, гнедого мерина. Полковник, попрыгав тяжело на одной ноге, перевалился брюхом через седло, оправился, выпрямился, разобрал поводья и деловито потрусил вперед, тоже сверкая орденами и густыми эполетами.

— Смирно! — загремел зычный бас. — Слушай, на караул!

Лязгнули, блеснули ружья, над рядами солдат встала синяя стальная гребенка, тяжелым галопом командир полка подбехал к белым рядам.

— Братцы! — послышался его барский, щеголяющий силой и властью голос. — Сегодня девятая годовщина священного коронования нашего обожаемого монарха, его императорского величества, государя императора! Господь посылает нам теперь тяжкие испытания, но мы все знаем, все верим, — выкрикивал он насадно, — что скоро услышим о великих победах русского оружия. Наши славные корабли уже на Дальнем Востоке. Они посланы туда царем за победой! И все мы, солдаты, верные слуги нашего царя, как все русские люди, готовы принять смерть, только бы добиться победы над дерзким врагом. Я счастлив об этом немедленно телеграфно донести его императорскому величеству... Поздравляю вас! У-р-р-а!

— Урра! Урра! — катилось, несло над площадью, перемешиваясь со звоном колоколов, с треском барабанов и звуками оркестра. Николай вдруг почувствовал, что волна восторга приятно захватила и его, что все его сомнения уносятся с этим мощным потоком. Он готов был завидовать этим солдатам, встать в их ряды, бежать с ними, впереди их, чувствовал, что нужно что-то делать, что поражение в этой войне невозможно, немислимо. Между тем он должен был стоять на месте, не двигаться,

мог только кричать. И он кричал и кричал «ур-ра» во весь свой молодой сильный голос.

В иступленном своем восторге Николай вдруг увидел прямо перед глазами бледное, большое ухо с закинутым за него черным шнурочком от пенсне. Перед ним стоял Соколов, и по застывшему уху, по напряженным желвакам у уха было видно, как крепко были сжаты его челюсти.

Павел «ура» вместе со всеми не кричал. Павел молчал.

Значит, Павел не хотел победы? А как же можно не хотеть победы своему народу, вот этим аккуратнo-белым, красивым солдатам в такой светлый майский день, когда гремит оркестр, трезвонят колокола, когда все требует победы?!

Заглянув сбоку, Николай увидел, что у Соколова губы сморщены в презрительную улыбку. Кровь толкнула Николая в голову, а он сам толкнул Павла в плечо.

— Кричи! Пашка! Слышишь? — громко шептал он. — Кричи!

Павел медленно обернулся и сквозь пенсне обдал Николая светящимся дружеским взглядом, который словно говорил:

— Эх! И ты, брат, ошалел от колоколов? Или бы я не кричал «ура» всему народу, если бы я мог? Но я не могу! Я знаю что-то другое, кроме этой музыки и колоколов! Я знаю!

Должно быть мысли его как-то сразу целиком передались Николаю, потому что восторг того сразу сник, как сникает цветок, срезанный звонким взмахом косы. Ах, значит опять эти поиски, эти мучительные сомнения, думы, как жить, что делать! Значит этот восторг не для него! Есть что-то другое, более новое, верное, что когда-нибудь будут приветствовать вот такими же криками, но его еще пока нет!

А церковно-военно-театральное представление на площади шло уставным ходом. Держа руку под козырек, полковник тяжело отгалопировал в сторону, туда, где стояли губернатор в белом длинном сюртуке, архиепископ в картинной мантии черного и лилового шелков, пробежали проворно линейные с красными флажками на штыхах и командующий парадом запезалой завел на длинных звучных нотах:

— К церемониальному маршу...

— К церемониальному маршу... — повторили хором голоса ротных командиров.

— По-ротно!

— По-ротно! — прокатилось по полку.

— На одного линейного дистанцию! — гремел бас.

— На одного линейного дистанцию! — вторили разные тембры почтительных голосов...

— Ша-агом...

И уже один голос, словно подержав над головой, громово бросил, одну для всех команду:

— Ма-арш!

Перед командой все замерло, напряглось, связалось в единой воле, с командой левые ноги поднялись, левые сапоги крепко хлопнули о сбитую землю площади, вместе рванул оркестр, и, мерно колыхаясь в ритме звонко-трубного марша, выступая как в балете, четко отмахивая правыми белыми рукавами от приклада и назад до отказа, легко уходили рота за ротой, из всех звуков слушая только один — барабан под левую ногу.

— Трам-тарам-там-там-там-там! — заливался баритон оркестра, выпевая мелодию.

«А может быть, — снова думал Николай, — счастье именно в этом, в этом «вместе со всеми»? Ведь если даже сама «смерть красна на миру», то жизнь-то уж куда краше!»

— Бум! Бум! Бум! — в пеньи медных труб бил турецкий барабан. — Бум... Бум...

Павел осторожно оглянулся на Николая. Улыбки у него не было, взгляд холоден и тверд.

— Мишура! — бросил он небрежно. — Ерунда!

Николай посмотрел на него во все глаза.

— Мишура? Готовность умереть со всеми — мишура? Спазма сдавила ему горло.

Когда кончился парад, народ стал расходиться, Николай был так полон своими мыслями, что не подошел даже к Вале. Забыл! Уйдя с площади, он долго бродил по берегу Волги, настойчиво, трудно разворачивая, подымая все новые и новые мысли из глубины своей души, задумчиво глядя, как в чешуйках и скорлупках водной ряби прыгали на воде тысячи отражений одного и того же солнца...

— А как-то они там, в далеком море?

Хмурый рассвет этого самого дня 14 мая застал огромную эскадру Рождественского на подходе к проливу между Корейским полуостровом и островом Цусимой... Справа над шумными темными волнами висела ущербная луна, по морю густая стлалась мгла, дул крепкий зюйд-вест. Эскадра шла пока еще походным порядком — двумя параллельными колоннами, трубы кораблей дымили в неприветное сереющее небо.

Впереди обеих колонн бежали разведочные крейсера «Светлана», «Алмаз» и «Урал» в сопровождении стаи миноносцев. За колоннами, прикрывая непосредственно каждую с тыла, шли два крейсера — «Изумруд» и «Жемчуг».

В каждой основной колонне шло по восемь кораблей. В правой — флагманский корабль «Фельдмаршал князь Суворов», на котором нес свой флаг адмирал Рождественский. В левой, среди других, шел крейсер «Аврора».

Эскадру замыкали транспорты, водоналивные суда и два госпитальных судна.

Ночью было тревожно: все время стучали где-то поблизости, очевидно японские беспроволочные телеграфы — переговаривались вражеские корабли. Шли без огней — авось удастся проскочить на север в предрасветной мгле.

Однако не удалось.

Японский вспомогательный крейсер «Синано» на рассвете выскочил из мглы прямо на госпитальные русские суда, шедшие в замке эскадры, повернул и скрылся.

Было шесть утра, когда «Урал» донес, что курс эскадры сзади пересекли четыре военных судна, какие — за туманом не было видно. В 6.45 справа на траверсе флагмана появился крейсер «Идзуми» и пошел параллельным курсом.

В начале девятого часа на левом траверсе из тумана вынырнули крейсера «Чин-Иен», «Мацусима», «Ицукусима», «Хакодате» и затем, развив скорость, ушли на север, где скрылись за горизонтом.

В начале десятого часа слева показались крейсера «Читосэ», «Асахи», «Ниитака» и «Отава».

По сигналу адмиральского корабля эскадра одним маневром легла в боевой кильватер и, сопровождаемая японскими судами на расстоянии 50 кабельтовых, продолжала движение на север.

В это время с какого-то русского корабля прогремел одиночный случайный выстрел, на что адмирал Рождественский ответил приказанием поднять сигнал: «Не бросать снарядов зря!»

В полном молчании русские корабли двигались на север, сопровождаемые японскими кораблями, число которых все увеличивалось. На кораблях отзвонили полдень, и на флагманском корабле «Князь Суворов» те офицеры, которые могли отлучиться с боевых постов, наскоро собрались в кают-компаниях. Белели тонкие скатерти, сверкали хрусталь и серебро приборов, на собравшихся смотрели со всех портретов виновники торжества император Николай Второй в красном мундире и императрица Александра, в белом открытом платье, с крупными жемчугами на шее. Завтракать уже не пришлось — было подано только шампанское, и старший офицер князь Максутов, поднял пенящийся бокал.

— Сегодня, в этот счастливый день священного коронования, я надеюсь, что мы исполним свой долг до конца и обрадуем его величество победой, — сказал он. — У-р-а!

Офицеры подняли бокалы с криком «ура», и крики эти слились с звуками боевой тревоги: японские миноносцы летели в атаку.

Атака была отбита, и движение эскадры на север по-прежнему сопровождалось появлением из-за горизонта все новых и новых японских сил.

В 1.20 впереди уже плыли главные силы адмирала Того — броненосцы и крейсера. Из дымки вынырнул отряд адмирала Камимура и лег параллельным курсом.

Когда противник сблизился на 32 кабельтовых, с «Суворова» грянул первый выстрел, и вековая тишина Тихого океана сменилась прохотом орудий обеих чудовищных эскадр.

Во время этой жестокой проверки военной подготовки боем и выяснилось, что собственно похода эскадры адмирала Рождественского через моря, океаны, вокруг земного шара не следовало бы предпринимать.

Скорость японских кораблей в общем превосходила скорость русской эскадры в полтора раза.

Японские пушки оказались неизмеримо дальнебойнее русских.

А японские снаряды явились сверх того совершенным

сюрпризом для русских моряков по силе своего нового — не пробивного, а фугасного, взрывного — действия, громившего русские корабли при попадании в броню даже скользящим ударом. Морской бой в Цусимском проливе таким образом обратился в простой расстрел японским флотом русских кораблей, как движущихся мишеней, совершенно безопасных для стрелявших, — расстрел, похожий на расстрел рабочей демонстрации на Дворцовой площади 9-го января.

Правильный по существу приказ адмирала Рождественского эскадре «не бросать снарядов зря!» — оказался невыполненным.

Русские снаряды все сплошь бросались зря, потому что не долетали до японских кораблей, падали в воду, в то время как японские громили русские корабли, сбивали их мачты, трубы, рвали броню, как бумагу, зажигали пожары.

Оказался невозможным для выполнения и совет лихого лейтенанта Рошаковского, который авторитетно указал, что «русским кораблям следует вести бой на близком расстоянии, чего японцы не в состоянии выдержать».

Русские корабли просто оказались не в состоянии сблизиться с японскими, как по медленности своего хода, так и потому, что этого не позволил точный огонь японских пушек, которым к тому же руководили японские союзники — английские офицеры.

Оставалось только одно.

Иеромонах отец Назарий на «Суворове», захлебываясь кровью из разорванного горла, благословил опоясанные огнем и дымом суда бессильно бьющейся в смертельном бою эскадры, «отпуская силою и властью прегрешения во брани убиенным», — упал и умер.

Приближалась развязка. Одни броненосцы и крейсера, объятые пламенем и дымом, переворачивались, как стальные киты, брюхом вверх, и их днища, усыпанные ракушками и людьми, уходили в морские пучины. На других — разбитых, накренившихся на один борт, среди пламени и дыма разрывов — появлялись белые скатерти, матросские простыни — сигналы сдачи.

Раненый и сдавшийся адмирал Рождественский был принят на японский миноносец.

Только немногим русским судам удалось уйти от этого

массового расстрела — их спас только случай да темнота ночи.

До пятнадцати тысяч русских людей вместе с кораблями легли на морское дно Цусимы...

А главное — вместе с этими кораблями утонули все надежды тех, кто рассчитывал, что, может быть, дело с российским государственным строем еще не так плохо...

Шли майские дни. В гимназии проходили последние занятия, выводили общие отметки, по которым даже при сплошных тройках переводили тогда в следующий класс. Близилась лето, каникулы, отдых, дача, Волга, купанье... Как все это было просто и радостно раньше! Теперь же все это выглядело совершенно иначе.

Несколько дней спустя после царского дня — коронации — Николай за вечерним чаем сказал отцу:

— Папа! Ты сегодня идешь в реальное на педагогический совет?

Тот поднял голову от торопливо разворачиваемой газеты.

— Ах, да это вчерашняя! — вскричал он. — А новой еще нет, что ли?

— Не было еще! — сказала бабушка, выглядывая из-за самовара.

— Почему так поздно теперь носят газеты? — сердился отец. И обратился к Николаю:

— Что тебе нужно?

— Можно, папа, пойти с тобой? Надо кой о чем поговорить... Спросить тебя!

— Спросить? Ну, хорошо...

Николай решил на такой разговор после серьезного обдумывания. Он видел, как очевидно крепнут привязанности отца к Митревне. Было уже сговорено — неподалеку от Костромы в деревне Становщикове снять рядом два дома, с террасками одна против другой. В одной даче будут жить они, Прокшины, а в другой — Митревна с ее ребятами одна, так как ее супруг от дачной жизни как будто бы отказался... Николаю было совершенно ясно, что сулит такая жизнь по-соседству — постоянную воркотню и ссоры бабушки, возможные приезды со скандалами самого Суворова, а главное, бабушка прямо говорила, что после дачи Митревна домой к себе не вернется, а переедет к

Федору Петровичу насовсем. Значит, на даче будет жить беспокойно, зазорно и обидно. Между тем Николай уже с четвертого класса гимназии готовил в гимназию и репетировал отстающих ребят из младших классов и решил добиваться самостоятельной жизни на лето.

Он надумал, что на лето подыщет себе какой-нибудь урок в отъезд, куда-нибудь в имение или в семью на дачу. Это даст ему возможность жить спокойно, вне этого нескончаемого отцовского любовного угара, заработать немного денег, пожить в другой обстановке, узнать новых людей.

Говорить об этом при бабушке было нельзя, она никогда не отпустила бы от себя «внучка», которого все еще считала «махопытким».

— Ну, — сказал отец, когда они вышли на улицу и стали подниматься по Нижней Дебре по направлению к собору. — Валяй, что же ты мне хотел сказать?

— Папа! Позволь мне летом поехать куда-нибудь на кондицию.

— Чего? — не понял отец. — На кондицию?

Вообще в последнее время он иногда стал не понимать тех слов, которые употреблял Николай — сын уже судил шире отца.

— Ну, на урок куда-нибудь в отъезд... На дачу, в имение...

— Зачем это? Что, тебе здесь, с нами, плохо? — обиделся отец.

— Папа, не плохо... Но я заработаю себе немного денег... Потом у нас тесно будет на даче... Потом...

Он сбоку ласково заглянул отцу в глаза.

— А потом, папа, я не хочу тебе ни в чем мешать... Я понимаю, что тебе очень... Тебе очень сложно, папа! — нашелся он наконец.

— Я понимаю! — отвечал отец, приняв тот тон — и жалостный и вместе с тем заносчивый от обиды, которого так не любил Николай. — Я знаю — ты не хочешь, чтобы я, твой отец, жил бы хорошо... Вы все только одного и хотите — чтобы я весь свой век батрачил на вас... Ты вырос, ты скоро кончаешь гимназию, что тебе больше! Никакого почтения! Никакого уважения к отцу!

И пошел и пошел.

— Папа! Но почему ты так говоришь? Я не понимаю тебя.

— А ты, Коля, что делаешь? И я не понимаю тебя!

Говоря каждый «не понимаю», они оба очень хорошо понимали друг друга: отец хотел наконец своего гнезда, сын рос, отлетал от него. И такая ломка, даже просто признание ее, да еще в такой ясный майский день, была очень болезненной.

Когда они, оба раздраженные, спорящие и в то же время оба уклончивые, потому что не могли выговорить себя до конца, додумать, признать или отвергнуть то, что следовало неизбежно признать или отвергнуть, желавшие шумным спором отвертеться от окончательного вывода, подходили по Мшанской улице к Царевской, им навстречу стремительно бежал инспектор реального училища Иван Алексеевич Смирнов, по прозвищу «Щука».

Увидев Федора Петровича, Щука бросился к нему: стало видно, что и бежал-то он потому, что хотел с кем-нибудь поделиться чем-то очень важным.

— Читали? — вскричал он, воздев обе руки к небу, и золотые очки сели у него на носу криво.

— Что? — тревожно спросил отец.

— Да что наделали эти наши идиоты? Весь наш флот потоплен!

— Какой флот?

— Эскадра Рождественского!

И, схватив отца под руку, покосившись через очки на сжавшего фуражку Николая, он стал шептать в ухо Федору Петровичу. И оба быстро побежали к училищу.

Николай постоял, глядя вслед тревожно убегающим чиновникам, и бросился домой... Должны были уже принести «Русское Слово»... Ах, что же это такое, если даже инспектор Щука ругает всех идиотами!

Влетев в дверь, Николай выхватил только что принесенную газету из рук бабушки, которая, старательно вышевеливая губами, читала свои любимые «происшествия» — она признавала только их... Вот, вот он, крупный заголовок:

МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Первая телеграмма из Шанхая сообщала, что английская пароходная фирма Джардин и Матисен получила сведения о произошедшем морском бое, в котором потоплены четыре русских и семь японских судов. Адмирал Рождественский направляется во Владивосток.

Из Токио сообщалось, что там 15 мая циркулирующую слухи о разгоревшемся сражении.

Из Владивостока телеграммы говорили, что в Цусимском проливе был бой и что во Владивосток прорвался крейсер «Алмаз».

Из Парижа телеграммой от 16 мая сообщалось, что английское правительство уже имеет сведения о полной победе японцев.

И лесной пожар снова несся по страницам газет, обжигая душу Николая. Потрясающая картина гибели эскадры в водах Цусимского пролива развертывалась во весь рост из бесчисленных телеграмм, статей, корреспонденций. Отчаяние, гнев, ненависть разгорались в нем со все большей силой, не находя себе исхода. «Да когда же этому будет конец? — думал он, убегая к себе в комнату и в отчаянии валясь с маху на постель. — Доколе, господи?!»

Его охватывал такой мрак, что он плакал, плакал горькими слезами, плакал, как ребенок. В их семье нет порядка, потому что нет матери. В их русском государстве все идет и вкривь и вкось, потому что наверху стоят люди тупые, злые, негорячие, ленивые, себялюбые...

А разве государство, как и семья, не должно быть крепким, заботливым, надежным, счастливым наконец? Да за что же люди тогда души свои кладут, бьются за государство, стараются для семьи? Почему же это мы все, словно безматерные птенцы, выброшены на улицу? Почему наши дорогие, храбрые солдаты бегут от чужих армий? Почему мы гибнем в холодных бездонных волнах? Разве не должны мы встать все, кто только может, кто горяч и честен, чтобы наладить, укрепить все в нашей прекрасной стране? Но кто, кто знает, что надо делать? И кто же это будет делать?

Но во всяком случае дальше так быть не может!

И все газеты тех дней были тоже полны негодованием. Так дальше быть не может! — твердили и они.

Николай теперь вечерами долго просиживал в народной читальне имени А. Н. Островского — читал газеты. Подробности гибели эскадры в Цусиме были все страшнее, все больше раздирали душу с этих серых, бумажных полос. Слова одно другого горше и печальнее лились с них, как плач Ярославны со стен Путивля...

«Ужас и горе охватили сердца не только тех, кто связан кровными узами с многотысячным экипажем эскадры Рождественского, но и всех тех, кому дорога Россия, дорога напрасно проливаемая кровь, — писала газета «Новая Жизнь». — Огромная ставка — если бы она была и последняя! — проиграна нами, покрыв позором всех виновных в разгроме России...»

Николай читал, а со стен, при свете тихо пищавших керосиновых ламп, смотрели Островский, Пушкин, Лермонтов, Достоевский — все, кто составлял собой душу России. «Что же делать? Что делать?» — словно говорили они.

«Севастополь обновил Россию, ускорил падение цепей рабства, — продолжала «Новая Жизнь». — Теперь нам осталось одно утешение, что Порт-Артур, Мукден, Цусима — тоже встряхнут Россию, мобилизуют все ее общественные силы, чтобы наконец пробудились моральные, умственные, производительные силы русского народа...»

Николай кончил чтение передовой, смотал газету на толстую палку, к которой она была прикреплена флагом, поставил ее в стойку. Взял другую газету — «Русь».

«Смотреть на гибель эскадры адмирала Рождественского, как на один из кровавых эпизодов войны, к сожалению, нельзя, — читал он. — Мы не можем, очевидно, иметь преобладания на море. Надо ли нам поэтому копить силы для наших военных предприятий, чтобы сломить силы противника? Думаем, видим, твердим — нет, нет, нет!»

Нам нужны новые силы из глубины страны... С потерей эскадры Рождественского вдвойне стал необходим созыв народных представителей... Удар за ударом обрушивается на нас — надо найти выход из положения...»

«Новый громовой удар пронесся над нами... — писала передовая газеты «Слово». — С песнями, с музыкой нас провели к какой-то западне, в которой гибнем мы сами и наша честь. С завязанными глазами мы стоим на краю пропасти.

Наши вожди спрятались за нашими спинами, не хотят снять повязки с наших глаз. Но мы сами видим все. Мы должны крикнуть — «Довольно!» Пусть сам народ русский скажет теперь, что делать нам дальше.. Ведь до сих пор мы терпели и молчали».

С сухими, горящими от внутреннего жара глазами Николай бежал домой по пустым улицам, мимо домов, с наглухо закрытыми ставнями, за заборами брехали псы, на звездных россыпях темнели колокольни... «Нет, не отсидеться вам здесь, за этими ставнями! — думал он. — Не заглушить отчаяния звоном! Не спасут и псы за заборами от позора! Людей, людей надо. Не командиров полков. Не инспекторов Алексей Семенычей... Надо настоящих людей, с ясной мыслью, крепкой волей, с доброй улыбкой в глазах, которые бы разметали этот гнет, разорвали бы приниженное молчание... В полном смысле людей...»

Да, так жить дальше было нельзя!.. Нельзя укрыться от позора в старом, тихом доме на Нижней Дебре. И не дошли еще тогда до Николая те твердые слова, которые уже были сказаны, которые собою определили будущее его страны:

«...переживаемый Россией исторический момент требует от нашей партии напряжения всех ее сил. Революционное возбуждение в рабочем классе, брожение в других слоях населения все растет, война и кризис, голод и безработица подкапывают основы самодержавия все глубже, позорный конец позорной войны не так уже далек, и этот конец неминуемо удесяттерит революционное возбуждение, поставит рабочий класс лицом к лицу с его врагами, потребует самых решительных наступательных мер от социал-демократии».

Так говорил Ленин.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КАМЕННЫЙ ДОМ

Глава первая В КИНЕШМЕ

«Князь Василий Костромской» — пароход общества «Самолет», — бойко стуча плицами, бежит из Костромы вниз по Волге.

На палубе, где сидит Николай, знойно, душно, розовые стенки раскалены, внизу мягко стучит машина, из-под носа парохода с хрустом, с шуршаньем отваливается первый стеклянный вал, добегают до близкого берега, пляшет вдоль его резвым белым прибоем. На берегу кудрявые зеленые ивняки, за ивняками бесконечны солнечные яркие луга, ольховые рощи блестят искрами на широких листьях. Над желтыми песками Волги, над лугами, над далекими лесами белые пухлые облака ползут из-за горизонта через солнце, и солнце то разгорается, то захлебывается в их серо-мраморных ватных пучинах, то мечет огненные мечи вверх и вниз, но идет все выше и выше летней своей длинной дорогой.

Вместе с берегом проплывают сидящие на глиняных обрывах белые важные чайки, полосатые створы со щитами, вежи и землянки бакенщиков, вдали насыпаны мелкие деревнюшки, колоколенки сельских церквей — но всего этого, приметного, так мало, что оно полняком тонет в привольной природе.

Баритонный, в терцию гудок «Василия Костромского» привлекает встречные пароходы, с мостика то и дело делаются отмашки белой «манишкой», натужно хлопая красными плицами, тянутся буксиры с караванами барж, вверх бесконечно идут зерно, нефть. У бортов нефтяных барж ящики с землей на случай пожара, на них зеленеют пока что огороды, скудные цветочки.

«Василий Костромской» обгоняет длинную ленту плотов, а увесистая брань с плотов требует, чтобы «легковой» уменьшил ход — сильная волна его грозит разбить плоты. Из салона второго класса выскакивает длиннорылый купец в жилете, в картузе, сидевший все время там за чайниками и какими-то вычислениями в записной книжке, зычно кричит в ладони рупором:

— Э-э-эй! На плоту-у! Чьи плоты те?

Только что лаявшийся с капитаном парохода мужик в красной рубашке, с выпуклой грудью отвечает:

— И... Анд...р...ча Крюкова!

И кланяется.

— Наши плоты те, — удовлетворенно говорит купец и, сняв черный суконный картуз, набожно крестится:

— Слава те, осподи!

И уходит опять к вычислениям.

На носу парохода, там, где уже тень, где вода стремительно рушится под трепещущий на носу треугольный флажок, стоит одинокая дама. Она в белом гипюровом платье, с ярко-зеленым подвеском-камнем на шее, широкая соломенная шляпа с маками лежит рядом на скамейке тут же, и вся она напоминает редкостную красивую птицу, случайно залетевшую в эти места. Не подходит она ни к этой огромной и пустой природе, ни к этим серо-зеленым ивнякам, откуда то и дело гоняются друг за другом утки, ни ко всему этому застывшему миру, который словно жалуется: «Ах, зачем же так медленно тянется время! Я так силен! Дела мне, дела!» И розовая палуба парохода, и серо-желтая, в решеточку, нагретая клеенка салона второго класса, и изгибная зеленая, стиля «модерн» мебель салона первого класса с позваниванием стекляшек у люстры полно нудной вековой скуки. И песня с нижней палубы не в силах разогнать ее, потому что сама скука и породила эту песню.

Николай долго кружил по палубе парохода, вразвалку, лениво, как пассажир, имеющий право быть праздным. Досадно, что не было с собой чтения. На корме обнаружил Марусю Симоновскую — с нею как-то познакомил его на бульваре Соколов. Она показалась из своей каютки, кормила черноголовых чаек, пльвших в ветре за пароходом на тугих крыльях, бросая им в воздух кусочки булки.

— Здравствуйте! — подошел к ней Николай. — Далеко едете?

Она живо повернулась к нему своим круглым, розовым личиком, улыбнулась смущенно белозубым ротиком. Она была такая стеснительная, такая скромная, что под тонкую беленькую всегда надевала еще ночную кофточку, чтобы не просвечивало тело. Ехала она в Казань — «по делам, с поручением», значительно выговорила она. На просьбу Николая о книге она живо сбегала в каютку, с готовностью притащила сборники стихов М. Конопницкой, Мельшина-Якубовича, Ады Негри и «Историю французской революции» Блоса.

— Больше, Коля, у меня ничего нет! — доверчиво сказала она.

Он отказался от этих книг. Перед отъездом ему так тяжело пришлось дома, что хотелось чего-нибудь побеззаботнее. Маруся же смотрела на него с такой добротой, с такой бесконечной готовностью помочь ему.

— Коля, Коля, погодите! — сказала она. — Я читаю «Углекопы» Золя. Я уступлю, вам-то недалеко ехать. Сама возьму что-нибудь другое...

Николай жадно схватил роман и стал читать.

Вместо необъятной Волги он увидел «равнину Ворё», торчащие на ней черные, пробитые углем шахты, их бессонные огни, пламенники над высокими трубами, увидел, как при свете желтых светлячков работают под землей живые люди, как напряженно изгибаются там их полуобнаженные тела, кайлом выцарапывая драгоценный уголь, зажатый в глухих породах. Перед ним потянулись серые, низкие, жирные, как мохнатые гусеницы, грозящие облака Рекийара, где тоненькая зеленоглазая Катерина впервые на бунте пеньковых канатов узнала, что такое любовь «с этим верзилкой Шавалем», как гласил неловкий русский перевод.

Здесь развертывалась яростная схватка между человеком и нуждой: как равный, человек возстал здесь против природы, из-под неба врылся в землю, ища там света и тепла, которыми мог бы управлять. И черный, бедный, мускулистый, с красными от угля глазами, сидя за стаканом вина в шумных кабаках Рекийара, он казался новым, могучим существом — рабочим, в алом отблеске пламени победоносного труда, овладевающего миром.

Между тем подошли к Плёсу, к уютному городку на

горушках, и маленькая пристань там оказалась забитой толпами нарядных барынь, барышень в светлых, легких платьях. Они стайками кружили по пристани, вертели на плече разноцветные зонтики, щебетали, напропалую кокетничали с хлышеватыми молодыми людьми в фуражках разных высших учебных заведений, в белых кителях с фигуристыми наплечниками. Царила самая неприкрытая, самая явная, узаконенная кем-то праздность. Шло лето, а для какого-то большого процента городского населения, для школьников разного возраста это означало право на ничегонеделанье в течение двух—трех месяцев, не взирая даже на идущую неудачную, кровавую войну.

И деревни, переживающие летом свою страду, и маленькие городки видели сотни, тысячи праздных, нарядных, бездельных горожан-дачников, днями спящих, вечерами играющих в карты, ужинающих с водкой и с пивом, спорящих громко на разные политические темы, гуляющих ночами по лесам или катающихся на лодках по Волге. Вероятно эти переселения в деревни были пережитком времени, когда помещиков летом тянуло в свои «поместья», в свои «дачи», чтобы там присматривать за полевыми работами, обеспечивающими им зиму.

Опустив книгу и прервав чтение, Николай неприязненно смотрел на эту бездельную, бездумную, вызывающую возмущение толпу: как это он сам раньше не замечал этого? Ему много пришлось пережить за последнее время, а стало быть, и понять. С переездом в мае на дачу семьи Прокшиных жизнь Николая стала очень неприятна. Все шло к тому, что Митревна влезет в их семью. Отец почти все время проводил на ее даче, с их террасы оттуда был слышен его веселый голос, певший под гитару романсы, дома же отец был хмур, раздражен. Бабушка отчаянно воевала с ним, причем яростным шепотом, чтобы не было слышно с террасы Митревне, и искала во внуках союзников против их отца. Николай очутился между двух огней — и приходилось убегать из дому в лес или в город, где он продолжал поиски работы.

И он был очень рад, когда подвернулось предложение — ехать в Кинешму, в семью купца-хлебника Федосеева, заниматься за четвертый класс частной московской гимназии с его не в меру резвым внуком, схватившим несколько переэкзаменовок. И теперь, связанный

своими заботами, своими делами, Николай не мог понять, как могут эти девушки и юноши быть так праздно оживленными, как могут они не замечать, что есть на свете что-то совсем иное, вот как эти засыпанные угольной пылью люди из-под земли.

Кинешма была уже недалеко, «Василий Костромской» торопко бежал длинным извилистым «семиверстным перекатом», четверо бородатых мужиков у штурвала то и дело перекачивали цепь руля со стороны на сторону.

Николай пошел в салон второго класса выпить чаю. Он захватил из дому белого хлеба и колбасы, на всякий случай, ежели придется на новом месте ждать обеда. Теперь купец с вычислениями покончил и неприязненно, как давеча Николай на дачников, смотрел на рослого гимназиста, пившего чай. Подняв вверх указательный палец со стертым перстнем, он празднословил настойчиво и злобно.

— Таперича, — говорил он, — все знают, чем вы, молодежь, занята. Революция! Вот вам чего подавай! А знаешь ли, молодой человек, тебя еще и на свете не было, как Перовская Сонька сделала свое покушение... Я вот тады был, как ты, молодым человеком, и ехал со мною тоже тады вот, как я, тоже купец престарелый.

Он поднял глаза, посмотрел на крюк, на котором покачивалась в салоне люстра.

— И вот тот престарелый старец сказал — перевешать надо всех молодых, чтобы не баловались...

Николай жевал, не отвечал, прихлебывая спитой чай. Ему было противно, скучно, словно при начале серьезной болезни. По приглашению купца он глянул было на люстру, на ее стекляшки, потом перевел глаза на зеленый каменный бочонок с питьевой водой под железной пальмой в углу. Оказывалось, наряду с возмутительным бездельем, виденном в Плесе, тут, на пароходе, ехала и тупая, хорьковая злоба.

Мимо длинного окна медленно проходила та самая красивая дама, что сидела на палубе. Она была без шляпы, ветер раздувал, вил в воздухе ее газовый шарф. Думая о чем-то своем, она остановилась у железной колонки, охватила ее узкой в цветных кольцах рукой, на руку положила щеку и спокойно смотрела на наплывающий город.

— Пассажирка-с! — моргнул одобритительно купец и,

подымаясь, нахлобучил свой картуз. — Бабец соответственный!

— К Кинешме подходим! — сказал бас за окном, а сверху, над потолком, гулко затопали бегущие матросы.

Николай вышел за купцом и пошел по палубе — надо было вернуть взятую книгу.

Вот она, Кинешма!

Пароход подваливал к пристани. Высокие горы правого берега были застланы зеленым бульваром, всюду торчали и блестели колокольни, церкви. Над оврагом в межгорья повис небольшой мост, по нему ехали извозчики. Мимо проплывали пристани — «Русь», «Кашинская», «О-во по Волге», «Кавказ и Меркурий»; «Самолетская» была ниже всех. Рельсы железнодорожной ветки сбегали к самой воде, и где-то среди пакгаузов, среди бунтов, толстых тюков, прикрытых брезентами, весело катались взад и вперед красные вагоны и запыхавшийся паровоз.

Маруся увидела издали Николая и сразу с готовностью стала пробираться к нему между пассажирами.

— Коля, вы много успели прочитать? — спросила его Маруся своим добрым голосом, когда он вручал ей книгу. — Не правда ли, ужасно?

— Что же ужасного? — грубовато переспросил Николай. В нем вызывал раздражение вид Маруси — ее пенсне на круглом носике, ее готовность придти на помощь, словно мир состоял только из страдающих.

— Ужасны условия труда! Золя прекрасно показывает это... И вот возьмите — Франция! Вековая культура! А!

Возможно, что это и было так, но свой, внутренний мир сейчас больше волновал Николая. В конце концов он-то ехал на работу в неизвестное место, в чужой дом. Потом — французские углекопы оказались ему больше героическими, чем страдающими. Он не стал продолжать разговора с Марусей, а, попрощавшись и захватив в общей каюте свою корзинку, спустился на нижнюю палубу, где уже перед трапом наготове стояла толпа. Белела ряса сельского седого священника в широкополой шляпе, стояли ситцевые бабы, бородатые мужики с испуганными и наивными глазами, несколько мастеровых, две сельские учительницы в английских соломенных шляпках, в широких резиновых поясах, толстомордый урядник с медными

пуговицами, весь в оранжевых жгутах. Из стеклянного люка доносился замедляющийся лязг машины, пыхтенье, звонки, команда с мостика. В широкое отверстие трапа врывалась солнечная пристань.

Наконец носовая и кормовая чалки были брошены, закреплены на пристани, бородатые рулевые у штурвала скинули картузы, помолились богу, на пароход с пристани сдернули сходни, и толпа с парохода, толкаясь, бросилась на пристань. Трещали перила сходен, раздавалась ругань, и наконец Николай со своей легкой корзинкой оказался на крупнобулыжной набережной. Быстро поднялся он по въезду и пошел, рассматривая незнакомые вывески, расспросив замухрыгу городского о доме Федосеевых.

Новое чувство свободы так и охватило Николая: он в первый раз выехал из родительского дома... Было странно видеть, что и тут такие же дома, как в Костроме, однако, и не такие, и улицы как будто и одинаковые, а непохожие. И еще странно, что среди встречных совсем нет знакомых лиц.

Он сперва шел бульваром над Волгой, потом спустился под гору, перешел мост над рекой Кинешемкой, снова поднялся на высокий берег и наконец остановился неподалеку от приземистой белокаменной церкви, густо прикрытой плетями плакучих берез. Перед ним высился тоже каменный двухэтажный дом.

Дом прочно стоял за каменной оградой, а сквозь решетчатые прорезы в ней были видны в большом саду клумбы с самыми простыми цветами — душистым горошком, вившемся по корявым тычинам, серо-зелено-бурой резедой, анютиными глазками. Среди клумб вмазан небольшой цементный фонтан с золотыми шарами, без воды, а около торчал покосившийся фонарь.

Буйно разрослась в саду сирень, над ней летали по ветру своими длинными ветвями высокие плакучие березы, старые широкие искристые липы уходили в небо, и все это лохматое, похожее на давно нестриженные бороды. В тени, по желтому песку дорожек, в кустах, между деревьями сияли солнечные пятна. Были там и фруктовые деревья — яблони, вишни, кустились сплошь крыжовник, смородина, малина.

«Парадное» крыльцо было сразу тут же, за циклопическими воротами, увенчанными белыми каменными

шарами. Влево за домом шла другая высокая каменная изгородь, за ней — крытые железом амбары с решетками на окнах, такие невысокие, что березы катали по их зеленым крышам свои плети.

Несколько раз нажимал Николай пуговку электрического звонка у парадного, снова и снова разглядывал в ожидании дом, сад, службы и опять звонил. Бесполезно. Наконец начал просто стучать в дубовую дверь. И оказался прав: звонок, очевидно, не действовал.

С огромной террасы над крыльцом выглянули несколько женских лиц и скрылись. Шепот пронесся по всему дому:

— Учитель! Учитель приехал!

Отворила дверь девушка-вековушка, с глазами великомученицы, с зачесанными гладко золотыми волосами.

— Пожалуйте-с наверх! — тихо, с поклоном прошелестала она, проворно хватая его тощую корзинку.

По лестнице, прогретой до духоты, пахнувшей краской, освещенной окнами с разноцветными стеклами, Николай поднялся наверх, вступил в обширную переднюю. Из передней двери вели в белый гулкий зал, с отразившимися в паркетах часто расставленными у стен стульями в чехлах, с люстрой в кисее, с закрытым большим роялем. А Лиза (вековушку звали Лизой) вела его дальше, в гостиную, оклееную темно-красными шпалерами, по которым золотым багетом были выложены четырехугольники. Она жестом пригласила его сесть на мягкое кресло под суровым чехлом с красным кантом и ушла. Николай остался один.

Сытое, монументальное богатство так и светилось золотым отсветом изо всех углов. Прямо перед ним в золотых рамах висели два портрета. «Должно быть, хозяин!» — подумал Николай, смотря на портрет старика. Лицо было выписано превосходно, на розовых висках, в редкой бороде волосы сверкали серебром, удачный один мазок удивительно показывал белизну воротничка. Отлично была сделана золотая медаль на голубой муаровой ленте, сюртук отливал тонким ворсом. В глазах старика было настороженно-острое, коршунье выражение, они, казалось, следили за Николаем так же подозрительно и внимательно, как давеча на пароходе глаза купца Крюкова.

Другой портрет изображал пожилую женщину, седые

волосы которой были зачесаны под кружева наколки. Глаза смотрели благодушно, самоуверенно, толстая золотая цепь с медальоном спускалась с шеи по светло-серому тяжелому шелку платья.

Николай осматривал, все удивляясь и удивляясь, богатую комнату, он искал в ней примету души их хозяев.

На круглом столе под бархатной скатертью высился на золоченой фигуристой стойке-мольберте большой плюшевый альбом. Овальное зеркало вытянулось над большим диваном в простенке.

На стене слева висела цветистая олеография — Стенька Разин бросает в воду персидскую княжну. Что было делать ему, бунтарю и разбойнику, в этой богатой обстановке? Как он попал сюда? Какой своей стороной вошел он в милость к богатым хозяевам?

Неслышно по мягкому ковру Николай перешел к окнам с двухаршинными подоконниками, обрамленными тяжелыми гардинами. Тут же, под окнами, был порт. В маленькой речонке Кинешемке у высокого берега разгружались баржи с хлебом. Бежали цепочкой рабочие по длинным мостикам на высоких козлах на берег с тяжелыми мешками на плечах, ветер то и дело заголял линиялый ситец их рубах, и над портками было видно ядреное нагое тело. Они несли и несли сотни, тысячи мешков с хлебом, несли туда, спешили порожные обратно.

— Эй, пойдет! Бери, пойдет! — мерно доносилось их ритмичное пенье. — Ух... Ух... Бери-и!

Мешки ложились на берегу в серые стенки, из стенок вырастал целый городок, за баржами лиловела Волга, за мыском берега видно было, как дымили на ней пароходы. И еще было видно и слышно — за Кинешемкой, за деревянным мостом с горы катился с громом извозчик и на нем ехал толстый барин в чесучовом пиджаке.

Несмотря на жару, в доме сейчас было прохладно, спокойно, надежно, как, верно, прохладно и спокойно на речном дне, под толстой стеклянной пеленой воды. Да разве проникнут сюда, за стены этого купеческого каменного дома какие-нибудь волнения? Здесь живут, верно, тихие, блаженные люди, не дрожащие за свой сегодняшний день, за завтрашний день, а о прожитом вчерашнем они вспоминают с удовольствием: он принес прибыль... Видно, в этот маленький городок — Кинешму, в эту

тихую заводь до сих пор еще не залетала буря, бушующая над Россией.

В душе Николая вдруг зашевелилась та неопределенная тревога, что всегда предшествовала появлению какой-то важной мысли. И действительно — вдруг эта мысль развернулась в нем так ясно, что его качнуло словно набежавшей волной.

«Да ведь она тут! Около Кинешмы. В десяти каких-нибудь верстах... Он всегда может ее увидеть... Увидеть! Валя!»

Легкий шорох заставил его оглянуться — у дивана, словно сойдя с портрета, стояла маленькая старушка в кофте с белым горохом по черному полю и, пожевывая румяным ртом, смотрела на юношу.

Николай поклонился.

— Здравствуйте, батюшка, — пропела старушка в ответ, подавая дощечкой твердую руку. — А кто вы будете?

— Я Прокшин! — просто ответил Николай. — Приехал учить вашего Сережу.

И из внутреннего кармана белой гимназической рубашки с двумя серебряными пуговками у ворота Николай вытащил рекомендательное письмо. Подал его.

— Так, так... Учитель! — говорила старушка, надев очки и читая письмо. — А сколько же вам, батюшка, самим-то годков? — спросила она, аккуратно складывая письмо.

— Мне — семнадцать! — сказал Николай и покраснел. Не хотели его, что ли, пускать в этот прохладный, чистый дом?

— Так, так... А с мальчиком справитесь ли? Уж больно резов.

— Посмотрите! — буркнул Николай. — За что берусь, с тем справляюсь!

— Так, так... Ну, вот хозяин-то наш, Иван Иванович, лавку запрет, домой придет по вечеру, с вами и поговорит окончательно. Что и как! Лиза, покажи учителю его постель. В столовой! Пока отдыхайте с дороги!

Старушка исчезла, святая Лиза с тихой улыбкой провела Николая в столовую, что была рядом с гостиной. Она накрывала постель на большом диване.

— Сережа-то спрятался! — тихо проговорила она все с той же улыбкой. — Боится! Баловник он...

Столовая была угловой, два окна выходили на реку,

два — в сад, оттуда дышало душисто. Николай сел у окна, смотрел, как ловко справлялась Лиза с постелью. Исчезла она незаметно, словно то был не человек, а легкое видение.

«Куда же это я попал?» — думал Николай. Ай-ай! Видно было, что тут не знали, да и не могли знать подчас нужды в трех рублях, как это бывало сплошь и рядом в доме Прокшиных. Не деньги командовали тут людьми, здесь люди владели деньгами. Ай-ай!

Прокшины были разночинцы. Дед крепостной, николаевский солдат, потом служба кондуктором, швейцаром. Федор Петрович кончил Строгановское училище и стал чиновником, личным дворянином, а скудеющее дворянство, теряя свои земли под натиском богатеющего купечества и кулачества, спасалось от окончательной гибели своей тою же государственной службой, хотя считая это себе унижением. Из обоих этих потоков, нисходящего — из дворянства и восходящего — выходцев из крестьян, рабочих, духовенства, складывалось чиновничество, служилая интеллигенция и, получив «место», мирно доживала свою жизнь.

«Место!» Поступить на место — это значило — служить государству, войти в известную незыблемую систему государственных отношений, о чем свидетельствовало получаемое равно для всех право носить форменную фуражку с черно-бело-золотой кокардой. Каждый такой слуга государства, поступающий на «место», получал право на более или менее приличное существование, «достойное интеллигентного человека» в обмен на установленные обязанности по охране и исполнению основ государственного порядка. «Место» — было способом покойного уверенного существования человека, мало-мальски вкусившего образования. Молодые люди, трепещущими руками привинчивающие себе на правый бок белый, увенчанный орлом ромбик университетского значка после последнего государственного экзамена, уже предвкушали это «место», а с ним и «оклад». Государство, таким образом, обрастало казенными людьми, порывавшими со своими условиями, откуда они вышли. Путь чиновника был до мелочей регламентирован подъемом по служебной лестнице, с соответственным увеличением «жалованья» и, наконец, с увенчанием «пенсией», которая провожала его уже до могилы. Потеря чиновником «места» была для него

страшной катастрофой — работать он не умел, умея только служить.

Купечество же было иного склада. В своем предпринимательстве, в капиталах оно имело корни, куда более крепкие, нежели «двадцатое число» чиновников. Просто смешно было сравнивать жалкую квартирнку Прокшиных на Нижней Дебре, за которую нужно было каждый месяц платить пятнадцать рублей, с этим могутным домом-хозяйством, которое, не ведая никакого «жалованья», само кормило себя и всех, кто имел удачу жить в нем или при нем.

Легко постучали, и в дверях показалась опять Марья Николаевна, за ней выглядывал мальчик лет одиннадцати, кудрявый, румяный, тоже как-то подстать всему дому.

«Митрофанушка?» — мелькнуло у Николая.

— Вот вам, господин учитель, ученик... Сережа! — сказала хозяйка. — А вас как прикажете звать-величать?

— Николай я... Коля!

— Что-с! Как можно-с! Вы же учитель! Полагается по изотчеству!

— Ну, Федорыч...

— Так вот, Николай Федорыч, ваш ученик, — повторила старушка, подталкивая вперед пятилетнего мальчика. — Сережа...

Николай протянул руку.

— Здравствуй, Сережа... — звучным голосом сказал он. — Давай знакомиться... Когда начнем заниматься? Сегодня?

Сережа энергично замотал головой.

— Ну, как можно сегодня? — вмешалась Марья Николаевна. — Что вы-с! Как можно... Отдохните с дороги... Сам хозяин к вечеру придет, поговорите... А потом и с богом — пророк Наум наставь на ум!

— Мы пока поговорим с Сережей! — ответил Николай, и старуха оставила их вдвоем.

Почему Сережа должен был быть Митрофанушкой? Николай машинально подумал про него так, вероятно из скрытой социальной зависти к обеспеченным, привольно живущим людям. Нет, Сережа оказался очень толковым, только был развязан и самоуверен, весь светясь тем светом, который на вещи и на людей накладывает богатство. Сережа подсмеивался, например, над своими гимназическими учителями — они для него были «бедняки», а

за него мать платила за «правоученье» 600 рублей в год. Сережа подъезжал к гимназии «на дутиках» — на резиновых дутых шинах, этому мальчику уже приятно было с шиком обогнать бредущего пешком по лужам учителя. Николай сразу почувствовал, что если этот отлично упитанный мальчик найдет какую-нибудь возможность посмеяться над ним, найдет повод презирать его — и его дело, как учителя, будет проиграно.

Николай с Сережей еще разговаривали о том, что проходили в гимназии, причем Николай особенно добивался, почему же у него так плохо обстоит дело по-русскому, если ответы Сережи так быстры и толковы, когда Лиза неслышно приоткрыла дверь:

— Сергей Геннадьевич, Николай Федорович, завтракать пожалуйте!

Сережа, прервав свои ответы на полуслове, вскочил и опрометью умчался.

«Ого!» — подумал Николай и крикнул резко: — Сережа!

Тот задержал бег, сунулся обратно в дверь:

— Чево? Завтракать ведь подано!

— Сережа! Останься!

Сережа вдруг показал ему язык и исчез. Но Николай умел поставить себя с учениками. Он остался сидеть на месте.

Через пять минут недоуменно появилась Лиза, и Николай потребовал, чтобы Сережа немедленно явился обратно.

Лиза была озадачена: еда в этом доме была главным обрядом. «Как это можно мешать кушать ребенку?» — говорили ее иконописные, мученические глаза. Она ушла, возвращалась еще раза два, пока наконец сама Марья Николаевна за руку не притащила заплаканного, упиравшегося внука.

— Вот он, Николай Федорыч, баловник. Пстой, вот я деду скажу! А ты, я вижу, молодой человек, тоже крутенок!

Она улыбнулась одобрительно — какой-то первый ледок, очевидно, ломался. Николай, как ни в чем не бывало, продолжил, не затягивая, свой разговор с Сережей, потом встал и дружески хлопнул мальчика по плечу:

— Ну, а теперь веди меня завтракать... Идем!

Завтракали на выходящей в сад террасе, огромной, широкой, утвержденной на каменных столбах, с разноцвет-

ными по-старинному стеклами в двойных рамах. Окна были раскрыты, солнце, зеленый воздух так и лились на желтый пол, на цветные дерюжки, на розовую штучную скатерть стола, на никелированный фасонный самовар, на синие чашки, на тарелки, сухарницы с сухарями, блюда с пирожками, пряженцами, котлетами со свежими огурцами, на большой букет свежих цветов.

За самоваром сидела с полуулыбкой сама Марья Николаевна. Рядом из-под пышных кос коронкой вокруг круглой головки, положив длинные ресницы на румяные щеки, дожевывая пирожок, фыркая, помешивая чай ложечкой в синей чашке, сверкала взглядом семнадцатилетняя девушка.

Рядом с ней, жемчугами рассыпая свои коротенькие смешки, сидели, должно быть, три ее подружки — две беленьких и одна черная, как цыганка, все в белых блузках и с цветами у поясов.

— Ну вот и Николай Федорыч! Знакомьтесь! — пропела Марья Николаевна. — Это вот дочка моя Наташа. Меньшенькая!

Раз весенним утром Николай карабкался над Волгой по каменному отвесному обрыву. Найдя щель, куда вдвинуть носок сапога, прильнув к камням всем телом, дыша запахом травы, земли и теплого камня, он приподнялся в усилие и вдруг у самого своего лица увидал освещенный солнцем, обрызганный утренней росой веселый колокольчик павилики, словно синюю живую душу этих камней. Девушка напонила Николаю этот цветок — она тоже была душою дома, из ее озорных глаз так и хлестала бездумная радость тучной жизни.

— Ха-ха-ха! — звенел девичий смех. — Хи-хи-хи!..

— А это ее подружки-хохотушки... — степенно говорила Марья Николаевна, — Верочка, Любочка да Катенька. Старшей-то дочки нету дома — в Крыму она у нас... Отдыхает. А это, девочки, наш учитель... Сережин...

— Учитель-мучитель! — вдруг сказал с самой бесхитростной ясностью Сережа и хитро пододвинул Николаю стул.

— Ха-ха-ха! — брызнул смех. — Хи-хи-хи...

От смеха дрожал чай в чашках, а от чая по белому потолку прыгали зайчики.

Николай уселся и сразу был охвачен звонкой застольной болтовней. О чем? Обо всем и ни о чем... И если бы

они говорили совсем о другом, то смысл этих разговоров все равно оставался бы тем же самым: самой сильной, булькающей, брызгающей радостью. Разговор был похож на песню — все слова давным-давно известны, они все те же — купанье, катанье на лодке, поездка в Заозерье в монастырь, завтрашняя музыка на Зориной горе, но дело было не в словах, главное было в мелодии, в звучании этих слов. И за окнами тоже шумел, будто болтал ветер, гнулись, летели, бормотали космы берез, гремели по железу крыши и, должно быть, шумела лиловая от ветра Волга с белыми барашками волн. Это было само беззаботное, сытое, бездумное счастье.

После завтрака Николай ушел к себе, как оглушенный. «Вот это жизнь! — думал он, шагая от окна до двери по столовой. — Вот так жизнь... Ай-ай! Какое довольство! Как праздник! Совсем по-другому, чем у нас дома! Дома обо всем говорили, обо всем спорили — отец с бабушкой, ребята с отцом. А здесь никто ни о чем не спорит, а только вместе хохочут... Интересно, что сказал бы Соколов, если бы он попал сюда, в Кинешму? Это не жизнь, это сама силища, мать честная! Вечный праздник!»

— Эй, бери, бери, пойдет! Эй, бери, сама пойдет! — приглушенно путались с мыслями Николая какие-то не то мерные крики, не то стоны. Прислушался, бросился к окну. И совсем не приглушенно, а полным голосом звенели эти надрывные крики, не умолкая ни на секунду... — Эй, бери, бери, пойдет... Эй, бери, сама пойдет...

Пока он сидел на выходящей в сад террасе и слушал девичий хохот, здесь, под жарким солнцем, муравьиной цепочкой, с пятипудовыми мешками на плечах все бежали и бежали полуголые, теперь в одних портках, мужики по вымокшим, гнушимся мосткам с барж, через баржи на берег, на бегу вытирая тряпками пот с засыпанных мякиной белозубых, загорелых лиц, и из мешков на берегу вырастал снова целый Кремль.

— Эй, пойдет, бери, пойдет! Ухнем! Да ухнем!

Рослый, широкоплечий мужик с рыжей бородой, босой, в синих, с большими розанами штанах сбежал к воде, схватил с песку валявшийся тут же ковш, зачерпнул и жадно пил, а ветер свивал и развеивал на мачте баржи трехцветный — бело-сине-красный флаг.

Бывает, распахнет зеленая молния в темную ночь го-

ризонт и сразу покажет, сколько спрятано там: и зубчатый лес, и светящиеся, друг на друга навалившиеся облака — розовое на синее, и лодку в волнах посреди Волги, и обрыв, и бледное лицо совсем рядом.

И так же распахнулась мысль Николая, и он увидел, он понял мгновенно, что этих людей собрал сюда, заставил бежать с барж на берег, качаясь на гибких досках, гнуться под тяжестью зерна — этот каменный, веселый, не знающий нужды дом...

У Прокшиных, на их Нижней Дебре, работал один отец. На его жалованье жили, учились и готовились к работе они, его дети, Коля и Костя. А на этот каменный дом работали сотни и сотни людей в штанах из линиялого ситца. Мысль встала занозой в голове Николая, она не исчезала, а шевелилась, ползла, растекалась вширь, словно масляное пятно на бумаге. Она бросала свои лучи кругом на самые обычные вещи, и самые обычные вещи начинали светиться совсем по-другому. По-другому звенел уже девичий смех. И, пожалуй, Соколову было бы что сказать, если бы он попал в Кинешму!

Надо было думать, думать! И Николай, схватив фуражку, ушел на Волгу. День был яркий, ветренный, за помрачневшей от беляков рекой плыли облака, по гальке берега разбросаны были кружевные платочки пены. Рыболовки, белые, с коричневым на крыльях, покоясь, плыли в тугом ветре, шум волн перебивал стук колес могучего буксира «Редедя», тянувшего за собой длинный караван таких же хлебных барж. Далеко вниз по течению, с зеленого берега подымался могучий черный дым, свивался в черную тучу — там работала бумагопрядильная фабрика «Томна», за ней краснели корпуса двух других. И ровный гул ветра, и поскрипывание руля у стоявшей неподалеку на якоре барженки, и резкие крики рыболовок, плеск волн, и стоны людей, выгружавших хлеб под домом Федосеева, — все сливалось в мощный хор общего потока жизни. Черт возьми, и здесь не так, должно быть, уж проста эта веселая, жирная жизнь, как показалось ему давеча! Правда, приятно было спервоначалу почувствовать, что он спасся, сбежал как будто от костромских волнений в эту тихую заводь, но Соколов снова был с ним и тут, на берегу.

И Николай шагал и шагал по берегу Волги, как вышагивал он и по улицам Костромы. Он миновал уже по-

сад, березовую рощу за ним, светлую от белых, ровных ствслов, от солнца и зелени, шумящую, трепещущую в звонком ветре, и перед ним новым поворотом раскрывалась уходящая все вдаль и вдаль желто-синяя Волга. Вдали на хребте стрежня уплывали плоты, прямо над водой краснел огонек — там, должно быть, варили кашу.

— Опять, как в Костроме! — остановился и сам себе улыбнулся он. — Не одно, так другое! Ишь, какая жизнь колючая.

Присел на плоский, обросший зеленым мхом камень, снял фуражку. «Что же это за такое? — думал он. — Ну, кого здесь, в Кинешме, спросишь? Одни хохочут, другие стонут...»

Уже отзвонили к вечерне, когда Николай возвращался к каменному дому, пропитанный волжскими ветрами. Подходил, а к крыльцу с другой стороны подъезжала старенькая пролетка, запряженная бурым меринком. Из пролетки вылез старик в черном картузе, махнул рукой, пролетка загремела в ворота, а старик стоял и спокойно смотрел из-под руки на тоже приостановившегося Николая.

— Должно быть, учитель будете? — спросил старик. — Так, что ли? Николай Федорыч, что ли? Так, так, милости прошу, пожалуйста в дом! Слышал, звонили уж мне... Гулять изволили, молодой человек? На Волге-с? Привольно, привольно-с у нас, молодой человек!

Мутные его глаза смотрели беспощадно зорко. Нечего было и сравнивать с ним глаза отца — у Федора Петровича взгляд был задумчивый, мечтательный, а этот взгляд жег, как перец. Старик стоял, чуть сгорбившись в своем черном не то пальто, не то сюртуке, в насаженном на уши черном картузе, а проходившие мимо то и дело люди стаскивали с голов свои фуражки, шапки и, не подымая на него глаз, кланялись ему. Еще бы! Ему, Ивану Ивановичу, принадлежали эти баржи, эти тысячи пятипудовых мешков с хлебом, а каждый из этих прохожих думал только о том, как получить кусок хлеба, а получить его они могли у него, у Ивана Ивановича. И у Ивана Ивановича в его медвежьем остром взгляде из-под седеющих кустиков бровей светилась всегдашняя, привычная удача, сила, властность. Он стоял твердо — хозяин перед своим домом, в шуме своего сада, в звоне к вечерне своей церкви. Он, сделавший все это по своему

же образу и подобию. Он завоевал все это в жестокой схватке с жизнью, заплатил за все это годами несслыханной борьбы, выдержки, упорства, сметки, расчета.

Смурым мальчишкой пришел когда-то Федосеев в Кинешму, уже мальчонкой сумев понять, что жить в их деревне на глинистой, неродимой земле было и скудно, и скучно, и не к чему. Пришел в синей посконной рубашке, в портках из домотканной пестряди, в лаптях, в валяной бурой шляпе на соломенных кудрях. От всего этого старого ничего не осталось с тех пор у него, кроме острого взгляда.

Годами работал в хлебной лавке у хозяина, гнул спину, рвал, наживал, где только мог, обгонял «самого» в сметке, в хватке и в удачливости, вошел в доверие, женился на тоненькой хозяйской дочке — Манюшке, был взят в дом — вот и вся его карьера. Никто, никогда не слышал от него ни слова про это, про пройденный им жизненный путь, но все эти дни и ночи, прожитые, вымученные, затвердевшие, отложились у него в душе, в пристальном прищуре набрякших старческих век. Столько трудившийся человек таил про себя самого бессловесно весь накопленный им опыт, почти молча ведя исконную волжскую торговлю хлебом с Низом, ворочая миллионами.

День-деньской сидел он в своем каменном лабазе на площади, в городском торговом ряду, где окна за решетками дочерна мохнато были запорошены отрубями и мякиной, где, как ворота, широкие железные двери были всегда распахнуты настежь. В лабазе толклись покупатели, продавцы, комиссионеры, приказчики, молодцы, доверенные, капитаны с его пароходов и водоливы с его барж, вперевод с воркующими, то и дело подлетающими голубями. Кто бы ни входил в лавку, первое, что он видел, — были зоркие глаза хозяина, небольшого, стриженного под скобку старичка, с седенькой бородкой, с сухими, четкими линиями крутого, нависшего вперед лба, день-деньской сидящего на табуретке, под иконой Николая с красной лампадой.

Как паук, Федосеев ткал вокруг себя паутину, широко распускал ее от деревни к деревне, от города к городу, и, как улитка раковину, собирал, создавал, строил вокруг себя дома, амбары, баржи, пароходы, распорядясь всем через приказчиков-молодцов, своих родичей и выкормышей, как и он сам, отобранных и выверенных в крутой

борьбе. Его доверенные кружили по сельским и городским унавоженным базарам округи, где торчали высоко задранные оглобли тысяч мужичьих телег, — лихие, оборотистые, в сибирках, однорядках, в пиджаках и шитых рубашках, в сапогах бутылками, оглушавшие своими росказнями, божбой, прибаутками, криками, бранью недоверчивых, прижимистых, однако простоватых крестьян. А вечерами после рядового, почти что всегда удачливого дня многочисленная эта челядь собиралась у ворот хозяйского дома — летом, а зимой в молодцовской горнице, и до ужина неслись оттуда говор, смех, треньканье балалайки, разухабистые переборы гармоники.

Новые впечатления быстро сменяли друг друга, сытая, бездумная, налаженная, бессловесная жизнь у хлеба грозила поглотить, затянуть Николая.

Утром — чай с удушающе сытными ватрушками, пирожками, пряженцами, кокурками, скородумками. Потом — неспешные занятия с Сережей. К полудню занятия уже заканчивались. За завтраком болтовня и хохот с барышнями — с Наташей, с ее подружками. Тяжелый обед подавался в три часа, и после него все расходилось по комнатам — «отдохнуть», хотя отдыхать по существу было не от чего. Николай боролся сам с собой — как бы его не утянуло в этот омут буржуазного тупого благополучия, пытался читать в эти часы «отдыха». «Того гляди, станешь одним из федосеевских молодцов!» — улыбался он сам себе. Но комната оказывалась прокаленной слепополуденным солнцем, в ушах все время звенели размеренные крики из окон, глаза слипались, и он скоро находил себя заснувшим на душной подушке, мокрой от поту. Когда жар наконец сваливал, они с Сережей бежали купаться — прямо с терпко пахнувших плотов, стоящих против дома на Волге, или катались на хозяйской шлюпке.

А за вечерним чаем продолжалась та же неумолчная, попугайная болтовня, смолкавшая лишь на минутку, пока мимо проходил прямо к себе из лавки Иван Иваныч: он всегда и ел и пил отдельно.

Вечером развлекались либо в саду, либо на лавке у ворот, пока наконец бледной летней ночью при свете свеч в стеклянных садовых подсвечниках на террасе снова не громоздились на столе яства. После ужина огни во всем доме гасились и все спали — таков был приказ хозяина.

По воскресным дням было еще скучнее. С утра все семейство ехало в «церкву», хотя до церкви не было и полных ста шагов.

Под звон колоколов кучер Григорий подавал коляску, и в первый рейс ехали «сам» и «сама», во второй, за ними, ожидавшие Наташа с Сережей и Николаем. И опять народ стоял вдоль улицы без шапок, кланялся в пояс и покорно удивлялся:

«Ух, и богатые!»

Совсем немного прошло такого тихого житья, как Николай вдруг заметил, что он отвыкает от газет. Газеты в Костроме были для всей их семьи как воздух, — даже бабушка гонялась за свежей «газетинкой», а теперь то же самое «Русское Слово» звучало приглушенно, словно голос из-под мягкой подушки. Газеты в этом доме получались каждый день, но спокойно лежали в надверном ящике иногда до самого вечера.

Да вполне и понятно, какими должны были быть события, чтобы после Цусимы по-прежнему волновать души? Острота реакции падала сама собой. К тому же телеграммы твердили, что президент Рузвельт добивается заключения мира между Россией и Японией.

— Ну, если сам президент добивается, то уж добьется! Он, знаете ли, американец... — говорили за федосеевским столом. И выходило, что беспокоиться нечего, и газеты уже не могли звучать с прежней силой отчаяния.

Сказать, однако, что Николай тупел и становился вроде как бы «молодцом» в этом купеческом доме, — было бы несправедливо. Он отвыкал от отвлеченной мысли, от книжных и газетных призм, зато перед ним разворачивалась сама натура. Он мог здесь рассматривать жизнь не вообще, не с литературного полета. Перед ним здесь, как в микроскопе в капле воды, бились, барахтались, боролись живые существа, и это жестокое зрелище не могло не сбивать его уже нажитого интеллигентского высокомерия. Вокруг каменного дома люди жили так тесно, так были сжаты друг с другом общим котлом, что срослись в одну щетку уральских горных хрусталей. Они и общались не столько словами, сколько нутром, чутьем, восклицаниями, не столько говорили, сколько радовались, пели или горевали вместе. Они не спорили, не доказывали, а в случае расхождений между собой жесточайше ссорились, бранились, иногда совершенно бессмысленными сло-

вами, иногда даже дрались, не умея убеждать друг друга словами, но пока все эти расхождения как-то сами собой, но благополучно изживались. Дом, семья, вся челядь, все огромное хозяйство лабазы Ивана Ивановича было единым организмом, в котором обращалась одна кровь, и сердцем этого организма был старик-хозяин, а головой — его инстинкт.

Как лабаз мякиной, так старик сам был досуха пробит пылью своего дела. Как растение молча тянет пищу из почвы, из воздуха, из света, не останавливая ни днем, ни ночью работы ни на минуту, не теряя ни секунды, так и он искал товар, хлеб, находил, продавал, покупал, наживал, нажитое пускал в оборот, строил дома, амбары, пароходы, баржи — все так же просто и так же ловко и естественно, как растут на гряде капуста или огурцы. Жесткий скопленный опыт его стал настолько привычен, традиционен, что действовал автоматически.

И Николай стал все чаще и чаще заглядывать к старику в лабаз, слушал эти особые, скупые, рубленные, как гранитная брусчатка, деловые слова.

Был как-то серенький, шелковый денек раннего лета, немного туманный, на площадь перед лабазами, заставленную телегами, сеялся нежный, как хроматическая гамма, теплый дождик. Николай, идя с почты, завернул в лавку и задержался там.

— Чем движутся дела человеческие? — продолжая разговор, спрашивал старик, наливая себе в кружку крепкого чая. — Верую-с! Верой только. Дело-то оно — как чудо-с!

— А есть чудеса, Иван Иванович? — спросил Николай.

— Дела есть, а раз есть дела-с, стало быть, есть и чудеса-с! Чудо, оно как и дело. Оба они творят то, чего раньше не было.

Как тогда, в ночь смерти Васи, перед Николаем вспыхнули, засияли камни в стеклянных трубках в физическом кабинете, по стенам заскользили цветные отблески.

— Пять годов тому назад, — с усмешкой продолжал Иван Иванович, — я ради для спасения души в Иерусалим спутешествовал. И сподобился быть там о самую пасху, в храме над гробом господним. И в ту святую ночь — там, что ни год, совершается чудо... Патриарх

Иерусалимский как есть в одной только рубашечке спускается к гробу, с ним одни восковые свечи... И в самую то есть полночь огонь сходит на свечи, и свечи те патриарх выносит с собой и раздает огонь верующим...

— Откуда сходит? — переспросил Николай. — Огонь? Что такое?

— Ну, откуда... С небеси, должно быть...

Николай посмотрел на Федосеева, тот чуть улыбался, щипля редкие волоски своей бороды.

— Хе-хе-хе... Чудо! — усмехнулся старик.

— И верят?

— А что плохого от веры? Ничего! Для дела без веры не обойтись! — продолжал старик. — Попробуй только, задумайся, верно ты действуешь или неверно, — ну и пропал! Время-то в деле не терпит, подгоняет — давай, говорит, давай! Вот вы — ученые! — воззрился старик на Николая. — Веры в вас, конечно, никакой нет... Правильно я говорю?

Николай вздохнул, привычно похлопав фуражкой о коленку.

— Ну, да, — ответил он. — Трудное дело. Надо, конечно, сперва изучить обстоятельства, надо все узнать, а потом делать... Тогда и выйдет то, что надо...

— То-то оно и есть! — отозвался старик. — Изучить! Узнать! Хорошее дело — учить! А когда я в Кинешму в липовых сапожках явился да работать начал, — знал я что-нибудь? Нету, ничего не знал, а зато в счастье свое крепко верил. И всегда так и думал — будет по-моему. И вот кто-нибудь тогда бы меня наставлять стал — не верил бы! Сдвинул ли бы я сам камень мой великий с места? Ни в жисть! Пропал бы я! — отхлебнул он из кружки и продолжал: — Теперь-то, конечно, я другое дело... Удача мне вышла, вот мы и разглагольствуем, что хорошо, что плохо, и то и се, и молебны, и колокола, и оклады на иконах вон серебряные... Теперь можно. Ну, а тогда я был гол как сокол, бился на пустом месте. И хозяин мой был тоже не богат. Да я верю, он верит — выходит вместе две веры. Он в меня верит, я в него верю — еще две, — старик протянул руку, отщелкнул на счетах, — еще две — итого четыре веры... Мужики, что у нас работают, тоже нам верят — еще десяток вер! Все веры вместе — си-и-ла! Много я бился, пока первый полудодок на Волгу не спустил... Ну, он бегаёт, подсобляет,

работает, а мы вместилах второй гоношим. На воду и его толкаем. Выходили мне они оба уже барженку. Я в первый раз сам водоливом на ней пошел... Хе-хе-хе...

Старик смеялся довольным смехом, теплым, дробным, как этот летний дождь, — удачи всегда радуют.

— На низовом хлебе удачу мы тогда большую доспели и других упредили. Недели две, правда, почитай совсем не спали. Ну, а на следующую воду я свой пароход уже спустил... Господи ты боже мой! — воскликнул он умиленно. — Стоишь на берегу, и душа твоя играет: бежит мой «Витязь», кожуха широкие, белые, плиты — чистый сурик, дым по синему так и стелет. Одно слово, икона! И душа птицей вот так же вьется, об одном только и думаешь — как бы богатства больше добыть, больше настроить!

— Себе? — спросил Николай, смотря в умиленное, моргающее лицо хозяина. «Ишь, как лис!» — мельком подумал он.

— Зачем себе? Земле своей! Людям! Живите! Работайте вокруг меня. Стал я хозяин! Великое дело — хозяин! Я как запевала, а вы все пойте...

Иван Иванович посмотрел прямо в глаза Николаю.

— Великое слово «хозяин», — повторил он с такой же тонкой улыбкой, как давеча, как говорил о чуде патриарха. — Я-то знаю, вы, молодые люди, думаете, что хозяин — это, как собака на сене, — под брюхо себе подгрел и сам не ест и другим не дает... Капиталист! — хмыкнул он и вдруг вытащил из ящика стола пачку желтых газет. — Вот они это же самое говорят. Да знаешь ли ты, Николай Федорыч, что у настоящего-то хозяина капитал не то, что ему принадлежит, а сам хозяином владеет, вертит... Капитал — огонь, сам горит и хозяина жжет — крути, крути меня, оборачивай, перебрасывай, как уголек, с ладони на ладонь... И хозяин возле капиталу — словно каторжник к тачке прикованный. Возьми — возле нашего дела кормится с полтыщи человек... а? Все сыты, обути. А что мне теперь самому-то нужно? Ну, полкуренка на день. Съем, да молочка — больше ничего! Правда, помоложе, бывало, на ярманке в Нижнем я себе позволял — и в ресторане набедокуришь, с арфянками зимний сад, бывало, вырубешь, — так оно и тут не без пользы: ресторанишко кормится, и арфянки, и винодел кормится... Одно к одному. Я не знаю,

как по-вашему, по-ученому, это все выходит, а только знаю, что все мы в деле, как комары, друг вокруг друга кружимся. Теперь вот со всех сторон спрашивают: а почему это одни бедны, а другие богаты? И правда, одному много достанется, другому мало... Что ж делать! Апостол вон как говорит: «На ристалищах бегут все, но один получит награду... И бегите, чтобы получить!» Надобно всем бежать! Ну и бежим, а сколько уж пробежали! Много! Не в лесу живем, а в городах... Не на дубах плаваем, — на пароходах... Все это сделано!

— Да, Иван Иванович, а народ-то в стороне? Разве не может хозяйничать сам народ?

— Народ? — старик раздумчиво щипал бороду. — Пожалуй, так оно и будет, будет тогда, когда весь народ из хозяев будет состоять. Сколько есть хозяев — столько и хозяйств. Теперь поет хор, а запеваает один, а когда все будет с голосами, то уж, конечно, одному тогда запевать не придется... Всем будет лучше житься, чем теперь, потому что от хозяина и достается кой-кому. Это будет тогда, когда народ получит...

— Науку... — подсказал Николай.

Старик поморщился.

— Наука наукой... Практику... Практику! — сказал он. — Наука сама-то из практики вышла. Без навыка, без практики и с наукой немного сделаешь... Правда, говорят, что если нас, хозяев, прогнать, то дело сразу лучше пойдет. Как это они, социалисты, что ли? — метнул он на Николая взгляд, пощипывая бородку. — Может быть, да только после практики. А сейчас что с ними делать? Ну, что?

Он искоса посматривал на Николая. С площади вдруг долетела команда, топот сапог, побрякивание кандалов. Николай оглянулся. Между возами шагали конвойные солдаты в черных фуражках с синими кантами, стройно торчали, поблескивали штыки. Солдат было четверо, посреди их в пиджачках поверх черных рубашек шли двое.

Николай вдруг внутренне так и ахнул: в одном из арестантов он узнал Соколова Павла! Да, это был он. Его вздернутый носик был оседлан пенсне, шнурочек болтался через ухо, на голове была круглая суконная арестантская шапка, такие же куртка и штаны, одной рукой он поддерживал цепи, другой нес белый узелок.

И Павел тоже узнал Николая и, проходя, гордо кивнул ему.

Иван Иванович молчал, переводя свой взгляд с одного на другого.

— Так, — сказал он. — Товарищ?

— Наш гимназист.

— За что? За революцию?

— Да! Он социалист!

И, отвечая, Николай встревоженно думал: «Как это попал Павел? Что случилось?»

— Вот на нас, на купечество, дюже за это самое тяжесть падает! — говорил старик. — Купечество-де вино-вато... Капиталисты! Буржуазия! — старик усмехнулся, покачал головой. — А где, скажи-ка на милость, где ты видел, чтобы наше русское купечество государством управляло? Тюрьмы содержало? С ружьем в руках у себя порядок наводило? Нам-то и без того дела много! И товар, хлеб отовсюду собирай, и торгуй, и баржи строй, и пароходы... А в государстве-то у нас как раз руки связаны... Кто такие мы, купцы? Сословие неблагородное. А кто у нас правит? Их благородия! Высокоблагородия... Превосходительства... Благородные. Мы в черных картузах да в сибирках ходим, а они золото на шапках носят... Ну и командуют, будто от господ бога поставлены. Картуз перед ними скидывай да на праздники подарки-поздравления посылай. При оказиях разных жертвуй — мадамы ихние приезжают в колясках. А случись что — ах вы, ах аршинники, самоварники, толстобрюхие... Надувалы морские...

И старик, вздохнув, приподнял палец вверх:

— Купечество российское Россией не правит. Нет! Дворяне правят. А какие? Да те самые, что свою землю теряют, с ней справиться не могут. Не могут они, хоть ты что хошь, без крепостного мужика орудовать, потому что умеют только орать, да приказывать, да чваниться. Разными языками владеют, ну, за границу ездют и смотрят, как там живут... Чтоб им самим так же сладко жить... По-нашему жить не хотят. И попы с ними, их на эти подвиги благословят... Царя с собой словно чучело золотое таскают. Народ им пугают. А народу-то — хе-хе-хе — и не страшно. Потому — нищему пожар не страшен, а народ — нищ. Ишь, как в нашей богатейшей стране ловко они управились. Каких подвигов натворили!..

Весь флот наш кверху пузом и всплыл от их управления-то... Армия без снарядов осталась... Хе-хе! Да нешто так было бы, коли бы купцы за этим делом по-хозяйски при-сматривали бы? Без хозяина — дом сирота. А нет хозяина в государстве, нет. Да и царшка наш, надо сказать прямо, уж больно плохой... Плохой...

— Иван Иванович, да как же вы так говорите? — Николай руками даже развел. — Если так все плохо, то как же наша церковь издревне с такими дворянами вместе шла? Ведь народ-то до сих пор в церковь ходит?

— Да не древняя, молодой человек, не древняя... Новая! В том-то все и дело... Новая! Древняя-то наша церковь никогда на царство не лезла. Это новая полезла. Не с народом жить, а народом править захотела. Вот и вышло, что царь всей церковью командует, архиереев ставит да сгоняет, орденами да звездами их награждает. За что? Да потому, что он сам — первый дворянин, а они его — вона — «благочестивейшим» чествуют. Святым, то есть. Погоди-ка, что я тебе ужю покажу, коль ты меня раззадорил...

Федосеев поднялся, пошел за переборку, где стоял негосраемый шкаф, щелкнул переливно замком и вынес оттуда старую рукопись бойким полууставом, в кожаном переплете с застежками.

— Вот что, вьюнош милый, слушай, что в старину про архиереев-то царских писано: «Таковые нароком поставлены, яко земские ярыжки...» — нашел Федосеев нужное место. — «Яко земские ярыжки», — ну, по-нашему, полицейские, что ли, — объяснял он. — «...Что им велят — то и творят... Готовы зайцев христовых, как псы борзые, ловить да в огонь сажать... Ино царей в лицо святыми зовут, ну к тому и приступу нет. «Благочестивейший!» Бог есмь аз! Кто мне равен? Разве бог небесный — он владеет на небеси, а я на земле... А сказано как? А так: «Кто человека как личность похвалит — тот сатане его предает». Гордости... Ну, все цари гордоусы и стали...

Старик закрыл рукопись, похлопал любовно по ней рукой.

— Вот что старые-то люди говорят, и слово их верно, как адамант, потому что они за народ трудящийся. За обременный. Вот что они говорят и про царя и про новое духовенство, что на жалованьи царском состоит. Ну, и

досталось же писателю этому самому на орехи за это! — он улыбнулся и покачал головой.

— Кому это, Иван Иванович?

— Не слышал? И чему это вас в гимназии учат! Протопопу иже во святых отцу нашему Аввакуму... Царские попы и сожгли его за такую правду на костре...

— А! — воскликнул Николай. — Нет, я знаю! Это — раскольники... Слышал.

— То-то и есть, слышал звон, да не знаешь, где он. Раскольники! — старик посмотрел сурово. — Ишь ты! Раскольники! Поди вас все учат, что все дело в правках книг, в раскольничьем необразовании... В неграмотности? В темноте? Все раскольников изобличаете — триста-четыре года по глупости своей за ошибки стоят... Хе-хе... А главное-то и не показывают. Правды! Правда-то она всегда страшная!

Старик положил рукопись на стол, застегнул аккуратно застёжки.

— Будет, будет время — придет хозяин. Прогонит он этих нерадивых благородиев в шею, — продолжал он. — Найдутся в народе люди, народ-то ой как думает об этом! Найдутся! Только... — Федосеев не спеша подошел к себе счеты, стряхнул их. — Не дворяне это будут! — бросил он одну костяшку. — Дворянство по своей вольности уж сорок лет без работы ходит. Как крестьяне освободились, дворянство только земли свои проедает... Да еще кормится у государственного дела. Будто править умеет. А купечеству некогда — оно торгует, да промышляет, да производит, и ему тоже от дворян свобода нужна, нужно этих благородных чиновников поубрать. Слышно даже, что наши купцы, хе-хе, революции помогают. И правда. Возьми Морозова Савву Ивановича... Не может до сей поры забыть, как его дед из крепостных выкупился. Или Мешкова Николая Васильевича — пермяка. Голова! Но править они не могут! Два! — щелкнул он счетами. — Крестьянство себе тоже помощи требует, внимания — нужно порядок на земле наладить, чтобы земля давала все, что нужно. Земский мир к большому государственному делу тоже не привычен. Три! Ну, от чиновников наших путного не жди, те все равно что христовым именем от своего жалованья питаются, начальству в глаза смотрят. От них толку, как от подберезовиков червивых. Четыре! Ну, кто же остается? Остает-

ся еще народ, сильный, мужики, которых город здорово обработал. Рабочие! — он отщелкнул на счетах. — Это по газетам хотя бы видно. Они работой живут, трудом своим, да на хозяев обижаются, что те пышно уж слишком живут, в благородия лезут... В газетах пишут, что рабочие сами за дело хотят взяться, вместо хозяев. Что ж! Пожалуй, они с фабриками-то справятся. А мы, купцы, на обороте сидим, дело у нас другое. Драться мы не умеем, командовать тоже, и для нас такое дело не худо, пожалуй, будет... Пускай рабочий народ работает во весь мах, и мы не отстанем. Тебе что, милая? — обратился он к бабе, стоявшей в дверях против тонкого дождя.

— Да вот, батюшка Иван Иванович, земляники принесла, не купите ли?

— А сколько спотянет-то, милая?

— А с пуд спотянет, с пуд спотянет! — певуче отвечала баба, кланяясь в пояс.

— На дождю продаешь, больше спотянет! — усмехнулся старик. — Вань, а Вань, свесь, — кинул он в пол-оборота приказчику, — сколько будет, фунта два сбрось, на воду. Да потом сбегай, снеси Марье-то Николаевне. И сахару столько же, ай побольше, пускай варенье сварят... Зимой пригодится! Зима-матушка все подберет!

Николай двинулся домой — их разговор дошел до того предела, где должен был остановиться. То, что он ухватил, понял в нем, дополняло, объясняло по-новому то, что узнал он в Костроме, в их кружке. Старик с его хозяйством стоял перед Николаем старым, коспоязычным, неумеющим говорить, но прочно сбитым миром. Миром каменного дома... Но почему же в каменном доме — за чаем, за обедом, за ужином — была только одна болтовня? Почему молчит сам старик, если он знает столько? И что же наконец случилось с Павлом?

Дождь сеялся и сеялся, но большой барометр в гостиной пошел вверх, на ведро. Хотелось уединиться, пересмотреть свои мысли, перевесить их так же, как давеча мальчик Ваня в лабазе перевешивал купленную землянику, скинуть с них на дождь, на недоучет... Была пятница, и Николай решил, что завтра, в субботу, после обеда попросит у хозяев шлюпку, съездит к Вале, в их Векшино.

Глава вторая

В ДВОРЯНСКОМ ГНЕЗДЕ

Хмурая суббота клонилась к вечеру, когда Николай отпер замок у хозяйской шлюпки, стоявшей у плотов против каменного дома, вытянул цепь между пахнувших кистым бревен, вставил уключины, положил в шлюпку весла, прыгнул сам и сильными гребками, так, что под веслами ревела вода, погнал самым стрежнем лодку вниз по течению.

Город, посад, березовая роща справа уходили назад, убегали берега, начался и проходил плавный поворот реки, и наконец вдалеке на высоком берегу показалось большое село с белой церковью. Это было Никола-Мера, село по соседству с Векшиным.

Мерная, сильная гребля успокаивала. «Все хорошо! Все хорошо!» — словно говорили весла. Тревога, сомнения тускнели, на западе тоже прояснило, и в сердце веяло тихо: он увидит Валю!

В последний раз он видел ее в Костроме, на бульваре, на музыке. Вечер был теплый, между бульварными липами в оливковой мгле желтели шестиугольники керосиновых фонарей, густая толпа едва двигалась вплотную друг к другу, шаркала ногами, пылила, плотно обседа все скамейки. В большой раковине сидел полковой оркестр, полыхали начищенные трубы, и оттуда неслась старинная увертюра — не то «Поэт и крестьянин», не то «Пробуждение Льва». Напротив оркестра из ажурных листьев в ресторане блестели разноцветные фонарики, раздавались оттуда пьяные, хриплые голоса.

Там по обыкновению гулял известный всему городу секретарь местной газеты «Костромской листок», патлатый и счастливый супруг редактора-издательницы Татьяны Петровны.

Николай нашел Валю в самой гуще, она кивнула, выбралась к нему на заднюю аллею, и, охваченные весенним теплом, они, не уговариваясь, ушли к багровому от заката собору, в беседку над Волгой.

— Тру-ту-ту... Тру-ту-ту... — пел вальс издали, уверяя в чем-то хорошем, что непременно случится, бледные звезды смотрели с неба, Валя то и дело вздыхала. Говорила она мало, должно быть боялась сказать про то,

про что говорили ее глаза. Немногословен был и Николай, тоже побаивался, что, пожалуй, скажет что-то такое, от чего возврата нет, от чего не откажешься. Понемногу Валя разговорилась, разговор все шел об одном и том же: она непременно хотела, чтобы он прислал к ним в Векшино.

— Ах, как там хорошо! Теперь цветут вишни, яблони, — рассказывала она про сад подробно, оживленно, глаза у нее блестели. Должно быть, она чувствовала себя уже в этом саду и больше всего хотела, чтобы и Николай почувствовал бы, как хорошо может быть им вместе там, в этом саду, в их доме, в их Векшине. И медный оркестр подтверждал это с бульвара баритонным ритмом вальса:

— Да-да-да! Да-да-да!

От музыки, от яблонь, от нежного голоса Вали, от вишен в цвету голова у Николая словно плыла кругом. Так и тянуло прыгнуть в сладкую, душистую бездну...

Он слушал Валин шепот о таких удивительных яблочках, что они могут лежать в соломе хоть всю зиму, и все будто сегодня сняты. Да разве в яблочках туг было дело? Совсем в другом: это она, Валя, шла по волшебному, вечно цветущему саду, под деревьями, с которых свисали изумительные сверкающие плоды. В ней, в Вале, было все дело!

Николай выдержал все-таки характер, удержал себя от того, что ему так безумно хотелось... Он не обнял Вали! А вот сейчас, приближаясь к ней с каждым взмахом весел, он чувствовал, как тянула она его к себе...

Солнце падало в черный лес прямо из синей тучи, река текла спокойно красным растопленным маслом, берега — луга, ивняк — стали пурпурными, и ходко обгонявший шлюпку пассажирский пароход «Матрона» горел алым золотом по всем окнам кают.

Под горой забелела маленькая пристань, и Николай гнал к ней свою шлюпку. Подгреб, запер цепь на замок у мостков пристани, весла спрятал под застреху крыши. Огляделся.

— Как же пройти в Векшино?

Осторожно постучав, он открыл дверь конторки.

В конторе, оклеенной голубенькими полопавшимися тараканьими обоями, стоял бальзамин на окошке, гудели в духоте мухи и царила такая скука, такая тоска, какая

может быть только на крохотной пристаньке, затерянной среди неба, воды и вечернего пламени. На стенках горели красные пятна, на них смотрел с кушетки молодой человек с гитарой на коленях.

— Здравствуйте!

Молодой человек оглянулся.

— Вам кого-с? — тускло взглянул он на белую рубашку Николая.

— Скажите, как мне в Векшино пройти? Тут недалеко! Версты полторы!

— А кого вам?

— Артищевых!

Молодой человек потрогал струны, наклонил набок голову.

— Полторы версты-с? — переспросил он. — Гм... Артищевых? А позвольте узнать, из кого состоит семейство?

— Их мать и две дочери!

— А, сутяжница! Сутяжница и есть! — вскричал молодой человек, и гитара его издала ликующий аккорд.

— Как? Что? — не понял Николай.

— А ее мужики у нас так зовут! — объяснил молодой человек, заботливо подстраивая гитару. — Сутяжница! Вы к ней по делу? По судебному?

— Нет, по другому! — отвечал Николай. — Пожалуйста, как пройти?

Оказалось, что надо идти по угору, краем, за село — потом будет поле, а там, за поскотиной — деревянный дом. На берегу речки. В саду...

— Сами увидите! Сами увидите! — несколько раз повторил молодой человек.

Спускаясь на берег по шатким сходням, Николай услышал отчаянный рывок гитары, и тенорок запел:

И если увидеть придется,
Что красавица мне не верна-а,
Моей мести сам ад ужаснется-я,
Перекрестится сам сатана!

Тонкая бурая пыль висела в воздухе: стадо давно прошло ко дворам, но вечер был слишком тих. Поворот на дорогу через поле пришелся как раз у деревенского трактира, где окна были освещены большой «молнией», оттуда неслись хрипы граммофона, выкрики:

— Чего ж это она делает-то? Не допустит этого общество! Опять в суд, и больше ничево!

«Неужели это об Валиной матери?» — поморщился Николай.

Вдоль изгородей он шел через поля. Вправо, далеко по угору, под багровое небо веерами уходили полосы пахоты, по гребню тянулись нотными линейками поскотины, крестами чернели елки.

А влево, по низу, по лугам, к Волге, — все было открыто, широко, привольно и уже темно и спокойно. На огромном просторе поблескивала речка Мера. Сперва подбежав близко к самой Волге, она потом отбегала прочь, чтобы, описав по лугам почти правильное полукольцо, снова повернуть и броситься уже в Волгу. На лугах между Мерой и Волгой зарождались седые туманы, скрипели коростели, за Волгой, в бору, сыпали огоньки фабрики. Высокий берег над излучиной Меры был опушен высоким бором, и с луговой сыростью оттуда тянуло свежестью, смолой, медом. На небе, будто все смелея, больше и больше высypали звезды.

Николай подлез под одну изгородь, под другую и наконец увидел в глубине невысокого сада дом над рекой. За высоким забором брехала собака. Николай при свете зари нашел калитку, стал стучать.

— Кто там? — донесся наконец женский голос. — Чево нужно?

— Это усадьба Артищевых?

— Ну да! Векшино! Чево нужно? — удивился голос. — Кто ж этого не знает? Шарик, не лай, дурак!

— Валентину Сергеевну! Я из Кинешмы... Я Николай Прокшин! — через забор перекрикивал он собачий лай.

— Сейчас спрошу, — отвечал голос после паузы. Смолкла и недокуковала вдали кукушка: — Ку-ку!

Быстрые шаги — и у калитки кто-то шептал, возясь с запором:

— Неужели? Неужели?

Калитка распахнулась, в июньской ночи забелело такое милое, такое знакомое лицо.

— Неужели? — теперь вслух выговорил низкий грудной голос. — Коля, вы? Шарик, да замолчи! — Даже в темноте было видно, как Валя загорела. Похохатывая, хватая его за руки, дыша на него смешанным запахом

сена, травы, тела, молока, то и дело трогая его плечо, Валя вела его в дом.

Перед покосившимся крыльцом приостановилась:

— Только не смотрите на меня, я по-домашнему!

И прыгнула на крыльцо так, что колыхнулась грудь.

— Ой, как я рада!

Вошли в темную, застекленную террасу, заваленную вещами, где пахло пылью, жарой, ветчиной, каким-то вареньем. Валя рвалась к нему, смотрела ему в глаза, сама сняла с него фуражку, за руку втащила его в темную переднюю. Послышались шаги, и, высоко держа горящую свечу, быстро шла им навстречу небольшая сухонькая дама в красной вязаной кофточке.

Мать и дочь стали рядом и, светя свечой, рассматривали пришедшего в их дом юношу.

— Здравствуйте, Прокшин! — сказала мать, пожимая энергично его руку. — Дочь много говорила о вас. Очень вас хвалила!

— Ах, мама, мама, что ты, что ты! — конфузливо стонала та. — Побудь, мама, здесь... Я сейчас... Переоденусь!

— Нечего стесняться! — бросила Лизавета Васильевна вслед убегающей дочери, и при свете свечи было видно — у нее рот полон крупных и острых зубов. — Нечего стесняться! Пусть знает, какая ты... Пусть знает, что ты мне все, все рассказываешь! Идите сюда, Коля! В гостиную... Тут уже светло... Садитесь! Вы пешком? А, на лодке! Как добрались? Сидите, а я по хозяйству!

Она скрылась, высоко неся свечу.

Пустоватая комната с бревенчатыми, проконопаченными стенами пахла сосной. На высоком камине горели два пятисвечных бронзовых канделябра, свечи в них поддерживали голые кокетливые гении, и нежный свет сеялся по гостиной. Вычурное зеркало все в темных пятнах, в почерневшей золотой раме глядело из простенка, старинная мебель была обита веселеньким кретончиком. На бревнах одной стены висели олеографии — приложения к «Ниве» — «Поцелуйный обряд» и «Гаданье девушек», а напротив, на другой, над облезлым роялем — потрескавшийся, в овальной раме портрет заносчивой дамы, с розой в темных волосах, в черном кружевном платье, с веером в руке у тонкой талии. Уголки алых губ были надменно опущены книзу, на крутом подбородке — черная мушка.

Красавица неприязненно глядела на Николая Три Окна все были настезь, но свечи горели, как одна, ровно.

— Вот и я, Коля! Правда, скоро? — вбежала Валя.

Она была в ситцевом розовом платье и сияла счастьем.

— Ой, как я рада! Как же вы добрались, Коля?.. — Ее душил восторг. — Да вы садитесь, — говорила она, — садитесь, — тащила она его к креслу с красными розанами по желтому полю, сама садилась на другое, вскакивала. — Вы устали? Нет? Ой, как я рада!

Николай смутился: почему это его особа вызывает такую радость? Он рассказывал про Кинешму, про свои уроки... Валя слушала, смотрела ему в глаза, и было совершенно ясно, что она ничего не слышит.

Раздались легкие шаги, Николай замолк, оглянулся. Вошла младшая сестра Вали — Гуня, девочка с фарфоровым лицом, с глазами, еще более сияющими, чем у Вали, поздоровалась и молча присела к сестре на ручку кресла. Николай невольно то и дело глядел на нее, а Валя заметно мрачнела, должно быть, от ревности.

Влетела мать:

— Что же это вы так сидите? — накинулась она на молодежь. — Валя, почему ты ничего не сыграешь — пусть Коля послушает! Не стесняйся, садись, садись... И Гуня у нас тоже играет!

— Мама, право, я не знаю! Я мало играю, — отнекивалась Валя.

Все же она села и сыграла две пьески — «Бурю на Волге» и «Молитву девы». Клавиши поскрипывали, мотивы были немудреные, но, играя, она очень похорошела.

В окно вошла и стала, вероятно, чтобы тоже послушать, синяя звезда; с картины «Поцелуйный обряд» улыбался седобородый боярин Морозов, красавица Елена Андреевна явно смущалась перед князем Серебряным, а в темных окнах далекими искорками играли огоньки Томны.

На Николая смотрели женские глаза этого дома, такие разные, но все одинаково встревоженные. Не было тут Наташиного хохота, не было увесистости кинешемского дома; было что-то ленивое, нежное, заносчивое и вместе с тем больное, жалко-хиреющее.

«Дворянское гнездо!» — подумал Николай и вдруг услышал мешавшиеся со светом луны звуки клавесина,

на котором играл старый Лемм. «И газет они, наверное, тут не читают. Ничего не знают! Только всего боятся. Какая непрочная жизнь!»

Впрочем, не такая уж непрочная. Когда Валя сыграла, Лизавета Васильевна заговорила о семье Николая, выказывая большую осведомленность. Ему волей-неволей пришлось давать объяснения на все их семейные обстоятельства в смягченном, улучшенном виде. И эти женщины осуждали его семью, пусть этого прямо не говорилось... Они были непримиримы, непреклонны, они недоумевали, Лизавета Васильевна то и дело вздергивала плечи: «Как это можно? Помилуйте-с! Ах, какое время!»

— Ну, — говорила Лизавета Васильевна, — а что же вы думаете о себе, Коля? Куда после гимназии? Не решили? Зря! Пора решать! Пора! В университет? Или в специальное? В специальное лучше! — О, она так бы желала, чтобы мужья ее дочерей (быстрый взгляд сверкнул в сторону Вали), чтобы мужья ее дочерей были учеными агрономами. — Подумайте, у нас больше трехсот десятин земли, — она подняла вверх тонкий палец в обручальном кольце. — Триста! Это не то, что иметь землю в цветочных горшках! — Ей приходится хозяйничать одной, но это очень трудно... Она ведь женщина... И слабая, молодой человек, женщина!

Пригорюнилась было, но быстро выпрямилась стальной пружиной.

Пусть она и женщина, но своих дочерей в обиду не даст. Она сама сумеет устроить свои дела. Ведь в жилах наших голубая кровь.

— Гуня, — скомандовала она, — покажи Коле щечку!

Гуня зарделась, глаза у нее налились слезами, но она встала и покорно повернула к свету щечку, — ей, очевидно, приходилось делать это не в первый раз. Под тонким фарфором девичьей кожи действительно голубели жилки.

— Видали? — гордо спрашивала Лизавета Васильевна. — Ага! Каково? Настоящая дворянская кровь. Мы ведь в Шестую книгу записаны. В Бархатную. Вон портрет дамы — видите? Наша прабабка, княжна Отыганьева! Наш род на этих землях больше трехсот лет хозяйничает. О, мы мужиков хорошо знаем... С ними надо уметь. Круто. Мужик прежде всего лентяй... Обман-

щик. А что говорил покойник Александр Третий? Дворянина должен слушаться мужик, вот кого!

Елизавета Васильевна сидела, вытянув ножки в казанских шитых туфлях, заложив их одну на другую, вздернув брови и головку и надменно, как дама с розой, опустив углы рта. Кофточка у нее оказалась заколотой под самым горлом черной камеей в золотом ободке.

Перед Николаем сидела сохранившаяся помещица, неизвестно откуда явившаяся старая барыня, худая, как кошка, неумная, ничего не забывшая, хотя жизнь ее учила жестоко свыше сорока лет и не смогла выучить ничему.

— А наши мужики? — продолжала Лизавета Васильевна. — Беда с ними! От рук отбились! Ничего знать не хотят. Им бы только землю у меня отобрать! Нет-с, не выйдет! И в аренду я им земли не сдам, а найду хорошего для нее хозяина. Найду! Мужики плательщики плохие... До сих пор ведь мы выкупных платежей за нашу землю не получили. Сорок лет... Не-е-ет! Они вон говорят, река Мера наша! Верно, общая вода. А берега-то, Коля, мои! Мои! — подчеркнула она. — Захотели мужики сплавлять в Волгу свои дрова — швырком — не возражаю! — помещица выставила вперед обе свои худые ладони. — Пожалуйста! Стали они сплавлять, а я возьми да и перегороди подходы по лугам... Мои луга! Мои берега! Ага! Ага! — продолжала она, трясая головой. — Вам десяти сажень бичевнику мало? Лугами угодно ходить? Траву мять? Мне убыток причинять? Ясно! Так заплатите-ка, ваше мужицкое благородье, мне за поправу пятьсот рубликов! Да-с! Нет? Так в суд, хамское отродье, в суд!

И старая барыня тыкала перед собой сухоньким кулачком с колечками.

Николаю было неловко; он хорошо помнил своего деда, его медали и кресты за Венгерский поход, его рассказы про своих господ Лапиных в Оренбургской губернии, и ему казалось, что худой кулачок старой госпожи подбирается и к его лицу. Он видел, что законы и суд для госпожи Артищевой были чем-то вроде ее Шарика, ее цепного пса, сторожившего ее добро.

— Потравили лужки — в суд! Выскочила при проходе деревней корова, напугала Гуначку — в суд. Выка-

тали лес мужики на одну сажень дальше десятисаженного бичевника — опять в суд!

Суд в представлении Лизаветы Васильевны не мог действовать иначе — только в ее, в помещицью пользу — там ведь сидят все наши, все хорошие, добрые знакомые... Дворяне. Председатель Жохов Иван Александрович — наш, кинешемский дворянин, — живет по соседству в своем имении. Знает, что такое мужики, будьте покойны. Член суда Владимир Павлович Киснемский — тоже свой человек. Да и быть иначе не может! Кого должно охранять государство? Дворян! Чьи интересы защищать? Дворянские! Культура-то у нас какая, Коля? Дворянская! Я вот одинокая вдова, с двумя дочерьми... Так каждый меня, что ли, обидеть может? Нет, я столбовая! Артищева! Закон — за меня! А мужики — что! Да они жалобы-то ни одной не могут написать как следует! Темнота! Зверье!

Помещица говорила громко, авторитетно, и вдруг Николай заскучал, хотя в этой бревенчатой тихой комнате с олеографиями, с княжной Отрыганьевой, с сияющими девичьими глазами было так уютно. Рядом в столовой стучали посудой, очевидно, там готовили ужин. Коростели скрипели в лад хозяйке.

«В сущности, какое мне-то до этого дело? — тянулись в утомленном мозгу Николая ленивые мысли. — Неужели Валя так крепко связана со всем этим?»

На ужин подавали много, слишком много — телятину со свежими огурцами, только что зарезанных цыплят, молочные кушанья, блинчики с вареньем, малину со сливками. Большую лампу «молнию» с жестяным кругом и вертушкой над ней не зажигали, а принесли канделябры. Тут обнаружилось, что у гениев были отбиты: у одного рука, у другого крыло. На столе молоко подали в кувшине розового стекла в серебряной чеканной оправе, а вилки были погнутые, ржавые. И Лизавета Васильевна все говорила и говорила о своих обидах, бедах, неудачах, и голос ее звенел, как унылый колокольчик под дугой. Свечи догорали, полыхали от поднявшегося сквозняка. Валя сидела и улыбалась в какой-то дымке.

И когда Николая отвели в кабинет покойного отца на диван, он уснул, едва коснувшись прохладных простынь, словно в колодец упал.

А проснувшись, юноша долго не мог понять, где же

он? Над диваном, на бревенчатой стене висел плохой потертый ковер, на нем довольно дрянное оружие — берданка, пара длинных пистолетов, ятаган. Острый луч утреннего солнца проник сквозь вырезанное в ставне сердечко и зажег на длинном пыльном письменном столе стеклянный зеленый шар с цветами внутри.

«Где я? — сел Николай на зазвеневшем пружинами диване. — У Вали! Да я ведь у Вали! — вспомнил он. Душа зазвенела. — У Вали!» — спустил ноги на пол.

— Купаться!

Заросшую травой тропку в росном холодноватом саду пересекали длинные тени деревьев, потом тропка через бор уходила под гору. Бор стоял тихий, торжественный, полные гулом вершины румянились от солнца, внизу еще прятались тени. Из кучи прошлогодних листьев вылез прорезной зеленый лист папоротника с тугими завитушками по краям. Освещенный пробравшимся откуда-то солнцем куст земляники показывал крупную красную ягоду с сверкающей каплей росы на ней. Белоус подымал всюду свои тонкие перья, между красными стволами сосен вилась кудрявая зелень лещины, по земле кое-где желтели лютики, голубели анемоны. Земля испускала прелый, крепкий запах, запах матери-почвы, запах могучего леса, позванивающего своими вершинами в утреннем ветре.

Подымая ноги, чтобы не обрызгаться до самых бедер росой с высокой травы, хватаясь за деревья, Николай сбежал к речке. «Должно быть, здесь купается Валя!» — уколола его быстрая мысль — дерн у воды был сорван, желтел песок. Вода в речке под берегом была зеленой, подальше — светлела, а еще дальше — становилась синей, как небо. Солнце падало в ее стеклянную толщу, как в стеклянный шар в кабинете, освещало янтарные глубины, где тени от лежащих на воде листьев казались темными стволами, между ними плавали рыбы, поблескивая серебром, чуть шевеля плавниками.

За речкой же расстилался широкий бархатно-зеленый луг, упирающийся в темную лесную даль за Волгой.

Николай раздевался, а из кустов со свистом, с шумом вылетели две утки, какая-то змейка быстро уплывала по реке, рассекая воду приподнятой головкой с раздвоенным языком, в лесу длинными переκληками свистела птица иволга.

С разбега он бросился в воду, пошли волны, словно от парохода, заколыхались ближние, дальние листья кувшинок, похожие на зеленые палитры, и Николая охватила упругая свежесть неглубокой желтоватой реки.

Переплыв речку, размяв сильное свое тело, Николай с наслаждением перевернулся на спину, скрестив на груди мускулистые руки... Вода покачивала его, несла тихо-тихо, над ним плыли облака, таяли на глазах, что предвещало ведренный день.

Когда, одевшись, Николай бежал по угору сосновым бором, солнце стояло уже выше, по земле были настланы огнистые пятна. Издали слышались голоса — Валя и Гуня в ситцевых халатиках бежали тоже купаться. Встреча обозначалась криками предупреждения, смехом, обе спрятались в орешнике и никак не хотели показаться.

Пока девушки купались, Николай один обошел усадьбу, надворные постройки. Унылая картина! В риге почему-то были сломаны ворота, там хозяйничал толстый, подслеповатый боров. Скотный сарай покосился, кругом все занавожено. Небольшая пасека в саду была в беспорядке, несколько колод валялось на земле. Даданы стояли старые. На ободранном стволе яблони болтался недоуздок, лошади не было — верно ушла куда-то. На террасе дома несколько стекол торчали острыми клиньями. Цепь старого Шарика была связана веревкой... Несколько человек — работников или прислуги — слонялось по двору, толкалось у погреба.

Накануне, когда Николай боролся с дремотой, слушая разглагольствования Лизаветы Васильевны, он дивился ее хлопотливости, для которой надо же столько энергии, и ему казалось, что в именье, столь заботливо охраняемом, должна же быть хозяйская рука. А сегодня утром ему странно было, как это он мог так думать вчера. Вздорная, придавленная прошлым дама, думавшая только о своих правах да привилегиях, своими тяжбами просто разоряла остатки того, что когда-то имела. А вспомнив, как Валя вчера одобрительно трясла головой на слова матери, он нахмурился:

— Сутяжница!

Мужик в карман за словом не лезет... Пожалуй, оно и правда. Во всяком случае было видно, что село, крестьянские дворы и огороды, при всей их незатейливости, бы-

ли в большем порядке, чем эти остатки дворянского гнезда.

— Коля, Коля! — раздались по усадьбе девичьи голоса. — Где вы? Ко-о-ля!

Они искали его, молодые хозяйки: да где же это он, да что ж это он не идет!.. Да чай давно готов! Куда он девался — ха-ха!

Валя была одета по-воскресному, в белом платье с вишневым поясом, темные каштановые косы свешивались чуть не до колен. Гуня казалась куколкой в розовом. Даже сама Лизавета Васильевна обрядилась в красную с турецкими разводами кофту, отчего, впрочем, ее личико, тревожно выдвинувшееся вперед, ровно ничего не выиграло.

После чая стали играть в крокет. И больно было смотреть, как были в чепу побиты шары, как поломаны молотки, а вместо потерянных железных воротец пришлось натывать в землю палочек: даже свое, близкое, «дворовое», так сказать, все было в небрежении. Как это все было не похоже на то, что Николай видел даже у себя дома, не говоря о купеческом доме на берегу реки Кинешемки!

Играя в крокет, Николай слышал, как в доме Лизавета Васильевна распорядилась вчерашней девушкой:

— Мотья! Убери все с террасы, там будем завтракать! А то Коля говорит, что там, в доме, душно! Да скорей!

Выходило, что с ним, с Николаем, уже считались в этом доме. И Матрена долго выгребала и таскала оттуда всякий наваленный там хлам, вошину, какие-то ящики, старые газеты, разрозненные сапоги...

За завтраком, бестолково обильным и нарочитым, Николай просто злился, что Валя смотрит на него обожающим взглядом, что Лизавета Васильевна накладывает ему в тарелку кушанья сверх всякой меры. Он помрачнел и стал, как Федор Петрович, катать хлебные шарики.

— Коля, хотите еще цыпленка? Коля, почему вы не кушаете малинового суфле? Это очень вкусно!

Нет, Николай должен же задать вопрос, который так долго вертелся у него на языке, беспокоил его. И, положив на тарелку нож и вилку, Николай спросил, точно в воду бросился:

— Лизавета Васильевна, а почему вы не поставите вашего хозяйства как следует?

Та сделала большие глаза:

— Что вы хотите этим сказать? Веду, как могу!

— Сколько у вас засеяно?

— Тридцать десятин...

— Из трехсот?

— Да вы бога побойтесь, Коля! — подскочила на месте помещица. — Кто же пахать будет? Мы чем живем? Лес продаем! Разве с этим мужичьем можно что-нибудь делать? Пьяницы, мошенники, дураки! Не хотят пахать, да и все тут! Им свое вперед, видите ли, нужно... Да что пахать! Спасибо, что совсем не сожгли... Живем, как в осаде! Народу как волю дали, с той поры он озорует! Пьянствует! Да вот — этой весной весь хлеб вывезли из риги. Приехали с возами — и готово... У тебя, говорят, есть, Лизавета Васильевна, а у нас на семена нет... Вывезли... Ну, что вы скажете? — и она вздохнула. — Я вдова, что я могу сделать! Валя вот да Гуня еще девочки... Ах, если бы у нас в семье был мужчина!

Проговорив эти слова, Артищева снова посмотрела на старшую дочь: это было обязанностью Вали — привести в семью мужчину, сильного, решительного, твердого, владеющего оружием, судом, бранью, кулаками, словом, всем, чтобы защитить, когда понадобится, ригу, поля, луг, хлеб, скот, «нашу» землю от мужиков.

Николай, поймав этот взгляд, отчетливо понял, что в окошке Валиного сердца ему никак не быть одним светом. Если ее мужем не будет он, Николай Прокшин, то будет другой. Кто угодно, а будет, потому что дело-то не в сердце, а в земле!

После завтрака Лизавета Васильевна предложила показать Николаю Векшино.

«Так в старых романах писали!» — подумал Николай.

Девочки и помещица взяли цветные зонтики и по твердой, забитой прочными, кожаными листьями подорожника дорожке двинулись в поле. Справа и слева потянулись плохо, с огрехами вспаханные поля, желтели скудные всходы. Дальше бесконечно лежали белесые пары, пересеченные низенькими перелесками.

Лизавета Васильевна взяла Николая под руку, пощупала мускулы — твердость их произвела на нее впечат-

ление. Со своей стороны, Валя рассказала всему обществу, как Коля переплывал в Костроме Волгу: «Туда и обратно, туда и обратно», — восхищенно повторяла она.

Рассказывая это, она смущалась, путалась в словах, надсадно кряхтела, прижимала к лицу поля соломенной широкой шляпы. Гуня была в красной шляпе в виде цветка мака и во время этих героических повествований несколько раз ободряюще улыбнулась Николаю.

Николая словно выбирали, его осматривали, даже ощупывали — годится ли он, чтобы подпереть этот рушащийся старый дом? А эта поблекшая дама в невообразимой кофте, даже эти милые, красивые девушки — все это ненастоящее, это тени, эхо прошлого...

От настоящего же тут, пожалуй, были дурно возделанные поля, вековечные трели жаворонков, твердая тропинка, на которой черная грязь застыла крупными зубьями и больно ворочала ногу, а больше всего тревога, опасения за свой завтрашний день да еще злые слова.

Подошли к реке, через которую ехал бродом мужик с возом и застрял. Неистовая брань, свист, хлест кнута так и висели в воздухе вместе с трелью жаворонка. Пегая несчастная лошаденка подалась всем корпусом вперед, влегла в хомут, четыре ее ноги стали наклонно-параллельно, на них выступил и дрожал каждый мускул, а круглое пузо болталось жалко. «Кормилица» эта перебирала ногами честно, рвалась вперед, однако ничего не выходило — телега увязала все глубже и глубже.

— Ирод, распряги животину-то! — закричала старуха, размахивая красным зонтом. — Сгрузи воз-то. Перетаскай на берег! Чать, не ворованное везешь!

— А ты што, ай в суд подать хошь? — огрызнулся мужик.

— Ах ты... — и звонкая брань полилась с крутого берега.

— Мама! Мама! Не надо! — тихо умоляли дочери. — Не надо, мамочка!

Мадам наконец утомилась, плюнула с негодованием, и компания потянулась под жарким солнцем по тощим полям, а за ними потянулся скучный день, на пути которого стал наконец неизбежный нудный обед.

— Валя и Коля, — сказала за сладким Лизавета Васильевна, — после обеда отправляйтесь оба на мель-

ницу и скажите... Ну, скажите, чтобы хорошенько пере-
мололи зерно, ежели привезут с фабрики...

Николай и Валя остались наедине — на это и было
рассчитано приказание мамы. Смолистым бором они
по крутой тропке стали спускаться к речке. Валя шла
осторожно, выбирая место, где ступить, протягивая руку
Николаю за помощь в особенно трудных местах. В ее
движениях, в спокойном взгляде и голосе чувствовалось
разрешение матери, была готова исчезнуть последняя
разобщенность между нею и Николаем. И разговаривая,
пересмеиваясь с нею, Николай чувствовал, как что-то
менялось в его душе. А не сдать ли и ему? Не остаться
ли здесь работать — на этих полузаброшенных зем-
лях? Разве это не могло бы быть увлекательно? Он
часто ходил в Земский музей в Костроме, любовался
умными сельскохозяйственными машинами. Он уже ви-
дел, как перед ним на синем небе по гребню угора идет
мощная фигура пахаря за четверкой сильных коней, тя-
нущих многолемешный плуг. Он так и видел, как вол-
нуются пышные жатвы. Как со жнитва торопливо уво-
зят на возах рассеявшиеся по всему полю суслонь, ав-
густовское солнце мечет из-за драных, столпившихся
облаков вверх и вниз светлые лучи, а из-за горизонта
вылезают грозные лиловые тучи, посверкивая молни-
ями, и похолодевший ветер уже порывами облетывает
поле «Скорей, скорей!» — слышны голоса, и вдали весе-
ло гудят молотилки.

Ведь вся его жизнь впереди, он волен делать из нее
все, что хочет. Сдаться вот этому, и всю жизнь видеть
рядом с собой Валу, милую Валу, которая сейчас уже
идет рядом с ним, наклонив головку и покусывая
сорванную травку. Кончу гимназию, а на следующую
осень в Москву, в Петровское-Разумовское. Летом в
Векшино — и пойдет мудрый, расчетливо построенный
ряд мирных годов его будущей жизни, которую он возь-
мет вместе с Валей. Да разве плохо? Радостно захоло-
нуло его сердце.

«А вера есть? — вдруг зашелестело голосом Федо-
сеева в тревожном шепоте осин, мимо которых они про-
ходили. — Есть у тебя во что упереться, чтобы сдвинуть
камень такой будущей жизни?» Да полно, разве этого
он, Николай, ждет от своей жизни, словно богач побря-
кивая в кармане бесконечными своими еще неизрасходи-

ванными годами? Да зачем нужны ему эти триста деся-
тин в этой глуши?

— Коля! — сказала Валя и оглянулась назад, они
отошли уже порядочно. — Я вам хочу показать что-то...

— Что, Валя?

Она вытащила из-за вишневого своего пояса сложен-
ную бумажку.

— Вот! — протянула она ее Николаю. — Так боя-
лась, как бы мама не увидела!

Как, и сюда, в эту глушь осинника, лещины, ольхи,
в свисты синиц и пухляков, попала эта тоненькая бумаж-
ка, с таким знакомым, плохо отбитым, неровно покры-
тым краской шрифтом? Как попали сюда грозные, обли-
чающие слова?

Но факт оставался фактом — Московский Комитет
РСДРП нашел Николая и здесь, на пути на мельницу,
он снова брал его за плечо, останавливал, он обращал-
ся к нему, к его чувствам, к его совести:

«Товарищи! — читал Николай. — На Дальнем Вос-
токе царское правительство снова потерпело поражение.
Лучшие суда нашего флота потоплены или взяты в плен
японцами. Опять много народу убито и перекалечено...
Миллионы денег брошены в воду. Больше двух мил-
лиардов рублей золотом уже стоит эта война, четыреста
пятьдесят тысяч жизней унесла и искалечила она, сотни
тысяч семей остались обездоленными и без кормиль-
цев...»

Все опять потемнело вокруг, словно алая кисея гнета
заткала все — лес, небо... Валу...

«...Наши адмиралы и генералы только умеют од-
но — издеваться над солдатами и матросами, только
истязать их, — властно говорила листовка. — Уже год
и два месяца бьют нас японцы, а им и горюшка мало...

«Долой самодержавие! Долой царя! — загреме-
ло с последних строк листовки. — Да здравствует Все-
народное Учредительное собрание! Да здравствует Рес-
публика!».

Николай остановился, повертел бумажку в руках:

— Откуда это, Валя?

— А Белова, Марья Дмитриевна, дала мне почитать.
Учительница в школе из Николы-Меры... Она хорошая.
Вы почитайте, чтобы только мама не увидела... Я очень
боюсь! Я ее назад отдам.

Николай усмехнулся.

— Пожалуй, Лизавете Васильевне это не понравится! — сказал он. — Она батюшку-царя почитает... Возьмите!

— Ах, Коля, не смейтесь над мамой! — вдруг вспыхнула Валя и, беря бумажку, повернулась к нему. — Мама просто же не знает, что нам делать...

«Но разве нужны мне эти триста десятин? Нет, мне нужно другое, — думал он. — Весь мир нужен, вот что...»

Они тем временем уже подходили к мельнице. Утлая, схваченная старыми ветлами плотина держала в рамке зеленых листьев, белых, желтых цветов зеркало воды, подернутое мелкой ряской. Бобровые палки торчали, как свечи. Серую мельницу крыла ярко-зеленая замшелая крыша, шумели колеса, на них из кауза махом валилась прозрачная вода. Из плотины упруго били светлые веселые струйки, под ней журчала по гальке и песку речушка.

Валя пошла на мельницу, Николай присел на плотине, следил, как ее белая фигурка перебиралась по узкой плотине, как задержалась у двери мельницы, где ожидали телеги. И грустная нежность к ней вдруг хлынула в сердце Николая.

Этот пятый час каленого июньского дня был, пожалуй, вершиной его первой любви. Он не коснулся девушки, он не нарушил ни ее, ни своей чистоты. Он оставался далек от нее, но в отдаленности этой и было все очарование.

И в то же время — эта нежность его чувства звучала печально, по-осеннему в этот июньский день: ему стало ясно, что он уйдет от этой девушки. Не мог же он навсегда остаться в Векшине, нет... Даже не потому, что это значило бы вечно сражаться с тещей, спасти ее от ею же поднимаемых столкновений с крестьянами, от ее собственных же скандалов и споров. Нет, просто мир-то значительно шире, чем этот деревенский угол. «И разве можно было рассчитывать на эту тишину в раскатах надвигающихся событий?» — думал он, вертя в руках листовку.

Валя уже возвращалась, бежала, легко подпрыгивая по бревнам плотины, опустилась рядом на косо лежащее бревно, перевела дыхание, взяла его под руку, прижалась к его плечу.

— Валя, знаете что? Мне, пожалуй, пора уезжать обратно в город! — сказал Николай.

Она замахала на него руками, перекрикивая шум воды:

— Что вы, что вы, Коля! Оставайтесь ночевать. Завтра и поедете! Утром...

Он не уступал.

— Валя! — тихо сказал он. — Я еду сегодня...

Женским чутьем Валя угадывала, что в нем случилось что-то и это что-то связано с игрой матери. Именно с этим. Пусть про это не было сказано ни единого слова, хотя это было самым главным... Люди-то ведь говорят больше всего о легком, а молчат о главном.

Глаза Вали наливались слезами.

— Коля? — одним словом спросила она, схватив его за руки.

Что было ответить на такой простой и такой трудный вопрос?

— Валя, — мягко говорил он, высвобождая руки. — Мне надо быть вовремя. Я обещал... Это моя обязанность...

— Удивительная обязанность — обламывать купеческих сынков...

И засмеялась. Смех ее выручал.

— Вам весело, — сказал он. — Я рад. А я все-таки должен ехать.

Теперь она испугалась. Он был настойчив, он уходил, а она ночью уже успела навить вокруг него целое гнездо. Правда, все было очень туманно, — ясно было видно только одно, как они с Николаем в зимний, лунный вечер сидят за самоваром в бревенчатой комнате, и хрипло звонят часы. Это и было само счастье, которого, значит, не будет? Валя, понурившись, ощипывала листочки с веточки лозняка, а слезы текли и текли... А в Николае росло упорство. Он смотрел на воду омота, на песчаную отмель, по которой бойко бегал куличок в черном пиджачке. «Подождать, и всякие слезы в конце концов высохнут!» — жестко подумал он. Он должен остаться свободным! Это главное.

— Ах, да скажите что-нибудь, Коля! — ахнула Валя и заплакала так, что спина и плечи задрожали.

К этой весело постукивающей мельнице в лесу в летний день она пришла веселой девушкой, а должна была

уйти обреченной на первую тоску по уходящему от нее юноше.

Вдруг она перестала плакать и, подняв высоко брови, всхлипывая, вытерла себе лицо платком, а потом молча взяла Николая под руку, сказала:

— Ну, идемте!

Он понял, что победил.

Когда вернулись домой, на терраске шумел вечерний самовар, Лизавета Васильевна сидела на ступеньках. Она ждала их и зорко посмотрела в лица обоих. Когда Валя, грустно вздохнув, объявила, что Коля сегодня уезжает, старуха забеспокоилась:

— Ну, нет, без ужина не пустим! Нет и нет! Курица уже жарится!

После ужина Николай простился и двинулся по тропке из знакомой калитки. Она показалась сегодня совсем другой, не такой, какой была вчера. Свет из окон скоро перестал мелькать в листьях, лай Шарика замирал. На западе гасла полоса зари, горизонт был синий-синий, черные елки бежали торопливо обратно. Каждый шаг уносил Николая из этого дома, из этого гнезда, все дальше, и он хорошо понимал, что никогда сюда не вернется. Первый в его жизни соблазн — на приманку покоя, тихой жизни — он победил. Но как жаль Валю! Ах, как жаль свою первую любовь!..

Сзади послышалось — будто бегут. Остановился. Да, кто-то бежал перелеском. И из-за елки, багровая от зари, вылетела, словно на крыльях, Валя.

— Коля! — говорила она, вплотную прильнув к нему. — Коля! Простите меня. Я, кажется, все поняла, Коля! Я хочу с вами проститься... Мы всегда будем друзьями?... Да, да? — спрашивала она, и вдруг, схватив его голову своими крепкими руками, поцеловала Николая прямо в губы. И толкнула его:

— Ступайте! Вы никогда больше к нам не придете... Правда? Правда?

Если бы Николай заговорил сейчас, он заговорил бы громко (а может быть и тихо), заговорил бы, не зная, что сказать, и только бы напутал то, что начала уже путать жизнь. Валя спасла его: выхватив платочек из-за пояса, прижала к губам, повернулась так круто, что косы хлестнули вокруг стана, и побежала обратно.

Опустив голову, Николай медленно брел мимо села к

пристани. Или он сделал ошибку? Или она сильнее его?

— Дёрг-дёрг! Дёрг-дёрг! — скрипели далеко в лугах коростели. — Дёрг-дёрг...

На пристани он разыскал весла. Шлюпку в его отсутствие сплошь заплевали подсолнухами, засыпали песком. Какая бессмысленная злоба! Кто это сделал? Зачем? Но спросить было некого — гитариста в конторке не оказалось. Николай сел в лодку и крепкими взмахами вёсел погнал ее вверх по реке, держась у самого берега, где течение было слабее. Заря погасла, осталось одно опаловое облачко, бледные переливались звезды.

Двенадцать верст против течения достались Николаю нелегко. Лишь в третьем часу полусветлой летней ночи он увидал белеющий на берегу каменный дом, оставил шлюпку у плотов напротив.

Воздух был еще по-ночному спокоен, на востоке брезжил рассвет, стоял высоко ущербный апельсиновый месяц.

Летучая мышь опапнула лицо Николая в бесшумном полете, а из седого сада вокруг дома в предутреннем холоде неслись раскаты соловьев...

Проходя к дому мимо федосеевской церкви, Николай увидал, как из ограды, от могил вышла высокая черная фигура в рясе и неслышно растаяла между высоких деревьев. Это был духовник Федосеевых отец Варсонофий, человек праведной жизни, как болтали за столом, почти проводящий на могилах в молитве.

Все, что он пережил сегодня днем, было необыкновенно, совершенно ново, оно потрясло Николая, а эта летняя ночь тоже оказалась полна тем, чего не подозревает день.

Скорей бы в чужую столовую, под дубовый буфет, где приткнулся его диван, завалиться, укрыться, отдохнуть от первых боев, от первых невеселых побед в жизни. И он почти с отчаянием загремел кулаками в ворота, и собаки за оградой подхватили стук в раскатистом лае.

Долго стучал Николай. Дом спал крепко. Наконец калитку открыл один из федосеевских «молодцов» — бошой, в полосатых подштаниках, в красной рубахе, почесываясь и зевая.

— Лезли бы через забор! — говорил он, крестя рот после зевка. — Чего уж! Все лазют!

Прокшин пообещал сделать так в следующий раз, и тот уходил ворча:

— Молодой человек, а в ворота стучит... Эх!

Стеклянная лестница была полна темноты, вчерашнего тепла, тишины. По потрескивавшему паркету он прошел залу, но перед гостиной остановился: из дверей оттуда ложилась на пол полоска света.

«Лампадку, что ли, там оставили?» — подумал он и, чтобы пройти к себе в столовую, взял было за ручку, мягко потянул ее к себе и замер: спиной к нему, освещенная двумя свечами в круглом зеркале, сидела на стуле полунагая женщина. Свет бликами лежал на кружевах ее рубашки, на круглых плечах. Склонив шею, охватив голыми руками колена поверх короткой юбки, она из темного стекла в упор смотрела на Николая.

Ослепленный, взволнованный, он прикрыл тихонько дверь и пошел на цыпочках в обход по коридору.

Это была последняя из тайн дня — сегодня вернулась из Крыма Евгения Ивановна — мать его ученика Сережи.

Глава третья

ОТРЕЧЕНИЕ

— Ну-с, чем же это вы занимаетесь, молодые люди? — спрашивала Евгения Ивановна, входя утром в столовую, где Николай занимался с Сережей. — Здравствуйте, Николай Федорович! Так, кажется? Я Мейер!

— Здравствуйте, Евгения Ивановна, — отвечал Николай, вставая и придвигая третий стул к заваленному книжками и тетрадами столу.

— Мама, у нас синтаксис! — весело заявил Сережа, болтая ногами.

— Ну, продолжайте... Разрешите мне послушать! Я сяду там!

Евгения Ивановна легко перенесла свое статное тело к креслу у окна, мягко олустилась в него, заботливо расправляя свое свежее, сурового полотна платье с розовым шелком под прошивками.

В комнате был зеленый отсвет от ветвей лип, загля-

дывавших в окна, и небо и деревья отражались в поверхности полированного стола перед окном. На столе в высоком стакане стояли цветы. Евгения Ивановна намеренно села к окну в полоборота — в таком освещении очень выгодно выделялась правильность ее носа с тонкими ноздрями, полные губы, чуть тронутые краской.

Она все время двигалась, шевелилась, блистая ногтями, кольцами, прической цвета осенней листвы, перепирала длинную золотую цепочку часов, серые глаза под высокими бровями глядели спокойно и смело.

— Вот, Сережа, — продолжал Прокшин, — обстоятельства называются второстепенные члены предложения, которые означают место, время, причину, цель, способ действия... Повтори...

— Обстоятельства называются... — рассеянно заговорил Сережа и вдруг спросил: — Мамочка, а ты там в море купалась? Ух, хорошо, а?

Евгения Ивановна посмотрела на сына, потом на Николая.

— Сережа, ты невнимателен, — сказала она. — Николай Федорович, вы, говорят, и языки знаете?

— Знаю немного, — скромно признался тот.

— И литературу?

— Ну, и литературу.

Он хмурился, смущался. Она так и стояла у него перед глазами, какой он увидел вчера ее ночью, эту последнюю тайну вчерашнего дня. Она так вязалась с утренним холодом, шелканьем соловья в саду, с ущербным месяцем. «Колдунья! — думал он. — Как есть колдунья! Что ей до синтаксиса!»

А она улыбалась.

Она тоже кое-что читала из новой литературы! В Крыму... в Ялте она познакомилась с писателями...

— С Арцыбашевым, знаете, в пенсне, волосатый, в черной рубашке. Ха-ха! Его, знаете, градоначальник Думбадзе выслать из Ялты хотел. Горький тоже там был — в выскских сапогах... Интересный... С Чеховым познакомилась три года тому назад! Жаль его! Умер! Обаятельный человек! — прикрыла она темные веки выпуклых глаз. — Но странный у него брак — с этой, ну, с актрисой. Я видела его пьесы в Художественном... Вы бывали в Москве, Николай Федорович? Мало? Непременно, непременно нужно бывать. Только в Москве

жизнь. А театры! — повела она глазами. — Кстати, если вы зимой приедете в Москву — милости просим к нам — у нас там квартира, да, да! Шесть комнат, очень удобно. Места хватит... А когда вы кончаете ваши занятия? В двенадцать? А это не слишком долго? Мальчик ведь может утомиться... И ради моего приезда можно было бы кончить и сейчас!

Сережа, вертясь на стуле, восторженно смотрел на мать во все глаза.

Она вынула из-за пояса золотые часики:

— Уже одиннадцать! Смотрите!

— Евгения Ивановна, позвольте нам кончить урок вовремя — режим не может изменяться, — ответил Николай. — И в последние дни перед вашим приездом Сережа очень рассеян... Шалит... Небрежничает...

— Неужели? — пропел низкий грудной голос. — Сережа, Сережа, ты огорчаешь твою бедную маму...

Платочек проворно очутился у глаз, Сережа насупил.

— Ах, Николай Федорович! Постоянная история с этим мальчиком, — продолжала она через полминуты, озабоченно натянув брови кверху. — И постоянно, постоянно тихие успехи и громкое поведение. Теперь вот переэкзаменовки. Правда, в частной гимназии преподавательский состав куда выше, но плата, плата за правоучение высока. Шестьсот рублей! — Она с ужасом всплеснула руками. — Но, знаете, прекрасное помещение!.. Какие рекреационные залы! (это трудное слово она выговорила очень напрактикованно). И практика, практика языков — что так важно в наше время... Я вас не отрываю от занятий? — вдруг спохватилась Евгения Ивановна.

— Не-е-т! — ответил Николай, рисуя цветок на розовой промокашке.

— Языки, я слышала, даются нам, интеллигентным русским, легко, а иностранцы жалуется, что они никак не могут выговорить русских имен. В Крыму я теперь познакомилась с одним англичанином. Симсон его фамилия, там, знаете, очень много англичан. Торговля, торговля! Такой смешной, длинный-длинный. Он называл меня так: Южень Ивановн... Ха-ха-ха, — рассыпался ее короткий смешок.

Речь ее лилась непрерывно, как вода из водопроводного крана, слова сыпались одно за другим, гремучие пу-

стышки, не связанные с мыслью, прячущие ее волю, но за ними Николаю чудился вчерашний упорный взгляд из зеркала.

После получасового разговора Евгения Ивановна взглянула на часы, охнула, поднялась с кресла:

— Однако я вам все-таки мешаю заниматься! — сказала она и пошла, развеивая платьем, оставив после себя запах духов да еще маленький, влажный от коротеньких слез платочек на полированном столе.

Последние полчаса перед концом урока Николай обычно посвящал беседе с мальчиком. Мать на этот раз привезла сыну хороший подарок — паровоз, который двигался паром. Прокшин с увлечением рассказывал Сереже о действии паровой машины, начертил схему, затопил на паровозике спиртовую топку и пустил в ход забавную машинку, бегавшую со свистом по всей комнате.

Николай предавался этой забаве с увлечением, не меньше Сережи. Его пленяла железная ясность физического закона, воплощенная в элегантно игрушке, вдохновляла та гибкость, мощь человеческого ума, с которой человек находил возможность овладеть, использовать на потребу себе силы мертвой природы. Его изумлял сделанный руками человечества мир, мир пароходов, паровозов, фабрик с крутящимся сквозь три этажа маховым колесом, с тридцатью шестью канатными приводами, как он видел в гимназической экскурсии на ситцевой фабрике в Ярославле, мир кружащихся, танцующих веретен, снующих челноков, мир сложных источников силы — огромных паровых машин, мир только что появившихся тогда дизелей. Как в нем правит не знающая ни сомнений, ни возражений наука! Как властвует в нем точная математическая формула! Какой контраст с этим сложным миром человеческих отношений, где все так неопределенно, запутанно, иногда даже страшно...

Они с Сережей сидели оба на полу, смеясь, наблюдая за носящимся кругами паровозом, когда услышали над собой звонкий хохот. Оба вскочили.

Евгения Ивановна стояла в комнате и тоже смеялась, глядя на них — растрепанных, в рубашках с расстегнутыми воротниками. Сережа хватал за руки, тормозил мать, показывая пальцем на паровоз, а мать смотрела Николаю прямо в глаза.

— Однако вы способны к увлечениям, молодой человек. Да-да! — выговорила она с нажимом.

Она стояла так близко, что Николай слышал, как ее сильное статное тело теплилось, дышало тонким жаром.

— Завтракать! Завтракать же! — говорила она, хлопая в ладоши. — Умоляю вас — завтракать... Голодна, как тигр!

И, схватив Николая под руку, она потащила его на террасу...

За столом, в солнце, в цветах, в сверкании самовара царила Евгения Ивановна, рассказывавшая политические новости.

— В Крым приезжала жена одного министра, — говорила она, понизив голос, — рассказывала, что только Витте — никто больше — способен кончить войну. И скоро. А какая ревнивая жена у Витте — о-о-о! — закатила она глаза. — Смеялись мы очень — у студентов нового политехнического института, который Витте построил в Петербурге в Лесном, — наплечники с буквами «М» и «Ф». Ну, Министерство Финансов. А говорят — Матильда Феликсовна — жена Витте! Ха-ха-ха! Витте, говорят, нарочно такую форму дал студентам — жены боится!

— Вообще, — пригибалась она к самому столу, — скоро будут большие новости. В Петербурге возможен дворцовый переворот. Да-да! — трясла она утвердительно головой в ответ на широко открытые глаза, на полуоткрытые рты своих слушателей. — Говорят, это граф Игнатъев затеял — убрать государя. Государь должен дать конституцию. По-старому продолжаться не может! Только конституция успокоит общество!

И Евгения Ивановна энергично пристукинула кулачком по столу. Этот жест она переняла у одного модного московского адвоката, пользовавшегося тогда общим обожанием не меньше Шаляпина или Горького. Видный, хотя и поживший, он гремел своим фрачным витийством в Кремле, в зале Московского окружного суда, славился ресторанными скандалами. После своих кутежей, как и после своих судебных выступлений, он, как правило, следующий день проводил в постели, где и принимал своих поклонников и главным образом — поклонниц в сверхестественной моднейшей пижаме, сверкающий львиной гривой полуседых волос. Он всегда имел особое тяготение к зрелым блондинкам, и благодаря этому Евгения

Ивановна всегда имела от него последнюю скандальную политическую информацию.

— Да, об этом все говорят в Ялте... — трещала она, — даже священники. Они там смешные — такие модные! Представьте себе, заплетут свои волосы в косу с шелковой лентой и идут в курзал на музыку... Ха-ха-ха!

За столом разговор не прерывался ни на минуту, гремел, как барабанный бой, гулкий, напористый, злословный, пустой. Без Евгении Ивановны за столом бывало тоже очень весело, но проще. Тогда хохотала нутряным смехом сама здоровенная бабища-жизнь. А от рассказов Евгении Ивановны наносило мертвечинкой, гнильцой, курился словно болотный туман. Она сама дышала каким-то растлением и отравляла им других.

Бабища-жизнь, должно быть, оказывалась не такой уж здоровой, как казалось Николаю до того в этом каменном доме. Евгения Ивановна явно «протираала глазки» своим миллионом. Тут зияла какая-то явная прорухка.

Все было крепко рассчитано, усчитано, хорошо, кондово, истово у старика Федосеева: и дом, суда на Волге, и церковь, что он построил неподалеку от дома. Все это сделано было по-купечески, на века. А вот с потомством было плохо. Сыновей у него был один — Иван, слабый, толстоватый, лысый человек — и тот хворый, бился почками, ездил по заграницам. Наташа еще была молода, а Евгения давно отбилась от рук: каменный купеческий дом словно подтачивал какой-то грибок.

Евгению выдали замуж совсем молоденькой, по семнадцатому годку, тоже за своего же брата — купца, за Курбатова Григория Александровича. Думали, сделано верно. Ан нет!

Курбатов — местный парходчик, известный всему городу гуляка, кутила, был уже на четвертом десятке. Перед венцом клялся, что образумится, пить бросит.

А женился — вдвое стал пить. На Нижегородской ярмарке, враз за женитьбой, так загулял, что до двухсот тысяч пудов хлеба с баржами с французенками пропил. До того пил, что стали ему везде мерещиться черти, он и сам их пугался, и люди кругом пугались. Крепко верили люди тогда в бога, а значит и чертей признавали. Всего шесть месяцев прожила с ним молодая Евгения Ивановна и за это время три раза от мужа домой убегала. Но уговорами да упросами возвращали ее назад родите-

ли, чтобы им по купечеству сраму не было. Шептали ей, что в мае она венчалась, стало быть, и жить ей дальше — маяться.

Однако мучавшие Григория Александровича черти и избавили ее от ненавистного, буйного, грубого мужа. В одну осеннюю ночь, когда над городом с дождем и снегом метался ветер, а в горницах старого дома Курбатовых выли в печках голоса, предвещавшие несчастье, черти окончательно осаждали пьяницу. Ночью пришел к нему старший черт в спальню под видом покойного отца, почему-то в ризе священника, долго заглядывал в стеклянную дверь, звал, манил. Напрасно бедный пьяница в своей двуспальной кровати прятался за спину дрожащей девчонки-жены, зарывался в перину — черт выгнал его из спальни, загнал в одном белье на крышу двухэтажного дома, откуда он брякнулся о мощный двор, сломал шею и сразу отдал богу душу.

Много слез пролила Евгения Ивановна по своему непутевому мужу. Покамест Сережу не родила.

А когда родила, тут-то она себе настоящую цену узнала. Много народу увивалось за молодой, богатой вдовой. Много сваталось. Но всем отказывала Евгения Ивановна: замуж она решила больше не выходить — хватит, натерпелась! Зато стала себе кой-что позволять. Дома сидела мало, а зимой жила в Москве и оттуда то и дело носилась то в Крым, то на Кавказ.

Полюбила Евгения Ивановна в Москве театры, рестораны, Кузнецкий мост с его нарядами, магазинами, выездами в синий вечерний час, когда вся Москва вспыхивала недавним электричеством, когда от электричества на белом снегу ложились цветные блики. Любила она и Минеральные Воды, с их кипарисовыми аллеями, горячий кавказский флирт под дремным оком лиловых гор. Любила и Ялту с ее гостиницей на Набережной, когда тугой морской ветер парусами подымает шторы окна, шевелит цветы на столе и пушечными ударами глухо гремит зеленый, лунный прибой...

Взять мужчину, а потом выбросить его за шиворот! — вот что стало девизом Евгении Ивановны. Она не считалась больше со своим домом, презирала свой прежний быт, она казалась себе актрисой, игравшей необычайно эффектную, а главное — бесконечную роль. Вместо дремной Кинешмы пред ней вставал лик нового, чу-

жого, бурного и свободного мира, которого прежде никогда не знала Россия, причем этот лик был чрезвычайно увлекательным. Купеческая дочка стала понимать соблазны, которые позволяет купеческая мощь. Это было подражанием Европе, но бесконечно более тучным, богатым, потому что этот мир создавала русская нетронутая, девственная, неистощенная почва. Это был лик зеркальных купе курьерских поездов, пахнущих линолеумом, лаком и крепкими духами, с ожиданиями назначенной станции, когда наконец отодвигалась в сторону дверь и являлся «он». Потом лик расставаний с «ним», когда Евгения Ивановна любовалась собой, сама со стороны представляя, как она сама выглядит в зеркальном стекле международного вагона, медленно зачинающего свой бег вдоль перрона, под гул и волнение элегантной толпы, под свист и грохот пара, со слезами на подрисованных глазах, с охапкой цветов. Лик залитых светом ресторанов, под истошное пенье и метанье пестрых шелковых цыганских хоров. При посадке в автомобиль — острое ощущение записки, сунутой вместе с английским ключом в маленькую ладонь. Лик мужских ласк, слез, мук, преобразений, счастья и слабости.

Целые полвека сидел Иван Иванович Федосеев в своем лабазе, сколачивая жестоко дом, амбары, церковь, семью, деньги, не давая пощады себе, не зная пощады к другим, не зная ничего другого, кроме этой страсти к наживе и накоплению. А когда богатство оказалось накоплено, его жизнь кончалась, и наследники начинали свою, другую жизнь с погони за нею.

Хилый сын Иван искал здоровья, Евгении же осталась целиком вся страсть к жизни. На крепком, жадном дереве купеческих семей Федосеевых и Курбатовых вырос паразит-цветок, вырос из золота, из кредиток, которые собирались в темноте пробитого мякиной и мукой лабаз, вырос, как обличение этого тупого накапливания ради него самого. Но не все веревочке виться — быть и концу: сильно поживший, отменно ловкий в прокладке железнодорожных рельсов и в обхождении с женщинами московский инженер Мейер заставил молодую вдову выйти за него замуж.

Плотный брюнет, с румяным ртом под черными пробритыми усиками, со странным упорным взглядом близко поставленных чуть раскосых глаз, с вертикальной мор-

щинкой над переносом — он поразил Евгению Ивановну грубой твердостью своего мужского характера, дотоле никогда не виданной ею.

Они обвенчались в своей Федосеевской церкви, и муж повез свою молодую жену не в Крым, а в холодную Финляндию, где в рамке синих осенних озер и разноцветных лесов еще сильнее разгорелась их страсть. Страсть эта была в них еще так сильна, что, когда они показывались вместе — на чудесной ли эспланаде Гельсингфорса, на мосту ли над гудящей стремительной Иматрой — и шли медленно, словно прикованные друг к другу, встречные то и дело оборачивались на них и поджимали губы.

Но как-то раз, уже в Москве, вернувшись в свою московскую квартиру после веселого ужина в баре на Неглинной, Мейер был поражен, подметив выражение лица жены.

Сидя в свободной позе на пухлом пуфике возле кровати, держа в одной руке вытасенный из-под комбинации корсет, Евгения Ивановна в другой руке держала лаковую туфлю и чрезвычайно внимательно рассматривала на ней какую-то только что замеченную трещинку.

И Мейер вдруг увидал и понял, что она одна в этой комнате, что она про него забыла настолько, что ему самому стало неловко, что он уже раздет. Любовь их ушла внезапно, как и пришла, словно морской отлив с широкой отмели. За год они оба устали от любви, и Евгения погасла для него, как догоревшая свеча, опустела, как выпитая бутылка. Между ними сразу не осталось ничего, не осталось даже дружественного воспоминания о прожитом вместе — огонь страсти испепелил память о простом человеческом общении... А может быть человеческого-то общения не было вовсе? Но разойтись они не могли — она боялась скандала развода, он не желал уходить от купеческого сундука. И оба супруга тянули свои узы, каждый в свою сторону, связывая, отягощая, мучая один другого, становясь предметом сплетен и злословия всего маленького городка.

И теперь Евгения Ивановна обратила на Николая свой тяжелый взгляд пожившей, не знающей удержу женщины. Между нею и Николаем началось какое-то бесконечное соревнование. Ее голос, уверенный, не знающий возражений, раздавался весь день по дому. Она говорила, пела,

смеялась, рассказывала, а Николай в свободное свое время забивался куда-нибудь в угол сада, с книгой в руках, отмалчивался, не показываясь из своей столовой. Не проходило трех—четырёх часов подряд, чтобы она не переменила своего облика — платья, причёски. Даже взгляда. Она менялась так неудержимо, так привлекательно, как на небе то и дело меняются громаздящиеся облака. И потому что она влекла его к себе, Николай боялся ее.

По вечерам он стал уходить из дому, ходил на бульвар, такой же, как все провинциальные бульвары того времени. Узкой аллеей бульвар растянулся по горе, под собором над Волгой. Под откосом торопливо стучала двигателем динамомашина с очередного парохода, стоящего у пристани, доносился запах горелого масла, кухни, по реке чередовались белые и красные огоньки бакенов; на фоне темной Волги, лиловых облаков Заречья, словно вырезанные из черного картона, подымались стволы и кроны ряда бульварных тополей и лип, свешивали свою тяжелую, хлопотливую листву над смутно белеющей дорожкой.

Была суббота, Николай брел по бульвару. Завтра — свободный день, о ехать к Артищевым он уже не собирался — какая-то щеколда защелкнулась очень прочно. Он чувствовал себя таким одиноким. Навстречу шли три девушки — им было весело, они хохотали, они были все вместе и в этом тяжелом, лиловом вечере, как рыба в воде.

— Хвать, а у Нины Бобровой скрипка бёз струн! — поравнявшись, проговорило густое контральто, по-костромски напирая на «о» и выговаривая «е», как «ё». Раздался взрыв хохота.

От этой болтовни стало еще тоскливее, муторнее, поганее... Немая сила сложившегося векового провинциального быта грозила Николаю буквально отовсюду — из речей старика, из вздохов и взглядов Вали наконец из улыбок, смешков и легких напеваний Евгении Ивановны. Николай здоровым чутьем знал, что в жизни нужно пробивать собственный путь, а не бродить по избитым дорогам, а эта густая, спаянная сила векового бездумного уклада угнетала его, лешим гукала на него со всех сторон, пугала его, не выпускала из замороженных своих болотин. Эта среда тяжелей тучи охватывала каждую от-

дельную личность, давила ее, сминала, словно этот серо-лиловый душный летний вечер...

«Или сдаться? Перестать бороться? Поплыть по течению? Но кому же сдаться?..»

Словно отвечая на этот вопрос, мимо Николая медленно, настороженно двигался в лиловых сумерках женский силуэт, чуть трогая землю кончиком туго закатанного зонтика. Сверкнули знакомые глаза.

«Вот, — зло подумал Николай, — пожалуйте! И она здесь!»

Выждав, когда силуэт Евгении Ивановны слился с черными кустами сирени, он вскочил и быстро пошел в Общественное собрание.

В этот клуб как-то раз завез его старик Федосеев, ехавший туда по общественным делам. Теперь темное покосившееся здание светилось желтыми окнами сквозь ажур акаций палисадника. В передней тускло горела одна лампочка с рефлектором, освещая обои с рисунком в виде старых кирпичей. Давно небритый старик-швейцар принял у Николая фуражку.

По покосившейся лестнице Николай поднялся во второй этаж, где была бильярдная, — там можно было выпить пива. Две лампы под квадратными колпаками посылали яркий свет на зеленое сукно бильярда, углом выступавшее из мрака, черные игроки с киями были похожи на удильщиков. Два высоких, поднятых на ступеньки, дивана с рваной клеенкой были к услугам любителей, которые серьезные, как сфинксы, следили за шарами и тянули пиво. Николай уже знал одного из них — бородатого купца Громова, которого все почтительно звали так — «ваше недоразумение». Дело в том, что Громов, оставив свою жену, сошелся с другой женщиной — небольшой заезжей актрисой и, тоскуя по брошенной первой, снедаемый ревностью второй, пил, не переставая.

— А, педагог! Педагог! — воскликнул Громов с пьяной слабой улыбкой. — Ну, как наука идет? Хозяйка-то тебя еще не выучила? — он хитро подмигивал неповинующимся глазом.

Николай смутился намеку, по-юношески покраснел. То, что его так волновало, оказывается, было общеизвестным делом, и на Николая смотрели с улыбками со всех сторон.

— И не выгнала еще тебя? — продолжал Громов. —

Удивительно, Мария Дмитриевна! У них прежде учителя двух недель не жили... Поживет — фьють! А хочешь, учитель, водки? Давай выпьем!

— Нет-с! — скромно отвечал Николай. — Благодарю вас. Я пива!

Вертлявый, прыщеватый маркер принес ему одну бутылку пива. Потом другую. Голова Николая начала сладко кружиться. От зеленого сукна зеленела густая табачная мгла, белые шары сияли нестерпимо, все приходило в волнообразное колебание. Но при этом все казалось, что этот заплеванный клуб был превосходной тихой заводью, куда не заплескивало время, где жизнь не горела, а тлела, курилась медленным дымком.

Такое состояние отменяло всю борьбу, отгоняло, успокаивало волнения последних дней. Ведь он-то в конце концов тоже устал. Только образ Вали снова летел перед ним, светлый, как месяц, но охваченный легким нимбом страдания, и особенно приятно было, что это страдание он причинял сам себе...

Завсегдатаи клуба были Николаю рады — это доставляло им развлечение. Им хотелось его, нового, необычного, молодого, как можно скорее превратить в старого, в привычного, облепить со всех сторон, переварить, усвоить, поглотить, как паук заматывает в свой шелк муху, залетевшую в паутину, чтобы он стал такой же, как все...

— Слушай, Коля! — твердил ему Громов. Перед Громовым стоял отдельный столик, на нем водка и закуска — поросенок под хреном со сметаной, селедка с геранью во рту. И над этими закусками нависло бородатое лицо Громова, со свисавшими по-пьяному на глаза волосами. — Конечно, ты молодой человек! Ты можешь понять, как тяжело мне жить с этой ведьмой! Женщины — ведьмы! — твердил он. — Все ведьмы!

Пьяные, бессильные речи всегда похожие одна на другую, и в них ползали, ворочались, как раки в тине, слабые души. В нем же самым пивом теперь разжигало слабость — взять да и броситься в этот страшный, неведомый пока заманчивый омут. И будь что будет!

Образ Вали исчез, а Евгения Ивановна летела в бунтующей крови Николая, словно полный месяц через облака, — такая вот, какой он видел тогда в темном зеркале с радугами от свеч по фаянтовым.

Сделав над собой усилие, Николай вернулся к окру-

жающему. Оказалось, что Громов декламировал стихотворение Немировича-Данченко, только что напечатанное в «Русском Слове», и вырезка ритмически прыгала в его волосатой руке:

В мрак темницы яркий свет.
Вражьи псов смолкают своры.
Чужа день — запел поэт,
И ему гремит ответ
Сквозь решетки, сквозь затворы.

Цепь дробится, как стекло.
— Веселей, рабочий молот!
И уныние и зло,
Как вчерашний день, прошло.
— Я опять и смел и молод!

— Ишь ты, ххи-хи! Нет, брат, ты не молод! Ерунда все это! Ерунда! Молод! Рабочий... Хи-х-и... — хихикал один из завсегдатаев.

Лампа освещала рот с зубами решеткой, опущенный рыжей бородой...

— Все равно! Уйду! Брошу ведьму! — ревел Громов. «Где я?» — думал Николай. Но думать было трудно.

Появившийся перед Николаем студент Паничка Юницкий почему-то двоился, словно с него то и дело соскакивали одна за другой тужурки с золотыми пуговицами и возвращались обратно. «Довольно! Конеч! Домой!»

Николай вскочил, расплатился и, обижая уходом громко протестующую компанию, загремел вниз по лестнице. Неверная желтая полоса света из дверей клуба в темноту акаций палисадника привела было его к какой-то луже, но, качнувшись над водой, он неловко забросил ногу в сторону и миновал ее. Улицы неслись мимо с квадратами раскрытых по-летнему и освещенных окон, встречи появлялись из темноты совершенно неожиданно, и часто приходилось делать скачки, резкие шаги в сторону, под самым носом прохожих, всякий раз из приличия удерживая дыхание. Где-то высоко, много выше сознания, проплывали керосиновые фонари.

Вдруг под ногами дробно загудели доски — это был мост через Кинешемку, — обстоятельство, которое привело несколько Николая в себя. Он поднял голову — над ним было звездное небо. Прислушался — на Волге стучали колеса, бежал весь исколотый огнями вечерний «Самолет», огни его змеились лентами в воде, среди них выделялась рубиновая лента от бортового фонаря.

Загремела колотушка ночного сторожа.

Николай снял фуражку, потряс головой и двинулся дальше медленнее. Он был еще пьян, но усилием воли его переживания стали съезживаться. Дунуло прохладным ветром и в лицо и в душу.

Он остановился снова перед самым каменным домом. Каменный дом несокрушимо рвался вверх, углом врезаясь прямо в звезды. Окна были темны, только в гостиной, где жила Евгения Ивановна, освещены были неярко свечами две шторы. Звонко во дворе пропел петух.

Николай опустил голову. Точно занавес опустился между ним и этой женщиной с волосами цвета осени. В его душе что-то надломилось, ослабело, увяла вдруг острота ощущений. Это должно быть оставлено, оставлено во что бы то ни стало!

По-пьяному решительно он бросился на забор, вскарабкался на него, обрушился по ту сторону в крапиву, запахло полынью и землей, собаки подняли лай. На цыпочках пробрался к себе в столовую, разделся, лег и уснул.

В эту бессонную ночь Евгения Ивановна, услышав, как вернулся Николай, долго стояла у его двери, взявшись за медную ручку, в туфлях на босу ногу, в одном пеньюаре поверх рубашки, стояла, прислушиваясь к ровному дыханию в ноши, стояла, пока серая заря не обозначила в темноте окна. Ее давило, томило, мучило ее тело, ее унижала борьба, которую поднял и вел против нее этот мальчишка. О, она все понимала! Ах, если бы он был единственным ее врагом! Но у него был союзник — ее возраст, холодок которого она уже чувствовала. Или приближалась старость?

В окне занялась заря. Евгения Ивановна погасила свечу у зеркала, подошла к окну, подняла штору, дохнул роскошный утренний холод. Вдали брехнула собака, другие отозвались, и скоро над городом унылым стоном стоял собачий лай. Встревожились ночные сторожа, ударили в колотушки. Лай стал замирать, утихали и колотушки, и скоро снова гробовая тишина распространилась над городом.

Восход разгорался, просвечивал сквозь шелк ее пеньюара, сквозь батист рубашки, а в душе нарастала такая грусть, тихая, словно осенний вечер, что женщина в отчаянии упала перед окном на колени, уронила убранный на ночь голову на сгиб полной руки.

Глава четвертая

«КНЯЗЬ ПОТЕМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ»

Был душный вечер, необычно темный от того, что запад заслонила подымавшаяся из-за Волги черная туча, в ней дрожали бесшумно зарницы. Уйдя по новому обыкновению из дома, Николай присел на скамейке на высоком обрыве в затаившейся березовой роще, в которой не дрожал ни один листок, смотрел, как гладкая Волга то и дело загорается от зарниц.

Июнь проходил жарким, душным, оттого, должно быть, и Сережа ленился, занимался плохо, и в то же время очень хитро жаловался мамаше на своего ментора. Во всяком случае Евгения Ивановна несколько раз внезапно появлялась на их уроках и расспрашивала, как они занимаются. А Николай очень хорошо понимал, что дело тут не в Сереже, дерзко смотрел в ее тигриные светлые глаза в черных ресницах, угрюмел, уходил в себя, сдерживался, чтобы не наговорить грубостей.

Покою, который он мечтал найти здесь, в Кинешме, не оказывалось. Напротив. Беспокойства становилось все больше. В стране разворачивались новые события, и в лад с ними Николаю приходилось многое ломать в себе. Вот только сегодня из Костромы он получил письмо от отца, по обыкновению витиеватое, длинное, многословное.

«...У нас пахнет порохом, — писал Федор Петрович. — На днях в Общественном собрании состоялась интересная лекция известного ученого Тана-Богораза «О жизни северных народностей». Зал был полон, а после лекции, представь, выступили «товарищи», стали говорить зажигательные речи. Люди никому здесь неизвестные, и я, конечно, принужден был уйти. Но, говорят, остальная-то публика разошлась только во втором часу ночи с пением запрещенных песен. И они шли по Русиной улице! Говорят еще, что эти гости пожаловали к нам из Иваново-Вознесенска, где тоже беспокойно. Творится там черт знает что...

...У нас на даче пока тихо, — продолжал отец, — и знаешь, рядом в рощице на горке, знаешь? — я построил открытую сценку, перед ней поставил скамейки. Дачными силами ставим спектакль, репетируем Островского. Кре-

стьяне относятся очень хорошо, однако трения со станковым приставом. Такие разумные развлечения очень полезны для нас, интеллигенции, а также для крестьян».

Дальше шли жалобы на свою близкую старость, одиночество, недомогания, на невозможную грубость Кости, на ворчливость бабушки, и только в конце наконец Николай нашел то, чего искал.

«Да, еще одно: Митревна переехала наконец к нам. Я, знаешь, решил освободить эту чуткую, добрую женщину от ее мужа, от семьи. Я думаю, ты поймешь и будешь согласен с этим гуманным поступком...»

Прочитав это, Николай не мог не улыбнуться: весь отец целиком был в этой приписке, и все письмом-то было написано для того, чтобы им прикрыть эту фальшивую скороговорочку...

«У отца новая семья, — констатировал Николай, — Значит, у меня семьи нет! Что ж, приходится глотать и это! Семья снова сломалась».

Зарницы вспыхнули ярко-розовым, пролетая, резко столала чайка.

«Тихо теперь и в Векшине!» — подумал Николай и увидел, как жидким огнем зарницы полыхают по стеклам открытых окон, по лаку старенького рояля, освещают бревенчатые стены, как тих весь этот дом...

«Да нет, — вдруг спохватился он, — какая же там тишина! Гроза-то ведь как раз над Векшиным, там молнии, грохочет гром. Валя как-то говорила, что очень боится грозы». И сердце у него жалостно дрогнуло — как он одинок...

В тишине заскрипели по песку шаги, из-за кустов тихо вышла и прошла под руку какая-то городская пара, отчужденно покосилась на затаившегося юношу.

«И мы с Валею могли бы идти так же вместе, всю длинную жизнь!» — опять заплеснула теплотой в сердце слабенькая мысль. За ней грозной зарницей полыхнула вторая: «Да нет! Решено. Жить в Векшине невозможно!»

Никакими силами не смог бы он вырвать оттуда Валею, освободить ее от власти «ихней» земли. Она припаялась к земле, как улитка к раковине, к своему дворянству, к Бархатной книге.

Или спасти ее? Как? Насильно? Ведь ни мать, ни она сама не видят, что подходит буря... Тревога... Зарницы

мигают пока бесшумно, но гроза в воздухе, они погибнут, как погиб вишневый сад!

Плети берез глухо забормотали под первым порывом ветра, зазвенели осины, первая капля дождя тяжело упала на голову Николая. Он поднялся, двинулся в раздумье.

Разве может быть любовь на время? На час или — все равно — на полжизни? Это не любовь. Нет! Любовь не может быть холодной. Любовь, как смерть, — навсегда. А разве Валя может быть равноправной, смелой подругой, чтобы идти с ним всю жизнь? Жизнь — это постоянное состязание между мужчиной и женщиной в подвигах, в доброте, в честности. А что принесла бы она? Безропотность? Сияющие глаза? Неловкое это кряхтение при поисках, что сказать? Разве он не видит всего этого ясно? Так чего же и говорить! Один! Один!

Над Волгой летел уже шторм, березы шатались, говорливо струя по ветру свои плети, отрывались, кружились листья, пыль пологими неслась ввысь, зарницы мигали с трех сторон, гроза подходила, обкладывала небо.

Пожалуй, оно и хорошо, что он беден, что у него нет семьи. Не было матери, а теперь нет отца. «Пусть, пусть! — твердил он себе. — Зато я вылезу из этих маленьких раковин, что настроили себе люди, к которым они приросли, я пойду вперед со всей страной. С народом... Пусть!»

Ветер рвал на Николае рубаху, пыль слепила, засыпала глаза, надвигаясь, рокотал гром. Но на опушке рощи было светло, город и пристани на Волге и сквозь шторм уверенно блестели огнями: люди не боялись бури. «Жизнь — впереди, и сколько жизни! — думал юноша, и голова у него опять сладко закружилась от ожидания счастья. — Сколько можно сделать! Университет, наука — все, все впереди...»

Но гроза ушла, обошла стороной, и, когда Николай подходил к каменному дому, из-за церкви смотрела красная луна, на террасе за суровыми с красными фестонами занавесками горели свечи, на занавесках двигались черные тени, звенела посуда, раздавались голоса.

Появление Николая на террасе встречено было веселым смехом и приветствиями. За столом совершенно неожиданно оказался сам старик Федосеев.

Дело в том, что на воскресенье из Москвы приехал внезапно муж Евгении Ивановны, инженер Мейер, плот-

ный брюнет, розовый, упитанный, в белоснежном отглаженном до блеска кителе. С салфеткой вокруг шеи при приходе Николая он, видимо, прервал свои ораторствования и теперь нетерпеливо выжидал, чтобы заговорить снова.

— Георгий, это Серезин учитель, Николай Федорович! — представила Евгения Ивановна Николая мужу. Мейер склонил голову.

— Очень скромный молодой человек, — смешливо продолжала та. — Очень... А вам сегодня через контору звонили, Николай Федорович. Барышня здешняя... Артищева... Валя... Поздравляю!

Евгения Ивановна очень веселилась — еще бы! Юноше позвонила девушка! Это же была ее стихия, стихия женщины.

— Она просила передать вам, — звонко тараторила Евгения Ивановна, — что они с мамашей приехали в город на два дня: сегодня и завтра... И желают вас видеть... Вот-с! Хотите получить их адрес?

— Благодарю вас, — смущаясь, ответил он. — Я адрес знаю...

Мейер прервал его неловкое бормотанье — в конце концов, что церемониться с этим юнцом?

— Или вот, пожалуйста, — авторитетно заговорил он, ловко при помощи ножа и вилки разделяваясь с цыпленком, и все снова склонились к нему с обеих сторон, как апостолы к Христу на «Тайной вечери» Винчи. — Мы в Москве теперь строим Окружную железную дорогу, работы, знаете — полным ходом. Подходим уже к Серебряному бору. Хватить — расценки на работы признаны завышенными. Чрезмерными! — поднял он вилку. — Пока идут переговоры, расследование — работы остановлены. Итог? Дорога будет построена с опозданием на год, на два. Разве это порядок? А ведь это — не угодно ли — идет все из министерства!

Николая как будто оставили в покое. Но зачем же ему звонила Валя? Неужели же она думает, что можно исправить дело? Легкая досада — зачем она выдала его тайну этим самоуверенным несимпатичным людям — мешала ему слушать горячий разговор.

— Это куда же дорога-то, зятек? — осведомилась из-за самовара Марья Николаевна.

— Окружная. Ну, кругом Москвы, мамаша, — отве-

чал Мейер, поправляя салфетку на шее и нацеливаясь вилкой в другого цыпленка. — Эх, у вас здесь положительно благодать. Свои цыплята?

Старуха усмехнулась.

— Еще бы! Не купленные! Так, значит, кругом Москвы все ездить и будут?

— Назначение дороги в том, что она объединяет весь Московский железнодорожный узел. Ну, имеет и военное тоже значение.

— Неужто когда-нибудь под Москвой воевать собираются? — спросила старуха и перекрестилась. — Последние времена! Господи, помилуй!

— Кто знает, мамаша! Может, и явится какой-нибудь эдакий Вильгельм Наполеонович! Ха-ха! В министерстве все знают, народ сидит вумный!

Старик поглаживал бороду, поблескивал глазами, видно было, что вот-вот заговорит.

— Погоди, мать! — и впрямь заговорил он. — Министерства министерствами, а господа инженеры дуже охулки на руку не кладут. Расценки-то они сами завышают... Пользуются... Строят дороги так, что сразу-то и не поймешь — для чего... Возьмем хоть бы вокзалы. Мы, по старости нашей, думаем, что вокзал поближе к жилому месту строить нужно, чтобы народу было удобнее. На вокзале ведь народ садится. Куда там! Выстроят к городу дорогу, а вокзал бог знает где. Об извозчиках, что ли, стараются — господь их ведает! У нас, в Кинешме, вокзал за городом! В Костроме — за Волгой! В Ярославле — тоже версты четыре. В Нижнем — отсоле не видать... За Окой. Ездил я одна в Сибирь — в Омске, в Ново-Николаевске — вокзалов не ищи, не найдешь! А от Томска главная магистраль за все восемьдесят верст прошла... А почему? Да просили, говорят, господа инженеры-то эти самые пятьдесят тысяч взятки, чтобы к городу дорогу подвести... А Томск не дал...

— Позвольте, Иван Иванович! — инженер махал ножом и вилкой. — Позвольте! Здесь исключительно государственные соображения. Оставляется место для чего? Для роста города. Постепенно железные дороги войдут в городскую черту!

— Она как! — протянул старик. — Да это может через сотню годов будет? А народ мучается, пока до вокзала доберется, да вашего брата, инженера, клянет.

— Иван Иванович, государственный интерес всегда впереди частного! — фыркнул Мейер и поднял палец с золотым перстнем: — Это — аксиома!

— Так-то оно так, да не совсем. Государство — оно, как Иван Великий. Погляди — шапка валится! Маленького человека государством завсегда ушибить легко. Бойтся он, маленький-то человек, государства, смотрит на него, как на чугунку: берегись, не то задавит. Да разве государство-то — мертвое дело? Если у государства нет заботы о маленьком человеке, нет простой деловитости, в его нужды вхожести, оно тогда — казенное дело, пиши пропало. И сказать по правде, уж больно много у нас под государством своих-то дел и делишек прячут да протягивают... Народ очень обижается. Что, к примеру сказать, на Дальнем Востоке натворили? Войну заварили... Интересы, что ли, эти самые государственные соблюдали? Всем известно, что свои дела-делишки протягивали большие господа. Торговали без стыда, без совести.

— Вы что ж думаете, Иван Иванович, возможно выступление со стороны народа? Ерунда! — вскипел Мейер. — Безоружные массы! Что же они могут против солдат! Да и общее положение улучшается, стороной проходит, есть слухи. Мир скоро. А что сказал государь в Петергофе на приеме общественных деятелей? Что?

— Ну и что? — улыбался старик.

— Там князь Трубецкой говорил: пожелания земских съездов в том, что должен быть произведен созыв народных представителей — мера, которая поведет к уничтожению средостения между царем и народом в виде разных высших бюрократов. М-м-м... И государь ответил, что его воля — созвать народных представителей — непреклонна... Да-с! Не-пре-клон-на!

— Так, так... — опять отозвался старик, пощипывая бородку. — Непреклонна... Так...

— М-м-м... Да и министр внутренних дел Булыгин подготавливает созыв Думы, — бурчал, трудясь над тарелкой, Мейер.

— Я это еще в Ялте слышала! — вставила слово и Евгения Ивановна, поправляя кружево на груди. — От жены одного министра!

Федосеев щипал бородку.

— Так-то оно так! — выговорил он наконец. — А ну как этому вашему самому солдату стрелять в своих-

то надоест? Что вы тогда будете говорить, как он в нас с вами стрелять начнет?

Мейер откинулся назад, поднял руки.

— Немыслимо! — вскричал он. — Это гибель России! Катастрофа! Не может этого быть!

— А что я вот только что прочитал, — сказал Федосеев, вытягивая из кармана «Русское Слово». — Сегодняшняя газетка. Думаю, пойду-ка зятя спрошу, он человек московский. Образованный. Японцы, во-первых, весь Сахалин наш забрали. Как же это так? И без войны? И время становится все шумней — то в Польше на улицах рабочие дерутся, то на Кавказе на похоронах смотри какие речи говорят, а десятки тысяч народу слушает. И дело нынче дошло до того, что и наши военные корабли по своим городам стреляют.

— Что такое? — спросил Мейер, переставая жевать и развязывая салфетку.

— А вот! — отвечал старик, потрясая газетой. — Вот! Читали?

— Позвольте-с! У меня есть эта газета, с собой привез! Только не читал — хорошие партнеры по преферансу подобрались. Где же это?

— Так, так... Преферанс — дело хорошее, ежели по маленькой. А в Одессе! Вот читайте. Да вон лучше пускай учитель почитает — у него глаза молодые!

Николай читал ясно и звонко, и во мгле лунной ночи, игравшей на небе зарницами, неслись искрами полыхающие, горячие слова... Исчез накрытый скатертью с разводами стол, блестящий самовар, свечи в стаканчиках, жареные цыплята в сухарях, — вместо всего этого развертывалась потрясающая картина одесского восстания.

Дело было так. В понедельник, 13 июня, в Одессе, около завода Гена, на Пересыпи, как вообще в то время по всей России, собрались рабочие, чтобы обсудить положение в связи с предполагавшейся забастовкой. Хотя собрание шло мирно и спокойно, полиция дала залп, двое рабочих было убито. Труп одного из них захватила полиция, а другой убитый был народом положен на носилки, с ним толпа двинулась по рабочим кварталам с пением «Варшавянки». Вспыхнула стачка. Встали заводы, фабрики, остановились трамваи. Создалась угроза восстания.

Командующий войсками Одесского военного округа

генерал Коханов приказал ввести войска, и город обратился в военный лагерь. Настало затишье, но это затишье было перед бурей.

Рабочие оказались не одиноки. И на следующий день в порт вошли два военных восставших судна — броненосец «Князь Потемкин-Таврический» и миноносец № 267.

Броненосец шел под красным, приспущенным флагом — он нес тело матроса Вакулинчука, застреленного в море старшим офицером в ответ на предъявленные командой справедливые требования. С броненосца спустили катер, и тело погибшего торжественно было свезено на берег, на Новый мыс, где и положено в тени нарочно разбитой палатки, чтобы предохранить его от южного солнца.

Около тела встал почетный вооруженный караул с броненосца, поставлена была трибуна для ораторов, со всей Одессы сюда потянулся рабочий люд. Над телом зазвучали речи все время сменявших друг друга ораторов, глаза тысячной толпы сверкали ненавистью к убийцам.

Газета «Русское Слово» подробно передавала речь красавицы-девушки над трупом застреленного. Она сравнивала революцию с ранним христианством... Христиане сперва скрывались от властей в катакомбах, в похоронных пещерах под Римом, а потом вышли на свет божий.

«Так и теперь, — широким жестом она указала на залитый солнцем приморский город-красавец, на синее море, на рейд, где под красным флагом революции стоял «Потемкин», — революция выходит, товарищи, из полполя, выходит на борьбу!»

В собравшемся народе вдруг заговорили, что спуск с Николаевского бульвара занят солдатами. Действительно, там блестели штыки. Боясь новой стрельбы, народ разбежался во все стороны, весть о происходящем в порту распространилась с быстротой лесного пожара, и скоро в Одессе бастовало все — от банков и до булочных...

Всю ночь белые метлы прожекторов с «Потемкина» бродили по небу над Одессой, а на другой день громовые пушечные выстрелы потрясали рейд и город: «Потемкин» обстреливал Одессу. Первый снаряд попал в дом Фельдмана на Нежинской улице.

— Я же знаю Нежинскую улицу! — вскричала Евгения Ивановна.

— Ну и что? — раздраженно обратился к ней супруг, и она замолчала.

Домовладелец Фельдман выскочил в панике из своей квартиры, бросился бежать по улице и забежал в кондитерскую, где стал расспрашивать:

— Не знаете ли вы, где я живу?

На лицах слушающих вспыхнули улыбки, но сразу погасли: смеяться было неудобно...

Второй снаряд попал в сад, где было гулянье...

На рейд в это время пришли и бросили якорь другие военные корабли — броненосцы «Ростислав», «Три Святителя» и «Двенадцать Апостолов» под флагом адмирала Кригера. После переговоров «Ростислав», «Три Святителя» и «Двенадцать Апостолов» ушли в море, в Севастополь.

Положение оставалось крайне не ясным. По городу разлетелись слухи, что к «Потемкину» идет на присоединение вся Черноморская эскадра, что восставшие корабли будут громить приморские города, что из Константинополя уже спешат военные иностранные корабли, чтобы забрать и вывезти из города иностранцев, которым грозит гибель.

А вечером по-прежнему бродили над городом прожектора «Потемкина» и с других кораблей, а над портом полыхало зарево, и темные элементы, пользуясь беспокойным временем, провокаторски бросились громить и грабить в порту пакгаузы «Русского Общества Пароходства и Торговли».

Свет прожекторов упирался в багровые клубы дыма над портом — это горели подожженные склады. Хулиганы разбивали бочки с вином, пили, падали замертво на землю, их заливало текущим из горящих складов расплавленным сахаром. Многие, спасаясь от огня, бросались и тонули в море...

Николай остановился — за столом царило тяжелое молчание, все сидели неподвижно, старик по-прежнему щипал бородку.

— Вот, зятек, что происходит... Что скажете? — заговорил он.

— А где... Где же «Потемкин»? — хрипло спрашивал Мейер у Николая.

Тот поднял газету, показывая, что он прочитал все.

— Так что же вы скажете, если и солдаты будут так

же стрелять в нас? — спрашивал старик. — Не знаю, ей-богу, станет ли ума у нашего правительства, чтобы сделать, как надо. Обиды укротить. Голодных насытить. Жажущих напоить. А не хватит ума, придет беда... Вам беда! Вам! — указал он пальцем на Мейера.

— Почему же, папаша, нам? А вам? — спрашивал Мейер.

— Вам! Потому что мы, как из деревни в лаптях пришли, так в лаптях и уйдем. Нам не страшно! Потому что мы работать всегда умели и впредь сумеем. А вот на вас я погляжу, что босиком во веки веков не хаживали! Вот, молодой человек, — обратился он к Николаю, — как ты про это думаешь? Ты ученый! Может это быть или нет?

Все смотрели на Николая, тот снова смутился, покраснел, но вспомнил разваленный двор Артищевых, ругань злой, худой, неумной барыни, увидел ощеренный, взъерошенный изнутри взгляд мужика, завязившего кобыленку в речке, мельком поймал затаенный взгляд Евгении Ивановны, отметил осовелый от еды взгляд Мейера, белоснежного, с серебряными пуговицами, увидел грозно мигавшие вдали последние зарницы и ответил твердо:

— Вполне возможно!

За столом вспыхнул шум, крикливый спор — все стали высказывать свои соображения, которые каждому только что приходили в голову — раньше они продуманы ни у кого не были. Николай послушал, послушал и ушел в сад.

Скоро в окне у Мейеров зажегся свет, замелькали тени. И тут только Николай понял, почему он выбрал именно эту скамейку, — отсюда было видно их окно. Или он еще не одолел этой женщины? Или он ревновал ее?

Живое время теплой ночи кровью текло через душу, и от него в Николае рождались крепкие, как мускулы, мысли. События не плыли, оказывается, мимо него, выше его, как плыли облака. Они шли через него, сквозь него, укрепляя в нем одно, разбивая, сваливая другое. Проходило смутное, обильное время первого душецветения, время чайний, ожиданий, цветы осыпались, оставалось то, что имело впереди право на жизнь, на плод. И вместе с тем, как трудно было ему одному, молодому, без друзей, без руководителей прокладывать курс к неведомому пока новому берегу среди несущегося бурливого

потока страстей, интересов, неумного человеческого по-
ловодья...

Как-то в Костроме попала ему в руки случайно кни-
жечка Спинозы — «Трактат об усовершенствовании ра-
зума». Четкая мысль великого мыслителя увлекла его —
она была так проста:

«Чтобы поступать правильно — надо распознать ис-
тинное благо от кажущегося, а для такого распознава-
ния нужно усовершенствовать свой разум...»

Это все было так, все было очень правильно, только
холодность мудрого шлифовальщика оптических стекол
была чересчур далека Николаю — он-то любил живую,
горячую жизнь... Жить! Как жить, чтобы было не только
хорошо, не только красиво, но и правильно?.. Мудрость
требовала отказа от многого, чтобы сохранить свою во-
лю, а отказ, хотя самый мудрый, — все-таки отказ. Огра-
ничение. Как же достичь и мудрой, и в то же время пла-
менно-полной жизни? Как?

Одиночество подступило вплотную так сильно, что его
вдруг потянуло в Кострому. К товарищам, в кружок,
к беседам. Как-то они там? Что же случилось с Соколо-
вым? Что там делается? Письмишко бы им написать! —
поднялся со скамьи, снова взглянул в ее окно — там,
должно быть, горит одна свеча. Двинулся к себе. Какой-
то гнусный яд капельками капал в душу.

Нет, даже с этим справиться легче, если рядом това-
рищи... Лег, уснул.

И вдруг пробудился: за стеной, в гостиной, звучали
сдавленные голоса — Мейеры кричали шепотом: или они
до сих пор не кончили разговора за ужином об Одессе?
Действительно, подходит страшное время для богатых
людей...

Прислушался. Нет, не то. Совсем не то!

— Георгий, Георгий! — стонала Евгения Ивановна. —
Я так не могу больше, пойми. Я страдаю!

— Оставьте же меня в покое! — сдавленно хрипел
инженер. — Вы — интеллигентная женщина!

Евгения Ивановна произнесла несколько слов тихо,
чего ошеломленный, затаившийся Николай не мог рас-
слышать.

— Что-с? Вы заинтересованы мальчишкой? — захри-
пел Мейер. — Поздравляю вас! Докатились! Я завтра
же утром уезжаю в Москву.

— Тише, тише! — шептала жена. — Он услышит! Тише!

— А черт с ним! Пусть все слышат, какая вы!

Босые шаги зашлепали за дверью.

— Николай Федорович, вы спите? — прошелестел ше-
пот Евгении Ивановны.

Николай не ответил, дрожал от негодования, от омер-
зения. Супружеская ссора всегда противна со стороны,
но самому себе сам больной не кажется отвратительным,
даже залитый гноем. Так для супругов их переживания
с внутренней стороны кажутся естественными, нужными,
даже необходимыми — как расчесывание в кровь, в боль
необходимо иногда против зуда.

— А, так ты хочешь его вызвать? — вскричал уже
полным голосом муж.

Раздались глухие удары.

— Георгий, ты с ума сошел! — болезненный восторг
звенел в голосе Евгении Ивановны. — Не здесь! Не
здесь! Идем в залу!

Хлопнула дверь, все стихло. Юноша лежал, смотрел
с кривой улыбкой в темноту: из какой-то щели на него
потянуло жестоким запахом обнаженной бесстыдно чу-
жей жизни. Это был еще один вид любви, пока неве-
домый ему...

Николай заснул с отвращением, с гадливостью в серд-
це, спал тревожно, проснулся с головной болью и по-
прежнему удрученный ночными событиями, сконфужен-
ный, явился к чаю. Супругов за чаем не было: Евгения
Ивановна, несмотря на праздничный день, в церковь не
пошла, проспала, вышла только к завтраку, с темными
теньями вокруг ледяных глаз, а муж ранним поездом не-
ожиданно уехал в Москву.

— Ночью пришла телеграмма! — рассказывали за
столом. Лиза ходила вокруг стола, не подымая своих глаз
великомученицы, и Евгения Ивановна за завтраком ни
разу не встретилась взглядом с Николаем.

Даже в такой кинешемской глуши жизнь, очевидно,
ускоряла свои темпы, ломала, крушила провинциальную
тишь и темноту. Рузвельт уже маклерил по части мира
между Россией и Японией. Слухи клубились вокруг сви-
дания в шхерах Бьерке двух монархов — германского и
русского. Но трагедия «Потемкина» заслоняла все.

Николай с жадностью читал, как с «Потемкина», охра-
няемая наведенными с броненосца орудиями, смело съе-

хала на берег шлюпка с тремя восставшими матросами и потребовала у военного коменданта Одессы разрешения купить в городе муки и других припасов.

Газета описывала, что ожидавшие ответа матросы, не стесняясь присутствия офицеров, присели на ступенях беломраморной лестницы и закурили. А на упреки в нарушении воинской дисциплины спокойно отвечали:

— Мы крестьяне!.. Броненосец находится в крестьянских руках...

Только и всего.

Невероятно. Неслыханно!

За орудиями на броненосце под его красным флагом, значит, стояли не матросы, не казенные, царские люди, а свободные крестьяне, пусть в тех же форменках. Пушечным голосом «Потемкина» заговорил сам народ. Народ, так долго молчавший до сих пор. Тот самый народ, что рабстал на фабриках, на полях, толкся в лабазе Федосеева, грузил и водил по Волге федосеевские баржи.

— Мы крестьяне! — так прозвучало это новое слово с «Потемкина». А какие же другие мужицкие, корявые, но бесконечно могучие слова последуют за этим первым пушечным словом навстречу другим словам — таким звонким, вылощенным, прибранным, — словам дворянским, купеческим, адвокатским, словам других «гласных» сословий?

Однако один «Потемкин» не делал еще революции, и скоро газеты взахлёб рассказывали, как он двинулся с рейда Одессы в Румынию, в добровольное изгнание с родины, ища на чужбине политического убежища...

Куда же ушли эти отважные люди? Какова будет их судьба? Как примет их зарубежный, такой неизвестный мир, по газетам которого тоже прокатился гул потемкинской канонады? Что говорит об этом Козлов? А Марк? Или, может быть, они разделили участь Павла?

Николай написал письмо Володе Краснопевцеву—распрашивая его, что нового слышно в Костроме, что говорят о событиях «листки». Письмо нырнуло в синий почтовый ящик с двумя скрещенными почтовыми рожками под двуглавым орлом, потемкинская история погасла, как ослепительная зарница. И снова в этой летней жаре, где все так бурно цвело, все зрело, Николая стало тупо тянуть к Евгении Ивановне, вот как иногда головокружение тянет прыгнуть вниз с высоты. Может быть потому,

что среди этого сытого бездумного благополучия федосеевского дома она одна была мятущейся, живой душой.

И Евгения Ивановна, видимо, чувствовала это, догадывалась об этом. Она приняла новый тон, то в виде сдержанной, но веселой фамильярности с Николаем, то смущала его в упор поставленными двусмысленными вопросами, то беспокоя косым издевательским взглядом. Особенно, когда она сообщала, что опять звонила Валя...

Раз было особенно жарко и, хотя в каменном доме все окна были настежь, даже сквозняки не приносили облегчения. Николай после обеда взял книгу, пошел в сад.

В саду варили варенье. Под березами в зеленой тени лапчатоллистных кленов, под звенящими осинами, в кустах пыльной сирени там и тут пламенели угольями треногие жаровни. На вынесенных в сад столах Лиза и Наташа с подружками чистили красными от сока руками перезрелую темную вишню, садовую и лесную малину, заботливо отмеряя ягоды и сахар стаканами. Чудесно пахло, начищенные тазы сверкали, пузырились, пускали душистые облачка. Пчелы летели на запах, взволнованно низали воздух, звенели струнами и то и дело вваливались в горячий сахар.

Николай подошел к жаровням, к столу, постоял, пошутил с девушками и двинулся в глубь сада, к старой беседке о шести колонках. Только подойдя совсем вплотную, сквозь кусты жасмина и сирени он увидел там Евгению Ивановну. Уйти было бы неловко — поздно. По полусгнившим ступеням вошел он в этот храм Славы на купеческий манер, где вверху между колонками уцелел еще переплет, а в нем кое-где синие, красные, зеленые стекла. Когда-то здесь в именины прежних хозяев гремела полковая музыка, пили «холодненькое», а теперь было тихо, жужжали летние мухи, у своего гнезда хлопотали стрелой носящиеся ласточки. Евгения Ивановна сидела на перилах, поставив ноги на скамейку, и профиль ее сливался, тонул в зелени. На полу валялась книга. На его шаги она не шевельнулась, только по ее горлу прошла легкая волна вдоха.

— Мечтаете? — неожиданно для себя смущенно-развязно спросил Прокшин и тут же ужаснулся нелепости вопроса.

Она чуть скосилась на него, молчала, слабым движением руки указывая ему на скамейку у ее ног. Он сел.

— Сели? — спросила она с усилием, на момент отделив голову от колонны. — Скажите, почему вы меня избегаете?

Николай молчал.

— Конечно, я плохая женщина, Прокшин! — продолжала она. — Но я не каюсь. Нет! Я много любила, я много видела. Много красивого. Только вот передать красивое не умею. Все ведь любят красивое, а никто рассказать не может. Должно быть это очень смешно. А вот вы всегда один, Прокшин! Простите, что вас так, по-студенчески, называю. Скажите, почему вам звонит эта девушка? Слушайте, ей-богу же она не интересная! Неужели же вы ею увлекаетесь?

Простой тон ее речи был неожиданно новым.

— Нет!

— Не говорите так. А эта ее настойчивость? Эти звонки? Она имеет какое-то право на вас. Ну, все равно. Почему же вы так боитесь женщин, Прокшин?

Евгения Ивановна говорила очень просто, серьезно, по-деловому — да что может быть проще, нужнее, чем любовь?

— Послушайте меня, Прокшин, от этого вы много теряете, — продолжала она, не дождавшись ответа. — Слышали вы сказку про ведун-траву? Кто сумеет ведун-траву найти, у того, говорят, все чувства раскрываются — он видит, слышит — и как трава растет, и как облако летит, как цветы из земли идут, и как соковища в ней лежат... Ну и все вообще, как в сказке. Вы вот, мужчины, смеетесь над тем, что женщина к мужчине так прилепляется, что смотрит его глазами, слушает его ушами. Смеетесь над душенькой, не понимаете, что это она мужчине так предана, что сама и смотрит и слушает только то, что ему, мужчине, нужно. Для настоящего мужчины женщина — ведун-трава. Через женщину он и видит лучше и слышит тоньше...

— Это для поэтов! — отозвался Николай

— Не только для поэтов. Поэты, художники — праздники жизни. Да в самой простой, взаправдашней жизни глаза женщины тоже ясней видят. Женщина-то жизненной вашего брата. В дождь она плачет, грустит, в лунную ночь — хочет любить, с солнцем — она смеется... Природа вам никогда не покажет того, что вы увидите, если рядом с вами женщина. Горе нежнее, легче при ней, не-

удача сносней. Женщина чувствует заранее опасность и готова защищать от нее мужа, как верная собака. Женщины любят так, что идут за мужчину на смерть. А разве вы можете насладиться как следует вашим успехом, если с вами рядом нет женщины?

Она снова прижалась к колонне.

— И мужчина без женщины или желторотый птенец вроде вас, Прокшин, либо жестокий слизняк. И тот и другой — трусы. Вот вы бонтесь меня?

— Да, — глухо произнес Николай. — Боюсь!

— Чего же вы боитесь, молодой отшельник? — смеялась Евгения Ивановна.

— Мне страшно за свободу... — глухо признался Николай.

— Чего же страшного, глупенький мальчик? — проговорила она и, опустив руку, стала перебирать волосы Николая. — О, у вас мягкие волосы... Вы — добрый. Да? Ну, и глупый. Очень, очень глупый!

— И потом... Потом я слышал тогда, как вы ссорились ночью с вашим мужем! — договорил он с волнением.

Она отдернула руку назад.

— Поздравляю вас! Юноша, подслушивать — предосудительно! Что вы можете сказать в свое оправдание?

— Евгения Ивановна, от этого до ведун-травы очень далеко.

Николай встал, сорвал листок сирени, закусил его и отошел подальше в угол.

Тень мысли побежала по ее бледнеющему лицу. Больно укусил ее этот мальчишка, в самое чувствительное место. Выходит — он судил ее!.. А! Мальчишка!..

— Вот что я скажу вам, Прокшин, — заговорила она после молчания. — Если будете вы сами смелым и прямым, то тогда вы победите женщину. Руки ваши бьющие она будет целовать! Ну, а если... — она мрачно улыбнулась, — ну, а если вы будете такой же слабой тряпкой, как большинство наших мужчин, то, конечно, вам следует бояться женщины. Она подчинит вас...

— Как? Мужчины слабы?

— Да, да, да... Сравнивали вы когда-нибудь русскую женщину и русского мужчину? Кто сильнее! Русская женщина! Татьяна сильнее, а не Онегин!

— А на что же таким мужчинам ведун-травы? Зачем?

— Да что вы, Прокшин, разве я про таких мужчин

говорила, каких большинство? Я говорила про таких, о каких грезит каждая женщина, — о смелых, сильных людях, творцах, отцах. Не мужчин — людей я искала всю жизнь. Ах, как мало таких, Прокшин, как мало... Мужчины ведь шляется по любви, как по базару. Гонится за одной, другой, третьей... Что подешевле, полегче. Дорвался — и все, потом бежать... Или опочил, роман закончился браком, все в порядке, а там трава не расти. Русская семья, в особенности городская, держится больше на женщине. Мужчина сластолюбив до тридцати годов и при жене гоняется за юбками, а потом ему бы только поест да выпить, а там в клуб. Карты! Ну, служба. Да что, и служит-то он так, спустя рукава, из-за жалованья. «Папаса усел в должность!» — передразнила она детский лепет. — От веры своей такой господин отстал. Никаких обычаев не знает, даже презирает. Чему учился в университете — все забыл. Чему он детей научит? Вот и выходит, как ни обидно вашему брату это слушать, что «жена всему дому голова». Она кормит вас и ребят, и обувает, и обмывает, и учит. И сколько таких глупых трутней около пчелок своих живет? Нашу городскую семью спасала и спасает мать. Не отец...

— А деревня — разве так? Мужик своего места не уступит!

— А скажите, молодой человек, много ли в деревне этих самых хозяев? Пьянство... Бедность. Да по правде сказать, деревню-то мы почти и не знаем. О народе только говорят, а он-то сам по себе... Вот и выходит, что женщина-то вправду — ведун-трава, коли мужчина силен, умен, смел... И, ах, какая бы тогда могла жизнь быть, боже мой, боже мой, если бы такого мужчину найти! — повторяла Евгения Ивановна, покачивая головой. — Вот почему я ненавижу вашего брата, мужчину, Прокшин, — бурно заговорила она, смотря на него сразу потемневшим взглядом. — Потому что он мои надежды до сих пор обманывал. Неужели на русской земле настоящих мужчин не водится? Любовь и ненависть в нас, в женщинах, поэтому рядом, словно сестры, живут... Взять мужчинку, а потом за шиворот и выкинуть... И делала я это. Выкидывала... И все за тятенькину, за мужнюю монету.

Подумав, усмехнулась.

— Каждому — свое. Папаша вон хлебом занят.

богатство собирает. — Вы правду, должно быть, ищите. Я — любовь. Человека ищу. Должно быть, в природе, что ли, такое затмение пошло, все никак друг с другом не сладится. А будет, должно быть, время, придут люди. Мужчины... Сильные, смелые, добрые. И скоро это будет. Ну, по первоначальному — жестокие... Вот тогда-то женщина, наша сестра, и пригодится со своей ведун-травой. Так, что ли, ребенок милый?

И она хлопнула Николая по плечу, смеясь, заглядывала ему в глаза...

— Вы не очень-то верьте рацеям моим. Как у нас всех все прахом скоро пойдет, никакие рацен не помогут. А все-таки должны же быть люди. А теперь — дайте руку, помогите мне слезть. Пойдемте к нашим.

Налегая на руку Николая, она пошла туда, где в зеленой тени под деревьями пламенели жаровни, где хохотали барышни. Оба молчали.

— Господа, — звонко крикнула Евгения Ивановна, подходя и играя глазами. — Новость! Прокшин, наш молчаливик и медалист за свое скромное поведение, объяснился мне в любви... Теперь он мой кавалер!

— А по телефону что ему скажут? — брызнула смехом Наташа.

Смущенно улыбаясь, одергивая рубашку, поправляя воротник, Николай говорил какую-то невнятицу, неловко, неумело обращая все в шутку. Но, черт возьми, в душе-то разве он не хотел быть именно таким мужчиной, о каком мечтала Евгения Ивановна? Он смушался чуть не до слез, правдой было и то, что осторожности у него было больше, чем смелости. Все это правда. Но правда и в том, что сегодня он много, очень много понял. Каждая душа, как бы она ни казалась легкомысленной, поверхностной, оказывается, тем не менее живет на свой лад, кипит в пучине больших мыслей, желаний, сомнений... И постижений.

Глава пятая

НА ИЛЬЮ-ПРОРОКА

Июль, сухой, жаркий шел с грозами, суховеями, только полные лунного сияния ночи стали прохладнее. Поля кругом Кинешмы созревали, желтели, листва деревьев темнела, старилась, в садах наливались румянцем ябло-

ки, золотились груши. Федосеев в своем лабазе орудовал, не зная ни минуты покоя, — подступал урожаем.

И с Сережей Николай занимался все больше и больше — подходили экзамены, и ни ученику, ни учителю не хотелось ударить в грязь лицом.

Того бездумного, провинциального покоя, который так поразил Николая в первый день его приезда в Кинешму, как не бывало: он шел, рассеялся куда-то, исчез, как утренний туман в лесном ложку... Да вообще, где же она, эта тишь да гладь, да скука провинции, о которой писали в столицах? Здесь ее не было. Это ему только так казалось, потому что он не знал этой жизни, судил ее свысока, не участвуя сам в ней...

Когда в то памятное воскресное утро Николай купался в Векшине, он любовался, как в речке Мере привольно и плавно ходили в янтарном солнечном свете черноспинные рыбы. Это была одна жизнь. На мелких местах, теплых, против желтого песочка резвились мальки — другая. А взять каплю воды под микроскоп — и там в прозрачной, пустой воде тоже кипят и жизнь и борьба. Третья. Жизнь — всюду. Все дело в том, чтобы увидеть, разглядеть, понять ее. Кто сетует об отсутствии жизни, кто сетует на застой, на пустоту — должен сетовать на себя самого: это он не сумел увидеть жизнь, разглядеть ее, не схватил ее. Везде жизнь, бурная, кипучая, и сладкая, и горькая; весь мир движется, шевелится, растет...

Правда, ослепляла привычность политической жизни, газеты с их кричащими заголовками, с бурными статьями, а после них глаза видели в провинции лишь сумерки, видели, как в них движутся «серенькие» люди, даже «лишние» люди. Но Николай вживался, вглядывался в действительность и начинал видеть здесь жизнь тоже кипучую, тоже в своих масштабах значительную, которая бурлила и в лабазе у Федосеева, и среди его клиентов, покупателей, друзей.

Однажды как-то зайдя в лабаз к Ивану Ивановичу, Николай застал там старика-крестьянина с белой бородой, в хорошем суконном пиджаке, в ладных сапогах, в картузе. Он и Иван Иванович шептались о чем-то, поочередно наклоняясь к уху друг друга. Это был Тихомиров, землевладелец из крестьян, хлебник.

Петр Семеныч Тихомиров, оказывается, приехал побеседовать к Федосееву, посоветоваться насчет того, чего

нужно будет ему добиваться на наметившемся в Москве съезде Крестьянского союза. Федосеев был, как всегда, немногословен, однако счел нужным сказать Николаю, что вопрос должен идти о дворянских землях. Уж больно плохие хозяева дворяне, все кругом видят это, и потому они, крестьяне, думают, что дворянские земли нужно им прибрать к рукам, а то земли даром пропадают.

— Земля-то народная... Не помещичья. Не для лежебоков! — шептал Петр Семеныч. — Отобратить ее у безруких и отдать тем, кто умеет трудиться в поте лица, как в писании сказано... Польза будет! Забираем же мы земли у плохих мужиков, а и с дворянами тоже нечего церемониться!

Глаза у Тихомирова были властные, недоброжелательные, видели, должно быть, первой всего землю, а на ней хлеб и ничего другого.

— Говорят: ну, а как дворяне будут жить? А как все! Пусть работают! Чего там! Белоручек, господ нам не надо. Все равно они скоро все наши выкупные платежи проели бы. Все наше все равно будет!

Говоря это, Тихомиров оставался неподвижным, шевелились только сухие губы, брови да горели колючие глаза.

Николай, побывав у Вали в Векшине, уж думал, что он чуть ли не первый увидел, как богатая земля пропадает зря. Оказывается, за нее давно шла жесточайшая борьба. Эти люди тоже думали, как должна быть устроена страна. Сбвещались. Съезд Крестьянского союза мог быть только нелегальным, но организация, однако, была почвенной, выдвигала на сцену самих крестьян, а не шумных интеллигентов, которые бы говорили за них.

Знал, оказывается, Иван Иванович и то, что на фабрике Томне, под Кинешмой, чей дым клубился у Волги из зеленых лесов, тоже образовались рабочие организации. Откуда-то доходили в лабаз слухи о большой забастовке на фабриках в Костроме...

Таким образом, жизнь оказывалась густой, связанной, спаянной всюду, куда ни глянь, между собой, как связаны нити в запутанном клубке: потяни одну, и увидишь, что в клубке отзовется движение там, где и не ждешь!

Володя Краснопевцев на письмо ответил, и его письмо сразу просветлило для Николая, привело в связь все окру-

жающие события. Владимир не поленился даже переписать на тонкой бумажке листовку, одну из тех, что появились в Костроме из Москвы после потемкинского восстания. Либеральная пресса уже изображала это восстание просто бунтом, а оно, оказывается, не было таким. Московский Комитет РСДРП в своей листовке передавал обращение команды броненосца «Потемкина».

«Ко всему цивилизованному миру! Граждане всех стран и народов! Перед вами проходит грандиозная картина великой освободительной войны! — так начиналось воззвание. — Угнетенный и порабощенный народ не вынес векового гнета и своеволия деспотического самодержавия. Разорение, нищета, бесправие, до которых русское правительство довело многострадальную Россию, переполнило чашу терпения масс. По всем городам и селам, всюду вспыхнул пожар народного возмущения. Могучий крик вырвался из многомиллионной русской груди. Долой рабские цепи деспотизма! Да здравствует свобода! Как гром прокатился по всей необъятной России. Но царское правительство решило лучше утопить страну в народной крови, чем дать свободу и лучшую жизнь.

«...Вот почему мы, команда эскадренного броненосца «Князь Потемкин-Таврический» сделали этот первый и решительный шаг...

«...Пусть все те братские жертвы рабочих и крестьян, которые пали от солдатских пуль и штыков на улицах и полях нашей родины, снимут с нас проклятие, как с убийц. Нет, мы не палачи, не убийцы. Мы — защитники своего народа...»

Уходя в добровольное изгнание с родины, команда «Потемкина» по всему миру понесла весть о том, что происходило тогда в России. Как это было важно! Это было первое военное восстание, им начиналась планомерная, зорко рассчитанная Лениным борьба против царизма, теперь уже вспыхнувшая во флоте, вышедшая за пределы страны, получившая международное звучание, будившая отклики и отзывы в трудовых массах всего мира.

«Дорогой Колька, — писал Володя, — жить становится прямо интересно. События нарастают. В Кострому приехал кое-кто для работы из Иванова, оказывается, там

большие дела. Начну по порядку. Тамошние социал-демократы оказались очень смелыми, хорошими организаторами, сумели сплотить ивановских ткачей в крепкие когорты (эх, Володька любит блеснуть иногда словечком! — улыбнулся Николай). Дело там ведет некий товарищ Трифонович, он и в Костроме тоже побывал. Началось движение в мае, когда рабочие открыто собрались и открыли большой митинг на площади перед городской управой. Положение их так тяжело, что даже тамошний губернатор Леонтьев донес в Петербург, что за последние тридцать лет ивановские фабриканты очень легко нажили огромные состояния. Господа фабриканты привыкли смотреть на своих рабочих, как на безответную, вполне от них зависящую силу. И само его превосходительство признало, что протесты рабочих справедливы. Началась огромная забастовка, причем рабочие договорились с полицией и с городской управой, что будут сами следить за порядком и распоряжаться своей судьбой.

Рабочие начали с того, что выбрали совет уполномоченных по ведению стачки человек в полтора года. Этот Совет рабочих депутатов взял на себя ответственность перед городом за мирный ход забастовки, и для охраны порядка была собрана рабочая милиция. Совет депутатов через полицию запретил купцам подымать цены в лавках, продавать водку и распорядился, чтобы фабриканты открыли рабочим кредит товарами. К Совету рабочих депутатов, как передают, все время идут ходки от крестьян, от рабочих из других мест, смотрят, как все это организовано.

А самое интересное вот что: в Иванове, в фабричном районе, через луг течет речка Талка. На этом лужку каждый день и собирались бастующие, совершенно свободно обсуждали свои дела. Охрану несла рабочая милиция. И на этой Талке возник целый рабочий университет! Представь, Николай, там читались лекции о положении рабочего класса в России, о положении рабочих и о рабочем движении в других странах, о политических партиях. Все это очень живо и деловито обсуждалось.

Однако в конце концов под давлением фабрикантов губернатор сам нарушил условия, казаки стали разгонять рабочие собрания. Мы все в Костроме считаем, что это большая ошибка властей: события в Иванове показали, что рабочее движение — движение организации и поряд-

ка. Рабочие, знаешь, просто какой-то особый народ. Они способные, умные организаторы, настоящие защитники народа.

Впечатление от того, что происходило в Иванове, очень сильно, оно имеет свой след и в Костроме. У нас, как и в Шуе, Кохме и в других центрах, в июле возникла тоже крупная забастовка на всех фабриках. Рабочие — михинские, зотовские, кашинские — каждый день собирались на «дровотне», знаешь, на берегу Костромки между фабриками, где стоят поленницы дров, митинги были большие, тысяч по пятнадцать. Был тоже организован Совет забастовки — больше ста рабочих депутатов. Председателем был один из михинских. Наши рабочие добились того, что они теперь работают не одиннадцать с половиной часов в день, а десять с половиной, а заработок их повысился на 10—20 процентов. Это настоящая большая победа! Увидимся, поговорим и о наших делах.

Как твои занятия? Доволен ли ты? Есть ли там интересные люди? Неужели ты остался вне общественного движения? И не скучно тебе в купеческом доме? Ну, приезжай, ведь до занятий немного осталось».

Николай получил это большое письмо до востребования на почте, безлюдной, пропахшей пылью, сургучом, едучей скукой. Было воскресенье, и он пошел читать его на бульвар, знойный, тоже безлюдный, тонущий в колокольном звоне. Где-то горели по жаркой погоде леса, небо затянула сизая дымка, солнце стало красным, и Волга сверкала тоже красной рябью. Николай присел на скамейку в тени акаций, читал долго и, прочтя, задумался, держа письмо в руке.

«Вот и Володьке оттуда кажется, что тут тихо... Купеческое окружение... Векшино. Какое же это спокойствие? А вот про Талку, про Кострому здесь не знают, — в газетах об этом стали писать мало. Действительно, рабочие самые решительные люди...»

— Коля! — раздался вдруг радостный возглас. — Коля! Здравствуйте!

Он и не заметил, как бульвар наполнился народом после отошедшей обедни, и теперь к нему торопливо шла, почти бежала Валя, вытянув руку вперед для пожатия. А подальше, от зеленого киоска, где торговали баварским квасом, махала красным зонтиком Лизавета Васильевна и застенчиво улыбалась Гуня.

Валя стояла перед Николаем на фоне Волги, в багровых отсветах солнца, радостная, простая, в венце темных кос.

— Почему же вы не приехали к нам, Коля? — говорила она как ни в чем не бывало своим низким контральто. — Как в деревне хорошо! А мы сюда на именины к нашим родственникам... К Коноваловым... Сегодня Ильин день! Коновалов именинник, он Илья Николаевич! Сегодня воскресенье, ведь вы свободны?

Лизавета Васильевна тоже уже бежала к ним, энергично потряхивая черной шляпкой с трясущимися желто-голубенькими иммортельками. Гуня спешила за нею.

— Мама, — сказала Валя, — возьмем с собою Колю к Коноваловым? А?

— Здравствуйте, Прокшин! — говорила Лизавета Васильевна, энергично трясая ему руку. — Почему глаз не кажете? Конечно, конечно, возьмем... Что за вопрос! Они очень будут рады.

— Но меня будут ждать, беспокоиться! — отговаривался он.

— А вы позвоните по телефону, да и вся недолга! — энергично сказала Лизавета Васильевна, закуривая папиросу и трясая спичкой.

Итак, в Ильин день 1905 года, дымный, сизый, с багровым солнцем, Николай Прокшин вместе с Артищевыми прошел высокими деревянными воротами коноваловского дома и подымался по охряной лестнице, по пестрой дорожке во второй этаж. Сам виновник торжества, Илья Николаевич, бухгалтер уездной земской управы, в белом чесучовом, припотевшем под мышками пиджаке, встречал гостей на лестнице.

— А, молодой человек, молодой человек! Встречались, как же! — только и сказал Коновалов, когда Лизавета Васильевна представила ему Николая. Он метнул быстрый взгляд на юношу, на Валю и, выслушав от Лизаветы Васильевны и от Николая поздравленья с днем ангела, сразу, потирая руки, пригласил всех «в зальце».

Лысый, красноносый, гололобый, с клочками белых волос у висков, с маленькими острыми глазками, Илья Николаевич по всей Кинешме славился своей пронзительностью и невозмутимостью.

В пустоватом «зальце», как обычно, белые обои с матовым блеском рисунка, на окнах тюль, в углу лампадка

перед образом пророка Ильи, уносящимся на небо на огненной колеснице. В простенке высокое зеркало, перед ним на подзеркальнике разные интересные безделушки: слоники, приносящие счастье, свинки, приносящие деньги, всякие — фарфоровые, стеклянные, металлические. Жеманные пастушки и пастушки в кружевах и лентах. Хрустальная шкатулочка с бронзовыми фасадами, стеганая по дну голубым атласом, фарфоровый флакон из-под духов, покрытый сплошь голубыми незабудками, и такой же флакончик, но в виде розы, из середины которого торчала медная пробочка. Маленькие часики, в которых вместо маятника качалась на качелях девочка в розовом платье, и масса других красивых вещей.

Напротив — черное покоробленное пианино с желтыми, щербатыми клавишами. Правее — развалистый красный диван, перед ним — стол под ажурной вязаной скатертью, на столе — пахнущая керосином лампа в виде желтоглазой ушастой совы под розовым тюльпаном.

Прибавьте еще два красных кресла у дивана, дюжину венских стульев по стенам, на стенах портрет царя и царицы, а пониже — портрет самого Ильи Николаевича, которого художник сделал почему-то сильным брюнетом, небольшую люстру с пятью витыми стеариновыми свечами вокруг лампы под синим колпаком — вот вам и весь реестр того зальца, куда, одергивая белую рубашу, вступил Прокшин со своими дамами.

На венских стульях вдоль стен уже сидели гости — преимущественно дамы в нарядных платьях, в белых кофточках и черных юбках или наоборот — в черных кофточках при светлых юбках. Дамы с брошами в виде звезд, полумесяцев, лир, имен, цветов. Дамы с часами на выпуклой груди, дамы вовсе без часов и безгрудые. Дамы в серьгах и без сережек. Впрочем, дамы больше распространялись в ширину, в фундаментальность, а вкрапленные среди них девицы, наоборот, устремлялись в воздушность, в вышину — такими делали их кисейные платья, их легкие формы и, наконец, пышные банты на осыпанных локонами прическах...

В мужских одеждах преобладали темные, солидные цвета. Только Тюлькин, блондинистый учитель словесности в местной женской прогимназии, был в светло-сером в широкую клетку костюме с алой гвоздичкой в левой петлице, а на правом лацкане имел знак духовной ака-

демии. Сам Тюлькин был длиннонос, худ, угреват и очень дурен лицом.

Костюмы других мужчин, напротив того, отличались плотностью, добротностью материалов. Несмотря на удушский июльский зной, их облекали тяжелые сукна и диагонали фабрик барона Штиглица. На тужурках, сюртуках, на их петлицах — всюду, где возможно, сияли золоченые пуговицы с двуглавыми орлами.

Отдав общий поклон, Николай уселся около своих дам, и Лизавета Васильевна сразу же принялась за свою тему.

— Как нынче у нас мало сена! — восклицала она, кипятясь и возмущаясь. — А почему? Сперва мужики гнули за косьбу немилосердные цены, а потом пришли да и скосили все наше сено. Увезли! Забрали себе! Вот вам! А! Судись теперь с ними! А как судиться, по судам как будто стало в моде потворствовать мужикам. Неделю тому назад у нас бурей раскрыло крышу риги. Супоросая свинья — подумайте — околела... А рожь! — восклицала она, всплескивая худыми руками с тройным колечком «Вера, Надежда, Любовь» — с синим, зеленым и красным камушками, — та совсем плохо выколосилась...

Земля напирала на этих женщин, была им не к рукам. Луга, поля, сады шли войной против них, дышали к ним враждой. При хлебе они оставались без хлеба... Ах, если бы был мужчина!

Гремя каблуками, в зальце вошел с доктором Полозовым уездный исправник Кадомцев — красивый, черноусый мужчина в белом кителе при золоченых пуговицах, с черным лаковым ремнем шашки через плечо. Остановился посреди залы, раскланялся на все стороны и, проводя рукой по усам, сочным баритоном продолжал разговор:

— Положим, мир заключат! А дальше что, позвольте вас спросить? Какой-то паршивой Японии придется отдать и Сахалин и Порт-Артур! И железную дорогу... Положим, места там такие, что господь с ними. Каторжные места... Глушь... Никакого общества, одни ссыльные... Шпана! Отдавать обидно, но все же придется. А почему? Да потому, что Витте — жид!

Толстый доктор Полозов стоял около исправника и довольно безучастно его рассматривал, зажав в кулак янтарный мундштук с толстой папирсой. Уступка Сахалина

и железной дороги его не волновала. Больше беспокоила его задержка с именинным пирогом — совершенно непонятная. То же самое было видно и на испитом лице худощавого акцизника Петухова, подошедшего к собеседникам, который нарочито равнодушно, изгибаясь, как змей, с вышины своего чуть не трехаршинного роста, заглядывал в столовую.

Со стороны стульев раздался громкий треск, блеснул огонь, все вздрогнули и засмеялись: это закуривала папироску мадам Петухова от своей зажигалки в виде небольшого пистолета. Худенькая стройная брюнетка, она со своим вытянутым несколько в одну сторону бровястым лицом, известная под именем «Дамы Пиковой», обожала пение. В наступившей вслед за выстрелом тишине отчетливо раздавался ее голос. Своей соседке, учительнице французского языка, круглой, состоящей сплошь из шаров, обтянутых синим шевиотом платья, она азартно повествовала о способах постановки голоса:

— Главное — поставить дыхание... Да, да! Это главное... Ды-ха-ни-е! Упор сюда! На диафрагму!

Учительница французского языка слушала ее настолько внимательно, что черная лента ее пенсне дрожала.

Против исправника выступил Тюлькин:

— Как можно так говорить об евреях? Некультурно! В Европе невозможны такие явления! Положительно смешно!

Тюлькин верил в Европу страстно и пламенно: да разве можно, помилуйте, сравнивать Европу с нищей, бедной, отсталой, безграмотной, молчаливой Россией? Никогда! В Европе все: парламенты, конституции, телефоны во всяком доме, электрическое освещение... Трамваи! Ванны! Там все грамотны. Там все могут разговаривать!

Тюлькин давно бы уехал в Европу, но у него не было никаких средств, да к тому же он — какая жалость! — не знал он и языков. Зато всегда высказывал убеждение, что образованность Европы победит необразование России, что Европа вообще как-то расползется тестом во все стороны и образует, таким образом, сплошное интеллигентное государство, очень приятное для жизни.

Мыслей у Тюлькина было огромное количество, только он не мог довести их до надлежащей ясности и ясность заменял исключительно восхищенностью. Таким образом, при всей своей устремленности к новому он ос-

тавался абсолютно непрактичен и, стало быть, политически безвреден, что и было отмечено с похвалой в местном жандармском управлении.

Подобная же история наблюдалась и с исправником Кадомцевым: у него было тоже очень много мыслей, и он тоже не мог с ними справиться. Он был столь же простодушен, как и Тюлькин, но губила его, наоборот, сугубая практичность. Его уму мир представлялся сплошь состоящим из воров, мошенников, жидов, революционеров, и он гонялся за ними столь азартно, что раз как-то арестовал и засадил в кутузку родного своего дядю, заподозрив его в том, что тот задумал сжечь свой дом в каких-то политических целях.

Тюлькин и Кадомцев стояли теперь друг против друга, среди молчаливого кинешемского общества, собравшегося сюда, чтобы отметить день святого пророка Ильи Февзвитянина — небесного наблюдателя и покровителя хозяина Ильи Николаевича.

Тюлькин стоял за прогресс, за слияние с Европой; исправник — за отечественный порядок, за тишину. Тюлькин презирал Кадомцева глубоко и безнадежно, хотя и не мог развить мыслей об этом последовательно и доказательно; Кадомцев подозревал Тюлькина, но в чем — он тоже не мог изложить удовлетворительным образом при помощи одного рычания и поглаживания красивых усов.

Тягостный конфликт был наконец разрешен хозяйкой — нарядной супругой именинника.

— Господа! — возгласила она, появляясь в дверях передней и маша руками. — Шш! Господа, тише! Отец Иоанн пожаловал! Прошу встретить! И затем милости прошу к столу!

Гости разом облегченно вздохнули, молча задвигались, зашаркали ногами, загремели отодвигаемыми стульями и обратились лицом к передней, в почтительном ожидании духовной особы.

Из передней неслись умиленные восклицания хозяйки вперемежку с рокотанием глубокого баса и, шествуя напрямик из передней через зальце в столовую, выдвинулась монументальная фигура отца протоиерея в рясе зеленого муара, в лиловой высокой камилавке, с наперсным золотым, усыпанным драгоценными камнями, крестом на обширном чреве.

В этом необыкновенном человеке все было необычно-

венно могуче — крутые толстые плечи, колоссальный живот, водопад серебряных волос, седая борода, волнами стелющаяся по высокой выпуклой груди, громовой голос, массивное, тяжелое лицо с крупным красным носом в лиловых жилках, с широкими ноздрями, выложенными черным мехом, красные щеки, медвежьи ледяные глазки под нависшими мохнатыми бровями, толстые красные губы.

Остановясь посредине зальца, отец Иоанн благословил хозяина дома, отбросил полу рясы, вытащил затем из глубочайшего кармана своего подрясника заздравную просфору и поднес ее имениннику. Откашлявшись, он возвел глаза горе, и словно заворочался, покатылся отдаленный гром:

— Некогда рече Илия, — схватите жрецов Вааловых, дабы ни один из них не укрылся! — рокотал наставительно его бас. — И схватили их. И отвел их Илия к потоку Киссону и заколол их там. И было их четыреста пятьдесят... С днем ангела, Илья Николаевич! Желаю здравствовать многая лета... Действуй, уважаемый, как твой славный тезоименник, пророк Илья! Поражай пророков Вааловых. Пора! Пора! — И он осенил благословением всех присутствующих.

— С праздником! Калерия Семеновна, с именинником! Процвети, яко Рахиль... Ну, а теперь, хе-хе, где же телец упитанный? Пора приступить стомаха ради! Пора!

И отец протопоп продолжил свое торжественное шествие в столовую, за ним, как рой за маткой, теснились, жужжали гости. И Николай шел рядом с Велей, касаясь рукой прохладной ее руки.

Столовая была самая заурядная. Два окна во двор, в них — вершины берез, розовая дальняя колокольня. Буфет с резаной из дерева уткой на одной дверке и с зайцем — на другой. На буфете — толпа самоваров. Горка с посудой, все больше с юбилейными, праздничными, благодарственными подношениями Илье Николаевичу.

Отец Иоанн сел во главе стола, потом стали рассаживаться дамы. Мужчины толпились около закуского стола.

Без пира, как известно, в русском быту не обходилось ни одного собрания — рождение, брак, именины, каждый большой праздник, наконец, даже сами похороны и поминки — все было поводом для пиров.

Еда примиряла, снимала противоречия, изгоняла гнев, злые мысли. И сейчас мы видим Тюлькина рядом с Кадомцевым, прекратившими всякие теоретические препирательства, благодушно протискивающимися к составленному из двух ломберных, уставленному закусками столу.

Русский стол покоился на большом количестве и разнообразии закусок, в которых должна была проявляться изобретательность хозяйки. Далее — в случае именин — следовал пирог, столп и утверждение, гордость и вместе с тем страх хозяйки. Пирог, или, говоря почему-то немецким языком, «кулебяка», с капустой, с яйцами, нежный, слоеный, фигурировал в данном случае на столе Коноваловых.

Изумительны также бывают курники, то есть пироги с рисом и запеченной в них курицей. Равным образом великолепны пироги даже постные. Хотя православная церковь и запрещает в них мясо, тем не менее при наличии разных рыб и грибов они чрезвычайно опасны в отношении одного из смертных грехов — чревоугодия.

К кулебякам, к пирогам положен мясной, прозрачный, как самоцвет, бульон; к постному пирогу — легкая ущица.

После бульона намечается переход к мясам через холодные и горячие рыбные блюда. Хотя то прекрасное время, когда быков жарили для пира целиком, давно минуло, но на пиру у Коноваловых подавался такой кусок заколерованной, коричнево-золотой телятины, что он сохранял до некоторой степени живую форму тельца.

Илья Николаевич, оживленный, с покрасневшим лицом, резал телятину длинным ножом. Нож свистел, из разреза брызгал сок. Супруга именинника, Калерия Семеновна, раскладывала по тарелкам золотые шары картофеля, зеленые, красные, белые салаты, зеленые огурцы, все вещи, вызывающие одним своим видом слюноотечение.

Именинный пир пошел своим медленным, развалистым шагом — наливаний, подыманий рюмок, чоканий с приговорами на разный лад, веселых тостов, многозначительных проглатываний, подмигиваний, серьезного, делового выбора закусок, общих разговоров, смеха, нескромных намеков, сопровождаемых обвалами громового хохота.

Громче всех был слышен тенорок Тюлькина, за ним —

гром баса отца протоиерея. Распаленный едой, могучий, он снял крест и рясу, остался в белом подряснике.

Тюлькин завел речь о Цусиме.

— Заметьте, заметьте! — восклицал Тюлькин. — Какое замечательное совпадение — несчастный этот бой в море был как раз в день священного коронавания их императорских величеств! — И, широко раскрыв глаза, он обвел взглядом общество.

— Отлично помню оный день священного коронавания! — отозвался отец протоиерей волжским своим говором, густо напирая на «о». — И знаете, какая ерунда тогда получилась? Помню, тогда наш казанский архиепископ Владимир ездил в Москву для присутствия на церемонии соборно с сонмом других владык. Ну, конечно, владыка облачение самое лучшее из Казанской ризницы с собой берет — все чистое золото. И берет панагию — номер шесть! С алмазами... Тысяч двадцать стоила панагия-то. Да, да... А как же иначе? И вот-с подает покойный владыка царю теплоту, а слезы у него из глаз так и текут. Плачет владыка-то, да-а! Фу, как неприлично! Государь на него посмотрел, ничего не сказал. Только митрополит Московский замечанье сделал: «Ты что ж это, владыко?» — «Да так, — говорит, — сдается, — говорит, — мне, что-то плохое скоро будет». И что ж вы думаете, вышло ведь оно, плохое-то... Вышло! Гм-м! — громоподобно прокашлялся отец протоиерей.

— Что же вышло, отец Иоанн? — осведомился, усердно жуя, Илья Николаевич.

— А сперва нужно бы горлышко промочить унцем-драхмун! — отозвался тот с улыбкой во весь красный лик. — Пересохло! — И потянулся к рюмке, остальные — за ним.

— Ну-с вот, — продолжал рокотать жующий его бас. — Окончилась церемония, выходит наш архиепископ из Успенского собору в Кремль, служки смотрят лошадей — в Казанское подворье ехать. Нет лошадей и нет. А кругом все уж разъезжаются, и генералы, и камергеры. «Что ж, — говорит кротко владыка, — ищите мне хоть извозчика!» А где там извозчика — кругом полиция. Строго... И тут подходит к нему генерал, спрашивает: «Устали, должно быть, владыко?» — «Устал, — отвечает, — очень устал... Года! Да вот беда — нет моих лошадей!» — «А вам куда?» — «В Казанское подворье. На Маросейку!» — «Так

я, — говорит, — вас подвезу, владыко! По дороге нам! Садитесь, милости прошу». Подают, конечно, генералу коляску, он вперед владыку подсаживает. Сели, покати-ли... Довез генерал владыку до подворья, благословение принял, как полагается... поликовались. А как вернулся владыка наш к себе в покои — хватъ — нет панагии! Номер шесть! С алмазами! Нету и нету!

— А генерал? — трепетно спросила хозяйка.

— И генерала нету никакого! Ха-ха-ха! — грохотал отец протоиерей. — Жулик он был, генерал-то... Жулик, и больше ничего. Мазурик... Ха-ха-ха... Вот какой случай тогда вышел!

И отец Иоанн грохотал во всю зубатую пасть в белом мехе бороды, так, что его крутые плечи ходили ходуном, живот сотрясался. Кругом хохотало все застолье, отзывались тоненьким звоном стаканы.

— Уж эти московские жулики! — говорил исправник Кадомцев, утирая слезы. — Всем они известны. Мастера! Генерал и вдруг — жулик... Ха-ха-ха! Вот тебе и панагия!

В окна уперлось грозное, багровое солнце, дышать было почти нечем, лица все были потные, красные рты блестели от жира, разговор гудел, смех постепенно замирал. Николай, опустив руку под стол, почувствовал ожог — рука Вали жглась, как крапива...

— Простите! — прошептал он.

Но она улыбнулась широкой улыбкой и, поймав под столом его руку, крепко зажала в своей.

Ах, как щекотало в горле! Вот бы так сидеть, так и плыть куда-то в этой беспечальной жизни, среди этих веселых, сытых людей.

Сытость, лень, истома так и одолевали, вязали руки, пудовыми делали ноги, шумели в голове, навесали вековую дремоту. От добра добра не ищут!

Подали мороженое; вина, наливки сияли самоцветно. Отец Иоанн с трудом поднялся и, надев рясу и крест, благословил пирующих и медленно двинулся домой, почитать. И вдруг, среди поднявшегося гула голосов, звона тарелок, смеха, выкриков, раздался голос Ильи Николаевича:

— А уж извините, дорогие гости, придется мне вас грозой угостить... Иначе не могу-с. Такой уж я грозовой человек!

Николай посмотрел на окна. Правда! В сизой дымке из-за горизонта, из-за домов, деревьев, церкви подымалась тяжелая, как шуба, туча. Толща ее, озаренная алым солнцем, была похожа на обрез огромной льдины в полнеба, под лиловым ее сводом медленно распространились тишина и рыжий сумрак.

То Илья-пророк готовился прокатиться по небу на колеснице своей, на огненных конях. Дамы сбились, как стадо перед грозой, к одному концу стола. Извечная тоска женщин по каким-то избавителям от гнета дней жгла их взвихренные вином души. Их мужчины, их спутники жизни, темными, бесполезными бурдюками, налитыми водкой, расплзались из-за стола, уходили в налитую грозой гостиную. Избавителя не было. Приди он в коноваловский дом в тот грозовой, хмельной час, они, как русалки, зашекетали бы, заласкали бы его. Растерзали бы может быть... Что увидят они сегодня, после этого хмельного ожидания, как не храп, трудное дыхание налитых вином мужских тяжелых тел — печальная явь вместо обольстительных снов.

Дамы затаили песню про Стеньку Разина. Их жуткие, в унисон высокие голоса неслись по всему дому под смешки, пьяное бормотанье мужчин. Как курганные бабы, высились они на стульях, привалившись друг к другу...

А она, склонив головку,
Ни жива и ни мертва,
Робко слушает хмельные
Атамановы слова!

К ним пришел было и стал подтягивать Тюлькин, но фальшивил и был ими изгнан. И женщины с завистью смотрели на Николая и Валю — они были так молоды. И, должно быть, любили друг друга.

Туча закрывала все небо, солнечный свет лился лишь из последней, небольшой щели, делал неузнаваемыми и лица и обстановку. Дрогнул первый порыв ветра, говорливо прошумели деревья. Внутри необъятной тучи, там, где облако было посветлее, что-то дрожало, мерцали раковины розового, голубого огня. Донеслось глухое рокотание.

Вдруг спазма синей молнии вниз и вбок раскрыла небо, рухнул тягчайший громовой удар. Валя вскрикнула, закрестилась, Лизавета Васильевна закрыла лицо руками.

Было жутко, словно вон там, вверху, по лиловым, серым, белесым крутящимся облакам ходили какие-то существа.

А Илья Николаевич — бухгалтер уездной земской управы, — высоко подняв к небу стакан красного вина, качая им, кричал во весь голос:

— Так! Так! Правильно! Катай, Илья-пророк! Ты ведь тоже именинник!

Снова удар, крики, звон стекол, хлопанье торопливо закрываемых рам и, перекрикивая гром, визгливо пели женщины:

Что ж вы, черти, приуныли,
Эй, Ефимка, черт, пляши!
Грянем, братцы, удалую
На помин ее души...

С замиранием песни послышался ровный, набирающий силу, шум дождя. Загремела крыша, забубнил водосточные трубы, забулькало на земле... Фиолетовым, синим зеленым огнем вспыхивали окна, рассеченные наискось серебряными струями. Раскаты грома слышались непрерывно.

Хоть окна были закрыты, становилось свежее и свежее, и от этого падало буйное настроение пирующих.

Дождь гудел и гудел, словно пели серебряные трубы. Под звуки разбитого пианино и грома начались танцы: вальс, венгерка, па-д'эспань, па-де-катр, па-де патинер, полька-тройка. Мужчины в кабинете хозяина засели за карты: надо же было как-то «провести время», а там и ужин.

Стемнело. Над чайным столом в столовой зажгли висющую лампу под белым колпаком, на котором с одной стороны висели бумажные розы. В зале, над совой, загорелся розовый тюльпан. Там играли в «Почту Амура». Любимая эта провинциальная игра того времени состояла в том, что друг другу передавали карточки, на которых был напечатан ряд названий драгоценных камней, а против них кокетливые фразы, стишки и так далее... Передающий карточку называл камень и этим указывал ту фразу, которую надо было прочесть на карточке адресату.

Николай в первый же момент получил карточку от «Дамы Пиковой». Там под камнем «Халцедон» стояло:

Красна, кругла лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне...

Очевидно, за ним и за Валею следили. Николай озлился и послал «Даме Пиковой» под «Ониксом»:

А красотка презрела,
Да и очень перезрела!

Валя передала ему карточку, на которой он увидел вопрос:

Кто из общества вас более всего интересует?

Николай ответил ей «Алмазом»:

Когда б у ваших милых ног
Я отдохнуть душою мог...

и увидел, как она вспыхнула от удовольствия.

Так шла игра. А за стенами, над крышей дома вились тучи, летали молнии, гремел гром. Ливень, не переставая, барабанил и барабанил, когда вдруг в передней раздался жестяной голос звонка.

— Что такое? — всполошилась Калерия Семеновна. — Катя! Катя!

Катя со свечой скатилась по лестнице, хозяйка, кое-кто из гостей столпились наверху. В полосе света за дверью блеснула мокрая клеенка дождевика.

Подняв свечку высоко над головой, Катя прокричала вверх:

— От Федосеевых! Лошадей за учителем ихним прислали!

— Вот внимание! — ехидно проговорила Лизавета Васильевна. — Ну, а мы тут ночуем.

Валя не сказала ничего, лишь в упор смотрела в лицо Николая и слегка побледнела. А Николай, очень смущенный такой любезностью, наскоро прощался:

— До свиданья! До свиданья! — разбрасывал он и наконец скатился по лестнице.

Кучер Григорий ждал его у двери с зонтом. Николай зажмурился от брызгавшего на лицо дождя, сделал несколько хлюпающих шагов до экипажа и, подняв зонт, обернулся и взглянул на окна: там свет, мир, уют, Валя, а тут — темень, грязь, дождь, молнии.

— До свиданья, Коля! До свиданья, Николай Федорович! — неслись сверху женские голоса. — Заходите! Не забывайте...

— До свиданья! До свиданья! — весело откликнулся он, стоя у экипажа. От оказанного ему внимания он чувствовал себя немножко героем. Открыл фартук пролетки

и при свете молнии в углу под поднятым верхом увидал затаившуюся фигуру.

По духам, мешавшимся с экипажным запахом кожи и пыли, он понял — это была Евгения Ивановна.

— Это вы? — глуповато спросил он, опускаясь на мягкую подушку сиденья, чувствуя около себя ее душистое, теплое тело.

Она ответила, но не прежде, чем загремели колеса экипажа.

— Голова у меня весь день болела! Эта несчастная гарь... — и, помолчав, добавила: — И я очень люблю грозу.

При блеске молний, залетающих то и дело в катившуюся пролетку, она казалась бледнее, брови — чернее, левый глаз блестел, как стеклянный.

— Да поддержите же меня! — произнесла она выразительно, когда пролетка накренилась на повороте.

Он обнял ее за талию правой рукой, дыхание у него стеснилось до боли.

— Вы удивились, Коля, когда меня увидели? Правда, правда?

Это «Коля» прозвучало оглушительно.

— Что вам надобно? — с отчаянием почти вырвалось у него. Могучий удав охватывал его, жал, лишал дыхания. И этот удав был ее телом, ее силой.

— А разве тебе ничего не нужно, милый мальчик? — звенящим шепотом выговорила Евгения Ивановна. — Разве у тебя не бьется сердце? Дай-ка я посмотрю!

Ее рука легко коснулась груди Николая прямо против сердца. Быстрым движением она положила ему на его сердце благоухающую свою прическу. Николай задышался от запаха женщины, от этой, опрокинувшейся на него, словно грозный ливень, волны. Вспыхнула молния, и на женской шее сверкнула цепочка золотого креста.

— Конечно, бьется! — шептала Евгения Ивановна под раскаты грома. — А посмотри — у меня тоже! — и, ловко расстегнув макинтош, она подставила грудь под ладонь Николая.

Сквозь кружева, нежный шелк он ощущал горячую кожу, слышал запах чужого потного тела, смешанный с духами. Он уже тянулся к ней, а она откидывала голову все дальше назад, отягчая, давя, увлекая его своим весом. Белая шея, черные губы то вспыхивали, то погасали в

блеске молний, и в мозгу Николая вспыхнула мысль — непременно, во что бы то ни стало поцеловать ее в губы.

Торжествуя, сознавая все свое необъятное могущество над юношей, она отбивалась от него, дерзкого, не помнившего себя.

— Мальчик, не надо... Довольно... Слышите, Николай Федорович, мост... Мост! Сейчас подъезжаем.

Он откинулся от нее в угол пролетки, а она обеими руками приводила в порядок прическу, смеялась:

— Так вам, Николай Федорович, ничего не надо? А какой скромник! Ах-ах...

Насмешки обижали Николая, он отвел прочь ее душистую мягкую ладошку, колотившую его по губам.

— Батюшки мои, ребенок рассердился! — смеялась Евгения Ивановна. — Ах, батюшки...

И вдруг тихо проговорила:

— Ну, пусть мальчик не плачет, я его сегодня утешу! Пролетка остановилась.

Гроза давно прошла. В оба открытые в ночь окна столовой лился воздух невыразимой свежести. Стучали маятником часы, свечка на стуле около дивана сплывала под тонким, качающимся язычком пламени с кудрявинкой копоти на конце. Ночные тени прятались в углах столовой.

Николай держал перед глазами книгу, но не читал. Не мог. Смотрел на потолок, где амуры среди цветов тащили фигуристую бутылку с ликером, прислушивался, как пищал одинокий, уцелевший в грозе комар.

Дело в том, что сегодня поздно вечером опять совершенно неожиданно приехал из Москвы инженер Мейер, и теперь из-за дверей глухо доносились оживленные голоса супругов, смешки, заглушенный кашель. С грохотом покатылся один, должно быть инженерский, ботинок. Потом другой.

Давно утихли голоса, движения в комнате супругов, а Николай все еще лежал с тихой яростью на себя. Пропели купеческие петухи, чуть проявились в темноте серые окна. Николай приподнялся, корчась от невыносимого, жгучего стыда. Потом стукнул кулаком по измятой подушке. Уснул.

Серьезный, осунувшийся, возмужавший, он утром сидел с Сережей и твердил ему:

— Сережа! Когда же ты наконец запомнишь, что в немецком языке имеется артикль определенный и неопределенный. Определенный будет — дер, ди, дас. Это по родам...

И перечисляя эти члены, Прокшин ударял размеренно указательным пальцем по столу, нахмурив брови, сжав губы. А Сережа, очевидно, угадывая, что его наставнику не до него, рассеянно смотрел в окно.

День был неожиданно прохладным. Известно: на Ильин день олень к воде сбегает, почему и холодок. Лету конец, и, должно быть, от этого холодка Николаю было грустно.

Дверь распахнулась во всю ширину, вошла Евгения Ивановна — свежая, подобранная, спокойная.

— Доброе утро, — говорила она и смотрела в глаза Николаю холодноватым, как погода, взором. — Николай Федорович! Мне нужно с вами поговорить... Сережа, выйди! Это тебя не касается!

Сережа вышел, косясь на мать и на наставника.

— Николай Федорович, — говорила Евгения Ивановна, — мы с мужем на днях едем по Волге... Прокатиться, отдохнуть, знаете, муж так устал на этой своей стройке...

— Далеко? — хмуро осведомился Николай, стопочкой укладывая разбросанные по столу учебники.

— Сперва на Нижегородскую ярмарку, потом до Астрахани... Ну, потом — свернем на Кавказ, в Крым... Что ж, отдых для мужа вполне заслужен. Много было работы... Потом он премиальные получил... — она расмеялась. — Надо же их устроить.

— А как же с Сережей? Экзамены?

— А его Наташа свезет в Москву... Придется ей... Вам много еще осталось заниматься?

— Да нет, почти все сделано...

— Ах, Сережа! — тихо выговорила Евгения Ивановна, смотря на Николая неподвижными глазами. — Он так меня огорчает! — И платочек, мелькнув в белых пальцах, среди цветных колец, взлетел к светлым глазам...

— Что ж, — сказал Николай. — Счастливого пути... Мы тут уж с Сережей дозанимаемся. — И он поднял на нее твердый взгляд оскорбленного мужчины. Помолчав, спросил: — Когда же едете?

— Должно быть, завтра... Утром... С «Самолетом»... У Лизы вечно не все готово... Тряпки, шляпки. А теперь пора завтракать... Вы идете?

— Одну только минутку, — сказал Николай. — Надо довести урок до конца. Сережа! — позвал он. — Иди сюда.

Евгения Ивановна опустила глаза, повернулась, вышла.

Супруги уехали на следующий день, и все вокруг стало простым, скучным. А спустя несколько дней Николай, зайдя на почту — он ждал второго письма от Краснопевцева, — получил плотный кремовый конверт с золотой обводкой. На толстой, продушенной бумаге стояло только:

«Николай Федорович, простите, мне очень больно, что так вышло...

Уважающая Вас Е. И».

В самом начале августа Николай вырвался наконец из каменного дома, уехал в Кострому.

— Домой!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЗАПРУДНЯ

Глава первая

ГИМНАЗИЯ СНОВА!

Ученые объяснят, и все ясно:

— Хлорофилл переходит в эритрофилл.
Только и всего.

А это значит, что все кудрявые, зеленые места по Волге — ниже Костромы — Плёс, Пучок, Юрьевец и выше — Понизовкино, Никола-на-Бабайках, Диево городище — облокаются в золото, в багрец, в камень лал.

Август месяц кроет все места кругом Костромы красным суриком да чистым золотом.

Все созрело, налилось в природе, и люди могут тем пользоваться.

На Волге в те дни — оживление. Идут снизу бесперечь полулодки, баржонки, расшивы; идут снизу последние арбузы, черно-полосатые, с крупной сахарной красной клеткой, черноярские, да камышинские, да астраханские, такие спелые, что тронь ножом — сами колются. А пуше всего идут яблоки в соломе — крупно-желто-румяные — апорт, румяные сквозь зелень, с кислотой, ядреные — антоновка, желто-румяные — анис, идут белые, как восковые, насквозь косточки видать, надави чуть — лопнет, — белый налив.

И на Зеленом базаре, что у Молочной горы, целыми днями в осеннем холодке стоит нежный яблочный запах.

И еще снизу везут другой плод — капусту. Это — второй овощ. Первый овощ — огурец, уже отошел, уже посолен в кадках с чесноком, со смородиновым, с дубовым листом, с чабером, с тмином, с медными пятаками. Скоро будут солить капусту — это вроде праздника. Солтняки, тысячами кочнов покупают ее на рынке, везут теле-

гами, и во всех дворах города послышится дробный, бодрый стук сечек: в корытах, в кадушках с толстым дном рубят капусту на зиму. Работают целыми семьями, и нет больше удовольствия для ребят в это время, как грызть заостренные, сладкие кочерыжки или захватить зазевавшегося мальчонку или девчонку — натереть им лицо рубленой капустой до самых ушей.

Утром 16 августа, по осеннему холодку, под хрустальным холодным небом, когда в воздухе тянутся, летают паутинки, когда с деревьев медленно падают плашмя желтые листики и винтом вертят вокруг себя хвостики, — спешат учащиеся в свои школы, мальчишки, девочки, юноши, девушки. За лето они выросли, поправились, загорели, поширили, отдохнули. У всех весело блестят глаза — радостно будет встретиться с товарищами после трехмесячной разлуки! И яблочками осеннего урожая вкатываются гимназисты на двор своей гимназии.

Спешит в гимназию и Николай Прокшин с Нижней Дебри. Трудно достались ему считанные дни после возвращения из Кинешмы: Митревна уже навела в доме свои порядки. На даче сразу стало тесно, мальчикам отвели вверх узкую светелку со скошенной с обеих сторон крыши, на манер гроба, где стояла только пара козел с сениками. Даже столика нельзя было поставить. Шли обложные дожди, приходилось лежать целыми днями, потому что сидеть было нельзя, низко, а идти по грязи было некуда да и незачем.

Отец с утра до вечера просиживал на террасе, уткнувшись через пенсне в газеты, в вязаной фуфайке, с завязанным простуженным горлом, в накинутом на плечи форменном пальто, а Митревна таскала ему из русской печи то пирожки, то оладьи. На террасе Коля и Костя показывались с бабушкой только к обеду, чаю, ужину. Бабушка жила за переборкой в общей с отцом единственной горнице, переборка была тонкая, и ребятам с нею поговорить там было невозможно. Поэтому они там либо шептались, либо объяснялись, как немые, угрожающими жестами. Митревна подслушивала их шепоты, потом жаловалась отцу, тот мрачнел все больше и больше. И ночами, скорчившись под тонким одеялом, под шум дождя Николай видел во сне Кинешму, то Валю, то Евгению Ивановну, то варку варенья в саду: парень хватил свободы.

Переехали в город с дачи — стало немного легче: Митревна поселилась в комнате отца, ребята — у себя, бабушка тоже у себя, но тем не менее Николай видел: Митревна расколола их семью, как нож арбуз. Она захватила отца. Федор Петрович, когда она кормила его, когда суетилась вокруг него, смотрел на нее с восторженной благодарностью; он, давно оказавшийся семейным бобылем, никогда не знал такой прилипчивой заботы, и это ему нравилось. И Митревна вмешивалась в его разговоры с детьми, следила за ними, шептала про ребят отцу. Она даже убирала от отца газеты, чтобы он не занимался политикой, не расстраивался. Федор Петрович должен был работать на семью, на их семью, — она уже была в положении. Митревна принесла в дом Прокшинных мещанский, мелочной дух, и отец терял свою московскую, старинную, такую приятную художественность, и сам не замечал этого.

Вместе с тем, теряя связь с семьей, Николай освобождался от старого уклада, и теперь, широко шагая длинными своими ногами в гимназию, он с волнением думал, что сейчас встретится с товарищами. Там его место, там ждали его и задушевные разговоры, дружба, там чудилось какое-то дело, там он узнает, что случилось с Павлом.

Было о чем поговорить. Последние дни на даче и дни перетаскивания с дачи в город были отмечены двумя большими событиями.

6 августа, в Преображеньев день, дан был царский указ о созыве Государственной думы согласно проекту Булыгина, министра внутренних дел.

То был неплохой шахматный ход: целый ряд газет приветствовал это, например «Сын Отечества», где выступил со статьей профессор П. Н. Милюков, признанный лидер либеральной интеллигенции.

«В России сегодня, — писал он, — родился народный представитель... Русские обыватели формально признаны активными участниками в общественном и государственном деле. Отныне они граждане...»

Однако формальное право далеко не есть еще реальное право, и профессор Милюков очень хорошо узнал это, когда на следующий день после появления его красноречивой статьи он был за нее арестован и посажен в тюрьму.

Радикальные газеты к указу о Булыгинской думе от-

несли без всяких иллюзий. Они, не обинуясь, сразу же указали, что согласно положению об этой Думе во всех городах Российской империи с правом голоса, чтобы выбирать и быть выбранным в такую Думу, найдется не более восемнадцати тысяч человек — настолько высоко был установлен имущественный ценз.

Почти все городское население страны, кипевшее в течение двух лет возмущением по поводу тупой и бездарной политики царского правительства, оказывалось вне даже бесправной, совещательной Думы: в Думу могли попасть только самые богатые тузы из города, а из деревни помещики-дворяне да отдельные зажиточные кулаки-крестьяне.

Второй газетной сенсацией были открывшиеся в городе Портсмуте в США переговоры о мире между Россией и Японией. На фронте было объявлено длительное перемирие, и русские войска после Мукдена накапливались на Сынгайских высотах.

Уполномоченным на ведение мирных переговоров был назначен С. Ю. Витте, выехавший немедленно в США. Газеты сенсационно расписывали, в какой роскошной каюте-люкс плыл Витте за океан, рассказывали, как губернатор штата Нью-Гемпшир принял съехавшихся в Портсмут Витте и японского уполномоченного барона Комуру, как крепко и радушно пожал обоим руки, а все присутствующие затянули американскую песенку того времени:

Мы, янки, здесь япсов и руссов собрали,
Чтоб заключить меж ними мир, мир, мир!

Как раз во время приема прекратился долго шедший дождь, и над гаванью и трубами Портсмута встала яркая радуга. Барон Комура, — передавали газеты, — очень любезно обратился к Витте:

— У японцев, хи-хи-хи-хи, радуга очень хорошая примета!

— И у нас тоже! — находчиво ответил Витте.

Несмотря на обмен такими любезностями, торговля за мир пошла жесточайшая. Витте то и дело давал распоряжения администрации отеля укладывать свои чемоданы, чтобы показать, что он уезжает, бросает переговоры из-за несообразно высоких требований японцев. Японцы, скрежеща зубами, уступали. Постепенно японская сторона в Портсмуте вынуждена была отказаться от запре-

щения России иметь флот в Тихом океане, от требования выдачи им русских военных кораблей, интернированных в нейтральных гаванях, от требования выкупа Российской северной половины острова Сахалин за один миллиард двести миллионов иен.

Мир должен был быть подписан — это было необходимо как Англии — союзнице Японии, так и США, которые ее финансировали.

Федор Петрович с жаром верил всему, что ни писалось в газетах. Его высказывания приобретали все более высокопарный, эдакий чисто государственный характер.

— Его величество государь-император, — говорил он басом, высунувшись из-за развернутой газеты и смотря сквозь пенсне на Николая, — изволил повелеть быть Государственной думе. Так оно и будет. Будет и мир!.. Все желания народа удовлетворяются. И шуметь больше не о чем!

Митревна из-за самовара трясла подтверждающе головой:

— Правда, Федор, правда!

Николай отмалчивался. Он понимал, что отец и сам не верит тому, что говорит: это говорила лишь его тревога за него, за Николая. Вот почему Николай утром 16 августа радостно бежал в гимназию: с товарищами будет легче.

Осенний день излучал последнее тепло, по широкому гимназическому двору между трехэтажным розовым корпусом гимназии и большим садом сновали с галочьим гомоном, с воробьиным криком сотни мальчуганов и юношей.

Огромный сад был полон чуть печальной свежести, прелой сырости, пронизан весь столбами по-осеннему уже невысокого солнца. Палый лист там и сям золотом пятнал влажные дорожки, на лохматых клумбах пламенели настурции, синели, краснели, лиловели астры. Сад весь звенел голосами малышей, игравших на площадке в лапту, а старшие уходили вглубь, прогуливались по шумящим аллеям или курили у парников, ожидая, когда позовут на молебен в актовом зале.

Словно в семью вернулся Николай: все свои! Вон не спеша идет Володя Краснопевцев, с темным румянцем, с родинками на смуглом лице, полногубый, белозубый, красивый. У Сереги Писемского появились светлые уси-

ки — вот смех! Тут Петька Власов, Лелька Бирюков, Алешка Потехин, Николай Чистяков, Аркаша Апушкин, Петька Калитеевский, Костя Собенников, Мишка Прозоров, Ленька Овчинников... Сколько! И все свои...

Все они проводили лето кто где, все больше в уездах: в Галиче, Чухломе, Буге, Солигаличе, Ветлуге, в костромских лесных просторах. Там, еще кое-где уцелев, доживали свой век старые усадьбы с четырьмя облупленными колоннами по фронту, с большими, всегда запертыми залами, где, треща, оседают паркетные полы и провисли потолки, с жилыми комнатками, полными старой дребедени: пузатых, с выгнутыми ножками, красного дерева бюро, полосатых диванов, шкафов с томами фрезвого вольтерьянства или легкомысленных стихов, рамки с желтыми гравюрами на синем паспарту с золотыми цветочками по углам. А вокруг этих плесневеющих усадеб раскиданы черные убогие деревнюшки, села с белокаменными церквями, зажиточные монастыри с монахами на пасаках, в садах, огородах, со звонами, колоколами.

И оттуда эти юноши в серых курточках принесли с собой запах, силу необозримых русских земель, леса, рек, облаков, буйственную любовь к веснам, к грозам, к ветрам. Лето, отдых, еда, купанье, первая — нежная или, наоборот, грубая — любовь, быстро накапливающийся опыт — все скрывало их в единое племя. Их речи состояли из восклицаний, грубых, ласково-бранных слов, хлопываний по плечам, ударам по спине. Они собирались сюда учиться, а больше расти вместе, а главное — действовать, действовать: возиться, бороться, спорить... И подымавшееся к полудню солнце нагревало понемногу высокозвонные лиственницы сада, липы, клены и дубы и слало им всем сквозь прель и волглость осени нетленные запахи смол и хвой.

— Колька, здорово! Какой же ты стал! Ага! Здоровый, черт! А, Аркашка! Как Лиля Агеева, ха-ха-ха? Погоди, Мишка! Мишка Прозоров, стой, ты куда? Нет ли папироски? Полозов, да ты на два вершка вытянулся, ей-богу. Вот орясина! А, Прокшин! Все время думаешь? Читаешь! Ну, чего же ты, черт худой, надумал?

Так разговаривали восьмиклассники, плавая в тепле, в солнечном свете, в запахе листвы, пока не зазвенел знакомый звонок. И тогда почти тысячная молодая толпа с топотом ринулась через двор, в гимназию, в зал, где,

по-грачиному гомозясь, выстраивались рядами по классам. Законоучитель, отец Василий, облачался уже в золотую ризу.

Из своей квартиры (дверь направо из зала), вышагивал журавлем директор Сергей Павлович, за ним семенил инспектор Алексей Семеныч, иначе Серко.

И на дворе, и в саду, и теперь здесь, в зале, Николай искал Марка, искал Козлова, однако их не было... «Как же это они не явились на первый день в гимназию?» — думал он.

Молебен «о преуспевании в преподаваемом учении» быстро отошел, и отец Василий вооружился было, как полагалось, крестом, чтобы давать его прикладываться своей молодой пастве, когда директор Сергей Павлович сделал движение, показавшее, что хочет говорить.

Высокий, старый, элегантный, похожий на Бетховена, выставив вперед одну ногу, крутя на пшурочке золотое пенсне, откинув назад пышивополосую, седую голову, он важно обратился к воспитанникам:

— Дети! М-да! С завтрашнего дня мы приступаем к занятиям, — заговорил он. — Родина и родители требуют от вас усердия, внимания, прилежания, особенно теперь, м-да, когда положение нашего Отечества все более и более поправляется и укрепляется. Входит, м-да, в нормальную колею. Так сказать, на днях будет заключен мир с Японией, скоро начнет работать законосовещательное собрание, будем помогать господам министрам налаживать порядок в стране путем издания законов, соответственных нуждам населения. И я надеюсь, что тех эксцессов, которые наблюдались в нашей гимназии в прошлом учебном году, в нынешнем году больше не повторится. М-да, подумайте, дети, с ужасом о том, что тогда случилось с одним из наших лучших учеников... Я имею в виду Усова Василия. Усов погиб при обстоятельствах, которые доказывают, что он оказывал сопротивление властям. Вла-стям! Сопротивление поставленному над нами промыслом всевышнего начальству! Вы знаете, как неморально было поведение этого юноши! Он не думал о себе, главное — он не думал о том, какой пример своим поведением подает он другим! Полное отсутствие морали! И что же! Пример оказался заразительным. Среди вас оказался элемент, еще более опасный, чем Усов... Я говорю о Соколове Павле, мальчишке, уже переходившем в

восьмой, последний класс гимназии. Его поступок, при всей своей необъяснимости, в то же время совершенно неизвиним. У Соколова Павла власти нашли оружие — целый склад оружия! Они вынуждены были арестовать воспитанника гимназии. Неслыханно! Ужасно! Что мы видим? Воспитанники гимназии вооружаются. О, tempo, o, mores! — как восклицал Цицерон.

Среди восьмиклассников прошло движение, незаметное переглядывание между собой.

— Соколов понес уже соответствующее наказание, — продолжал Сергей Павлович. — Он изъят из нашей мирной, академической среды, его судьба в руках властей, причем, боюсь, — она нелегка. Да послужит вам, дети, этот случай и примером и предостережением. Я говорю это потому, что знаю, что среди вас, старших воспитанников, имеется немало горячих голов. Пусть эти дети подумают о том, какие бедственные переживания могут они причинить своим поведением самим себе, своим близким, наконец, всем другим ученикам гимназии... Основываясь на этих фактах, я призываю вас всех быть верными сынами нашей святой православной церкви, верными подданными нашего обожаемого монарха и все свои силы обратит к мирному учению. Только этим вы, милые дети, можете помочь нашей родине восстановить то тихое благоденствие, которым исстари славна была наша великая Россия.

— Батюшка, — патетически обратился он в заключение к отцу Василию, — дайте же всем воспитанникам поцеловать святой крест в знак того, что они выполнят все, что я говорил им сейчас... Иначе — дурную траву, а она нам известна, — из поля вон... Вон! Целуйте же, дети, крест здесь, перед портретом нашего императора...

Демосфеновским жестом, вывернув правую руку вверх, директор указал на царские портреты.

Отец Василий, подняв брови, уже держал наготове крест, чтобы давать его целовать маленьким подготовленным и первоклассникам, толпившимся около него, словно робкие ягнятки около пастуха... Рядом с ним высокий важный директор с погонами «вашего превосходительства» на плечах, со звездой на боку смотрел сурово. Его окружал целый сонм тоже хмурых, чопорных учителей. У них всех был такой вид, что если гимназисты не будут

паиньками, не будут слушаться, они не дадут им ничего из своих интересных знаний — по истории, физике, географии, русскому языку. Вот и все-с! Один Василий Григорьевич Переверзев — классик — улыбался тонко и печально.

Николай заметил эту человеческую улыбку, и сердце у него благодарно дрогнуло. Он осторожно оглянулся назад: что делать? Как в мышеловке! У дверей залы стояли навтыяжку помощники классных наставников и старые дядьки, «николаевские инвалиды», герои Кавказа и Шипки, с усами и подусниками, в мундирах, с нашитыми на левых рукавах углами галунных шевронов, с рядами медалей...

«Как слоны, загнанные в корали!» — мелькнуло в голове у Николая. Выход оставался один — целовать крест!

«У них и попы, как земские ярыжки, куда прикажут, туда и тащат! — сказал в мозгу четко голос Ивана Ивановича. — Ловят зайцев христовых!»

Это освободило его от внутреннего смущения — обстоятельства явно были сильнее его, приходилось пока покоряться. А в это время из рядов уже выходил Ливенцов, такой же, как всегда, аккуратный, красивый. Набожно крестясь, он наклонился к кресту, благоговейно приложился трижды и, отвесив почтительный поклон директору, вернулся обратно на свое место. Он и тут был первым! Сергей Павлович одобрительно закивал бетховенской головой.

За Ливенцовым двинулись и другие восьмиклассники. Фронт оказался прорван. Внутренние протестующие, обеспокоенные своими пробивающимися мыслями, своей молодой силой, свысока наблюдаемые его превосходительством, юноши все гнулись перед священником, перед царским портретом, перед образами святых, перед всем, что еще устояло от древности.

— Господа классные наставники! — распоряжался после церемонии директор. — Разведите теперь воспитанников по классам, раздайте им «Правила поведения» и сообщите, какими учебниками они должны обзавестись...

Восьмому классу на последний год отведена была та же самая комната, что и в прошлом году. И ворвавшись туда вперед Василия Михайловича вместе с другими товарищами, первое, что увидел Николай, были улыбающиеся из-за классной доски Козлов и Марк.

«Они были уже здесь! Не были на молебне! Они сумели избежать унизительной церемонии, разыгранной Сергеем Петровичем!» — не помня себя от радости, он тряс им руки, смотрел в их смелые, уверенные в себе глаза.

— Марк! — радостно сказал Николай Погребецкому. — Как же ты не был на молебне?

— Удивительный вопрос! — хмыкнул тот, сверкнув глазами. — Или ты не знаешь, что я иноверец? И еще, или я не знаю, как обстоит дело и что может выкинуть его превосходительство, господин директор?

— А ты, Виктор? — спросил Николай у Козлова.

Козлов улыбался молча, за него ответил Марк:

— Ну, и Виктор тоже... Во-первых, он безверец вообще, а во-вторых, — он парень понимающий... Не такой наивник, как некоторые...

— Что за слово? — вспыхнул Николай. — Кто же этот... наивник?

Словцо-то было явно пущено по его адресу.

— А тот, кто не видит, что творится! — хмыкнул Марк. — Кто не видит, как они обрадовались. Еще бы! Война кончается, Дума созывается. У народного гнева вырваны зубы! Значит, можно штопать двуглавого орла!

— Кто «они»? О чем ты говоришь?

— Кто они? Буржуазия. Помещики. Чиновники. Интеллигенты. Либералы. В прошлом году они еще колебались, ну, а теперь они за царя, хоть тот и стрелял в народ... Однако они опоздали, — шептал Марк. — Господа интеллигенты не одно к свету окошко. Есть и другие. Пошире...

— Кто?

— Вопрос стоит отчетливо: ты за кого? За царя или за рабочих? Среднего нет!

— За рабочих? Почему за рабочих? — повторил Николай.

— Именно так. В прошлом году либералы собирали банкеты в Московской гостинице, а теперь дело ведут рабочие. Наша Запрудня — вот где сила! Это тоже Кострома, да другая. Однако довольно — Василий Михайлович идет.

Марк выскользнул из-за доски, сел на свое место — на задней парте и как ни в чем не бывало рылся в тетрадке...

Со следующего дня завертелось колесо школьных занятий, пошли уроки, приходили в класс, выходили из класса преподаватели, объясняли, задавали, спрашивали уроки... Все как прежде.

Однако не все было как прежде. Вокруг росло новое.

Погода стояла хорошая, словно лето вернулось, и вечерами после занятий Волга покрывалась лодками и шлюпками. Учащейся молодежи — гимназистам, гимназисткам, семинаристам, техникам, реалистам не хотелось еще расставаться с летним привольем.

Так бывало каждую осень, но в эту осень эти каганья получали совершенно иной характер. Перед сумерками лодки и шлюпки отходили подальше от городского берега, целыми десятками сцеплялись вместе, образуя плавающие большие острова, в одной из них подымалась темная на фоне заката фигура, оттуда раскатывалось звонкое слово:

— Товарищи!

На этих плавающих массовках на глазах у всей Костромы в ту осень обсуждались текущие события, перебраны о мире, Булыгинская дума, передавались последние новости.

Зачитывались на лодках все поступавшие листовки Московского Комитета партии, читались и местные костромские обращения. Чем больше теряли столичные газеты свой радикальный тон, тем смелее звучало здесь свободное слово:

«Дело в Портсмуте подходит к заключению мира! — однажды вечером читал, стоя в шлюпке, Саша Стоюнин. — Главным вопросом остался вопрос контрибуции. А мы, товарищи, со своей стороны скажем: пусть платят богачи! Пусть платят те, кто затеял войну!»

Международные силы капитала своими махинациями бесповоротно гасили поднятую ими и больше им пенужную войну. 23 августа в Портсмуте с огромной pompой был подписан мирный договор между Россией и Японией. Газеты, журналы — все были полны сообщений об этой торжественной церемонии. Момент подписи уполномоченных был отмечен салютом американской артиллерии, трезвоном всех портсмутских колоколов. Русская делегация во главе с Витте направилась в церковь — слушать благодарственный господу богу молебен. Затем состоялся торжественный парад войск. Царь Николай от

всего сердца телеграммой благодарил президента Рузвельта... Еще бы! Мир давал возможность царской камарилье бороться и дальше против народа, заключив другой мир с либеральной буржуазией, за которым должен был следовать союз.

Недели не прошло со дня заключения мира, а листовки уже гремели по тихим вечерам над Волгой, над лодками:

«Мир заключен! А каков же результат этой войны? Пятьсот тысяч погибших русских крестьян и рабочих... Миллионы искалеченных. Пролиты реки крови. А кто же вернет те два миллиарда золотых рублей, которые потрачены на войну? Пусть нет контрибуции, но Россия все же должна заплатить 140 миллионов золотом на содержание русских пленных...»

В один из таких вечеров на Волге Николай на гимназической шлюпке «Шутка» подплывал с товарищами к плавучему митингу. С ним в шлюпке сидели Валя Артищева и ее подруга. Барышни расположились на корме, между ними сидел Марк, глубоко надвинув на уши фуражку с гербом.

В шлюпке еще находился крупный человек в очках, с большими усами, одетый в красную рубашку под пиджак и в «чеплашку», как называли тогда кепку. Это был товарищ Емельян, командированный в Кострому для работы. Он греб на вторых, задних, веслах, на передних сидел Николай.

Лодки быстро сплывались, сцеплялись, их несло уже течением, гребцы бросили весла.

— Давайте, товарищ Емельян, — негромко сказал Марк.

Тот поднялся, привычным жестом всунул руки в рукава пиджака.

— Товарищи!

От неосторожного движения лодку качнуло, оратор тут же обрушился обратно и продолжал говорить уже сидя. Голос у него был резкий, громкий, но приятный, далеко разносившийся по вечерней воде.

— Товарищи учащиеся! — говорил товарищ Емельян. — Что дали стране последние дни? Заканчивается маньчжурская авантюра, принесшая народу неисчислимые бедствия. Кровавая бойня унесла полмиллиона жертв, сотни тысяч семейств потеряли своих кормильцев.

Сотни тысяч! Эта авантюра стоила миллиарды золотом. Народ негодует! Где виновники войны? — спрашивает народ. Неужели все это так даром и сойдет с рук толстошумам и сиятельным авантюристам? Наконец, самому царю? Нет, товарищи, деспот, пославший войска на убой в Маньчжурию, должен будет ответить. Чует кошка, чье мясо съела, и он знает, что отвечать ему придется. Не даром народ назвал его Николаем Кровавым!

— Но сам Николай Кровавый умеет неплохо маневрировать. Он не даром принял в июне месяце делегата от земцев во главе с его сиятельством князем Трубецким и с крупным капиталистом Федоровым... Товарищи! Эти шаги земцев — первые шаги буржуазного предательства. Вам известно, что делегацию прямо к царю не пустили. Пустили только после того, как делегаты приняли те условия, которые им поставил министр двора, старший шпион барон Фредерикс. Товарищи, эта делегация — делегация заговорщиков против русского народа.

— И его полицейское величество тогда мог заявить земцам, что его воля собрать народное представительство — «непреклонна». Пришло время, и мы имеем исполнение этой воли: манифест о Булыгинской думе. Можно прямо сказать — манифест для известных мест!

— Вот люди либеральные, богатые, независимые, интеллигентные оказываются очень довольными этим манифестом. Почему? Потому, что либералы забегают теперь к царю с заднего крыльца, они хотят установить с ним мир для того, чтобы их всех вместе — и царя и Трубецкого — не снесло волной революции!

— Что же на это отвечает народ в лице рабочего класса, поднявшегося по всей стране? Одно слово: народ в Думу не пойдет. Ему там нечего делать! В этой Думе будут только капиталисты, богачи для того, чтобы проводить свои дела и делишки, все то, что эта публика и называет бесстыдно «русскими ископными началами».

— Товарищи! Так это дело остаться не может. Начинается решительная борьба самого народа против этих облыжных защитников народных интересов... Начинает и ведет ее наша социал-демократическая партия.

— Нашим ответом на этот заговор будет всеобщая политическая забастовка... Пусть останутся фабрики, заводы, железные дороги. Пусть тогда все увидят, сможет

ли страна существовать без поддержки трудового народа... Рабочий народ испытан в борьбе... Он выполнит то, что от него ждет партия...

— Товарищи учащиеся! Многие из вас спрашивают нас: что мы должны делать теперь? Ответить на это можно другим вопросом: неужели вы сможете остаться в стороне в такое горячее время, когда народу грозят еще более тяжелые испытания, когда против него замышляются разговоры дальнейшего порабощения со стороны капиталистов, либералов и полицейского царя? Нет! Разве вы в состоянии изучать ваших Гомеров и Цицеронов, решать задачи по алгебре, зубрить законы божие, когда кровь не перестает литься, когда зверски истребляются смело подымающие голос протеста рабочие... Выходите же на широкое поле политической работы... Не время академически сидеть за книгами, когда...

— Лодка идет! Полиция! — раздался крик.

Действительно, из-за казенного парохода «Свяга», сиявшего у пристани электрическим светом, вылетело несколько больших трехвесельных шлюпок речной полиции. Как стаи испуганных птиц, лодки митинга кинулись врозь.

Николай Прокшин греб изо всех сил: если бы эту гимназическую шлюпку захватила полиция, положение их оказалось бы очень затруднительным. Он так рвал весла, что они гнулись, а с их лопастей слетали пенные водовороты. Товарищ Емельян торопился, греб неловко, толкая его в спину. Было больно и смешно.

«Индийские пироги быстро уходили от преследователей!» — пронеслась в голове фраза из Майи Рида.

— Скорей! Скорей! — шептал Марк.

Барышни сидели тихо, спрятав лица в носовые платки.

— Стой! — несло с наседавшей полицейской шлюпки. — Стой! Стрелять будем!

— Скорей! — торопил Марк.

Заволжский берег против Костромы всегда изобиловал песчаными отмелями из наносного песку. Эти пески в одной части снова уносились водой, в другой обрастали лозняком, укреплялись, образуя целые архипелаги, — сюда и гнал теперь свою шлюпку Николай, шепотом указывая Марку, куда править. Тот волновался, да и к тому же

плохо видел в темноте, сбивался в густеющих сумерках, и наконец шлюпка чуть не села на мель.

— Брось к черту руль, — вдруг взревел Николай: он чувствовал себя полностью ответственным за то, что могло произойти...

— Почему же? Я правлю! — самолюбиво не уступал Марк.

— Брось, говорю, если не умеешь.

Марк блеснул глазами, шнура от руля из рук не выпустил, однако по ходу лодки Николай чувствовал, что тот не правил. «Шутка» ходко неслась, виляя между островков, то и дело ныряя в заросли ивняка, иногда шурша днищем по песку, все ближе и ближе уходя в тень крутого берега. Преследователи явно отставали. Берег был уже недалеко, видно было, как по ветке бежал паровоз, посверкивая рубиновым фонариком. Наконец шлюпка, зашуршав по песку, до половины выскочила на берег.

— Выходите! — скомандовал Николай.

Торопясь, толкая друг друга, публика кинулась из шлюпки, поспешно стала уходить.

— Эй, куда же? — приглушенно крикнул Николай. — А кто будет лодку прятать?

Стоя теперь на дне шлюпки, поставив одну ногу на скамейку, он распоряжался с каким-то удовлетворением: ему очень нравилось слышать свой голос — решительный и властный.

Втроем прихватили шлюпку, протащили ее по песку, запрятали в лозняке, потом тщательно заравняли след от килля.

За Игнатьевским монастырем багрово зажмурилась заря, в городе у пристаней блестели огни пароходов, от них по реке дрожали золотые спирали. Выше тускло горели керосиновые городские фонари. Все пятеро быстро взобрались на железнодорожную, проложенную вдоль берега среди березового перелеска ветку.

В марте Николай катался здесь на лыжах с Фроловой горы. Тогда сияли льды. Сколько воды утекло! Как все переменялось!

Его тронули за локоть. Обернулся — против заката опять блестели глаза Вали.

— Коля! — шепнула она.

— Что? Испугались?

— Ах, какой вы! Вы нас сегодня спасли!

— Но не все еще кончено, — тихо ответил он. — Уд-
рали ли другие лодки? А завтра нужно утром шлюпку
поставить на место.

— Ах, какой вы! — повторяла Валя. — Ах!

По ветке все добежали до вокзала и оттуда уже тем-
ным трактом под шумными по-осеннему березами стали
спускаться к пристани перевоза. На всякий случай усло-
вились, что были на вокзале, провожали на московский по-
езд Сережу Перекладова, уехавшего в университет.

Подошел, шлепая плечами из ветреной смолевой тьмы,
пароход «Бычков», бесшумно волоча за собой объемис-
тый низкий паром. Товарищ Емельян и девушки уселись
внизу, в носовой каюте, а Марк попросил Николая под-
няться с ним на мостик.

— Надо поговорить! — сказал он, ковыряя пальцем
пряжку у пояса Николая. — Должен сказать, Колька,
что ты себя держал... возмутительно.

— Почему? В чем?

— В присутствии девушек — малосознательного эле-
мента — позволил себе распорядиться, почти что кричать
на нас всех...

— Обстановка требовала.

— Да, но ты ронял наш с товарищем Емельяном ав-
торитет...

— Ехали бы вы сегодня без меня с одним авторите-
том! — проворчал Николай. — Угодили бы прямо поли-
ции в лапы... Да еще неизвестно, чем дело кончится, ес-
ли лодку нашу найдут!

— Ну, что ж? Лодка прокатная!

— Нет, не прокатная! Гимназическая! «Шутка»!

— Как гимназическая? — подскочил Марк. — Я же
тебе сказал, что надо ехать на прокатной!

— А деньги?

— У тебя есть!

— И когда берут даже на прокат, лодочник записы-
вает фамилии... А денег у меня как раз не было...

Марк хмыкнул.

— Ну, если они найдут лодку в лозняке, нужно кому-
то будет сознаться, что это он взял ее!

— Кому же?

— Тебе придется сделать это! — сказал Марк и про-
вел ладонью по его спине. — Тебе...

— Почему — мне?

— Ты должен сам понимать, что тебе это удобнее.
Ты не связан с организацией, как связан я... Не говоря
уже о приезде товарище. Значит ты обязан просто при-
крыть организацию...

В скупых словах было неоспоримое приказание. Марк
явно имел какое-то право так разговаривать с ним, с
Прокшиным. Требовать от него дела. Даже жертвы. Во
всяком случае, это было так, и приходилось прятать свое
самолюбие в карман.

Николай сидел на скамье мостика, широко разбросив
ноги и закинув голову назад, смотрел в звездное небо.
Падучая звезда вдруг прочертила полгоризонта, оставив
фосфорический свет... За ней другая в другом направле-
нии... Третья... И все они вылетали словно из одной точ-
ки. «Радантом называется точка, в которой сходятся все
продолженные назад линии полета метеоритов», —
вспомнил Николай учебник.

— Радиант! Вот, вот оно!

В течение этого года во всех действиях Марка, Коз-
лова, исчезнувшего Соколова была какая-то точка, ка-
кой-то невидимый радиант, в котором они как будто бы
связаны вместе... Невидимый, но вполне реальный. В этой
точке чувствовалась невидимая чья-то живая, крепкая, ум-
ная рука, руководящая всеми товарищами...

Поэтому «показывать зубы», огрызаться на Марка,
на Козлова — значило бы оказывать сопротивление ко-
му-то сильному, мудрому, спорить с ними — значило про-
сто мешать, вредить делу... Вывод был ясен.

— Хорошо! Ладно! — Николай раздумчиво протянул
Марку руку. — Скажу все, как надо...

Сказал, и за ним словно захлопнулась какая-то дверь.
Путь был только вперед.

На мостике огня не было, только у рубки полоса зе-
леного света лежала от правого бортового фонаря. И ка-
кое лицо было у Марка, Прокшин не рассмотрел. Ка-
жется, он хорошо улыбнулся. Одобрение? Что до этого!
Внутренний долг первее всего!

Подходили к городской пристани.

— Марк, скажи, если можно: кто этот товарищ
Емельян?

Тот хмыкнул.

— От партии. Эсдек. Такие товарищи теперь ездят
езде. Организуют движение.

И замолк.

«Радиант! — подумал Николай. — Точно!» Он отлично понимал, что ничего больше спрашивать и не следовало.

Оба юноши сбежали через трап вниз, остановились у машинного люка, под которым, дыша теплом, паром и машинным маслом, ходили взад и вперед стальные штоки, точно руки великана, вертевшие колеса «Бычкова», а ниже штоков человек в красной рубахе сидел и пил вприкуску чай с черным хлебом. Условились разойтись всем в разные стороны, и Николай этому был рад: не пришлось провожать Валу, слушать ее комплименты.

Дома под зажженной большой лампой за самоваром сидела семья. Такая чужая. Холодная. Отец тянул чай с молоком из своей коронационной кружки, Митревна в пестром капоте восседала за самоваром, бабушка ютилась сбоку. Николаю встретило молчание, только Костя поднял голову и чуть подмигнул старшему брату:

— Держись-де!

Николай сел с ним рядом. Придерживая левой рукой широчайший рукав капота, Митревна с обиженным лицом, не поднимая глаз, передала Николаю стакан.

Молчание становилось все тяжелее. В воздухе был вопрос. И точно, он явился, этот вопрос.

— Коля, — спросила Митревна, поправляя прическу. — Ты где был? На Волге?

— Да. На Волге! — ответил Николай, тянясь за куском белого хлеба.

— Говорят, ловили там кого-то? На лодках. Стреляли даже?

— Каждый день ловят... Все равно не поймают.

— Ой, молодые люди! — покачала головой Митревна. — Не доведет это дело до добра. У мужа вот племянник уже второй год в Сибири... Все по политике!

— Чей племянник? — высунулся из-за «Русского Слова» Федор Петрович.

— Мужа, — ответила как само собой разумеющееся Митревна, но, наткнувшись на тяжелый взгляд Федора Петровича, осеклась. — Ну, у того... Суворова...

— Разница! — солидно выговорил отец. — М-да!

И спросил:

— Митинг, что ли, был опять на лодках?

— Был!

— Ты был?

— Был!

Отец ерошил ладонью волосы.

— О чем говорили?

— Все о том же... Что нужно!

— Кто говорил?

— Приезжий товарищ. Емельян!

— Революционер?

— Да!

Отец помолчал, вертя своим пенсне. Потом широким жестом отодвинул газету в сторону.

— Ну, и что же говорил этот... товарищ Емельян?

— Ну, что... Все то же... Говорил, что учебные заведения должны бастовать... В поддержку рабочих.

Как нищенски, как оскорбительно бедно выглядело все сегодняшнее собрание в такой передаче Николая! Он должен был отстаивать то, что он делал на Волге, с чем соглашался, ради чего рисковал.

И он не мог. Не мог! На него смотрели серые, добрые и встревоженные глаза отца, глаза Митревины, полные злых слез, бабушка смотрела в чашку, всем своим видом укоряя: вот-де до чего довели парня, из дому бегаешь...

Только у братишки глаза блеснули бесенятами, он радовался, что его старший брат выкинул лихую штуку.

— Н-да! — тянул отец. — Н-да... Почему это я тебя спрашиваю... Видишь, вчера ротмистр Веретенников в клубе предупредил меня, — у меня с ним добрые отношения, — что в жандармском отделении против тебя имеются неблагоприятные данные... Да-да!

Митревна всплеснула руками, бабушка ахнула:

— Ах, господи!

— Неблагоприятные? — переспросил Николай, всеми силами стараясь казаться спокойным. — Какие же?

— Да такие, — ты будто якшаешься с революционерами. И верно. Ходил же к нам, в квартиру, — ты позволял себе приглашать этого Соколова, которого, слава богу, арестовали. У тебя бывал и Усов, убитый во время сопротивления властям. Наконец ротмистр Веретенников говорил мне, что ты близок с этим... Ну, с Погребенкиным... Мало этого. Он говорил, что, по их сведениям, характер у тебя решительный, самостоятельный, но что тобой почему-то вертят указанные лица. Говорят, что ты даже знаком с нелегалами. Правда это?

Под большой керосиновой калильной лампой заседал семейный грозный трибунал. Самовар стоял, как зеркало, которое Петр Великий указал ставить на каждый судебный стол.

— Я не понимаю, — говорил отец, разводя руками. — Вот тут, — он хлопнул по газете рукой, — вот тут пишут, что государем даровано народное представительство, что мир с Японией заключен. Одним словом, все, чего желал народ, достигнуто. Ты это знаешь. Не понимаю, о чем же еще было вам говорить сегодня на ваших, этих самых, лодках?

Николай отставил стакан, отложил ломоть белого хлеба, который начал было жевать, краска стыда и негодования залила ему лицо. Неужели же действительно они все думают, что он, Николай, хочет плохого? Нет, только хорошего. Исключительно хорошего! А отец, не доверяя, очевидно, ему, наводит справки у своих знакомых. Конечно, уж не ротмистр Веретенников — этот голубой, с серебром хлыщ, с вдавненным низким лбом, выпуклыми глазами и нафиксатуаренными усами щеткой — стал сам первым говорить о нем отцу. Наверняка, это отец сам расспрашивал Веретенникова... Наводил справки. За ним, стало быть, следят! Неужели же так честно поступать?

Он посмотрел на отца, увидел особый блеск в его сузившихся глазах, который означал, что статский советник Федор Петрович Прокшин, преподаватель графических искусств в Костромском реальном училище, вот-вот придет в состояние бешенства, между тем как по самой стеснительности, невыработанности, беспечности своего характера он обычно никогда не мог не конфузяться говорить со своим сыном. Сейчас он, того гляди, пойдет во все тяжкие.

Что же было делать ему, Николаю? Сегодня во время происшествия за Волгой он выказал энергию, находчивость. Сегодня на «Бычкове» он понял, что есть мощный центр, который направляет, толкает события и которому нужно подчиниться, потому что в нем видны великие цели и великие дела. Неужели же он будет и на этот раз отмалчиваться или, что еще хуже, лгать?

Нет, нужно поставить все дело наконец «на попа», решить его в открытую!

«Капитан решительно перекатил штурвал, и фрегат, неся полную парусность, покати́лся влево на двадцать

румбов», — пронеслась в голове Николая фраза, смешная в такую минуту.

— Видишь ли, папа, — проговорил он; сердце от решимости захолонуло, перестало биться. — Я был на Волге. Я взял гимназическую нашу шляпку «Шутку», и в ней были две барышни, Марк Погребецкий и приезжий товарищ!

— Ну, вот вам, пожалуйста! — взвизгнула Митревна.

Николай рассказал все: что говорил товарищ из Ярославля, как выехали, как гнались за ними шляпки речной полиции, как они удирали, как прятали лодку, как вернулись назад... И все, что он ни говорил, все теперь получалось красноречиво и убедительно.

Про свой разговор с Марком, впрочем, Николай умалчал, но и так было более чем довольно... Словно буря ворвалась сюда, в тихий домик на Нижней Дебре.

— Ну, а если полиция отыщет вашу лодку? — спрашивал отец.

— Мне придется сознаться, что это я ее взял! — отвечал сын. — Что я был в ней!

— И с какой компанией?

— Кто был со мной, — не выдам.

— Но тогда пострадаешь ты, ты, а они-то выйдут из воды сухими, — кричал отец.

— Кому-нибудь надо страдать... Мне легче будет перенести наказание. Надо их беречь!

— «Их»? Почему?

— Они — сила революции...

Да, какая-то дверь захлопнулась за ним. Он стоял в каких-то рядах. В каких? Он и сам не знал. Знал только одно, что старая жизнь должна быть как-то изменена, заменена.

— Мы выступаем против самодержавного строя, — говорил Николай. — Подумай сам, папа, ведь мы бесконечно правы! Какая ужасная война, и из-за чего? Разве в ней не виноваты высшие классы? А раз виноваты, пусть отвечают! Лучших людей загоняют к черту на кулички, в Сибирь! Кто у нас управляет в Костроме? Только мундиры да дворянские пьяницы, обжоры, в их руках все... Народ стонет под налогами, голодает, а хлеб наш идет за границу. Нашим сахаром кормят в Англии свиней — так он там дешев. Туда он идет без акциза. И ты, ты, взрослый, ты, сознательный человек, отец (как

это слово в первый раз вырвалось у Николая?) ...ты не видишь, не хочешь видеть этого?

— Позволь! — кричал и Федор Петрович. — Ты забываешь, что мы все — и я и ты — живем на те деньги, на то жалованье, которое дает нам царь? Мы служим царю. Мы должны молчать!

— А откуда же берет эти деньги царь? Что это, его собственные деньги? Он собирает их с народа и пропивает. Он — пьяница! Это все знают.

— Ты зовешь беду на мою семью! — кричал отец. — На себя, на меня! Ты пачкаешь мое доброе имя!

— Доброе имя? Молчи хоть, отец! Разве о тебе и Александре Дмитриевне не кричит весь город? Разве надо мной в гимназии не смеются мальчишки? Доброе имя! Доброе имя!

— Ай, ай, ай! — закричала истерически Митревна и вскочила из-за стола, зацепившись капотом за спинку стула. — Мальчишка, молокосос! Как он смеет! Федор, как он смеет!

Бледнее полотна, она дрожала, слезы текли из-под крашенных ресниц. Бабушка махала рукой Николаю — замолчи-де, довольно, довольно. Коська тихонько вылез из-за стола и, засунув руки в карманы, двинулся к двери.

— Замолчи! — гаркнул отец и хватил кулаком об стол так, что чашки и стаканы подпрыгнули, а бабушка схватилась за самовар, словно тому стало дурно.

— Мальчишка! Щенок! Я тебя из дома выгоню! Смеешь еще осуждать меня. Мало тебе, что ты решил погубить нас всех. Тебе еще нужно и унижать твоего отца.

А Николай в эту бурную минуту словно клятву давал, закреплял те обязательства, которые чувствовал перед Марком, перед радиантом.

— Я социалист! — вскричал он. — Да! Социалист! Не могу больше жить в таком мире. Не могу и не буду!..

Отец уставился на него, замолк, молча собрал со стола портсигар, спички, пенсне, газеты и, понурив голову, побрел в спальню, откуда неслись рыдания Александры Дмитриевны. Бабушка живо снова захватила свое место за самоваром и стала энергично мыть посуду.

Николай посидел минуты две, ушел к себе. Над Нижней Дебрей висела темная ночь.

Прокшины были простыми средними русскими людь-

ми, такими, каких в России были миллионы. Они не были ни честолюбивы, ни сребролюбивы. Их не мучили никакие палящие страсти, смертные грехи. Их, словно зеленые крепкие листья, держало на себе могучее дерево России.

Однако подходила новая эпоха, подымалась буря, и вот на дереве стали желтеть, облетать листья. Что-то ухло, что-то шло ему на замену.

Бывает так, что мотив, целыми днями звучащий в ваших ушах, полный могучего очарования, вдруг теряется, и его не вспомнить, не напеть больше.

Бывает так, что с узоров мерзлого стекла смотрит на вас лицо чудесной красоты, но вдруг ваше движение — и лицо исчезает.

Бывает так, что из сердца уходит сразу любовь, и невозможно понять, как же ты мог смотреть так упоенно, так горячо в глаза, ставшие вдруг такими невыразительными.

По-прежнему прекрасны русские просторы. Свежи весны. Тихи зимы под глубокими снегами. Золотом отбывают под ветром хлебные поля.

И почему-то все это не манит, не влечет больше русского задумчивого юношу. Его взоры устремлены на горе, нужды, бедность, несправедливость. И это не ради гордости. Не ради жестокого приговора самой жизни. Нет! Он делает это, чтобы преодолеть несчастья, ради вышшения жизни, ради ее победы над темным и страшным.

Да разве и сами отцы не знали в свое время таких же движений в душе, как теперь знают их сыновья? Знали, помнили! Вот почему в ту ночь Федор Петрович долго сидел у своего стола, положив руки на голову, хотя Митревна и кликала его в постель.

Сидел в своей комнате и Николай. Как будет все идти дальше, он не знал. Он знал только одно — надо что-то преодолеть. Что-то исправить. Что-то победить. Он знал уже, он верил, что есть она, невидимая точка радианта, что за ней есть умные, смелые, живые люди и они подымут страну на новый шаг вперед.

И не было для него никакого сомнения, что жизнь будет, должна быть гораздо прекраснее, чище, светлее, и это непременно, непременно будет... Будет...

Зазвонили у Вознесенья, видно, уже отходили затянув-

шаяся всенощная. И юноша удивился, как слабо, незначительно звучали колокола. Совсем иначе, чем звучали прежде...

Глава вторая ЗАПРУДНЯ

Осенними ночами над Костромой ретивее стучат колодушки ночных сторожей — ночи темные; с колодушками вперебой то тут, то там подымается собачий брех. В полночь запевают петухи и до утра поют еще раза два.

А утром встают над городом фабричные гудки. Истошно, дурным голосом ревет механический завод Шипова. Бархатно, вальяжно, по-богатому вступают гудки мануфактур. Тоненькой свистулькой свиритит колоколотейный завод Забенкина.

Подолгу гудят гудки, минут по пять, так, что уши тоскуют, и кажется, что гудки не гудят ровно, а переливаются на все лады, воют волками. И обыватели просыпаются — не могут никак к гудкам привыкнуть, чертыхаются, натягивают на головы душные одеяла, чтобы спать дольше, пока соборные либо стенные часы не отзвонят деликатно — время пить чай.

А пройти подальше, туда, где повыше Ипатьевского монастыря впадает в реку Кострому речка Запрудня — это в конце Мшанской и Власьевской улиц, — то можно увидеть, как эгот рев гудков рвется белым паром из медных горл, прижавшихся к красным высоким трубам льняных мануфактур — Михинской, Зотовской, Кашинской... И рев так громок, так потрясающе властен, что кажется, ничего другого, кроме него, и на свете нет. Это голос хозяина, требующего своих рабочих к машинам, к станкам, а не вышел на работу — голодуха, смерть.

Пять минут орет дурной хозяйский голос, и в домишках Запрудни (так звались рабочие кварталы в Костроме) — суетня. Домики малые, что грибы, куплены они на плотях, сплавлены по Костроме-реке из костромских, ветлужских лесов готовыми — даже стекла вставлены, только что печек нет. И собрать такой домик да поставить его на пустопорожних запрудненских выгонах, выпасах, лужах, болотинах можно за три—четыре дня. В та-

ких избышках подымается рабочий люд со своих постелей, моется наскоро у глиняных, на веревочке кувыркающихся рукомоиников, а то и просто пуская воду из рта фонтаном в пригоршни, хлебает в темноте, что наварила спозаранку поднявшаяся хозяйка, натягивает на себя пиджаки, пальто, чуйки, набрасывает на голову шапки, картузы, кепки-чеплашки, полушалки, платки и бежит по рассветным улицам.

— Шесть утра!

Хлопают гулко калитки, люди на ходу здороваются, тут все знакомы, все соседи, все работают, бегут, бегут, стекаются на улицах в ручьи, в речки, чтобы наконец бодро, говорливым по-утреннему потоком проскочить железные ворота фабрик, разлиться по цехам, мастерским, встать за ткацкие, прядильные станки, включить вертящиеся трансмиссии и на одиннадцать с половиной непрерывных часов погрузиться в верчение, в мельканье, пенье, постукивание, снованье машин.

До вечернего гудка.

И под стальными пальцами машин, под живыми пальцами прях и прядильщиков, ткачей и ткачих целый день сходят со станков мотки пряжи, глянцевиные льняные полотна белее снега, скатерти, полотенца, салфетки, чтобы утирать рот после вкусных завтраков и ужинов, и целый день фабрики жрут кипы серого льна.

Целый день продукцию расфасовывают, пакуют, тюкуют, и толстоногие кони, покачивая зелеными, красными, синими фирменными дугами, с грохотом везут продукцию на телегах на волжские пристани, на склады железной дороги, чтобы по всей стране разбрасывать ласковую прохладу простынь, мягкость полотенец, красоту матово-серебряных узоров камчатных скатертей и салфеток.

А в конторах фабрик целый день трещат счеты, отсчитывают, записывают, чтобы в конце всех концов золотой поток тек в Волжско-Камский, в Азово-Донской банки, в Костромское Общество Взаимного Кредита, в Государственный банк, ложился там на текущие счета фабрикантов — Михиной, Зотова, Кашиной.

Осенними прохладными днями бульвары светлеют от облетающих листьев, Волга синее, прозрачно звонят колокола, по бульвару, по пятнам и теням, по переиленным от солнца идут на прогулки барыни с собачками; офицеры, гимназисты, чиновники, купцы спешат в еще незакры-

тый ресторан на бульваре. А на далекой Запрудне — знай дымят, работают фабрики.

Рабочие на этих фабриках трудятся так, как не работает никто в городе. К концу дня у них темнеет в глазах, звенит в ушах, они боятся, как бы не задремать, не шатнуться, не сделать неверного движения, не попасть бы рукой, ногой, волосами в сверкающие, неустанно снующие, скачущие, качающиеся, ползающие, крутящиеся рычаги, колеса машин. И ни о чем другом они не думают, как бы только ввалиться им в свою избушку, при свете керосиновой трехлинейной лампочки похлебагь наскоро, чего наварила еще утром хозяйка, и завалиться спать, спать — на пол, на лавку, на койку, на полати, подстелив под себя то же пальтишко, пиджачишко, овчинную шубу, — пока снова на сереющем утре не обрушится с неба волнами медных звуков паровая хозяйская глотка:

— А-а-а-а!

Жизнь на Запрудне была очень бедна, трудна, грязна, многие рабочие не выдерживали, бросали работу, уходили — и их ловили другие фабрики. Многих калечило, убивало машинами. Быстро старились, жили на нищенском иждивении у детей, у внуков, заменивших их у машин. Наконец умирили, наполнили собой кладбища Запруднинское, Успенское, Лазаревское. И из городских их никто не жалел, их бранили «фабричными», «пьяницами», «варнаками», «безбожниками».

Для жителей Костромы пойти работать на фабрику было бы последним делом.

Позором.

И, несмотря ни на что, население Запрудни все увеличивалось.

Фабрики стояли на Запрудне, среди бедных домишек, монументальные, красные, величественные, как крепости, с высокими трубами под султанами черного дыма.

Их машины, сверкающие полированным металлом, элегантные, изумляющие своей продуктивностью, были сделаны в Бирмингеме, в Мангейме, в Лионе. Они явились в богоспасаемую древнюю Кострому в сиянии славы и прогресса Европы. Эти машины — чудо ума и расчета.

Каждое утро деревня, земля подавали к фабрикам тюки льна, конопля, хлопка. Сырье.

Каждое утро к железным воротам фабрики подходили люди, шли сюда, чтобы заменить собой у станков тех,

кто искалечен, кто состарился, кто заболел, кто умер. Это шла рабочая сила.

«Рабочих рук» было более чем достаточно — земля и деревня гнали людей в Кострому, на Запрудню. Сорок лет тому назад царь освободил их от крепостного права и от земли, и, чтобы не умереть с голоду, они двинулись к железным воротам фабрик.

«Рабочие руки» были дешевы, фабрики давали доход, на доход строились новые фабрики, и перед новыми железными воротами опять вставали новые толпы людей с «рабочими руками».

Перед железными воротами стояла деревня — темная, бедная, покорная. Котомка за плечами, в котомке немного хлебушка, мучки, пара бельишка, да на шее на гайтане, рядом с крестом, ладанка с родной землей — вот и все, что имели эти люди, выходявшие на столбовую дорогу истории через железные ворота капитала.

Нужны были только «рабочие руки», но, однако, ни своего сердца, ни своего ума народ не выбрасывал в ненужные фабричные отходы.

— Мужик сер, да ум-то у него не черт съел!

И потогонная, изнуряющая фабрика оказалась первой массовой, народной, настоящей школой России, куда покрепче церковно-приходских училищ, где освобождающая, приучающая к мышлению сложная техника производства нераздельно сливалась с передовой социальной мыслью человечества и с недовольством масс.

Дорога в будущее страны таким образом ложилась теперь через Запрудню, обходя богоспасаемую Кострому с ее гимназиями, с «благородными пансионами», с духовной семинарией, с тридцатью церквями, оставляя ее в стороне, как могучая река оставляет в стороне тихую, гложущую заводь.

И к 1905-му Запрудня оказалась гарнизоном новых революционных сил, готовых драться за это будущее, бетонным фортом в системе обороны народа: кроме ее самой, никто не был заинтересован в ее освобождении.

Костромичи охотно пользовались добрыми товарами, которые производила Запрудня.

Купцы продавали эти товары в своих лавках и наживались на них.

Духовенство уговаривало рабочих, которые еще ходили в церковь, что нужно терпеть, и за это получало от

богатеющих и довольных фабрикантов пожертвования — золотые оклады на иконы, серебряные царские врата в церкви, пудовые восковые свечи, парчовые покровы с богатых покойников себе на новые ризы.

Костромская интеллигенция гордилась успехами костромской промышленности, адвокаты звонко говорили речи об этом на банкетах, газетчики писали в газетах и журналах, и за это им платили фабриканты.

До девятьсот пятого, до 9-го января, правда, у Запрудни теплилась кое-какая вековечная надежда на «царя-батюшку» — она принесла ее с собой в город вместе с ладанками родной земли на крестах. Царские портреты, вырезанные из «Нивы», вместе с иконами еще красовались в передних углах. Но Порт-Артур, 9-ое января, Мукден, Цусима расстреляли эту надежду и освободили бесконечную любовь к своей земле от связи со старым словом «царь». И вместе с этим Запрудня отвыкла от того, как пугаться медных хозяйских голосов, как бояться полиции, и защиту своей земли решительно брала теперь в свои руки.

Силы Запрудни подкреплялись деревней.

Сознание Запрудни подкреплялось социал-демократической организацией здесь с 1898 года. Входившая до того в Северный Комитет РСДРП, связанная накрепко с Иваново-Вознесенском, Кострома в девятьсот пятом получила свою собственную партийную организацию. Образование в Костроме летом девятьсот пятого года Совета рабочих депутатов и затем победа в летней же забастовке внесли в ряды костромских пролетариев уверенность в своих силах. Выпущенная в то время листовка говорила, уже не обинуясь:

«Мы, костромские организованные рабочие, вслед за ивановскими, объявили стачку и протянули руку помощи всем товарищам нашим по судьбе и по сружью...

...Наша партия, — говорила далее листовка, — уже много лет сражается против наших угнетателей-капиталистов. Наша партия все растет, число бойцов в ее рядах все увеличивается. Нас ведет наша партия, она отстаивает интересы рабочего класса и всего честного народа».

Убогие, в два, в три окошка домишки Запрудни становились центром событий. Сюда, на Запрудню, полицмейстер Ванька Власьевский наряжал самых внушительных своих городских, до того монументально украшавших

собою Сусанинскую площадь, Гостиный ряд, подъезд губернаторского дома. Здесь теперь орудовал всюю окрестный рыжий Пашка Слободской. Однако бородатые, усатые или совсем по-новому бритые лица рабочих, и под черными, старинными картузами и под новыми кепками проходившие в потоках и на работу и с работы, становились все увереннее, все задорнее, и остро соленые, едкие, как лук, как перец, слова так и летели комарами в уши городских, несмотря на все их устрашающие большие фуражки с витыми серебряными лентами на тулье, несмотря на их «селетки».

Одновременно изменилось и положение с кружком, в котором занимался Николай Прошкин. Та же Васса Алвиановна, правда, очень стесняясь, с осени наотрез отказала в помещении для занятий кружка в своей школе — риск становился уж очень велик. Отказала в квартире и Нина Ивановна: за ее квартирой была слежка, и саму ее то и дело тягали в жандармерию по делу Соколова. А обыватели просто стали побаиваться революции, их нестойкое возбуждение быстро падало после заключения мира.

Менялся состав и самого кружка: ушел Борька Альбицкий, еще кое-кто; невыясненная история с Соколовым, смерть Васи Усова не могли не отозваться на других. Борьба обострялась, слабые отпадали. Исчез и Ливенцов. Ветер, вообще, менялся.

Но Николай Прошкин продолжал идти взятым курсом: оба его недавних разговора — с Марком после разогнанного собрания на лодках, с отцом дома — были принципиальны. Вот почему теперь ненастным сентябрьским воскресеньем он прыгал по лужам на Запрудне, по чертежику на бумажке разыскивая квартиру рабочего Ряжева, где должен был собраться сегодня кружок: план передал ему Марк, запретив спрашивать встречных.

Домик этот он разыскал с трудом, где-то около Новотроицкой, по примете — синие ставни, на них желтые цветки.

Домик стоял почти что на пустыре, над ним гнулись две березки, сыпали желтые листья, справа и слева тянулись огороды, заборы. Калитка была незаперта, собаки не оказалось, и Николай, постучав из сеней, шагнул в горенку, неожиданно чистую и приветливую, по-деревен-

ски с образами в переднем углу, с лавками по стенам и по-городски с полкой книг над столом.

Молодая женщина, откинув крючок на стук Николая, встретила его низким поклоном.

— Здравствуйте! — проговорила она и продолжала скромно возиться у натопленной печи.

Подходили другие товарищи: Краснопевцев, Козлов, Стоюнин, Парфен, в непривычной обстановке они негромко перебрасывались словами.

Дверь без стука распахнулась по-хозяйски и, низко нагнувшись под притолоку, шагнул в дверь человек со светлыми пшеничными усами, в короткой пальтушке, в кепке. Разогнувшись, улыбнулся и легко сказал, отряхаясь:

— Дождь однако... Ефимьевна, что ж ты чайку не наладишь?

Раздевшись, бережно протянул свою широкую, негнущуюся ладонь каждому из пришедших:

— Здравствуйте, товарищ!

Хозяин — Михаил Фомич Ряжев — поздоровался с Козловым так, что было сразу видно, — они уже хорошо знакомы.

Читать реферат сегодня должен был Козлов на тему «Эрфуртская программа германской социал-демократии». После ряда прошлогодних рефератов: о диалектическом методе, о происхождении религии, собственности, о возникновении культуры, после рефератов о Французской революции, о положении рабочего класса в Англии — кружок теперь переходил к теме, имеющей прямое отношение к деятельности социал-демократии.

Перед слушателями должна была развернуться картина конструктивного создания нового общества, каким оно должно стать.

Ждали Марка, тот немного припоздал, и, как только он появился в своей длинной, залитой дождем и снизу забрызганной грязью шинели, Козлов, подняв брови, вытащил из-за пазухи кипу листов.

— Товарищи! — раздался его тихий приятный голос.

Николай внимательно следил за рефератом. Эрфуртская программа была принята на партийном съезде германской социал-демократии еще в 1891 году, в Эрфурте, в городе, хорошо известном по роману «Война и мир». Съезд в составе более 250 делегатов от социал-демократи-

ческих организаций работал открыто целую неделю, его отчеты публиковались в газетах. А рассказывать об этом у нас приходилось тайно, в бедном домике на Запрудне, хоронясь от полиции, от гимназического начальства, от своих семей...

Согласно Эрфуртской программе, формой правления в государстве должна быть демократическая республика, все органы власти которой избирает сам народ. Каждый гражданин с двадцатилетнего возраста имеет право избирать и быть избранным, мужчины и женщины одинаково. Парламент имеет права законодательства. В случаях, особенно важных, народ имеет право прямого законодательства, то есть он опрашивается поголовно в референдуме по данному вопросу.

«Какое же сравнение с Булыгинской думой!» — отметил Николай.

— Чиновники, судьи, — методически излагал Козлов, — не назначаются правительством, а избираются народом.

«Значит, при такой системе Лизавета Васильевна не могла бы надеяться на то, что судьи для нее все свои, наши дворяне?» — делал вывод Прокшин.

В этой убогой хатке на Запрудне от слов реферата словно распахивались двери, а за ними — ширь, воздух, свет, горизонт! Перспектива! Вот как надо жить!

Хатка была особенной, и сам хозяин, Михаил Фомич, тоже был особенным, таких людей Николай еще не видел ни в гимназии, ни дома среди знакомых отца, ни в Костроме, ни в Кинешме: те всегда выглядели так, что точно чего-то опасаются, побаиваются. С чем-то они должны считаться. Себе на уме.

А у Михаила Фомича, видно, было свое собственное мнение, он хорошо, должно быть, знал, чего хочет. Он, очевидно, верил в свои силы. В его единственной горенке, правда, было бедновато, Ефимьевна во время реферата толклась тут же у печки. Не было тут ни бархатных мягких диванов, ни драпировок на дверях, подхваченных цепочками, ни картин в золотых рамах, ни трюмо с подзеркальниками, заставленных безделушками, ничего, что бы располагало к мечтательности, к беззаботности, к лени...

И держался Михаил Фомич тоже по-своему. Он совсем не был похож на Вассу Алвиановну: та, бывало,

нет-нет да тревожно взглянет из окошка школы в темный сад. А Нина Ивановна, та во время чтения часто прикладывала палец к губам: «Тсс!» — и прислушивалась.

Товарищ Ряжев спокойно курил папиросы из пачки «Трезвона», выглядел готовым ко всяким неожиданностям. То, что он делал, он явно считал более значительным, чем то, что могло помешать делу.

Разве мог этот человек бояться или лениться? Он ведь рабочий! Ему в хатке было нужно только то, что необходимо: чистота и книги.

И в душе Ряжева наверняка было только то, что положительно нужно. В ней никак, например, не могло быть сентиментальной, десятками лет отлагавшейся, как в старом самоваре, накипи мыслей и образов, блеклых, туманных, пугающих своей неясностью, загадочностью или просто ненужных. Его мысль, наверное, ясна, четка, как мерный ход стальных шатунов в его машинах, — он был машинистом на фабрике Михиной. С кем его сравнить? С купцом Федосеевым? Смешно! Тот седой, маленький, весь сбитый, как клещ, только и выискивавший, как бы за что зацепиться, завиться усиком повилки за какого-нибудь человека, впиться в него, окрутить, использовать...

С инженером Мейером? Нет! Как тот любовно кушал тогда цыпленка в сухарях! Словно молился. А товарищ Ряжев был, видно, силен и прост.

Правда, он беден, он не мог получать, как Федор Петрович, двухсот пятидесяти рублей в месяц. Он не платил пятнадцать рублей за квартиру, его хата стоила не больше трешницы в месяц. Но это нисколько не тяготило, не мучило, не унижало, как, наверное, унизило бы, мучило бы того же Никблая, если бы ему довелось жить так бедно. Ряжев был хозяином самому себе.

Как и все, он когда-то пришел из-под Кинешмы на Запрудню, встал перед железными воротами фабрики. Земля еще у его отца давно была отнята Тихомировым Петром Семенычем, тем самым, которого недавно полиция арестовала в Москве на Крестьянском съезде за то, что он требовал захвата дворянских земель. Парнишкой Мишутка после двух классов церковно-приходской школы по знакомству батрачил у этого самого Тихомирова, и тот очень ценил его ловкие руки. Но, кроме рук, у Мишки Ряжева была голова, и она повела его в город,

искать лучшей доли. Общая дорожка привела его к Запрудне, поселила в угол, за тридцать копеек в месяц.

Хватил горячего до слез Мишка Ряжев! Работал на михинской фабрике, пробился к технике, учился у нее и у книжек ночами, засыпая за столом. А днями не дремал, работал кипуче, так, что его всегда ставил другим в пример Елизаров, Мокей Мироныч, худой, рябой, долгоносый, в красной рябенькой рубашке из-под люстринового жилета, с бисерным шнурочком к часам, прыныра, хитрый главный хозяйский доверенный. Не удалось, однако, Мокею Миронычу купить Мишку Ряжева, использовать его беспощадную, умную, трезвую деловитость, не удалось взять его к себе в помощники, чтобы жать, затягивать гайки на людях.

Ряжев помнил свою родную землю, но не такой, как он покинул ее, — в кабале у Тихомирова. А такой, какая она и есть на самом деле, — огромной, богатой, сильной, бесконечно щедрой, доброй, могущей ответить людям десятком, сотней зерен на каждое брошенное в нее грубой рукой пахаря. Вот совсем недавно еще Михаилу Фомичу снилось перед самым утренним гудком: перед вечером прошел теплый июньский дождик над овсами, радуга встала из зеленого леса прямо в облако, свежестью дышит поле, над ним толчется жаворонок.

И еще помнил всегда Михаил Фомич зимние ночи в избе, вой вьюги, возню ветра в соломенной крыше, красное мерцанье лучины, жужжанье веретена, скрипенье самопрядки и рассказы бабушки Лукерьи, востроносой, востроглазой, о могучих честных богатырях, о безмерной силе родной земли, о победах над лютыми врагами: татарами, французами, немцами... А в крытом дворе — слышать — шумно вздыхает скотина, постукивает рогом о ясли, под окном нет-нет да и взлает хрипло ребячий друг — старый Полкан. Нет, никогда он не сможет простить, что его деревня стала бедна, та самая деревня, которая может быть так богата. Никогда не простит он и того, что его богатырская земля терпит поражения. И в Михаиле Фомиче росли, разгорались ярость, ненависть к жестоким, глупым, ленивым, жадным, чванливым людям, виновникам этого унижения.

Как ржаной колос из поля, вышел Ряжев вместе с миллионами других из самой глубины народной, каждое мгновение он бережно, внимательно цедил жизнь через

свое сердце, через волю, через ум. Еще до того, как Михаил Фомич познакомился с Владимиром Ивановичем, в деревне он уже сам хорошо учуял породу, облик соседнего помещика Маремьянова Василия Никитича, развалившегося, пропившего и прожравшего сперва свое имение, а потом поставленного «земским начальником» и разорванного крестьянские хозяйства. Понял он и Тихомирова Петра Семеныча, у которого лето ходил подпаском. Понял себя — русского, неустроенного на богатой земле, крестьянина-бедняка. А потом, в Костроме уже, понял насквозь Елизарова в его рябенькой рубашке из-под жилетки, щепетко бегающего через контору на звонок хозяйки, рыжей, в бриллиантах, Елены Михеевны Михиной.

Броситься против них этаким богатырем Ильей Муромцем против идолища поганого, — так толкало его под руку, заливало горячей волной гнева. Сжечь! Убить! Разгромить фабрику, сломать эти безжалостные, убивающие народ машины!

Но вот этого-то и не позволил сделать ему Владимир Иванович Татарников.

Сутулый, в синей ластиковой рубашке под сереньким пиджачком, длинноволосый, в темном пенсне на черном шнурочке, обвивший одну удивительно худую ногу вокруг другой, он желтыми от табака пальцами заботливо заделывал очередную кручонку.

— Хе-хе-хе! — посмеивался он над стаканом пива. — Ишь ты, какой богатырь выискался... С мечом-кладенцом! Один в бой! По-буржуазному думаешь, товарищ! Что ж, ты вот один выступишь, а остальная Запрудня так и останется молчать да вздыхать? Нет-с, действовать нужно иначе! Если действовать по-твоему — выйдет не подвиг-с, а дезорганизация-с, молодой товарищ... «Террор — это расхищение сил». Слышал, как умные люди говорят?

Доходили тогда девяностые годы, Владимир Иванович Татарников давно работал в Костромском земстве статистиком. Летами сплошь тряся он по проселкам в телегах, в тарантасах по обследованию крестьянских хозяйств по деревням, селам разных уездов, а зимой, в узкой, прокуренной досиза комнате Образцовских номеров составлял таблицы, подбирал материалы для статистических сборников. По всей России ездили в те годы сотни

таких земских статистиков, на местах спрашивая крестьян, обследуя, вписывая в бесконечные графы бесконечные цифры, своей самоотверженной работой безвестно закладывая основу познания страны, а следовательно, и революции.

— С хозяевами бороться хочешь? — говорил Владимир Иванович, прихлебывая пиво. — Дело хорошее. Только вот как следует бороться: бороться надо всей Запрудней. Ну, если навалитесь на одного хозяина, может быть, добьетесь себе облегчения... Верно. А этого мало. Недорубленный лес вырастает. За одним хозяином — другой... Все хозяйство целиком нужно менять, а это возможно только при политической борьбе. Против всего старого строя... В борьбе за новый, за правильный... За социализм. Учиться нужно, Ряжев. Читать! И тогда Запрудни по всей земле подымутся.

— А что читать, Владимир Иванович?

— Посоветую, посоветую... Заходи, подберу чего-нибудь!

По совету Владимира Ивановича захаживал Миша Ряжев и в земский склад «Костромич», где можно было достать хорошие книжки в дешевых изданиях «Посредника» и «Донской Речи».

Потом у Миши Ряжева стали появляться книжки на тонкой бумаге небольшого формата со штампами типографий «Женева», «Лондон», «Мюнхен». Имя Ленина стало ему давно известно. Владимир Иванович давал ему читать «Искру». Ряжев прочитал статью Ленина «С чего начать?», узнал он и «Что делать?». Он сразу убедился, что в одиночку, вслепую бороться нельзя: идти к великой цели можно только с партией, вооруженной передовой общественной теорией. Такая партия должна руководить организацией тех, у кого оказались отняты средства к жизни, тех, кто оказались лишены земли, обречены на то, чтобы продавать свой труд.

Познакомил его Владимир Иванович и с некоторыми товарищами, приехавшими по делам партии в Кострому, иногда даже прямо от Ленина, из-за границы. А главное — твердо понял он великие слова учителя: «У пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, кроме организации. Разъединяемый господством анархической конкуренции в буржуазном мире, придавленный подневольной работой на капитал, отбрасываемый постоянно

«на дно» полной нищеты, одичания и вырождения, пролетариат может стать и неизбежно станет непобедимой силой лишь благодаря тому, что идейное объединение его принципами марксизма закрепляется материальным единством организации, спланивающей миллионы трудящихся в армию рабочего класса. Перед этой армией не устоит ни одряхлевшая власть русского самодержавия, ни дряхлеющая власть международного капитала».

Ряжев верил в это неколебимо, знал, что так будет: ведь это говорила точная наука!

И Николай, следя за выражением лица Ряжева, за его словами, понимал понемногу, что эта бедная изба — куда культурнее, независимее их дома Прокшиных: Федор Петрович жил на содержании у правительства, правительство держало своих чиновников за душу, за жалованье.

А вот укупить душу простого рабочего с фабрики Михиной оно не могло. Потеряй Федор Петрович работу — он бы оказался осужденным почти что на погибель, на нищету, на падение. А Запрудня, несмотря на свою бедность, была вся увязана между собой, все были товарищами, и сама-то эта простота жизни давала им все больше и больше силы для борьбы за жизнь.

Послышалось хмыканье Марка.

— Типично оппортунистическая программа! — заговорил он. — Приспособленчество... Все по обстановке — где можно говорить, что нельзя говорить... Программа демократической республики, да? А где социализм?

Михаил Фомич тронул пальцем ус.

— Ясно, — сказал он. — То-то и есть... Дрейфят наши немецкие товарищи... Факт! Не хотят ссориться с ихним Вильгельмом! По этой программе и рабочему и фабриканту рядом в парламенте сидеть приходится... Не дело, нет! Почему? Очень просто! Социализм может прийти только через нашу, рабочую диктатуру, не иначе. А где у них диктатура? Товарищ Козлов, дай-ка сюда программу-то эту!

— Не захватил с собой, товарищ Ряжев! Всякие случаи могут быть...

— Ага! Правильно! — ответил тот, внимательно взглянув на Виктора. — Нечего с собой зря такие книжки таскать. Ну да у меня есть!

Михаил Фомич, встав, достал из-за иконы брошюрку.

— А вот, пожалуйста! «Пролетариат не может добиться перехода средств производства, т. е. капитала, во владение всего общества, не достигнув политической власти», — прочитал он подчеркнутое место. И светлым взглядом обвел собравшихся. — А что это значит, товарищи? Очень просто. При таком порядке мы, рабочие, диктатуры, то есть власти нашей, не добьемся. Уж не Михиной ли поведет нас к освобождению вместе с Елизаровым?

— Позвольте-с, позвольте-с, — вмешался Козлов, и в его чудесно-живых глазах скакали чертики. — Позвольте, товарищи. Вот у меня тут выписано, что Энгельс писал по этому поводу... Вот оно: «Это есть чистейший оппортунизм — это мирно-спокойно-свободно-веселое вращение старого свиства в социалистическое общество...»

— Ха-ха-ха! — загремел в низенькой избушке на Запрудне свободный смех юношей.

— А это значит, что и все останется по-свински. Ну, вот, значит, хозяйкой фабрики останется Елена Михеевна... Гони ей деньги в Париж! Хозяином земли — помещик...

«Лизавета Васильевна!» — усмехнулся про себя Николай.

— Крестьянини впряжется в чужой плуг. Хозяева по-старому будут управлять, а нам нужно прямо к делу. Народ, труженик — вот кто должен быть хозяином... Эх, мать честная, как тогда подымется сила народная... Весело будет жить. Всей Запрудней встанем!

Он со всей силой взмахнул было высоко длинными руками, но опустил их мягко и раскрыл свои ладони.

— Будем нашу силу организовывать, — говорил Ряжев упорно. — А как? А вот как наша фабрика организована — одно к одному. Двигатель — двигает паром там или дизель... Потом трансмиссии по помещениям всю эту силу разводят. От ремней станки крутятся... Все рассчитано. Факт! Техника! Наука! Вот так и в жизни надо, чтобы люди не как раки в разные стороны ползали кто куда, друг друга за клешни хватали, а работали бы сообща, чтобы ничего зазря не пропадало... Ну, да это мы наладим.

Ряжев говорил сильно, уверенно. Отсюда, с Запрудни, грязной, залитой ссенним дождем, заваливаемой

облетающим листом, он смотрел далеко, куда-то вперед.

— Был у нас один товарищ — товарищ Арсений... Чего говорил... Вот голова! Как на ладони все показал, — продолжал Ряжев. — Первое дело старому строю подняться, оживеть не дать. А то бон как его капиталисты опять поднимают и эти... кадеты. Ежели он силу возьмет — всех нас вобрат замнет... Вот эдак!

Ряжев потрянул крепким, пробитым маслом и железом кулаком.

— Старый строй бить надо... Его силу расстраивать. И сила в наших руках — забастуем, и все остановится. Управлять можно, когда народ слушается, а не слушается — попробуй управь! Вот тут то наша власть и будет!

— Товарищ Ряжев, — сказал Марк покашливая. — все-таки тут, в программе, не так написано. Тут рассказывается, как будет построена демократическая республика!

— Знаю! Первая ступень... программа-минимум. Ну, а потом что? Ведь это уже пятнадцать лет, как писано, а воз все там и стоит. И еще сколько стоять будет? Видал, как на Русиной улице у нас теперь тротуары делают? Небось не булыжником, а асфальтом! Демократическая республика — все равно как булыжник, ну, вымостят — тоже на случай грязи неплохо, а если вновь мостить придется, прямо на асфальт. Булыжники-то все равно перемаскивать придется. Или нам, пролетариям, в парламенте с Еленой Михеевной рядом заседать? Да она бы нас на ногте задавила, а в Думе, небось, говорить будет: «Это и есть процветание промышленности». За наш свет. Довольно баловаться, нам власть нужна! Спасать Россию от дармоедов! От Думы толку не будет! Все бастуем, как один... Рабочие, гимназисты, студенты, железные дороги. Вся Россия встанет. И когда наша будет власть, мы сумеем управить. Вот тут-то мы эту самую Германию и обгоним.

— А справимся? — неожиданно для самого себя спросил Николай.

— Сомневаешься, товарищ? В чем? В рабочей руке? А кто фабрики и теперь ведет? Мы! Или Елена Михеевна на фабрике нужна?

— А инженеры?

— Инженер — не фабрикант. Почему они Елене Михеевне служат? За жалованье? Заплатим мы, да еще честнее, по всей инженерской пользе. Ученый человек, я так скажу, нашему рабочему куда больше нужен, чем фабриканту. Уважения он у нас больше получит. Потому что нас ведут и теперь уже ученые люди...

— А гражданский порядок ведь тоже надо поддерживать?

— Эй, товарищ молодой... Да летом-то во время нашей забастовки каков у нас порядок был? Ты видел? Плохо, что ли?

— Он в Кинешме тогда был! — сказал Козлов. — Не здесь.

— А! При рабочей-то милиции у нас порядку куда больше было, чем при полиции. Рабочие-то городских грамотнее. А обвыкнем, и совсем будет хорошо.

Простое скуластое лицо Ряжева светилось энергией и мыслью.

— А впрочем, из этой немецкой программы нам, пожалуй, одно местечко подойдет! — говорил Ряжев.

Твердыми, но ловкими пальцами он развернул брошюрку, уставился прямо в нужное место:

— Вот что нужно: «обучение народа владеть оружием!» Вот это правильно! Товарищи, готовиться надо! Часом из вас охотники есть? Есть? Хорошо... Кто? Малова-то, всего двое... Да и другим тоже это дело не мешает. Купите себе у Колодезникова рассверленные берданочки Ижевского завода, Петрова, 18 рублей всего! А зайцев можно бить — мое почтение! С первого сентября разрешается!

С этой квартиры расходились так же, как и от Вассы Алвиановны, поодиночке. Стало холодно, ветрено, и Николай бежал по Власьевской улице, не заметил даже, как проскочил Народный дом, весь улепленный афишами о лекциях и спектаклях. Тучи над домами неслись с быстротой поезда, ветер клочьями рвал с высоких труб черный дым.

Еще совсем недавно жизнь Николаю казалась устойчивой, надежной, словно каменные церкви и дома, словно весь этот старый город. Как это могло быть? И все, что он читал, что учил раньше в гимназии, — все говорило об устойчивости, неподвижности жизни. А теперь выходило, что главное в мире — это движение.

Если бы Николая спросить в ту минуту, чем так собственно пленил его Ряжев, он не сумел бы ответить. Да это и не важно. Важно было основное, ведущее, всегда верное впечатление, прикосновение к могучему, к настоящему, встреча с какой-то силою, с правдой. Вот все это и было налицо, а слова, объяснения придут потом. Он услышал шаг времени, — вот что взволновало его.

Юноша бежал мимо Богоявленского монастыря, и вдруг из-под ворот посыпались проворно черные монашки в рясах, стали бить униженные поклоны, донеслось их умильное пение, на колокольне ударили в колокола... Лошадь извозчика, проезжавшего как раз мимо ворот, дала козла, с отчаянно бранившегося возницы слетела лакированная шляпа, и пролетка с грохотом понеслась по улице.

Из монастыря, сверкая медными частями, выезжал автомобиль. Квакая клаксоном, гудя мотором, автомобиль повернул и двинулся навстречу Николаю.

Николай остановился, смотрел на это еще никогда не виданное им зрелище. В черной карете, с медными фонарями наверху, за хрустальными стеклами важно сидела рыжая, бело-розовая дама, в черной большой шляпе со страусовым пером. В ушах блестели брильянты.

В свой особняк при фабрике на Запрудне ехала костромская фабрикантша Елена Михеевна Михина. Живя постоянно в Париже, в Кострому она навевалась время от времени только по делам. В этот последний свой приезд она привезла первый в Костроме автомобиль с шофером-французом, и мальчишки всего города с криками бегали за таким чудом по улицам.

Перед тем как заехать в монастырь, Елена Михеевна была на приеме у губернатора. Она влетела в его кабинет с окнами прямо на черную осеннюю Волгу, покрытую белыми барашками, в разлетающем шелковом платке цвета «перванш», что так чудесно шел к ее покрытым парижской эмалью щекам, с длинной, до пояса свисающей с шеи ниткой крупных жемчугов на шее, благоухая убигановским «Вертижем».

Его превосходительство встретил ее перед дверями в приемной, подхватил под локоток, провел к дивану в кабинете, усадил с поклоном, а потом присел сам, улыбаясь самым любезнейшим образом, оскаливая угодливо выдающуюся вперед крепкозубую синюю челюсть.

Разговор, понятно, шел по-французски: иного языка Елена Михеевна не признавала. Французский язык позволял ей забыть ее тяжелое прошлое.

Именно — забыть ее покойного родителя. Прирожденный владимирский ткач, Михей Кузьмич Михин еще подростком сумел выкупиться на волю от своего помещика графа Шереметьева, развернул кустарную льноткацкую мануфактуру и сумел так ловко выжать из своих рабочих к концу своей долгой и многотрудной жизни четырехэтажную ткацкую фабрику, что его земляки до сих пор вспоминали его, вздыхали и говорили с уважением:

— Ничего не скажешь! Зверь был, ну, а хозяин!

Елена Михеевна, меньшенькая, оставшаяся его дочка, воспитывалась уже по-барски и, унаследовав все тятенькины богатства, старый тятенькин аппарат и все тятенькины навыки, теперь вот сама приехала к губернатору жаловаться.

— Ваше превосходительство, что делается с рабочими на моей фабрике, — бурлила она, помахивая белой ручкой. — Расскажи я это моим друзьям в Париже — там бы умерли от смеха... Уверю вас! Помилуйте! Мало того, что совершенно безнаказанно прошла летняя забастовка — рабочие выдвигают новые требования! Опять хотят прибавок, как мне доложил доверенный. Но когда же это кончится, ваше превосходительство? Когда же наконец законные права хозяев будут ограждены от посягательств? И так мои рабочие теперь работают не одиннадцать с половиной, а всего десять с половиной часов. Всего! И за ту же самую плату... Им это выгодно! А мне? Каково мне? Кто же возместит мне мои убытки, если правительство не защищает меня? Ведь цен на товар мы поднять не можем, рынок не выдержит, а потом это значит выпустить вперед моих конкурентов, у которых не было еще этого несчастья — забастовки! Ваше превосходительство, я в Кострому прямо из Петербурга, и министр финансов мне положительно заявил — все это в ваших руках! Да, в ва-ших! — подчеркнула выразительно Елена Михеевна. — Вы можете, вы должны принять меры подтверже. А что же это такое? Рабочие бастуют, идут в городскую управу, а домовладельцы выплачивают им тысячу рублей пособия, чтобы они питались во время забастовки! И администрация сквозь пальцы смотрит на такие безобразия. На эти собрания... На

«дровотне», — выговорила она по-русски. — А теперь рабочие начинают постоянно собираться в Михинском сквере, прямо против окон моей квартиры... Бог знает что такое.

Губернатор ссутулился, молчал, зажав в кулак могучий подбородок, поблескивая на барыню черными зрачками в желтых белках. «Черт его знает, что я должен делать! — думал он. — Разве и я, и владимирский губернатор Леонтьев, этот шеголь с бородкой буланже, не получали из Санкт-Петербурга, из высокого здания министерства на Мойке, циркуляров, в которых нам и предписывалось как раз добиться расположения, доверия со стороны всех рабочих вверенных нам губерний? Разве не было весьма секретного указания со стороны самого господина министра о «железной руке в бархатной перчатке»? А получается черт его знает что! Леонтьев уже полетел после этих либеральных событий на Талке... А попробуй не выполни таких циркуляров, так ведь рабочие теперь сами сумеют найти всякую щель, чтобы пожаловаться... Ведь ими теперь руководят из-за границы! Распорядишься для этой купчихи, а тебя и высмеют где-нибудь в Женеве, в газете... Перед всей Европой. Скандал! Напишут — сатрап! Сатрап! — горько улыбнулся он про себя. — А что это слово значит?»

— Мадам! — наконец удалось губернатору захватить слово, пока потрясенная своими бедствиями Елена Михеевна осторожно вытирала кружевным платочком подрисованные глаза и прятала затем его в сумочку, скорбно подняв брови и опустив углы рта. — Мадам, — повторил Илларион Амнеподистович. — Со всѣм сѣрдцем! От всего сѣрдца, как честный человек, обещаю: все сделаю, что могу. Но только, что могу... Чѣго не могу — не могу!

«Ишак! — думала Елена Михеевна, быстро выйдя из кабинета и пересекая по штучному паркету приемную, осматривая во всех попутных зеркалах свое подтянутое корсетом тело, отвечая улыбчивыми кивками на склоненные в перегибе проборы и лысинки чиновников особых поручений, расставленных декоративно у дверей и стен. — Надо будет сказать в министерстве Ивану Адриановичу, чтоб губернатора убрали: он не поддерживает отечественной промышленности!»

Она сбегала по лестнице, набросила вязанную накид-

ку, скользнула в автомобиль и приказала своему шоферу в черном пальто с золотыми пуговицами.

— В монастырь!

Разогнав по дороге полсотни извозчиков, Елена Михеевна въехала в Богоявленский монастырь, вышла из машины и на паперти преклонила обтянутое шелком колено перед запыхавшейся старухой-игуменьей с золотым наперсным крестом на груди.

— Матушка Пахомия! — с глубоким вздохом выговорила Елена Михеевна. — Прошу вас, отслужите молебен Иоанну-воину о прекращении народной смуты! Прошу вас!

Николай глядел на автомобиль, на ее рыжие волосы из-под черной шляпы, на трясущиеся щеки, и новое, никогда еще не испытанное чувство презрительной неаппетитности вдруг поднялось из груди, медвежьей лапой сдавило ему горло. Словно блеснула молния, перерубила мир, и он распался на две половины.

«Поезжай, поезжай, — подумал гневю он, глядя вслед диковинной машине. — Примет тебя Запрудня!»

Николай бежал теперь сквером, мимо памятника Сушанину, стоящему на коленях перед бюстом Михаила Федоровича, и кровь стучала в висках.

«Как я был прав, сказав отцу, что я социалист! Разве это люди, пугающие своими машинами лошадей? Наводящие ужас своим богатством на людей? Что в них человеческого? Ничего! Рыжие, злобные... Идолы...»

В коридорчике под сводами цоколя колоннады перед Казначейством, куда нырнул тротуар, Николай вдруг увидел Прозорова. В короткой тужурке, в высоких сапогах, с чубом из-под фуражки Михаил шагал как всегда уверенно и прочно.

— Здорово, голова! — пробаритонил он. — Куда путь держишь!

— Так! Пока домой.

Они стояли теперь у маленькой церковки на углу Русинной улицы.

— Знаешь, — сказал Михаил, — ветрище, брат, низовой, что надо. Хорошо! Не ветер — ломовой извозчик. Если хочешь, покатаемся на парусе... Разлив большой, вешнему в пору... Места хватает...

Николаю это было по сердцу: разговоров особых не

будет, а в схватках с природой душевное волнение утихнет.

Прошли бульваром, спустились к розовым, по-осеннему пустым купальням, где хлюпала темная вода, принесли от сторожа большой парус, стали его налаживать на шлюпку.

Осенний ветер ровно, раздольно гудел над бурой с желтыми искрами Волгой, когда шлюпка помаленьку выходила из-за купальни. Повернули вправо, против течения, парус взял ветра, шлюпка накренилась, рванулась вперед и помчалась прямо в мерный шум волн.

Желтый осенний закат полыхал за Ипатьевским монастырем, вывалившись из-под лохматой лиловой тучи. Михаил шел курсом поперек реки, парус напрягся, крепил шлюпку, и оба юноши сели на левый борт, упершись ногами в правый. Михаил закурил, а шлюпка, хлопая днищем по волнам, уверенно набирала и набирала ходу.

— Должно, голова, дождь соберется, — кричал Михаил сквозь шум ветра и волн. — Да и ветер крепче. Ух, и качнет нас сейчас...

Николай сидел молча и смотрел на мрачную игру желтого света, льющегося из-под тучи на бурые волны.

— Ну, так ты решил, куда же пойдешь после гимназии? — спросил Михаил.

— На историко-филологический! Решено! — ответил Прокшин.

— Ха-ха! Ну, я, брат, на ваш историко-зоологический не ходок. Нет! Пойду к брату Ивану на завод. Железковать!

— В специальное?

— В Технологический! Вот вашему брату, медалистам, идти туда... Не знаю, выдержу ли конкурс... А если провалюсь — пойду в университет. На естественный... В химики. Тпру, черт! Все равно, в инженеры выйду. Инженеры — народ свободный... Где хочу, там работаю. Ну, и заработок тоже не сравнишь... Свободный художник!

Он круче, через колено, подтянул шкота. Высокая, сизая, в своем глубоком лоне державшая желтое пламя волна, шипя, махнула гребнем у самого борта, тяжело хлестнула обоих приятелей по спине.

— Ха-ха! Промыло, голова, знатно! — смеялся Михаил. — Держись-ка, а то, брат, смахнет... Так, значит, ты

в книжные черви? Книжки, тетрадки... Карлы пятнадцатые... А на естественном, брат, сама практика!

Михаил вкусно выговорил это слово «практика», словно орех щелкнул. Сила из него перла, как тесто из лежи.

Николай молчал. Очень хотелось посоветоваться, как ему делать свою жизнь. А как расскажешь? Трудно! Хорошо Прозорову — практика... А у него, у Николая, на первом плане история. Смотреть, как люди жили. Как живут. Как надо жить. Нет, не будет он учителем, учителя назад смотрят. В прошлое. А ему надо знать, что будет. Будет новое. Какое? Колоколов не будет, не будет и каменных домов. Видно, что уходят они. А что будет? Какая это жизнь завязывается для народа в стране? Вот что нужно определить. Мишка-то, конечно, выйдет в инженеры, у него смелость, хватка. «Богатым будет, черт! — добродушно отметил Николай. — А ради чего? Ради самого себя? Неннтересно... Надо жить ради страны, ради того, что бурлит, подымается в ней, как вот эта подбегаящая волна...»

— Эй, береги голову! Меняю галс! — крикнул Михаил и, навалившись на румпель, повернул, перебросил парус, и шлюпка неслась теперь в темный простор, прямо в гаснущий желтый закат за монастырем.

— Я вот все присматриваюсь к твоей компании! — заговорил Михаил после молчания. — Нравится она тебе, что ли?

— Какая компания?

— Ну, вы все... Вы держитесь вместе... Козлов, Погребецкий, Стоюнин. Ты... Другие...

— А тебе не нравится?

— Видишь ли, был там Соколов. Он парень был подходящий. Смелый. А вы все как-то помалкиваете. Хотя бы Козлов. Или Марк.

— Нельзя иначе!

— Прямо надо действовать, — бурчал Михаил. — А вы все втихомолку.

Кострому теперь еле было видать по правому борту, оба юноши затерялись среди воли, мрака, гудящего ветра.

— В одиночку ничего не сделать, Миша! — серьезно сказал Николай. — Сильных и смелых — надо... А главное — организация. Она охватывает всех, у всех

получается одна линия... И нужны люди, которые знают, как это сделать...

— А есть они, такие люди?

«Радиант!» — подумал Николай.

— Есть! — сказал он.

— Где?

Ряжев всплыл перед Николаем.

— На Запрудне!

— Поздравляю! Договорились! — протянул иронически Михаил. — Ха-ха-ха! Да на Запрудне одни фабричные... Малограмотные. Что с них? Что они смогут? Чтобы делать историю, надо быть личностью... Героем...

— Героем? А кто в нашем городе герой, если не люди с Запрудни? Или чиновники? Купцы? Мещане?

— Мы! — отвечал Михаил. — Мы — образованные. Грамотные.

— Так ведь таких, как ты, и ста тысяч со всей России не наберешь! Да того меньше. А остальным сотне миллионов с лишним только слушаться да повиноваться вам, что ли? Нет, только сам народ, весь народ должен вести страну.

— Народ? Да ведь он ничего не понимает!

— Отлично уже понял! Понял, что есть передовая, освобожденная наука. Понял, что есть люди, знающие эту передовую науку, теорию общества и служащие народу. И самые активные из народа собираются вокруг таких.

— Знающие-то все давно на службе у правительства у промышленников.

— Нет, не все. Нет. Сколько одних профессоров выброшено теперь из университетов. Они с народом! Сколько инженеров готовы работать с народом! Сколько народу за сто лет ушло в Сибирь... А если весь наш народ получит настоящее образование, верю — он удивит мир. Но прежде всего нужна организация!

— «Организация!» А как же без организации? — насмешливо отозвался Михаил. — Дело нужно делать, господа, а не «организации»...

— Активная часть народа вокруг своих теоретиков — это уже великая сила. Партия! Это и есть дело!

Друзья горячились, шлюпка мчалась, прыгая по волнам, как сбесившаяся лошадь, парус чуть отсвечивал

желтым, волны шумели, шли гряда за грядой, разом сбушивая белые гребни.

Перед Николаем в возбуждении спора зародились, понеслись туманные новые образы, протягивались во все стороны, возникали новые связи.

Да, народ — это прежде всего те, кто трудится. Трудится сам руками. Но и не только руками... Ученые — тоже трудятся, и не меньше других... И выходит как-то, что трудящиеся — это те, кто пробивается вперед, чтобы постичь законы природы, чтобы использовать, употребить их в дело... Зачем? Чтобы помогать все время таким образом радостно и облепительно растущему труду.

Перед ним развернулся чугунолитейный цех завода Шипова, где как-то раз они были с классом на экскурсии. Николай не думал даже, что он так хорошо запомнил того рабочего в синей блузе, в темных очках на бургристом носу, с реденькой бородкой, с атлетической спиной и плечами, зорко следящего, чтобы струя огненного чугуна правильно текла в изложницы. По всему темному цеху, по прокопченным стенам, стеклянному битому потолку бродили цветные отсветы, как тогда в физическом кабинете, в ночь смерти Васи. Наука явно была как-то сродни этому тяжелому труду. Только наука могла своим математическим расчетом организовать и расставить все эти станки в соседнем длинном цехе, полном гула, лягга, скрежета обтачиваемого металла, вертящихся трансмиссий, шестаста приводных ремней, летящих к шкивам станков... Только тут было то, что могло быть по-настоящему, по праву названо человеческим трудом.

Труд! Но яростно трудился и Федосеев в своем лабазе. И Артишева тоже трудилась на своем «родовом» поле. Но это были «хозяева», они жили за счет других себе подобных людей, заставляя их как «рабочую силу» работать на себя.

А в том труде, в литейном цехе, который маячил перед Николаем в шумящем хаосе воды и ветра, на первое место выдвигался ум человека, расчет, математика, физика, химия. Наконец, — это новое, великолепное электричество, такое загадочное, полное великих возможностей!

Жизнь быстро идет в сторону такого труда, и поэтому нужно сразу становиться в общественные ряды, чтобы идти вместе, а не стремиться к «самостоятельности». «Смешной Мишка! Чего ему надо? Ведь именно в новом

мире, общественности и науки, он по своей силе, энергии будет неопределимым человеком! Не хуже Ряжева. Он, однако, пока никак не понимает этого, и потому в одиночку борется за «себя», за «личность», зря, безрасчетно растрачивая силы. И сколько же кругом еще такого непонимания!»

— Голову! — опять рявкнул Прозоров из темноты, и рея прогудела над головой Николая, хлопнул мокрый парус, рванулся, и шлюпка ринулась снова вперед. Вдали золотым пунктиром просыпались огоньки Костромы.

Организация — вот что нужно... Но какие же человеческие силы и ум должны иметь те, кто добьется ее, кто укажет общий план! Как могуч должен быть этот радиант, чтобы охватить всю Россию! А что без организации? Игралище личных страстей, желаний, самолюбий, отдельных диких воль.

Жизнь не должна быть похожа на именины у Ильи Николаевича, как он видел тогда их — эти красные лица, складчатые шеи, многоярусные подбородки, вздувшиеся на висках жилы, лоснящиеся носы, жирные губы, грохочущий, бессмысленный смех, эти разговоры, словно щекочущие под мышками, заставляющие грохотать до визга. У этих людей не было воли...

А кто был вождем этих людей, их пастырем? Отец протоиерей Иоанн.

Нужны люди сильные, умные, решительные, умеющие оставаться честными, которые бы с восторгом подошли к новому делу, как художники, как творцы. Они должны быть очень просты, но не по-крестьянски, по-природному простоваты... И опять выходило со всех сторон, что, кроме товарища Ряжева и подобных ему, некому было править землей...

— Рабочие, рабочие и рабочие! — сказал Николай и трижды ударил кулаком о борт.

— Чево? — крикнул Михаил.

— Ничего!

И вдруг у Николая захватило дух: в шлюпку вкатилась в темноте высокая волна, хлестнула его тяжело в грудь, в лицо. И он и Михаил засмеялись. Этот полет в темноту, в ветре, в водовороте сил природы, который резала их воля, их смелость, — захватывал и освобождал душу. Оказывалось, что им обоим по человечеству

можно было быть вместе, даже несмотря на некоторые разногласия.

Вдали все яснее и яснее становились золотые точки огоньков летящей навстречу Костромы.

Глава третья ПЕРЕД ДЕВЯТЫМ ВАЛОМ

Редакция либеральной газеты «Костромской листок» помещалась вблизи Сусанинской площади, на Марининской улице, в собственном полуподвальном помещении со сводами.

Рядом было другое такое же помещение, на котором красовалась желто-зеленого цвета вывеска:

ПИВНАЯ ЛАВКА

Зеленая половина вывески показывала прохожим, что здесь можно было купить пива «на вынос», то есть можно унести его с собой, желтая — что его можно было выпить и на месте.

Близкое соседство с пивной было очень удобно: в пивной большую часть рабочего своего дня просиживал секретарь редакции газеты «Костромской листок» Егор Егорович Покровский, большой, лохматый, в прошлом актер-трагик.

Лукреций сказал когда-то: «Приятно с твердого берега наблюдать борющийся с волнами корабль». Пивная и была для Егора Егоровича таким твердым берегом.

В пивной было все деловито-спокойно: желтые охряные стулья, столики под серенькой клеенкой, прочные, железные, зеленой краской крашенные пальмы. На всех стенах висели отпечатанные плакаты:

ПРОСЯТ НЕ ВЫРАЖАТЬСЯ!

Пиво было дурдинское, холодное, с закусочками на крохотных блюдах: моченый в соленой воде горох, сухарики черные, вобла, колбаска, сырок и конфетки. Однако политические бури в стране очень беспокоили Егора Егоровича: то и дело в пивную вбегал сторож Карп и требовал начальство к редакционному столу.

Телеграммы шли почти непрерывным потоком. Сентябрь девятьсот пятого года все круче дыбился событиями.

Двухмиллионная русская армия в Маньчжурии, накапливавшаяся с марта на Сыпингайских высотах без боев, требовала возвращения в Россию и демобилизации. Демобилизации и возвращения на родину требовали и большие массы запасных, собранных в конечных и в крупных пунктах Сибирской магистрали и не попавших на войну. Через всю Сибирь на запад шел поток вооруженных людей, оскорбленных своими неудачами на войне. Социал-демократические организации энергично работали среди них в таких пунктах, как Владивосток, Чита, Красноярск, Ново-Николаевск, Омск, Томск, Екатеринбург, и массы серых шинелей ехали дальше, разнося по родным деревням и городам жгучие подробности пережитого и виденного ими.

Бурно росло рабочее движение в стране, подготавливая всероссийскую стачку невиданного в мире размаха. Крестьянское движение на свой лад повторяло рабочее движение в деревне. Одновременно руководимые царским правительством подымали голову темные силы и настолько, что социал-демократическая группа в Борисоглебске обратилась к городскому населению с таким воззванием:

«Теперь против прогрессивного движения русского народа борются не только жандармы и полиция. Министерству внутренних дел не хватает регулярных войск! На государственную службу теперь принимаются босяки, хулиганы, тарханы и тому подобная публика... Появилась пресса этого типа «Московские ведомости», «Гражданин», «Русское дело», «Дело» и другие. В народ идут агитаторы: генералы, архиереи, Шараповы, Грингмуты. Эти люди начинают гражданскую войну».

Народ отвечал на это организованными ударами. По всей стране проходил первый тур великой борьбы в виде политического забастовочного движения. Начавшись на Кавказе, в Польше, оно постепенно передвигалось к сердцу страны — к Москве. И сегодня в пачке телеграмм, давно ждавших Егора Егоровича в редакции, были сообщения о начавшейся уже стачке рабочих в Москве. Забастовали рабочие типографии Сытина, где печаталось «Русское Слово».

Прочитав, Покровский бросился к телефону и бешено закрутил ручку. Он звонил наверх, жене:

— Таня! Поздравляю! В Москве бастует типография Сытина! Ты понимаешь, что это значит, Танечка?

— Везде же забастовки! Что особенного?

— Ты всегда была не от мира сего! Это значит — «Русское Слово» не будет выходить! А значит наш «Листок» будут хватать! Будем хорошо торговать!

— Ты думаешь? — поласковел голос в трубке. — А и в самом деле... Я найду, взгляну на телеграммы...

В Москве в сентябре бастовали все типографии, газеты не выходили, и торговля новостями «Костромского листка» пошла блестяще. За типографщиками забастовали московские пекари у Филиппова на Тверской. Началось с собрания пекарей, во время которого нагрянула полиция, стала ломиться в ворота, взломала их. В полицейских полетели камни, кирпичи. Примчались казаки, оцепили булочную, рабочие ушли в верхние этажи, начали отстреливаться. Казаки и полиция тоже открыли огонь, убили двоих, переранили многих и в конце концов арестовали 197 человек.

Тогда забастовал металлургический завод Бромля, и рабочие, выйдя оттуда, стали снимать рабочих с других предприятий... Стачка росла.

— Безобразия! — каждый день ворчал Федор Петрович, когда, возвращаясь из реального, на вопрос, получено ли «Русское Слово», слышал, что «газеты нет и сегодня». — Как можно жить без газеты! Чего смотрит начальство? Ну, дайте хоть этот несчастный «Листок».

И читал там, что Московский и Казанский университеты перед закрытием, что стачки перекинулись и в Петербург, что забастовали и петербургские типографии и что в Петербурге не выходят газеты. Забастовала даже Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг, которая печатает деньги...

Егор Егорович вбегал в редакцию в сопровождении Карпа, когда столкнулся лицом к лицу с адвокатом Огородниковым.

— Какие новости, Егор Егорович?

— Большие, — отвечал тот, бросаясь к куче телеграмм. — Похороны в Москве князя Трубецкого... Сто тысяч народу хоронило! Демонстрация!

Князь С. Н. Трубецкой, первый выборный ректор Мо-

сковского университета, скоростно скончался в Петербурге. Перенос его тела из клиники имени великой княгини Марии Павловны до Николаевского вокзала в сопровождении очень большого скопления народа был настоящей политической демонстрацией — впереди несли много венков из красных роз. Полиция и конные жандармы напали на процессию, тысячи людей разбежались, бежало и духовенство, и покойник в гробу остался один среди опустевшей улицы, усыпанной розами, шапками, шляпами, калошами, тростями, зонтиками.

Зато в Москве, по соглашению проректора профессора Мануйлова с градоначальником, порядок охраняли сами студенты, и стотысячная процессия благополучно проследовала через центр Москвы. Впереди тоже несли свыше двухсот венков из красных роз и других цветов с красными лентами, пели похоронный марш.

— Что скажете, почтенный Егор Егорович? — довольно поблескивал стеклами своего пенсне Огородников, теребя бородку. — А, вот она — сила интеллигенции! Вы еще сомневаетесь? Сто тысяч! Больше! Это не только демонстрация! Это манифестация! Она показывает, как прочны в народе связи с университетом. С интеллигенцией. Огромное-с влияние! Порядок только там, где нет полиции! Никакой самый глупый бюрократ не сможет оспаривать этого... Власть будет в руках интеллигенции! А что скажете про речь Витте в комиссии Сольского? Реформы, реформы-с близки!

— Посмотрим, как интеллигенция ваша будет действовать дальше! — бурчал Покровский, перебрасывая телеграммы. — Вы, кадеты, словно идете по середине улицы и никак не можете разобраться, какому генералу козырять: народу или царю? Ха-ха-ха! — громово разверз он свою пасть с желтыми зубами.

Адвокат Огородников бежал домой очень довольный: «Как приятно, что бюрократы не могут парировать народного натиска. Куда им, слишком глупы, слишком глупы! У власти должна быть только интеллигенция! Только мы!»

И он уже звонил у своего подъезда в доме подрядчика Вандышева, того самого, что выиграл двести тысяч. Дом был деревянный, однако в готическом стиле, с водосточными трубами в виде драконов, с резьбой по всему фасаду, с башенками, с петухами на флюгерах.

Хорошенькая горничная Дашенька в белой наколке на голове, в белом фартучке открыла дверь, приняла с барина пальто, аккуратно повесила его на плечики, обтерла и прибрала калоши: барин любил порядок.

— Где барыня? — спросил Огородников.

— В гостиной-с!

Анна Павловна, худущая, седеющая уже дама, с вечной папиросой в зубах, сидела, уютно подобрав ноги, на диване в гостиной с новой книжкой в руках. Окна и мебель отражались в превосходно натертом паркете. Николай Елисеевич очень любил свою квартиру: по ней он видел, чего ему удалось добиться в жизни.

Его батька, мелкий казначейский чиновник в Чухломе, с трудом протащил сынка через гимназию, а когда сын поехал в Москву, в университет, не мог высылать ему больше десятки в месяц. Николаю Елисеевичу приходилось бегать по урокам, и в семье одного отставного гражданского генерала он познакомился со своей будущей женой, старшей сестрой своего ученика. Анна Павловна была очень худа, некрасива, в пенсне, но она воспитывалась на казенный счет в Смольном институте, говорила по-французски и имела изящные манеры.

Николай Елисеевич подумал-подумал, поухаживал за нею, сколько полагалось, женился и переехал на квартиру к тестю и теще: больше надобности в уроках он уже не имел и мог спокойно заканчивать свой юридический факультет.

Инженеры, доктора и адвокаты — таковы были три категории интеллигенции того времени, наиболее хорошо оплачиваемые. Инженеры строили дома, заводы, фабрики для купцов, промышленников и помещиков, доктора их лечили, при растущем успехе взимая растущие гонорары, а адвокаты для промышленников, купцов, для буржуазии того времени были чем-то вроде лоцманов для плавания по бурному деловому морю. Они помогли своим клиентам обходить разные подводные камни, особенно многочисленные вначале, у берегов, до тех пор пока клиенты не вырастали в крупных китов или акул и становились уже недостижимыми для разного рода законов в безбрежном море делячества.

А тогда адвокат, благополучно проведший своего клиента через все Сциллы и Харибды, становился их «юрисконсульт», чтобы наблюдать за соблюдением «мини-

мума этики», что, по известному определению, и является правом, и чтобы получать за это спокойно крупную ренту. У ловких, популярных адвокатов таких подопечных фирм бывала не одна, а несколько, и жизнь такой «купленной совести», как русский народ окрестил адвокатов, была вечным праздником.

В рождество, новый год, пасху, в именины самого адвоката, его супруги великолепные столы накрывались волшебным сами собой, точно так, как и у бессмертного Антона Антоныча Сквозника-Дмухановского. Купцы, промышленники, заводчики дружно старались убогатить «нужного человечка», не только за прошлые его заслуги, а и на всякий случай.

— От суммы да от тюрьмы не зарекайся! — гласит мудрая пословица, а адвокат умел «вызволить».

И вот однажды июньским прекрасным утром, накануне только что привернув на правый лацкан своего пиджачка эмалевый белый ромб с мальтийским голубым крестом, увенчанным двуглавым орлом, — таким был тогда университетский значок, — посоветовавшись с Аней, с ее мудрыми родителями, Николай Елисеевич решил идти в адвокатуру, причем работать не в Москве, а в провинции: лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе, — легче пробиться к хорошей жизни.

Так Николай Елисеевич и Анна Павловна в начале 90-х годов приехали в Кострому, остановились там в «Старом Дворе», в гостинице на углу Русиной улицы. По собранному уже в Москве справкам было известно, что наиболее популярным, а стало быть и зарабатывающим адвокатом был Вармунд Борис Владимирович. Сидя в гостинице у раскрытого окна на улицу, полную веселого треска железных колес и цоканья подков, они навели у старичка-лакея справки о Борисе Владимировиче. Тот сразу почтительно показал в окно:

— А вон ихний домик: белый особнячок-с...

После завтрака Николай Елисеевич и Анна Павловна прошли мимо дома. Домик, точно, был очень хорош, и супруги обменялись понимающими взглядами.

Николай Елисеевич со своей благообразной бородкой, в золотом пейсне предстал перед Борисом Владимировичем в его обширном, мореного дуба кабинете, заставленном мебелью мягкой кожи, с огромным письменным столом, с чернильницей в виде серебряного медведя.

Борис Владимирович дышал с хрипом и сидел, широко расставив ноги в полосатых брючках, а между ногами шаром повис круглый живот, украшенный золотой часовой цепью с брелоками, значками, жетонами и даже с золотым карандашиком.

— Садитесь, молодой человек! — сказал патрон, зорко скользнув по аспиранту взглядом. — Курите?

— О нет!

— Ну-с, положим, молодой человек, что вы ничего не знаете в тайнах юриспруденции...

Николай Елисеевич сидел на краешке стула, раздавленный величием своего будущего патрона, тяжестью шкафов, за стеклами которых стояли толстые, орленые тома Свода Законов Российской Империи, наконец, персидским ковром над диваном, на котором почему-то красовались два скрещенных турецких ятагана — дар благодарного клиента.

— Ну, может быть, что-нибудь я все-таки знаю! — скромно, очень скромно, не сказал, а вымолвил Николай Елисеевич. — У меня диплом первой степени.

— Сочинение на какую тему?

— «Рецепции византийских изборников права в русских судебныхниках XV века»...

— Ха-ха-ха! — смеялся Борис Владимирович, и живо его прыгал. — Ну, кому в Костроме, скажите, нужны ваши изборники? Да еще византийские! Да еще XV века?! У нас, знаете, только одна рецепция — не пропускать сроков апелляций. А иногда и просто сроков судебных заседаний. А то, знаете, бывает иногда... — юмористически вздохнул он. — Римские права здесь ни к чему не нужны. Деревня живет вообще по обычному праву. А наше дело, молодой человек, — это практика... Да, практика. Это — главное!

Борис Владимирович принял Николая Елисеевича для прохождения стажу в свои помощники. Сначала тот посидел для строгости на пище святого Антония, выступал по трехрублевым делам в мировых судах, а там, проявив недюжинную природную ловкость, обходительность, пошел в гору.

В этом провинциальном царстве колокольного звона и губернаторского блеска, где никто из обывателей не знал никаких законов, где все боялись всего, знание законов выгодно избавляло Николая Елисеевича от ужаса и оце-

пенения: при случае он мог ведь и сам подложить свинью губернатору, написав на него в Сенат. Хорошо же подвешенный язык и некоторая беззастенчивость быстро двигали его вперед по лестнице социальной иерархии. К этому нужно прибавить такое сильное средство для завоевания успеха, как политические дела.

Политические дела, конечно, были ничтожны с точки зрения гонорара — кто же из политических мог крупно платить? Но зато на политических процессах можно было безопасно и искусно блеснуть либерализмом, поговорить о свободе, о правах человека, закончить речь эффектной фразой, вырвать слезу у публики и вздохи у присяжных заседателей.

Успех эмоционального воздействия адвокатов на присяжных заседателей в политических процессах повел, как известно, к тому, что царское правительство перенесло политические процессы в военно-окружные суды, отдавая подсудимых на расправу военным судьям, хотя для этого приходилось объявлять на положении усиленной охраны или даже на военном положении целые губернии и держать их на таком положении годами. Например, город Кронштадт к 1905 году был на положении усиленной охраны уже более тридцати лет подряд. Подсудимые в таких судах по большей части шли на виселицу, в лучшем случае — на каторжные работы, адвокатские речи в газетах не публиковались, но отдельные фразы, словечки все-таки широко расходились по публике и прибавляли еще больше сияния адвокатскому ореолу.

И теперь, в расцвете лет, успеха, обеспеченности и полный новых политических надежд, Николай Елисеевич подходил к Анне Павловне в отличнейшем настроении.

— Чем увлекалась, Аничка? — спросил он, держа одну руку в кармане, а другой ласково глядя жену по голове.

— Последний сборник «Знания» — «Поединок» Куприна.

— Ну, как?

— Изумительно! Военщина показана беспощадно. Какое убожество! Какие опустившиеся люди. Все пьяницы...

— Согласно приказу по Туркестанскому военному округу генерала Церпицкого у нас в армии 80 процентов офицерства — алкоголики, — сказал Николай Елисеевич, вплотную приблизив лицо к большому трюмо и скосив

глаза, рассматривал вскочивший на правой поздре розовый прыщик.

— Книга будет иметь громадный успех... Сколько язв... Нужны срочные реформы.

— И реформаторами будем мы! — отойдя от зеркала, воскликнул Николай Елисеевич. — Мы в Думе коснемся этих язв... Черт возьми, просто интересно жить... Аничка, ты знаешь, что думаю?

— Да?

— В конце концов, — тут он перешел на шепот, — придется нам перебираться в Петербург.

— А твоя практика? Как же расстанешься с этой твоей рыжей Еленой Михеевной?

— Практика! Пфф! Что такое практика? Миф! Вспреди громадная политическая работа! Мы, кадеты, накануне производства в политические генералы. Господин полковник Романов, ваше величество, потрудитесь принять наши условия. Наше министерство... Наше, черт возьми, премьерство! А тогда...

— Что тогда?

— Да как же нам тогда жить в Костроме? Фи!

Николай Елисеевич так ясно-ясно — до дрожи в спине — видел уже: вот он народный избранник... Он ездит по стране и произносит речи. И какие речи... Он прост, скромн, всем доступен. Перед ним море голов. Он говорит, говорит. Гул идет по стране. По всей России... А какую изумительную речь он произнесет, если встанет во главе России! Все газеты напечатают ее по всему миру...

Он с усилием оторвался от этих захватывающих мечтаний, провел рукой по глазам. Это все потом... Теперь нужно бороться. Ехать в Москву... Сельмого октября съезд адвокатов. Надо узнать всю обстановку...

— А железные дороги? Если они остановятся?

— Думаю, что я успею проскочить. Ждать там кадетского съезда не буду. Вернусь, а потом опять, если нужно будет, поеду. Ведь всего десять часов езды. А по возвращении из Москвы, Аничка, нужно будет собрать политическую публику. Из всех слоев... Прощупать настроение. Чтобы быть информированным из первых рук. Как ты думаешь?

Да разве могла Анна Павловна думать иначе? Разве не оба они, такая блестящая пара, создали эту квартиру,

этот уют, эту спокойную, бездумную, комфортабельную жизнь?

— А где? — только спросила она.

— Конечно, у нас!

— Отлично... Но кого пригласить?

— Прежде всего молодежь. Она горяча, экспансивна, она — залог успеха, она подымет сразу меня на щит... Со стариками разговаривать нечего — они любят только вспоминать... Ну, конечно, и политиков — социал-демократов, эсеров... пожалуй, Наймушина и священников. Нам придется иметь с ними дело. Они полезны. Ну, хотя бы этого отца, Василия Соколова!

— Почему его?

— А он даже на дамском велосипеде ездит!

— Пожалуй, оригинально! — закурила Анна Павловна новую папиросу. — Устроим просто — чай, булочки, пирожное от Тшарнера. Варенье...

— Ты у меня умница, — поцеловал он жену в голову. — А что у нас сегодня на обед? Признаться, я проголодался...

И Николай Елисеевич, потирая руки, прошел в столовую:

— Дашенька, я есть хочу!

Пиво Карп Егор Егоровичу таскал теперь прямо в кабинет, несмотря на строгий приказ Татьяны Петровны:

— Здесь мне кабака не устраивать!

Что делать? Телеграммы валили валом, и все же не отражали всех событий. Правительство закрыло волнующиеся Московский и Казанский университеты, и студенты поехали в провинцию, увеличивая там прогрессивные силы. Правительство продолжало свою вызывающую политику, закрывая, громя, разгоня общественные организации, арестовывая прогрессивных деятелей. В Москве объявилась целая «партия Чудова монастыря», ее глава, епископ Никон, жил в Кремле, в Чудовом монастыре, и писал оттуда свои воззвания.

«На улицах городов, на улицах столицы, — писал этот венстовый бородатый черносотенец, — бушуют только рабочие, требуют невозможного, не слушают никаких увещаний, готовы обратиться в диких зверей, выпущенных из клеток. Против же зверей одно средство — оружие...»

Это было следствием манифеста 18 февраля. Со страниц правых газет и журналов черносотенные политики требовали военной диктатуры, требовали крови.

Было ясно, что реакция во главе с царским правительством делала все, чтобы великий размах народного движения, начавшегося в январе 1905 года, постепенно сгаснуть на нет, утихомирить, сгладить, задушить.

Но невидимый радиант продолжал действовать неутомимо, непрестанно, с возрастающей энергией, рассылая все новые и новые указания, как поддерживать, увеличивать, направлять усилия масс к освобождению, к избавлению от самодержавия.

«...Нужна бешеная энергия и еще энергия... Идите к молодежи, господа! вот одно единственное, все-спасающее средство, — писал Ленин в своем письме Петербургскому Комитету Российской социал-демократической рабочей партии. — ...Основывайте *тотчас* боевые дружины везде и повсюду и у студентов, и у рабочих особенно... Пусть тотчас же организуются отряды от 3-х до 10, до 30 и т. д. человек. Пусть тотчас же вооружаются они сами, кто как может, кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога и т. д. Пусть тотчас же эти отряды выбирают себе руководителей и *связываются*, по возможности, с Боевым комитетом при Петербургском комитете. Не требуйте никаких формальностей, наплюйте, Христа ради, на все схемы, пошлите вы бога для все «функции права и привилегии» ко всем чертям. Не требуйте обязательного вхождения в РСДРП — это было бы абсурдным требованием для вооруженного восстания. Не отказывайтесь связываться с каждым кружком, хотя бы в три человека... Пусть 5—10 человек обойдут в неделю *сотни* кружков рабочих и студентов, влезут всюду, куда только можно, и везде предложат ясный, короткий, прямой и простой план: образуйте тотчас же отряд, вооружайтесь, чем можете, работайте изо всех сил, мы поможем вам, чем сможем, но *не ждите от нас, работайте сами*».

Чтобы закрепить достигнутые успехи народного движения, чтобы остановить поднимающееся самодержавие, нужны были все средства, нужно было восстание с оружием в руках. Это будет дальнейшим туром в общенародной борьбе...

Радиант понемногу обозначался, он оказывался в Женеве. В Швейцарии.

На берегу голубого озера, которое обступили Альпы с их снежными вершинами, лежит городок Женева — чистенький, спокойный, буржуазный, как все городки Швейцарии. Там, в предместье Сешерон, на краю города, стоит маленькая дачка. В нижнем ее этаже большое помещение — кухня с плитой, в которой постоянно горит огонь, подогревается большой чайник — многочисленные посетители любят чай. В небольшой комнатке рядом с кухней живет мать хозяйки этого дома — старушка, никогда не покидавшая дочери в ее скитаниях.

Из кухни узкая лесенка ведет наверх, где под крышей помещаются две комнаты. Обстановка самая простая — некрашенные столы, заваленные книгами, журналами, рукописями, по стенкам деревянные полки с книгами, ящики вместо шкафов. В каждой комнате по койке, покрытой пледом, да пара стульев...

Вот и все!

Здесь живут Владимир Ильич Ленин и верная спутница его жизни, его помощница Надежда Константиновна Крупская...

На столе Ленина — счеты: он подсчитывает на них не доходы, как купец Федосеев в Кинешме или как фабрикант Елизаров в Костроме. Он подсчитывает на них количество оставшихся безлошадными, безземельными крестьян в каждом уезде России, цифры, которые собирают по всей России земские статистики.

Он отмечает здесь количество земель, отобранных у крестьянства новыми богатеями, растущее количество батраков, сезонных рабочих в помещичьих экономиях и усадьбах. Он видит отсюда прилив обнищавшей, ободранной до кожи деревни в город, он видит, как народ, сплываясь в городах, на фабриках, закладывает бастионы будущей борьбы — эти Запрудни, Пресни, Выборгские стороны, Талки. В этих бастионах бурлит, из них расходится новая, живая, освобождающая мысль... По указаниям отсюда работают пропагандистские и агитационные кружки, здесь закладывается экономическая борьба с предпринимателями, переходящая в политическую... На этих счетах подсчитывается каждый день количество бастующих рабочих, количество выступлений их по всей стране, наконец — рост вооруженных отрядов...

На столе Крупской пузырек с секретными чернилами, написанное которыми незаметно на первый взгляд, и может быть прочитано лишь после известного проявления. Здесь хранятся условные ключи к переписке, шифры... Надежда Константиновна без усталости проявляет, расшифровывает здесь всю получаемую по разным адресам корреспонденцию, зашифровывает, рассылает по всей России письма и директивы. Здесь хранятся сотни сложных адресов, десятки псевдонимов. По всей России раскинуты точки, где живут верные друзья-товарищи. В Самаре живут Грызуны, Клэр, Медвежонок; в Полтаве — Курц; в Астрахани — Дядькина; в Пскове — Лапоть и Паша. Разъездными агентами, распространяющими издания партии, являются Аркадий, он же Касьян, он же Бродяга. В Москве работают Бауман (Дерво) и с ним Бабушкин (Богдан). В Питерской организации — Стасова (Абсолют).

За своим столом день-деньской работает и Ленин — плотный, ладный, в синей ластиковой рубашке. Отсюда он вводит в действие, в жизнь свои огромные познания ученого-социолога, философа, экономиста, результаты десятилетия работы в библиотеках, зоркого изучения действительности, размышлений над историческим и политическим опытом человечества. Здесь отточенная в стальные формулы марксистская теория претворяется в практику. Здесь оформляются итоги истории родной страны, здесь определяются ее воля, ее чаяния, здесь прокладываются будущие пути всего человечества.

Никогда еще за всю историю человечества не создавалось такой могучей, на народные массы опирающейся, с ними накрепко связанной революционной организации — сплоченной, дисциплинированной, боевой, ставившей перед собой великие цели, какой была эта революционная организация, созданная под руководством Владимира Ильича Ленина при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Размах этой работы был настолько огромен, что какой-то незаметный гимназист Прокшин, затерянный где-то на Нижней Дебре в Костроме, оказывался связан с волей Ленина, и для него, Николая Прокшина, уже звучало слово Ленина:

«Мы хотим добиться нового, лучшего устройства общества: в этом новом, лучшем обществе не должно быть

ни богатых, ни бедных, все должны принимать участие в работе. Не кучка богатеев, а все трудящиеся должны пользоваться плодами общей работы. Машины и другие усовершенствования должны облегчать работу всех, а не обогащать немногих на счет миллионов и десятков миллионов народа. Это новое, лучшее общество называется *социалистическим обществом...*»

Заводские кружки для нас особенно важны, — уже отчеканил Ленин свою основную мысль, — ведь вся главная сила движения в организованности рабочих на крупных заводах. Каждый завод должен быть нашей крепостью.

И сюда, в Женеву, в этот центр великой работы, едут товарищи со всех сторон необъятной России: здесь штаб борьбы, которую ведет обезземеленный, воспитывающийся на фабричной работе народ за свое будущее... Здесь уже намечен путь, каким пойдет это движение.

«Пролетариат должен провести до конца демократический переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, чтобы раздавить силой сопротивление самодержавия и парализовать неустойчивость буржуазии. Пролетариат должен совершить социалистический переворот, присоединяя к себе массу полупролетарских элементов населения, чтобы сломить силой сопротивление буржуазии и парализовать неустойчивость крестьянства и мелкой буржуазии».

В Женеве, на Рю Каруж, 42, выходит в кооперативной типографии газета — сперва «Вперед», потом «Пролетарий». Четыре странички убористого мелкого шрифта на тонкой бумаге пойдут через границы царской России, ища пути к ждущему их читателю — через команды русских и иностранных пароходов, в корзинах, в чемоданах с двойным дном, употребленные в качестве упаковки для импортных товаров, или запросто в багаже отважных товарищей... Путь трудный, при котором большая часть посылаемого наверняка не дойдет, но часть все же дойдет, сделает свое дело, и там, в царской России, после недель, месяцев своего пути, детонирует мысль, создаст новые узлы цепной реакции...

Отсюда изыскиваются, налаживаются и направляются в Россию разными путями транспорты оружия.

Сюда, в Женеву, в огромном количестве идут письма и рабочие корреспонденции со всей России, идут не пря-

мо, а через условные адреса в других странах — во Франции, Германии, Италии, Швеции... Писанные на простые житейские темы, они буквально «между строк» имеют зашифрованные сообщения, выведенные невидимыми чернилами.

На кухне у большого стола, у топящейся плиты Ленин вел беседы с приезжающими из России. Сюда ехали не рядовые люди. У каждого из приехавших за плечами — большой политический опыт, своя боевая биография. Каждый из этих товарищей, чтобы пробраться сюда, за рубеж, сумел избежать русских жандармов, получить документы, переползти границу в слякотную осеннюю или вьюжную зимнюю ночь, рискуя попасть под пули и своих и чужих пограничников... Страна посылала сюда самых своих отборных, испытанных, закаленных сыновей и дочерей.

Здесь же, в Женеве, работали самые верные, самые способные, очень немногочисленные товарищи, газетные сотрудники...

Здесь же, в Женеве, живут и противники Ленина, его беспощадные критики, и в борьбе против них как раз крепнет ленинская мысль, проверяются ее основные установки. Это — меньшевики во главе с Мартовым, связанные с мировой социал-демократией, с интеллигентами социал-демократами в России. Их критика так концентрирована, едка, придиричива, что после нее Ленину ничего уже бояться другой критики.

III съезд партии в Лондоне, куда выезжал Ленин, уже определил путь вперед, как путь через вооруженное восстание.

Радикант действовал все энергичнее и энергичнее. В России горой подымалось стачечное движение.

В Московском университете проходит ряд открытых митингов, на которых выступают большевики. 7 октября 1905 года забастовал весь Московский железнодорожный узел, за исключением лишь дорог Николаевской и Савеловской. Это было начало всероссийской политической стачки.

9 октября в Петербурге открылся делегатский съезд железнодорожников, с первого же заседания поставивший себе чисто политическую программу. Съезд потребовал от правительства в весьма решительных выражениях отмены смертной казни, объявления гражданских свобод и нако-

нец созыва Учредительного собрания по четырехчленной формуле.

Резолюции съезда были представлены князю Хилкову, министру путей сообщения, и новопожалованному «графу» Витте — председателю Совета министров, но переговоры с правительством не привели ни к чему.

12 октября 1905 года съезд объявил общую железнодорожную забастовку.

Все железные дороги Российской империи замерли, остановились, за исключением Сибирского пути, по которому демобилизованная армия возвращалась на родину... Десятилетиями сложившаяся, налаженная жизнь страны остановилась. Железнодорожников по всей стране поддерживали профессиональные организации, и жизнь замерла в таких центрах, как Москва, Петербург, Харьков, Екатеринослав, Минск, Козлов, Лодзь, Варшава, Курск, Белосток, Воронеж, Саратов, Самара и другие. Надвигалась буря революции.

Среди сознательной молодежи, приглашенной в те накаленные дни «на чашку чая» к Николаю Елисеевичу, оказался и Николай Прокшин. В воскресный вечер сквозь черный переплет веток тополей и лип на бульваре георгиевом пылал великолепный октябрьский закат, на коричневых дорожках краснели лужи, бесчисленные галки с горьким клёкотом, свиваясь полотенцем, носились над крышами, крестами, куполами церквей. И в осенней торжественности мысли Николая вспыхивали одна за другой.

В гимназии вот-вот начнется забастовка, все время идут сходки. По городу ползут смутные слухи, что вот-вот Запрудня бросится на город и всех перережет «ножиками», которые она будто бы готовит для восстания.

А когда Николай купил себе наконец ружье, несчастную свою рассверленную берданку, Митревна просто рыдала в голос:

— Ну, теперь Колька нас всех перестреляет! — стонала она.

Что делать? Уйти бы, бросить бы свою тишайшую Нижнюю Дебрю, улететь, вот как сейчас по заре на юг улетают припоздавшие журавли. И в то же время было чего-то невероятно жаль, жаль чуть не до слез, до спазмы в горле.

— Чего?

Размышления не помогали, они волновали, увеличивали сомнения, укорачивали волю. Видно было, что надо идти с надвигавшимся. Шло новое, и оставаться со старым — значило изменять новому. Но в то же время надо было думать, нельзя было терять головы: какая бы его, Николая, ни постигла судьба, в конечном-то счете он сам отвечал за себя, за свои действия...

У Огородниковых ламп еще не зажигали — Анна Павловна осенью любила сумерничать, квартира была полна красным светом, когда горничная снимала в передней шинель с Николая.

Худая, элегантная дама в дверях гостиниой по-студенчески сердечно жала руку широкоплечему семинаристу.

— Вы Темпераментов? — говорила она. — Очень рада видеть вас, Темпераментов. Много слышала о вас!

«Вероятно, хозяйка!» — догадался Николай и в свою очередь подошел к ней.

— Вы Прокшин? Очень рада вас видеть, Прокшин! Много слышала о вас! — сказала Анна Павловна и ему. Николай улыбнулся про себя.

«Хоть бы фразу-то перевернула!» — подумал он.

В гостиниой встречал гостей Николай Елисеевич: он должен был в качестве будущего народного избранника вербовать себе сторонников. Он жал руки семинаристам, гимназистам, какому-то поручику. Перед Николаем прошла приземистая фигура техника с огромной буйной шевелюрой — не то Седова, не то Ситова, мелькнула приземистая сбитая девушка с энергичным выражением глаз — Беркина, скользнул и ушел в сумрак Ливенцов, еще и еще кто-то. Особенно сердечно Николай Елисеевич тряс руку священнику в широкой фясе — отцу Василию Соколову, гимназическому законоучителю, тому самому, что бойко колесил по Костроме на дамском велосипеде к вящему смущению архиерея: владыка затруднялся определить, как следует относиться к велосипеду с точки зрения апостольских правил.

Николай вошел в столовую, где против пылающих окон чернели силуэты приглашенных. На чайном столе светились сквозь решетку угли в самоваре, блестели стаканы, серебро, подносы, вазочки с вареньем.

— Николай, здорово! — раздался басовитый, ворочающий на «о» костромской голос.

Перед ним стоял этот самый семинарист Темпераментов, известный эсер, широкоплечий, чем-то похожий на Прозорова. С ним Николай встречался на митингах на реке.

— А Мишка где?

— Не будет, — отвечал Темпераментов шепотом. — Не нравится ему здесь. Буржуазно очень... Говорит, ни черта не выйдем.

— Господа, — возгласил наконец хозяин, — прошу вас занять места за столом. Но придется, однако, зажечь свет. Даша, зажги-ка, пожалуйста, нам лампу!

Даша зажгла висящую на бронзовых цепях лампу, ловко задернула тяжелые гардины на окнах.

Собрание шумя расселось, хозяин поднялся со своего места.

— Господа, разрешите начать!

Его лицо в пенсне повисло как раз над вазочкой с малиновым вареньем.

— Господа, — говорил он. — Вне всякого сомнения переживаемый нами исторический момент требует самого внимательного к себе отношения. Можно сказать, каждую минуту, каждый час мы получаем известия со всех сторон все о новых и новых событиях... Народ подымается повсюду. Бурлит Поволжье, в волнении Кавказ, серьезное народное движение в Прибалтике, бастует весь Западный край, Польша... Отзываются старые преступления царской власти... Время трудное, но мы счастливы жить в нем, господа! Мы торжествуем! Да, мы торжествуем! Великая, первая в мире империя действительно требует себе демократических реформ!

Оратор раскраснелся и почти при каждой своей фразе поправлял докучливое пенсне.

— Еще немного, господа, и нам всем, зрелым, да и вам, молодым, придется сказать, повторить святые слова Иоакима и Анны: «Ныне отпускаеши...» Мы увидели спасение нашего народа.

— Ну, положим, это совсем из другой оперы! — крикнул Темпераментов. — Симеона с Анной смешал! Либерал!

— И не только мы можем повторить их, но и те, кто жили раньше нас, кто отдали жизни за демократию... С нами тени Радищева, Новикова и декабристов, Пушкина и Лермонтова, Белинского и Гоголя, Чернышевско-

го и Добролюбова, Некрасова и Писарева и всех других, положивших жизнь за други своя.

— И вот, господа, — продолжал Николай Елисеевич, всаживая обратно соскользнувшее пенсне, — в преддверии великих событий мы должны быть в состоянии дать себе полный отчет, что же мы должны делать сейчас же, как только переступим этот заветный порог? Как, собственно, мы предполагаем в это завтра строить нашу новую, светлую жизнь? По этому-то вопросу и хотелось бы обменяться с вами мнениями, господа! Кому угодно высказаться о том, что нужно будет делать сейчас же после того, как случится то, чего мы так ждем? Нам нужно, нужно быть готовыми! Кому угодно слово?

Молчание. Анна Павловна обвела всех взглядом и, дымя папирсой, погладила покрывало на чайнике в виде пестрого гарусного петуха.

— Господа, не угодно ли кому еще чаю? — осведомилась она любезно.

— Попрошу! — пробасил Темпераментов.

— Попрошу! — живо отозвался Огородников. — Говорите, господин Темпераментов.

— Да нет, я чаю прошу! Я помолчу...

Было слышно, как звенели ложечки о стаканы.

— В таком случае, — тихо попросил Козлов, — позвольте слово мне.

— Попрошу.

— Мне несколько непонятна постановка вопроса господином Огородниковым! — начал Виктор. — Да, непонятна! Как истинный кадет, он, во-первых, как мне кажется, слишком уклончиво говорит о «событиях». Какие это именно события имеет он в виду? Очевидно, настолько важные, что после них придется «что-то делать»! Очень характерно! Очевидно, до сих пор, по мнению господина Огородникова, не было таких событий, а значит и делать было нечего?

— Позвольте-с, милостивый государь, — схватился за дрогнувшее пенсне Огородников. — Что означают ваши слова?

— Как раз то, — спокойно продолжал Козлов, — чем характеризуются действия ваших кадетов... Бездействие, выжидание — вот ваша стихия! Кто действует? Народ! Он восстает, требует, грозит, бастует, терпит бедствия, голодует. А что делают кадеты? Да только ждуг

того, когда им «после событий» будет возможно действовать... Что же значат эти действия буржуазии? Рабочий класс, вышедший из согнанного с земли крестьянства, борется, действует, а за его спиной либеральная буржуазия кивает головой направо и налево и крадется к власти... Она хочет захватить власть. Каким образом? Очень просто! В демократической революции! А кто ее делает, эту демократическую революцию? Пролетариат!

— Ох, молодость, молодость, господин Козлов! — встал Николай Елисеич, мягко улыбаясь.

— Господа кадеты выжидают, а рабочие действуют! Рабочие сделают демократическую революцию, создадут, положим, временное правительство, а этим правительством станут править по праву образованности и культурности кадеты... Рабочие вытащат из огня каштаны, а господа кадеты будут их кушать! Расчистят дорогу, а мы поедем в коляске. Так, что ли, господин кадет?

— Протестую! — тоненько закричал Николай Елисеич, подымая руки кверху, отчего его жилет тоже въехал наверх. — Несправедливо! Кадеты вместе с народом! вспомните похороны Трубецкого! Господа, теперь, во время растущей всеобщей забастовки, вот что говорит наш съезд адвокатов! Извините, минутку!

Николай Елисеич быстренько сбегал в кабинет и принес «Костромской листок».

— Вот-с... «Съезд адвокатов, состоявшийся 5 октября, постановил, — читал он: — Всеми мерами морально поддерживать всероссийскую забастовку, войти в Союз всех профессиональных союзов, протестовать против смертной казни и вступить в Государственную думу, но не для органической работы, а для того, чтобы добиться четырехчленной формулы при новых выборах в думу...» И если вот в эти самые дни в Москве состоится наш съезд конституционалистов-демократов, то лидер наш, профессор — профессор, господа! — поднял он вверх палец, — Милюков вот что заявит... Вот-с! — развернул он бумажку: — «В настоящее время по всей России происходит беспрецедентное по размерам и по характеру движение организованных рабочих масс...»

— Ага! — мило улыбнулся Погребецкий. — «Организованных рабочих!» Кем, не вами ли уж организованных?

— Господа, соблюдайте порядок выступлений! — ос-

тановил Марка величественным жестом Николай Елисеич и понесся дальше:

— «Движение это проявляет уже теперь ту высшую степень силы, которая характеризуется самообладанием!»

— Лестно! — заметил Козлов.

— «Движение знает, чего оно хочет, к чему стремится! Требования забастовщиков, как они формулированы ими самими, сводятся главным образом к немедленному введению основных свобод, свободному избранию народных представителей в Народное собрание на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования и к общей политической амнистии...» Вы согласны с этим? — отнесся оратор к Виктору и Марку.

— Вполне!

— Вот почему проект постановления нашей партии и гласит: «Не может быть ни малейшего сомнения, что все эти цели общи у них с требованием конституционно-демократической партии. Ввиду такого согласия, — подымал оратор все более голос, — учредительный съезд партии к.-д. считает долгом заявить свою полнейшую солидарность с забастовочным движением...» Вас это устраивает? — обратился он к Козлову.

— Вполне! — повторил тот. — Не устраивает одно: в росте этого движения вы, кадеты, не принимаете ни малейшего участия. Например, известно, что сегодня в Михинском сквере состоялось собрание рабочих костромских фабрик, вынесена резолюция об организации забастовки в Костроме в знак солидарности со всероссийской забастовкой. Вы там были? Заявили о вашей точке зрения?

— Но я не уполномочен на это! Я только докладываю это почтенному собранию в порядке информации.

— И еще одно: вот тут мы видим представителей учащих, костромской интеллигенции, даже духовенства, офицерства. Но почему нет здесь ни одного рабочего? И это при «солидарности» с рабочим движением, про которую вы говорите... Считаю неправильным! Рабочие делают события и будут их делать и впредь!

Голова у Николая Елисеича уже кружилась. Все плыло, как в тумане, а главное, Анна Павловна улыбалась мертво и вымученно: он, он-то отлично знает, что означает такая улыбка — сегодня же, после того как все разойдутся, состоится несомненно «разбор маневра», как

называет он эти ночные, бесконечно длинные собеседования, полные яда, пыток и раздражения, которые всегда заканчиваются одним и тем же трагическим возгласом:

— Ничтожество! У!

— Однако мы, социал-демократы, можем сказать, что будет после этого. Вы, кадеты, получив демократическую свободу, полезете в правительство, а нам на этом оставаться не приходится... Вы сможете сидеть в парламенте рядом с фабрикантом, с тем самым, что последний крест у рабочего с шеи снимет за подмоченный сахар и тухлую крупу из заводской лавки. Нет, мы, социал-демократы, взяв власть, двинемся дальше...

— Куда же это, позвольте вас спросить? — вздернул голову Николай Елисеевич.

— Да, дальше. После того как самодержавный строй падет и демократия вступит в строй, революция не останется... Она будет перерастать в социалистическую. Вот вам наш ответ на ваш вопрос, что социал-демократы будут делать после неких, как вы выражаетесь, «событий»! Да вы бы могли найти этот ответ в нашей литературе...

— Простите, в какой это «нашей» литературе? — раздался тихий, вежливый голос рядом с Николаем Елисеевичем. Взоры всех повернулись на говорившего. Это был тоже местный адвокат Шнееров Владимир Андреевич — хорошо одетый человек с испитым, ироническим, чуть мефистофельским лицом. Социал-демократ-меньшевик, окончивший в эмиграции заграничный университет, он вернулся в Россию, где главным образом занимался адвокатурой.

— В социал-демократической! Ясно?

— Однако существует бесспорно социал-демократическая литература, — такая, как известные всему миру книги Каутского, книги Бебеля и других германских товарищей... — Шнееров пожевал толстыми губами большого рта, так что стрелки усов и острие бородки задвигались в разные стороны.

— Книги людей, создавших действительно могучее социалистическое движение в Германии, — продолжал он. — Там нет того, что вы изволите говорить! То, что вы изволите говорить, есть известное твердокаменное направление в русской социал-демократии, единодушно осужденное всем культурным миром. Недаром Бебель при просмотре резолюций II съезда нашей партии заявил, что

он голосовал бы тоже с меньшевиками, против Ленина. Сам Бебель! Мы, верные социал-демократы II Интернационала, мы против таких нажимов, какие вы изволите делать. Социал-демократическое движение — это прежде всего движение культурных людей. И поэтому я солидаризируюсь в точках зрения со всем тем, что высказал здесь уважаемый Николай Елисеевич.

И с тихой улыбкой он дружески покивал хозяину, улыбнувшемуся тоже удовлетворенно.

Козлов вскинулся на обоих адвокатов:

— Известно ли вам, господа, что растет черносотенное движение? Будете ли вы с ним бороться? На кого обопретесь? Что противопоставите черной сотне? Погромщикам? Грабителям?

— Силу организованного общественного мнения! Общественной совести! — отвечал Николай Елисеевич.

— Ха-ха-ха! — раздался смех. — Пашка Слободской вас будет тащить в кутузку — попробуйте, вызывайте к его общественной совести. Да ее у него просто нет!

— А на что же вы обопретесь, вы, молодой человек, позвольте вас спросить? — осведомился Огородников.

— На Запрудню! — отвечал Козлов. — На Запрудню! На рабочие массы. Они знают, чего хотят! Что им нужно!

— Неправильно! — вдруг взревел Темпераментов. — Ерунда на постном масле! Для строительства социализма нужны не рабочие, а настоящие люди! Живые, а не вываренные в этом знаменитом котле капитализма.

— Вы правы, господин Темпераментов! — замахала рукой с папиросой Анна Павловна. — Да, вы правы! Фабричное восприятие так узко... Фабрика душит красоту жизни! Как и город! Как железные дороги... Ах, красота! Вы, господа, читали Гамсуна «Пан»? «Викторию»? Вот где настоящая, первобытная мощь природы.

— Однако теперь, когда бастуют железные дороги, никто не видит первобытной красоты бездорожья! — отпаривал Козлов. — Никто! Или вы сами не вздыхаете по столичным газетам, которые сюда не приходят?

— А телеграммы?

— Подождите, и телеграфисты забастуют.

— Да не в том дело! — опять забушевал Темпераментов. — Вот Анна Павловна настолько городская жительница, что природу может понять только через Гам-

суна... Только... Эдакую густо лакированную природу... В сыром, русском виде ее вам не понять. А вы смотрите просто, вот как я. Мне говорят: фабрика! А я вижу — голый, ободраный мужик у станка. В одних портках и рубахе. Мне говорят: капитал — это собственность священная! Какая такая священная, когда капитал только у Елены Михеевны, а у мужика нет никакой собственности. Земля-то — божья! — пробасил он. — И нечего здесь по фабричным кварталам кружить, когда надо прямо в деревню спешить, к мужику на помощь... Убрать царя, бюрократов к черту, а вот там пойдет работа на земле... Бей в голову всех, кто мешает, а жизнь сама покажет, как найти хорошее. Вот это мы и будем делать!

Козлов смотрел на Темпераментова горящим взглядом.

— Бить? И только? — заговорил он, сдерживаясь из всех сил. — Вы не революционеры! Вы — просто крикуны! Да, крикуны... Вы террористы. И ваш терроризм не есть следствие вашей революционности... Наоборот-с! Ваша революционность — следствие вашего терроризма... У вас нет теории и не может быть, нет и плана, как действовать! Вы, по существу, анархисты, а анархисты — это каждый босьяк, каждый выбитый из колеи интеллигент. Больше ничего! Наш план — как действовать — дает наука, дает самое прогрессивное учение об обществе — марксизм... Все силы, все возможности, все богатства народа должны быть учтены, мобилизованы и двинуты в дело... При этом мы вовсе не ограничиваемся тем, что будет экспроприровано у капиталистов — это ничтожно. Главное, сама техника должна быть всемерно двинута вперед. Бесконечно вперед! Все, что дала прошлая наука, вся культура, — должно быть учтено и использовано. Мы будем строить новые города, новые железные дороги среди широких полей. Техника и наука избавят народ от примитивного, тяжелого труда. Работать станет легче, радостнее. И прежде всего человек будет свободен от эксплуатации человеком. Социал-демократия зовет всех к новому, лучшему строю, основанному на науке... Вот пока мои замечания!

— Кому еще угодно высказаться? — спросил Николай Елисеевич.

Поднялась рука в широком рукаве рясы.

— В таком случае, уважаемые господа, не понимаю, почему считают, что социал-демократия противоречит христианству? — тихо и страстно заговорил под общие иронические улыбки священник. — Никогда христианство не говорило против прогресса! Во всем священном писании вы не найдете ни одного слова в защиту собственности! В нем восхваляется только труд, как основа благополучия... Но материальное благополучие должно сопровождаться и духовным прогрессом... Царство божие должно быть построено на этой новой земле! Таковы суть мои краткие замечания!

Марк слушал все эти речи, то вертя ложечкой в стакане остывшего чая, то водя пальцем по нарядной скатерти. Когда священник замолк, нервно помаргивая и теребя свой наперсный крест, Марк поднял голову и хмыкнул.

— Вы все рассуждаете по-маниловски! — мрачно начал он, посверкивая взглядом. — Словно заданный урок отвечаете. Вы все непременно хотите облагодетельствовать народ, принести ему свободу и счастье. Счастье! Хм! Счастье! Благополучие... Старая бабушкина сказка о счастье! Буржуазная отрыжка!.. На этом революция остановится? Нет! Революция должна разбить старую мораль насилия над душой, именно эту мораль мещанского «счастья». Революция не остановится в одной стране, она должна обойти весь мир...

Марк оглядел столовую, сверкающий стол, ореховый буфет в венецианском стиле, с резьбой в виде дев, цветов, фавнов, амуров, бронзовую лампу.

— Мы должны сказать прямо, что такая обстановка, как здесь, у наших хозяев, не могла быть приобретена действительно из трудового дохода!

— Молодой человек, — приподнялся с места задохнувшийся хозяин. — Прошу вас не касаться присутствующих!

— Нет, вот именно мы должны коснуться личностей! — уже кричал Марк. — Должны! Ни у одного подлинного демократа не может быть такой обстановки, как у вас, — этого не позволит его моральное сознание. Такая роскошь — преступление! Она поражает воображение простых людей. Мы поднимаем голодных людей против такой роскоши чтобы те в гневе и негодовании уничтожили, разбили ее. Один против другого, бедняк против кулака,

рабочий против хозяина, крестьянин против помещика, рабочий и крестьянин против бездушного чиновника.

Марк задыхался, кашлял, грозил поднятыми вверх кулаками.

— Марк, революция есть организация! — кричал Козлов. — Она устройство жизни!

А Николай Елисеевич улыбался снисходительно:

— Ах, горячки! Ах, молодежь!

Как будто теперь его положение укреплялось: подымался обычный, общий спор, в нем «горячки» запутаются, и тогда его, Николая Елисеевича, положения будут образцом ясности, всплывут наверх, как рыба в мутной воде. Он будет абсолютно конкретен.

Теперь говорили все поперебой, махая руками. Даже Анна Павловна в повышенном тоне командовала, кому налить чаю. И, спасая положение, Николай Елисеевич по-хозяйски загремел ложечкой о стакан.

— Простите, господа, — начал Огородников, — но вопрос, поставленный мною вопрос остался пока без ответа. Повторяю вопрос: что нам, нам — вот нам, собравшимся здесь, — делать непосредственно на другой день после свершившихся событий...

— Ну, революции! — крикнул Темпераментов. — Говорите прямо!

— Положим — революции. И мы имеем уже на один вопрос три ответа.

Последовала пауза, отдаляющая сказанное от последующего.

— К сожалению, все три ответа — неудовлетворительны. Они все противоречат друг другу. А между тем, чтобы жить в обществе, — Николай Елисеевич наклонил голову набок и с улыбкой развел руками, — надо прежде всего согласие между его членами! — проскандировал он.

— Первый оратор, — взглянул на свои заметки Николай Елисеевич, — первый оратор, так сказать, утверждал, что город должен поглотить деревню... Весь народ. Таков этот котел капитализма.

— Не «должен» поглотить, а поглощает! — заметил Козлов.

— Зато второй оратор потребовал, так сказать, обратного — распространения деревни на город, что — как это он выразился? Да! — чтобы улицы города были пропитаны

медом! Смелое, я сказал бы, поэтическое, но совершенно недостижимое требование, потому что у деревни никаких средств и сил нет, чтобы овладеть городом. Наконец третий наш уважаемый оратор потребовал ни того, ни другого, а чего-то совершенно неслыханного: потребовал постоянства идеи революции, так сказать, постоянного путешествия из города в деревню и обратно...

Николай Елисеевич осмотрел собрание, но улыбок не последовало. Насадив с последней точкой своей речи покрепче пенсне, оратор продолжал:

— Господа, все это красиво, но совершенно неприемлемо. Ведь для того, чтобы вообще существовало какое-нибудь культурное общество, прежде всего необходимы крепкие формы государственного порядка, нужно государство. Россия не имеет этого устойчивого, законного порядка. В ней господствовали всякие отдельные личности, их самоволие — самодурство. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет!» — процитировал он не без грации. — Самодержавие, как строй, при котором царь выше всякого закона, источник всякого закона, — есть, так сказать, узаконенная форма личного беспорядка... Совершенный абсурд... Если даже после событий у нас и останется монарх...

— Не останется! — запальчиво крикнула Беркина. — Ерунда!

— Но конституционный монарх, господа, это же не самодержавие!

— Все равно! Долой! — крикнул Темпераментов.

— Но мы все признаем, господа, бесспорно, что воля государства должна быть волей народа... Вот тут-то и запятая... У наших трех ораторов три точки зрения на этот предмет... Во-первых, народ, воля которого выполняется, — это рабочий. Второй источник воли народной — крестьянство. Наконец третья — это какая-то неволя всего народа, а постоянное его беспокойство! А мы стоим на той точке зрения, что должно иметься свое особое учреждение — Представительное собрание.

— Учредительное! Учредительное!

Огородников наклонил голову в знак полного своего подчинения мнению собрания. Стало тихо, и он продолжал:

— Учредительное собрание — это есть собрание правительствующего народа на основе...

— Всеобщего! — слышалось отовсюду.

— Прямого!

— Равного!

— Тайного голосования!

— Так!

Оратор снова наклонил голову, он завладел аудиторией, он влек ее неудержимо к своим железным, логическим выводам.

— Но, господа, в исторических моментах существует очень большая опасность — перегнуть палку в обратную сторону... Нужна прежде всего осторожность! Очень опасно переходить к другим государственным формам, ломать старые, именно ломать сразу, без предварительной подготовки, замены одних лиц другими.

Аудитория насторожилась, ложки перестали звенеть. Прекратились и хлебки чая.

— Все это, конечно, делать допустимо, однако делать все это надобно постепенно. Э-во-лю-цио-нис-ти-че-ски!

И неожиданно для самого себя добавил:

— Хе-хе-хе...

«Хе-хе-хе» это подвело Николая Елисеевича. Всю свою дальнейшую жизнь не мог забыть Огородников этого своего «хе-хе-хе».

— Вон оно что! — весело подняв брови и с невыразимым презрением смотря на Огородникова, бросил Темпераментов. — Велик бог наш, творяй чудеса!

— Вы отвергаете народ? — веско бросил Козлов.

— Вы — белоручка! Чистюлька! — крикнула Беркина.

— Мы отвергаем народ? — изумился Огородников. — Да что вы, господа! Наш принцип — слова Клемансо Жоресу о том, что либералы должны, не в пример социалистам, уметь использовать всех людей с их самой сильной стороны!

— Доброму вору все впору! — басил Темпераментов.

— Так вы даже не социалист?! — крикнула опять Беркина.

— Да, я — либерал! Я горжусь этим! — огрызнулся Огородников. — И я настаиваю на том, что это, безусловно, нужное движение вперед было бы постеденовским и все формы нового государственного строя развивались бы одна из другой органически, эволюционистично! Зако-

номерно. И если народу будет угодно таким путем изменить настоящий строй нашего государства...

— Изменит! Наверняка изменит!

— Что за чепуха...

— Адвокатские измышления...

— Господа, царство христово внутри нас!

— Военная диктатура! — мрачно требовал поручик с двумя скрещенными пушками на погонах.

Николай сидел, пригнувшись к столу, заплетал в косячку бахромой скатерти. Он был физически оглушен этими криками, восклицаниями, брызжущей со всех сторон яростью. Просто даже испуган. Простая и ясная мысль, которую высказывал Козлов, оказывается, еще не влекла за собою своего признания. Падая, как снаряд, она подымала целую тучу пыли — возражений, сомнений, опровержений, горячих слов, личных обид и наконец, как у Марка, самолюбивых переживаний. Все эти люди, очевидно, были увязаны очень тесно, веками прожили в общем быте, в привычных обычаях, в каких-то общих символах и в вековом молчании, а теперь заговорили, и каждое слово, поднимающееся впервые из души, неловкое, угловатое, задевало соседа, царало его, требовало места для своей рождающейся мысли, требовало от соседа, чтобы он подвинулся, пошевелился, подумал, что она означает, эта чужая мысль, сравнил бы ее со своей, определил четко, кто прав, кто неправ. И каждому казалось, что прав только он и что отрицающий его мысль оскорбляет его самого. И чем больше спорили, тем больше проявлялось противоречий...

В гимназии, в фундаментальной библиотеке стоял на шкафу мраморный бюст мыслителя Платона. У великого мудреца был невысокий, очень широкий лоб, над которым ровными рядами лежали волосы, борода была в акkuratных кольцах. Широко раскрытые, без зрачков глаза мыслителя смотрели невыразимо спокойно. А тут было ясно, что мысль вовсе не спокойствие, а энергия, вихрь, не мир, а борьба... Вся эта богатая комфортабельная столовая взвихрилась, поднялась, словно палуба корабля, а ее хозяйин, со своей всей квартирой, визиткой, лиловым галстуком оказывался смешным и жалким в потугах сласти все это свое благополучие, уговорить двинувшуюся гору, чтобы та не валилась на него...

— Господа! — хрипела, сжимая руки, Анна Павлов-

на, — господа! Уверяю вас, вы несправедливы к Николаю Елисеевичу. Он много сделал для революции!

Шнееров взглянул на нее, криво улыбнулся и, сморщившись, закурил папиросу.

— А что он сделал? — оглушительно кричал Темпераментов. — Бомб-то он не бросал?

— А защита эсера Бекаревича в военном суде? Какая речь!

— А все равно Ивана повесили и после такой речи! Вот вам!

Николай не смог бы ответить в ту минуту на вопрос, что он думает, но всей кожей своего тела он чувствовал, что не тут, не в этой столовой, среди этих пирожных — «меренг» и «наполеонов», которыми славилась кондитерская Тшарнера, таится нужное решение, а где-то в другом месте.

«Кто? Кто?.. Ряжев. Михаил Фомич».

И в его лицо словно дунул сильный, овежий вольный ветер, который уже веял в этой квартире, загибал края нарядной скатерти, грозил сорвать ее прочь, загреметь этим самоваром в виде серебряной вазы, чашками, пролить все эти заботливо расставленные варенья — зеленые, желтые, алые, раскачать лампу, разбросать всю эту нагроможденную, причудливую мебель, за которой пряталось самолюбие, лень и еще похуже — скрытая порочность, невнимательность к чужой жизни, мещанский эгоизм. И весь этот готический деревянный дом с Дашей в фартучке, с босым Толстым на стене в зеленой раме оказывался построенным на песке.

А Ряжев! Его слова просты, уверенны. Их весь народ примет без сомнения, без споров. Его слова, которые, как кирпичи, ложатся одно к другому на слой прочной известки, образуя нерушимую стену нового общества. Когда Николай готовился к реферату по диалектическому методу, его поразило одно изречение Сократа:

«Только те, кто трудятся своими руками, говорят много хорошего, а те, кто славятся языком, — едва ли не лишены рассудка».

Даже в Козлове, в его уме, его знаниях, в его интеллигентности, не было той силы, которая ключом была в простом Ряжеве. О, будь он здесь сегодня — все шло бы иначе, потому что в нем, в этом простом рабочем, говорил бы сам народ...

А спор в изящной столовой дымился до тех пор, пока не устали спорщики, пока красивые пепельницы с длинными декадентскими женщинами не были утыканы, как ежи, окурками, пока не израсходовал своих доводов Козлов, не побледнел Марк и не прервалось само собой гуденье и трепыхание уставшего Темпераментова.

Было уже поздно, когда Даша заперла дверь за последним гостем, потушила в передней розовый фонарь, стала открывать форточки, возиться, прибираться в столовой, протабаченной досиза. Анна Павловна ушла в гостиную, присела у рояля, взяла несколько аккордов, потом уронила руки на колени и молча вытянулась, прямая и напряженная. Оставшийся Шнееров маятником ходил из угла в угол.

Анна Павловна обернулась к молчавшему Николаю Елисеевичу и проговорила только:

— Скажите, чем же все это может кончиться?

— Правильный вопрос! — сказал Шнееров.

— Это может плохо кончиться для нас, — ответил Николай Елисеевич. — Вы обратили на днях внимание на статью в «Русских ведомостях»?

Шнееров остановился, раскачиваясь с каблуков на носки, вздернул голову:

— Именно?

— Я спрятал этот номер. Чтобы не волновать Алю. И как это может писать так спокойно академическая, профессорская газета. Безобразия!..

Огородников встал, прошел по мягкому ковру в кабинет и принес газету, на ходу развертывая ее.

— Вот! — сказал он. — Статья — и чья? Профессора, князя Евгения Николаевича Трубецкого... Слушайте, что пишет: «Если в России будет введено временное правительство путем вооруженного восстания, то это значит конец дисциплины в армии, наше государственное банкротство, нищета, голод, которые скоро сметут всякое революционное правительство, и озлобленные массы будут искать виновных своего обнищания. И тогда, разумеется, вся интеллигенция, все, кто носят немецкое платье, всякая четыреххвостка, все будет сравнено с землей, и останется лишь кладбище — всеобщее, прямое, тайное и равное для каждого из нас».

Анна Павловна закрыла лицо руками.

— Вот, — тихо выговорил Николай Елисеевич, складывая аккуратно газету. — Это страшно, господа! Кто защитит нас от гнева народа, с тем и надо идти.

— Мы! — ответил Шнееров. — Мы! Мы защитим! В Европе это понимают очень хорошо... Мы, меньшевики... Вот почему правительство должно поддержать нас! Надо спускать революцию на тормозах.

Глава четвертая СЕМНАДЦАТОЕ ОКТЯБРЯ

Бастовала вся страна.

Десятого октября забастовали железные дороги — Сызрано-Вяземская, Харьков-Николаевская, Рязано-Уральская, Северная, Екатерининская. Прекратили полностью работу заводы и фабрики в Петербурге.

Двенадцатого октября Железнодорожный съезд объявил всеобщую забастовку всех железных дорог России.

Первый раз в истории многомиллионный народ начал организованную «кампанию неповиновения» государственному аппарату в целом, ставя условием свою политическую свободу.

Первыми пошли рабочие, за ними двинулось крестьянство. Слово «забастовка» в крестьянском языке получило особый, универсальный смысл народного протеста. В Саратовской губернии в Аткарском уезде крестьянское движение началось в прямой связи с общей железнодорожной забастовкой. Саратовские крестьяне толпами выходили к поездам на станции, искали там железнодорожных делегатов, возвращавшихся из Петербурга со съезда, расспрашивали их, что происходит в городах. А расходясь, несли с собой домой решение, что надо и им «переделывать» по-своему деревню. В таких деревенских «забастовках» в 1905 году главным образом действовали крестьяне, прежде поработавшие на фабриках, в шахтах. Подобные «забастовки» захватили двести шестьдесят три уезда, и их насчитывалось до семи тысяч случаев. Крестьянство выработало уже свои методы ликвидации уцелевших дворянских земельладений. Возникла так называемая форма «дележа» или «разборки» помещичьих усадеб и больших экономий, когда весь инвентарь расходился по крестьянским рукам. Начались системати-

ческие запашки помещичьих земель, отчуждение их крестьянами, дележ запасов и скота. Злостная дворянская несправедливость 1861 года вовсе не была забыта в течение сорока лет и отзывалась теперь в могучем народном движении.

Среди захваченных и представших перед судом агитаторов и вообще инициаторов этого широкого крестьянского движения не было вовсе интеллигентов — все делали сами крестьяне и рабочие.

Эту великую организационную работу вела партия, подымая все более и более глубокие пласты народных масс, вызывая в них могучую внутреннюю энергию. В октябре в России появился могучий важный центр революционного движения, противостоявший царскому правительству.

12 октября в здании Технологического института на Забалканском проспекте в Петербурге собрался огромный всенародный митинг, вынесший постановление использовать уже имеющийся опыт по организованному ведению забастовок, как это имело место в Иваново-Вознесенске и в Костроме, где летом в девятьсот пятом образовались и стали действовать Советы рабочих депутатов. Решение выбрать рабочих депутатов по предприятиям Петербурга было быстро претворено в жизнь уже в ночь на 13 октября.

13 октября в Петербурге начал действовать Совет рабочих депутатов. Его составляли делегаты сорока крупных заводов и нескольких фабрик, а также делегаты от трех профессиональных союзов.

СРД немедленно по своему возникновению отправил делегацию в Петербургскую городскую думу с предложением отпустить необходимые денежные средства для организации пролетарской милиции, которая бы приняла на себя ответственность за порядок в столице.

Из этих переговоров ничего не вышло. Однако другая делегация Совета действовала успешнее — ею были прекращены работы на всех еще работавших заводах и фабриках. Скоро вышел первый номер «Известий Совета Рабочих Депутатов» и был выбран исполнительный комитет Совета в составе девяти членов: шести социал-демократов — трех ленинцев, трех меньшевиков — и трех социал-революционеров, объединивший все революционные партии перед лицом предстоящего общего действия.

Народная волна катилась по всей России, она захлестнула и Кострому. В мужской гимназии собралась в актовом зале сходка, и было странно видеть, каким растерянным оказался директор Сергей Павлович с его бетховенской головой, когда сходка вынесла постановление прекратить занятия.

В реальном же у Кости и отца занятия не прекращались, и на следующий день после гимназической забастовки они отправились утром, как обычно, в училище.

Николай поднялся поздно, под негодующие крики Митревны лениво, с головной болью проглотил стакан чаю. Тишина, отсутствие брата и отца угнетало. Нечего было делать.

«Неужели это и есть борьба?» — подумал он.

Взял книгу, лег на кровать. Но и с чтением как-то не получалось. Раньше он просто упивался книгой, уходил с ней от действительности, забывался ею. А теперь действительность не оставляла его и в книге. Читал он Горького «Челкаш». До этого Николай перечитывал «Челкаша» много раз и каждый раз находил в рассказе что-нибудь новое, неожиданное... И теперь, читая его же, он смотрел, а что в рассказе правильного? Настоящего?

Великолепна симфония города, его человеческого труда, его борьбы. Великолепно и то, что Челкаш не боится этого города, что он смел, силен. Челкаш всегда был великолепен. А почему теперь он кажется жалким? Что он делает? Ничего! Он только ворует крохи у города, чтобы удовлетворить свое своеволие в разгуле...

День прошел скучно, газет не было, а на следующее утро Николай проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо. Сперва он никак не мог понять, что случилось, почему над ним наклонилось бледное возбужденное лицо со смешными белыми усиками...

— Вставай, Николай! Вставай! Одевайся! Идем!

— Что, что такое, — бормотал Николай. — Куда? Что такое?

— Идем! — не снимая ни шинели, ни фуражки, метался по комнате Сергей Писемский. — Идем! Манифест! Ты понимаешь! Манифест! Свобода! Видишь! — и он размахивал белой бумажкой.

Николай сел на кровати.

— Ты понимаешь? Понимаешь? — кричал в восторге Сергей, опрокидываясь на стул и раздвигая и сдвигая

длинные свои ноги на манер ножниц. — Ведь мы теперь свободные граждане... А? Вот!

— Читай! — сказал Николай ежась. — Читай. Что такое?

Сергей, волнуясь, торопясь, перебивая сам себя, читал напыщенные слова:

«Божьей милостью мы, Николай Второй, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая...»

— Да, ладно, давай дальше!

«...Объявляем всем нашим верным подданным. Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкою скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно связано с благом народным, и печаль народная его печаль...» — читал Сергей.

— Здорово, значит, прижали, если царь стал говорить такие слова! — усмехнулся Николай.

«От волнений ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целостности и единству державы нашей...»

— Ого-го!

«Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами нашего разума и власти нашей стараться к скорейшему прекращению опасной для государства смуты...»

— Народ, оказывается, тряхнул не то что Москвой, а и Санкт-Петербургом! — бормотал Николай, начиная торопливо натягивать брюки.

«Повелев надлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядков, бесчинств насилий, в охрану мирных людей, стремящихся к выполнению лежащего на них долга, мы, для успешного выполнения общих, предполагаемых нами, к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего правительства.

На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли...»

— Ну-с, что еще?

«Первое: даровать населению незыблемые основы гражданской свободы...» — читал Сергей, подымая голос.

Николай остановился, остановился и чтец, с улыбкой смотря на друга.

— Ну, ну, дальше! Читай дальше!

— А дальше еще краше!

«...На началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.»

— Да не может быть! Ур-ра! Ур-ра! — кричал Николай, а Сергей читал:

«Второе: не останавливая предуказанных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе в мере возможности, соответствующей крайности оставшегося до созыва Думы срока, все классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставляя за сим дальнейшее развитие начал общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку...»

«Не может быть! Значит, прижали, коли и руки кверху поднимают», — злорадно думал Николай.

«Третье: установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за законодательностью действий, поставленных от нас властей...»

И остановил чтение.

— Ну, что ты скажешь, Николай? Ловко, а?

Нет! Эти торжественные слова были словами волка, попавшего в псарню. Разве можно было им верить! Нет, нельзя. Они были речью царя — маленького, неумного, слабого, малодушного, жестокого, пьяного.

Они были речью дворянского чванного правительства, много лет проматывавшего остатки «собственных» земель, полного презрения к народу, полного раболепства перед Европой, вынужденного теперь зачураться от восстающего народа бормотанием звонких слов о свободе и правах.

— Ладно, что еще? — только и сказал Николай.

— А теперь окончание: «Призывая всех верных сынов России помнить долг перед Родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты...»

— Да, неслыханной... Смуты... Еще бы!

«...смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле...»

Дан в Санкт-Петербурге в октябре, 17-й день, в лето от Рождества Христова 1905-ое.»

— Ну, ты готов? На улицу! На улицу! Посмотрим! — тропил Сергей.

Был серый день, падал первый легкий снег. Оба восьмиклассника проскочили пустой еще бульвар, вынеслись к Гостиному двору, пробежали под его аркадами, под которыми светились купеческие лампы перед образами, и выскочили к памятнику Сусанину — в сквере на площади.

День был базарный, внутренность Гостиного двора, аркады рядов, площадь у Молочной горы были запружены народом, съехавшимся из деревень. Люди волнами двигались по лавкам, неспешно выискивая немудрые, нужные им в их вековом быту вещи, деловито шелкали железными ногтями по жалобно звенящим топорам, пилам, примеряли пиджаки и пальто, выбирали цветные ситцы. В Щепяном ряду рассматривали целые стены нагроможденных уже друг на друга саней, полозьев, оглобель, дуг, лыж, кадок. И куда ни хватал глаз — везде на площади стояли лошади, жуя овес, и торчали задранные кверху оглобли выпряженных деревенских телег.

У портерных, чайных, трактиров, харчевен было тоже полно народу. В большом трактире «Эрмитаж» слышна была игра машины, звуки ее вырывались на площадь.

А у памятника собиралась оживленная толпа молодежи. Гимназисты, семинаристы, бородатые техники Чижевского училища...

— Товарищи, — зазвенел молодой звонкий голос. — Идемте снимать гимназисток... Их синявки, — так звали классных дам за их синие суконные формы, — не выпускают.

— Идем! Идем! Теперь свобода! — отозвались голоса.

— И реалистов надо снять!

Толпа под предводительством бородатого техника, по моде того времени в черной кавказской бурке, с толстой дубинкой в руках, бросилась по Мшанской улице, а на встречу двигалась уже толпа учащих человек в двести! мальчиков и девочек, и тоже звенели восторженные голоса.

— Ура! Ура! — загремело у памятника, когда обе группы слились вместе.

— Товарищи! Где флаг? Где флаг?

Геннадий Темпераментов выхватил из-под шинели,

прикрепил к длинному древку и развернул красный флаг, такой яркий в летящем снеге.

— Ура! — раздались крики. — Ур-ра! Свобода! Долой самодержавие! Долой Николая Кровавого!

Из полицейского управления, находившегося неподалеку, на Царевской улице, прибежали городовые и, задохшись, покашливая, начали подстраиваться в две шеренги.

При их появлении толпа привычно насторожилась, качнулась было назад.

— Стойте, товарищи, куда? — зазвенели голоса. — Стойте! Не бежать! Манифест! Манифест!

И в воздухе забелели поднятые листки с экстренным выпуском телеграмм «Костромского листка», охранительно поднятые против грозящей опасности.

Это помогло — из полицейского управления подошел толстый околоточный и тоже с бумажкой в руках. Он махнул ею, скомандовал что-то городовым, и те ушли во свояси.

— Ура! — загремели восторженные крики. — Ура! Свобода! Да здравствует свобода!

Народу у памятника становилось все больше и больше, и через зеленую бронзовую решетку, составленную из коней, щитов и секир, перелезал высокий техник. Очувтившись на граните постамента, он протянул руку, ему снизу передали красный флаг, и он вложил флаг Сусанину в бронзовые руки, что вызвало новый восторг толпы.

Техник с памятника обвел площадь восторженным взглядом.

— Товарищи! — начал он.

Очень красивый, молодой, он высоко поднял фуражку, снег падал ему на волнистые волосы. Алые губы были оттенены небольшими усиками, черной бородкой. Толпа волновалась, а оратор был спокоен, напряжен, радостен, выжидая, когда смолкнут приветственные крики.

— Товарищи! — заговорил он наконец. — Вы рады. Вы торжествуете! И, действительно, есть этому причина! Манифест! — он показал белый листок. — Этот манифест — победа нашей народной революции! Не сам пришел к нам этот манифест. Он вырван, товарищи, у царя и царской бюрократии, вырван победой революции. Нашей победой!

— Ура! — раздалось снова. — Ура!

— День, когда царь своей дрожащей рукой подписал этот манифест, — великий день, товарищи. Великий потому, что в этот день всероссийская политическая забастовка достигла вершины своей силы. Могучая рука пролетариата по его воле остановила всю жизнь в стране. Промышленность! Торговлю! Железные дороги! Все замерло! Народ требовал свободы. Как раньше отвечал Николай Второй на требования народа? Пулями! Почему же он не повторяет этого теперь? Да потому, что силы народа растут. Потому что на броненосце «Потемкин» уже взлетел вот этот флаг! — оратор указал на флаг над головой. — Потому что поднялся весь народ, потому что солдаты уже переходят на сторону восставшего народа.

Сквозь тишину падающего снега раздалось цоканье подков, на площадь со стороны Русиной улицы ехала полусотня казаков, подъезжала все ближе и ближе.

— Ура! — раздалось в толпе, и навстречу казакам приветственно замахали фуражки, цветные вязаные рукавички. — Товарищи казаки, привет! Свобода! Ура!

Казаки остановились неподалеку, и оратор продолжал, когда все успокоилось:

— Мы имеем манифест. Но что же он дает нам реально? Пока еще ничего! Это только обещания. Насмешка. Ведь вся Сибирь, все тюрьмы переполнены нашими товарищами за то только, что они требовали лучшей доли для народа. Цензура над печатью продолжается. Трепов пишет, что «патронов не жалеть». Значит — это обман, а не манифест! Не такая «свобода» нам нужна, — оратор опять махнул белой бумажкой. — Нам нужна свобода на самом деле. Нужна гарантия этих свобод, а гарантия свобод в вооруженном народе, который может их защитить, провести в жизнь!

Снег падал гуще, висел, словно сетка. Николай посмотрел в сторону базара, где в линию стояла толпа и сквозь снег розовела сплоченная лента лиц под черными шапками.

Откуда она взялась? Когда они с Сергеем бежали на площадь, ее не было, а теперь она стояла и смотрела на манифестацию. И казаки стояли теперь как будто ближе на своих танцующих от холода конях.

Казаки были тоже такими же русскими людьми, как и молодежь у памятника, как и те, что стояли на базаре.

Однако лихие чубы из-под фуражек с красным околышем, короткие винтовки за спиной, особенно нагайки в правой руке придавали зловещий характер этой массе, одетой в серые шинели, на нервно переступающих конях. И офицер впереди полусотни что-то говорил, оборачиваясь назад к казакам, а что он говорил, не было слышно, и это тоже казалось страшным. Николай уже не слышал оратора на памятнике. И вся манифестация смотрела теперь на казаков. Вдруг от собравшейся молодежи к пожарной каланче двинулась и стала отходить одна, другая фигура...

— Революция победит, — раздавался голос оратора, — сотрет с лица земли трон царя!

Живая стена базара вдруг оказалась еще ближе. Николай подумал, что это ему показалось, но нет... Нет. Толпа в полном молчании и впрямь двигалась на сквер. В ней все гуще зарождалось бормотанье, неясный гул, похожий на прибой волн. Над головами мелькнула одна, другая рука в угрожающей судороге. Гул нарастал.

Кто-то сзади схватил Николая за руку. Он оглянулся — перед ним была Валя.

— Коля, что это? — спросила она тревожно.

— Уходите, — тихо сказал он и подтолкнул в сторону каланчи. — Идите туда... Назад!

Теперь много фигур бежало, двигалось туда же сплошной лентой, среди них чернело пальто Вали.

Сильно жестикулируя, оратор заканчивал речь, были слышны лишь отдельные обрывки слов, тонувшие в криках толпы.

— Товарищи, стойте! — покрыл все громовой бас Темпераментова. — Черной сотни, что ли, боитесь? Не имеют они права! Казаки нас защитят. Манифест!

Но под серое небо из толпы хлестнул, взвился чей-то неистовый тенор:

— Б-бей! Б-бей их, таких-сяких!

Базар ответил на крик ревом, казачий офицер с недоброй усмешкой скомандовал; цокая копытами, полусотня отошла в сторону.

Ревущий базар черным половодьем бешено несся на митинг.

Толпа с митинга бросилась на Богоявленскую улицу, юноши, девушки бежали в самых разнообразных позах —

кто сторбившись, втянув голову, словно от удара, быстро-быстро перебирая согнутыми в коленках ногами, кто несся длинными гимнастическими скачками, вытянув шею. Девушки отставали, юноши неслись вперед, за ними катилась толпа. Раздался первый отчаянный крик — ревущий многоголовый зверь сгреб длинную худую гимназистку, которая бежала как-то подпрыгивая, по-птичь, боком, такую несчастную в своей форменной шапочке пирожком.

Николай стоял еще и смотрел — он надеялся на свои ноги. Толпа была совсем близко, и вдруг в ней он увидел знакомую рыжую бороду. Пашка Слободской несомненно был там.

И Николай тоже побежал со всеми, бежал, усердно перебирая ногами. Ревущая толпа сразу начала отставать, а в душе у него подымалось что-то невероятно поганое. Мерзкое.

«Интересно, как я выгляжу со стороны? — думал он. — Какой стыд! И это в своей стране! Как позорно! Глупо! Смешно!»

Он уже вбегал в Богоявленскую улицу, бежал мимо аптеки Верта и увидел, что улица вся запружена вылезшим из домов народом, все смотрели с тротуаров на бегущий серединой улицы митинг.

«Слава богу, Валя ушла! — думал на бегу Николай. — А то бы вот была спутница жизни. В бегстве!» — мельтешили у него в голове назойливые, нелепые фразы.

Но они вдруг оборвались. Он больше ничего уже не думал — он только видел. Видел, как с тротуара соскочил какой-то человек, с большими усами, в рыжей чуйке и с перекошенным злобой лицом бежал прямо на него, Николая, в вытянутой руке выставляя никелированный револьвер.

Чуйка подбежала почти вплотную. Отчетливо хлопнул один, второй выстрел... Чуйка тряс рукой — еще и раз, и два, но выстрелов больше не было.

«Цел! — запело ликующе в Николае. — Цел. Не попал! Ах, подлец! Убить подлеца!»

Он бежал теперь бешено, спасая жизнь, а перед ним так и стояло лицо этого неизвестного врага в короткой, по колена, чуйке, эта бешеная злоба в глазах.

«Меня, меня, именно меня — Николая Прокшина — хотели убить! — удивлялся он. — Чуть не убили! За что?»

Правда, в те дни многих убивали по всей России. Но это были генералы. Полицейские. Пристава. Но за что же хотели лишить жизни его, его, Николая Прокшина? Ведь за убийство полагалась Сибирь. Каторга! Иногда даже смертная казнь. И, пренебрегая всеми этими наказаниями, какой-то неизвестный ему человек хотел убить его. Тоже неизвестного тому. Как это случилось, что этот несчастный никелированный бульдог стал стрелять? Как же ответить на это? Надо иметь револьвер! Вооружаться! Ружье уже есть! Но не таскать же с собой ижевку! Вот тебе и богоспасаемая тихая Кострома!

Минута ровного сильного бега донесла Николая уже к углу четырехэтажного исаевского дома, он завернул за него, перешел на шаг и, переведя дух, шагал теперь вдоль красной стены Богоявленского монастыря.

Тут было все по-старому, как, вероятно, было не один век: в монастырской часовне, как всегда, смиренно сидела старая монашенка, шевеля спицами над серым чулком на коленях. Около, на столике, лежало несколько копеек — она собирала на обитель. Монашенка так была укутана в черный платок, что, очевидно, ничего не слышала, не видела и только шевелила тонкими восковыми губами, творя молитву.

«Вот она ничего не знает, что случилось со мной! — подумал Николай. — А если бы узнала, что какого-то гимназиста убили, только бы перекрестилась... Ей-то все равно! Но разве может быть все равно, что случилось? Откуда эта неожиданная злоба?»

Холодок стыда едко пролился вдруг у него по спине: «Бежать! И так бежать!»

— Ха-ха-ха! — услышал он смех покойного Васи Усова. — Ну и бежал же ты... Ха-ха! Поработал-таки ногами, унося умную твою голову! Ха-ха! Как рысак!

И действительно, как это было нелепо!

Медленно падал снег, двигались спокойные фигуры. Должно быть сейчас и дома вот так, словно ничего и не было... Домой! Скорей домой!

Обежав центр города по кольцу улиц, Николай по Богословской горе добрался до Нижней Дебри. Как всегда, у них в сених пахло жареным луком, по квартире разносился скрипучий голос Митревны — она за что-то костерила Федосью.

— Коля, ты?

— Я!

— Поди-ка сюда!

Митревна сидела в спальне, у двойной постели, у окна, за которым шел снег, мирно шила распашонку для будущего младенца.

— Сильно снег идет? — спрашивала Митревна, ногтем разглаживая шов.

— Очень! Да это не надолго! — неожиданно для себя словоохотливо ответил Николай. — Еще рано снегу!

Митревна уютно горбилась над коленом, к которому приколотла работу. Против окна выделялся отчетливо ее профиль, нос с горбинкой, пухлые капризные губы и выпуклый, с висков сдавленный лоб под валиком путаных волос.

— А что там на площади? Будто гимназистов бьют? Ты там не был?

— Да, черная сотня свирепствует! — ошетинился Николай.

— А говорили, что памятник гимназисты хотели свалить?

— Какой памятник?

— А Сусанину!

Он возмутился:

— Какие глупости! Он, поди, тысячу пудов весит...

— Говорят, — вздохнула Митревна. — А правда, что там кого-то убили?

— Александра Дмитриевна, да я там все время был. Никого не убили!

— Не убили? — спокойно проговорила Митревна. — Ну, все равно — убьют! Раз ты смиренный человек — сиди дома. А на улицу вышел — пеняй сам на себя. А вы вон на площадь вылезли, флаг выкинули, запели.

Она усмехнулась.

Выходило, что эта недалекая, вздорная женщина за рукодельем как-то знала уже все, что случилось.

— Ой, ой, — вдруг вскрикнула она, прильнув к стеклам. — Опять кого-то в Красный крест везут!

Подергивая вожжами, помахивая кнутиком, медленно проехал извозчик. Городовой Яичкин, сидя боком, поддерживал какого-то техника. Шапки на юноше не было, длинные волосы нависли на лицо, и продолжением волос по лицу и по шинели текла кровь.

— Ишь! — сказала Митревна, взглянув быстро на Николая. — Которого уж везут!

— Это их работа! — сказал Николай.

— Кого это — их?

— Провокаторов! Опять Пашка Слободской был с погромщиками. Полиция делает этот погром...

— Ну, я там не знаю, — сказала Митревна. — А так ведь все просто. Выскочили мальчишки на площадь — ну и попало... И что это Федора долго нет! Господи! Обед уже давно готов!

— Может быть, что-нибудь случилось?

Митревна посмотрела в окно.

— Нет! — спокойно возразила она. — Он в форме, его не тронут! Человек солидный.

И снова склонилась, ушла в рукоделье. Ее ничто не могло взволновать — ни выстрелы, ни погромы, ни начинающаяся гражданская война. Она знала только одно — она должна родить...

Сбежать к Козлову? К Володьке? Да и у них-то, верно, дома то же самое... А потом — что еще на улице?

Брякнул жестяной звонок — пришли отец с Костей. Слышно было, как они сбивали с себя снег, как фыркал отец, сдувая капли с усов.

Вбежал Коська.

— Ух, Колька, ну и дерутся на площади! — захлебывался он, сверкая глазами. — Одна гимназистка бежала, а мужик ее за косу да кнутом. Ей-богу! Около нас с папой!

— И что же?

— Папа закричал на мужика, он ее пустил. А на площади шапки валяются, калоши. Много-о... Василий Васильевич, наш хозяин, два ботика купил за двугривенный, да только оба с левой ноги...

И захохотал.

— И сейчас он у ворот стоит, дожидается: еще бы что купить!

— Ребята, обедать! — раздался голос отца.

Как всегда, отец был в одном форменном жилете с золотыми пуговицами. Как всегда, он деловито, молча выбивал мозг из сахарной кости на деревянную дощечку. И тоже как всегда от него распространялся его запах — смесь табаку, одеколону, здорового мужского пота.

— Ну, что, революционеры? — сказал он, зловеще взглянув на Николая. — Достукались?

Помолчал, укладывая мозг на кусочек хлеба и аппетитно его соля, чтобы отправить в рот.

— Ты в гимназию не ходил?

— Нет!

— Бастуете?

— Да!

— Там был? Видел?

— Видел.

— Что ж скажешь? Молчишь? А знаешь, что один семинарист едва ли выживет!

— Черная сотня!

— Вот что, — солидно сказал отец, кладя на стол нож и вилку. — Я состою на государственной службе. Я по долгу службы не могу допустить, чтобы мой сын участвовал в противоправительственных сборищах. И потом, что это за хамские выражения — «черная сотня»? Это — патриоты! Да-с! И я требую, чтобы ты понял, что я от тебя хочу. Предупреждаю...

Отец говорил нарочитым басом, но поздри у него дрожали, в глаза он не смотрел, властности в голосе тоже не было, хотя Митревна утвердительно трясла головой, а бабушка скорбно быстро-быстро мигала, преувеличенно смиренно сидя на своем стуле.

И здесь — враги, враги в столовой, все эти родные. Родные враги! Не те, что давеча гнались за ним, а вот эти, что смотрели на него, поджав обиженно губы, слушали его, покачивая головами.

— Что ж ты хочешь сделать со мной? — спросил Николай.

Отец молчал. И хотя обед шел как всегда, но было видно, — прежняя жизнь не может больше оставаться такой, какой была, — с этим бесшумным снегом, с калитками, припертыми по приказу полиции, с людьми, которые думают жить сегодня, как вчера, а завтра, как сегодня.

Митревна вдруг болезненно поморщилась, положила руку на живот. Должно быть это очень больно, когда рождается новая жизнь.

И все это старое — и бешенство, вздрагивающее зарницами в глазах отца, и пальба из револьвера, и молчанье семьи — все это были явления одного порядка: его,

Николая, хотели запугать. Ради того, чтобы и потом всегда вот так же спокойно сидеть за столом, выбивая вкусный мозг из сахарных косточек.

Как разогнувшаяся стальная пружина, Николай вскочил со стула, бросился в свою комнату.

— Ах, ах! — услышал он за собой два голоса — бабушки и Митревны. Потом загремел отодвигаемый стул, послышались тяжелые шаги отца, и отец появился на пороге с салфеткой в руке.

— Николай! — сказал он, размахивая салфеткой. — Выгоню! Не дури! Богом клянусь — выгоню из дому!

И пошел обратно: было уже подано второе — его любимое кушанье — бараньи кишки с гречневой кашей.

Николай провалился на постели до синих сумерек, а потом поднялся, натянул скучно шинель, вышел на улицу. Снег летел миллионами белых мух, крыл крыши, мостовые, тротуары, одевал в белые шапки телеграфные столбы, печные трубы, уличные тумбы, белыми пухлыми линиями свисали телеграфные провода. Бежали закутанные в рогожи, снегом покрытые фонарщики, и скоро желтые пятна света повисли в белой мути.

У дверей Козлова Николай не достучался. У Краснопевцевых на его звонок с большой, казенной, пропахшей уборной лестницы открыл дверь сам отец ключарь в белом подряснике и сказал неприветливо:

— Володи нет и не будет! Прошу не беспокоить!

И захлопнул дверь.

Николай постоял у дома Прозоровых, но представил себе Михаила, его яростную ругань и туда не пошел.

Николай кружил, шагал по пустынным снежным улицам, но ни усталость не брала его, ни решение не приходило в голову.

«Что делать? Что делать? Пойти к Михаилу Фомичу? В такой момент неловко... Что подумает? Потом с Ряжевым надо говорить определенно. А что я могу сказать?»

На соборе пробило девять часов вечера, когда Николай снова оказался на площади. Вокруг памятника желтели четыре фонаря, пожарная каланча утонула в летящем снеге. Ни души на площади.

Николай сбросил снег со скамейки в сквере, сел. В душе все мелькало, дрожало, неслось, как этот снег.

Соколов как-то говорил — идет новая эпоха. Неужели это так трудно?

— Кто здесь? Фамилия? — раздался властный оклик.

Перед Николаем стояло четыре солдата с ружьями, вплотную надвинулся офицер.

— Фамилия? Ну?

— Это я! — отвечал Николай.

— Дурак! А еще гимназист! Фамилия?

— Прокшин. Николай.

— Где живешь?

— Нижняя Дебря. У Чечевицына.

— Что тут делаешь?

Николай узнал офицера. Он видал его не раз в костромском театре, блестящего, розового, красивого, затянутого в сюртук с золотыми эполетами, ухаживающего за барышнями. А тут он был другим: облепленный снегом, перетянутый поперек и крест-накрест черными ремнями, фуражка нахлобучена, из-под козырька злые глаза. Тут не было поручика Былинкина, тут была государственная власть.

Николай затвердел внутри.

— Попрошу, господин офицер, быть со мною вежливым! — сказал он.

— Вот как! — удивился тот и вдруг закричал: — Ты что здесь делаешь, такой-сякой? Движение по улицам запрещено с наступлением темноты! Обыскать!

Два солдата очутились около Николая. Запахло мокрыми шинелями, табаком, твердые ладони крысами пробежали по его груди, карманам.

— Ничего нет, ваше благородье!

— Пшел домой, и больше у меня не шляться! Марш! — скомандовал офицер. — Ишь ты! Вежливо! Я тебе покажу!

Патруль исчез в снежной мгле, словно его и не было. Скрежеща зубами от гнева, Николай шагал домой. Нет, надо бороться, так оставлять этого нельзя. Но когда на Русиной он издали увидел силуэты всадников — проходил казачий разъезд, — он инстинктивно ткнулся в одиодный подъезд — закрыто, в другой — тоже и тогда вжался спиной в узкую щель между домами.

«Трус! Трус!» — бранил он себя.

Калитка дома Чечевицына тоже была наглухо закрыта, Николаю пришлось звонить у парадного.

Открыл ему сам Федор Петрович, в халате, взъерошенный и хмурый, но, подняв свечу, он взгляделся в бледное с кругами у глаз лицо сына, спросил тревожно:

— Что с тобой, Коля? Ты болен?

— Нет, папа! — твердо ответил юноша, отводя и свой взгляд и руку отца, протянувшуюся ласково к его лицу. — Должно быть устал. Ничего, пройдет...

Должно быть и впрямь — утро вечера мудренее. Все, что казалось вчера еще нестерпимым, невыносимым, сегодня было не так уж мрачно.

Вчера семья казалась такой враждебной, насторожившейся, глухой, а утром отец, сам зайдя в комнату сына, заботливо, ласково спрашивал его, как спал, как отдохнул...

Николай пошел в гимназию. Погода разгулялась, стало тепло. На Муравьевке, сверкающей тающим под солнцем снегом, сошлось много гимназистов, обменивались новостями. Тут же были и Марк, и Козлов, и Краснопевцев, и Прозоров. Оказалось, что на вчерашнем митинге во время погрома был так жестоко избит один товарищ-семинарист, что умер ночью. Много пострадавших лежало по больницам.

Марк, сверкая глазами, говорил каждому вполголоса:

— Будут похороны. Надо, чтобы все были. Пусть черная сотня узнает, что мы ее не боимся. Надо организовать отпор.

Черная сотня и впрямь распоясалась. Погромы, такие же, как костромской, катились по стране. В Москве охотничьи «молодцы» из мясных лавок избивали гирьками на ремешках, ранили мясниками своими ножами студентов Московского университета — университет стоял как раз напротив лавок Охотного ряда. Вопрос об отпоре был очень серьезен.

Николай спросил у Прозорова, не поедет ли он на днях на охоту: после ночного катанья под парусом ему Прозоров нравился еще больше. Михаил внимательно взглянул ему в лицо, что-то подумал и ответил, что на охоту он собирается, а вот когда — скажет непременно.

А главной новостью этого октябрянского дня был митинг забастовавших рабочих Запрудни, назначенный на сегодня в Михинском сквере.

Над заречными поймами, над белым монастырем, над Монастырской слободкой тянулись низкие серые тучи с голубыми прорывами в них, четырехчасовое солнце светило бледно, поднявшийся ветер гнал рябь по лужам. снег таял плешинами. Запрудненские переулки были оживлены, хлопали калитки, люди сновали в разные стороны, словно в праздник.

Чахлый фабричный скверик с путаными акациями и тоненькими ломаными топольками был переполнен народом, над бочкой-трибуной высоко трепетал красный флаг, поодаль стояли рослые, похожие на крупных тараканов, городовые, на бочке, рубя рукой, заканчивал речь высокий худой рабочий в розовой рубашке из-под пиджака. Народ уходил, протискиваясь туда и сюда в калитки, вертящиеся на захлестывающихся цепях, туго подымавшиеся при проходе и падающие затем с грохотом и звоном, словно мышеловки.

А скверик обступили, взяли в кольцо кирпичные, замолкшие фабрики, и оттого, что дым не валил из их высоких труб, казалось, что и темные окна четырехэтажных корпусов подозрительно, недоброжелательно присматриваются ко всему, что творится в сквере.

Зато, наоборот, лица собравшихся в чахлом садике тысяч и тысяч рабочего люда смотрели светло и уверенно.

Николай еще никогда не видал такого моря человеческих голов, не видал народа в таком разнообразии простых и смелых лиц.

Здесь была живая человеческая масса, сознающая свои задачи, могучая, как волна на Волге, масса, подымающаяся, чтобы спасти свою страну. Здесь был русский мир — такой, каким он рубился в Ледовом побоище, каким он бился в Куликовской битве, каким он с Суланиным спасал в лихолетье свое государство, непоколебимо стоял под пушечным огнем Наполеона на Бородинском поле. Здесь под красным знаменем в этих черных рядах мобилизовалась, образовывалась новая армия. Этих людей было много, они знали, они имели теорию того, что им делать, они имели самоотверженных и мудрых вождей, они сознавали свою все растущую мощь. Это они остановили все фабрики по всей России, заткнули медные хвостяйские глотки, потушили топки в котельных отделениях, отчего перестали дымить трубы, обрезали железный бег поездов по всей стране. Это вставала сила самой зем-

ли, это твердая рабочая рука решительно останавливала по всей стране движущую энергию труда, отключала этим страну от власти царя, организованно отказав ему в повиновении, смело ломала старую машину государства, строя новая всех этих Федосеевых, Артищевых, Огородниковых. И обо всем том, залезши на бочку, Запрудня заговорила своим корявым, но свободным языком.

Резкий ветер трепал флаг, сиявший огнем над головами этих людей, а у бочки деловито совещались, переговаривались рабочие депутаты, кому выступать дальше. Предметом обсуждения сегодня стал царский манифест. Надо было посмотреть, чего он стоит по существу.

На бочку ловко вскочил новый оратор.

— Товарищи! — раздался его спокойный, густой голос.

— Панфилов говорит! Михинский... Депутат! — отозвалась толпа. — Давай, Панфилич!

— Товарищи! Вы знаете, царь дал нам манифест! Вот он! — показывал листок с бочки невысокий, плотный рабочий, румяный, с тяжелой нижней челюстью, с близко поставленными друг к другу буравчиками темных глаз, и взмахнул тяжелым кулаком. — Ну мы, конечно, привычны, как рабочий народ, получать от царя нагайки, пули, картечь, и тут обрадовались: свобода! Вот! Ну, как теперь оказалось, — все осталось по-старому: как была не свобода, а костоломка, так она и осталась. И вот мы думаем: дело не шуточное. Даешь свободу, так давай, а волынить не к чему. А вон что — по манифесту — свобода, а на площади погромщики народ смертным боем убивают. Слыхали? Вот! Убивают! И поэтому мы, рабочий народ, должны принять участие в похоронах жертв насилия! В воскресенье! Вот! — махнул он опять кулаком, словно отрубил.

— А теперь с манифестом. Нам слово сказано, а будем ли мы ему верить? Надо проверить, товарищи! Как в лавочке нашей заводской — такую селедку иной раз купишь, что и не обрадуешься. Потому нужно всегда прежде понюхать — хороша или нет. Вот! Давайте-ка понюхаем манифест? Чем пахнет? Нехорошо пахнет, товарищи! Кровью, товарищи. Обманом. Верить ему нельзя! Это, значит, на языке, как на бандуре, — наигрывать, а на деле разные Елизарычи да полицейские по-старому душить нашего брата будут. И мы для того не согласны! Вот!

— Правильно, Панфилич! Верно!

— Значит, нам нужно продолжать бороться. Как бороться? Да просто — один за всех, все за одного! Не слушать разных там мастеров подхалимных, а слушать наших выборных — рабочих депутатов. Спрашивайте нас, что мы для вас сделали! А вот что: были мы сегодня в городской управе, говорили, что помочь надо нашим товарищам, которые недостаточные и бастуют. И получили, товарищи, мы тыщу рублей. Вот! Отвалили их steepенства, господу купцы. Не от доброты своей, а потому, что хвост им припекло! Со слезами, небось, дали — реви, да давай!

Панфилов улыбался, весь митинг смеялся с ним. Как это было не похоже на то, что слышал Николай у Огородниковых! Там язык адвоката звенел, как колокол под дугой! А здесь, напротив, слова тяжелые, корявые, шли от самой земли, приподымаясь лишь на мгновение, чтобы снова связаться с жизнью. Слова Панфилова шли, как плуг, поднимающий непаханные умы и души народа, осветляя его сознание...

— Вот эту тысячу мы уже внесли в Зотовский кооператив. Там, товарищи, и мучка посвежей, и товар схожий, потому что там заведует Алексей Иваныч, товарищ Боровков. И сам он других поживей, хотя к старому прилежит. Ничего. Оттуда и будете получать, товарищи, по нашим депутатским квиткам. Вот! Кому нужда больше...

Гул прошел волной по толпе, Панфилов пошептался со стоявшим рядом и говорил дальше:

— Вот и еще были разговоры в управе. Обговаривали мы тоже, чтобы для порядку на Запрудне опять бы, как летом, рабочую милицию наладить, чтобы вот, — он метнул хитрый глаз на неподвижных городских, — чтобы их фараонские благородия зря не беспокоить. Пушай в теле поправляются!

И толпа опять смеялась — смело, открыто, уверенно...

— Ну, пока что на рабочую милицию в городской управе согласия нету! Вот. Норовят, должно быть, чтобы нас его благородье Пашка Слободской охранял, а нам это нежелательно. Почему? Да потому — охранит он нас, как лиса куру!

— Верно! — раздался голоса, рассыпаясь смех.

— Говорят, губернатор крепко за Пашку стоит, гу-

бернатору-то, видно, спать спокойней, как евонный Пашка орудует! Не разрешает Пашку убрать! А губернатор, вот, — он на царя ссылается! Пашка такой и царю нужен. И до того Пашка этот самый крепок, что губернатор сам из-за него манифеста не видит! Свобода, что ли, глаза ему застит? Только так я скажу, товарищи, — и голос оратора зазвучал, как колокол. — Ежели Пашка по-прежнему будет безобразничать, то мы и без губернатора на него управу найдем. Укоротим! И не без того, товарищи, что придется всю эту шатию сверху и донизу, — Панфилов рванул кулаком от туч и к земле, — самим убрать! Вот! К ядрене маме!

— Долой! — взорвались крики над толпой. — Долой! Долой самодержавие... Николая долой!

Панфилов вдруг поднял вверх голову, прислушался, сделал легкий жест рукой:

— Тише!

Митинг замолк. В наступившей тишине издали донеслись обрывки казачьей песни.

— Едут! Слышите? — с улыбкой сказал Панфилов. — Манифест едет! Вот почему, товарищи, партия наша говорит: вооружайтесь! Заканчиваю! Помните, товарищи, пролетариат победит, наш рабочий класс то есть, ежели мы все, как один, будем стоять за нашу дорогую социал-демократическую партию.

Николай стоял в стайке учащейся молодежи, среди этих разноцветных шинелей, форм, петлиц, серебряных и золотых пуговиц, фасонных фуражек, то огромных, как блин, то кургузых, как головки попугаев, — их всех словно нарочно одели так, чтобы они отличались от народа. Дул резкий ветер, солнце садилось за рекой Костромкой, бревенчатые избушки Запрудни стали багровыми, красными — лужи. А песня о том, как «поехал казак на чужбину далекую», приближалась, звучала, уже показались над толпой пики, снова казачья полусотня подъехала и стала у митинга.

— И тогда, — продолжал Панфилов, — мы все не только глазами мигать будем, а и зубы кой-кому покажем... Да и вот это! — и крупный кулак поднялся над головами. — На кого нам опереться, товарищи? Казаков у нас нет, городских тоже. Сила наша — в нас самих. И сами мы добьемся того, что будет править тот народ, что трудится. Летом мы бастовали? Бастовали. Победили? Побе-

дили! Вот! И теперь победим, свергнем проклятое самодержавие... Почему? — и он запел сильно и верно:

Все, чем все держатся троны, —
Дело рабочей руки!
Сами набьем мы патроны,
К ружьям привинтим штыки...

— Вот!

Под гром рукоплесканий ободренный Панфилов спрыгнул с бочки на землю.

Еще давно, ребенком, Николай как-то провожал на вокзал мать, куда-то уезжавшую. Над суетливой платформой величественно высился паровоз, сияющий медными, стальными своими частями, зеленый, с красными колесами, с приземистой трубой с раструбом. В этом железном корпусе машины, в сочащемся из него горячем паре была такая мощь, такая неодолимость, что никакие слезы, жалобы расстающихся не могли оказать на него никакого действия. Стрелка вокзальных часов дошла до назначенной точки, плачущего Николая вырвали у матери, рев из медного гудка вместе с паром потряс весь вокзал, тронулись колеса, и могучая машина, созданная человеческими руками, двинулась вперед, неудержимо, все учащая постуки колес, увлекая за собой один за другим покорные вагоны, бегущие на своих низеньких лапах.

Этот митинг был чем-то похож на локомотив, в нем, тоже созданном человеческой волей, было столько новой мощи, что становилось ясно, что никакими бормотаньями, заклятьями Огородниковых не удержать этого берущего ход движения.

— Товарищи! — раздался с бочки знакомый голос Михаила Фомича. — Уже поздно! Совет рабочих депутатов заканчивает митинг. Завтра опять в то же время будем обсуждать наши дела, а в воскресенье — похороны товарища, убитого черной сотней на площади. Должны быть все. А теперь — помянем и этого товарища и других, павших в борьбе за наше правое дело... И он взмахнул, как регент, обеими руками:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной к народу... —

запел митинг за его высоким, чистым баритоном. Тысячи людей пели печальный марш истово, благоговейно, пели

с такой верой в будущее, в свое право на свое будущее, что осенний воздух звенел. Запрудня пела эти слова, как клятву, как призыв к борьбе. Опаленное закатом небо меркло, бурые тучи висели грозно, солнце ушло, но глаза поющих были сосредоточены и решительны. И высокий женский голос уже вырывался из хора:

Прощайте же, братья, вы честно прошли
Ваш доблестный путь благородный...

— Прекратить пенье! — вдруг раздался истошный дурной голос. С подкатившего с треском извозчика, выкатив белки глаз, придерживая левой рукой свою «селедку», бежал Пашка Слободской с развевающейся рыжей бородой. — Отставить!

Этот худой смешной человек в своем простодушном начальственном раже действительно думал остановить ход истории, надеясь на то, что за ним стояли, чернея пиками, казаки и рослые, усатые городовые.

Придут времена, и погибнет тиран... —

пела толпа единой волей, единым дыханием.

Пашка выхватил селедку, блеснул желтым клинком:

— Казаки! Прекратить! Не допустить!

— Полусотня, за мной! — раздался хриплый бас.

— Рысь-ю марш! — скомандовал сотник, застучали конские копыта, змеями взлетели нагайки.

— Ура! — закричал сотник, и нагайки захлестали по спинам бегущего народа, что стоял вне ограды Михинского сквера.

— Товарищи! — взлетел в ответ молодой голос изнутри сквера. — Огонь по насильникам!

Захлопали негромкие револьверные выстрелы, один из казаков остановил поднятую было руку с нагайкой, опустил ее. Николай видел, как его напряженное, зверское лицо стало простым, человеческим.

— Ох! — простонал казак, откинулся на круп коня, скользнул на землю, запутавшись в стремянах.

Казаки бросились на помощь, подхватили раненого и, отскочив за ближайший угол, клацнули затворами винтовок.

А толпа уже таяла, исчезала в сумерках, и скоро в Михинском сквере на истоптанном снегу осталась одна только бочка, а на сквер со всех сторон смотрели из окон,

через заборы, в щели приоткрытых калиток настороженные, серьезные глаза.

Николай с Козловым тоже забежали в чей-то двор, где на них из будки неистово лаял цепной пес. И впереводку с его лаем Николай шептал товарищу, крепко держа его за локоть:

— Витька, а ведь здорово, когда есть оружие! Совсем другое дело!

— Ага! — обернулся тот к нему и сверкнул глазами. — Еще бы! Понял наконец!

И через секунду добавил:

— Без оружия — болтовня. Нужна сила. У тебя есть оружие?

— Купил! А что?

— Не худо бы и револьвер иметь! Удобнее. Ну, а если случится что — пойдешь?

— Пойду. Это — настоящее!

— Я слышал, ты с Прозоровым на охоту собираешься?

— Он обещал мне сказать, когда. А что?

— Иди!

— Или ты теперь и с Мишкой разговариваешь? — спросил Николай.

Подняв вверх лицо, Виктор улыбнулся:

— А почему? Идем врозь, бьем вместе. Тактика партия!

У Николая захолонуло сердце.

— Бить? Кого бить?

— Кого? Ну ясно, кого, — улыбался тот. — Зайцев! Их всегда бьют. Ступай на охоту! — подчеркнул он. — Однако нам пора уходить.

В редких домах на Запрудне мерцал свет, улицы имели настороженное выражение: где-то тут всюду, за пряслами деревянных заборов сидели вооруженные люди. Сюда, в эти дощатые форты Запрудни, отступила, ушла до новых боев новая армия.

Как-то так выходило, что что бы ни случилось с Николаем, Нижняя Дебря встречала его вечным самоваром. И теперь — опять пили чай.

Митревна покосилась на пасынка, отец оторвал от газеты пожелтевшее, с подпухшими глазами лицо:

— Пей чай! Где шляется?

— В городской читальне. Газеты читал! Потом... с Мишкой Прозоровым на охоту пойдём, — и договорил, осторожно принимая горячую кружку из рук мачехи: — ...за зайцами!

— Я уж думала, ты на Запрудне был! Как это там без тебя дело обошлось? — заметила Митревна.

— А зачем мне на Запрудню?

— Ну, зачем! Там, говорят, такие митинги — тысячи народа собираются. Бунтуют фабричные! Один за другим на бочку лазют. Говорят!

Николай размешивал в кружке сахар. Отец примирительно посмотрел на него.

— Бунт! Все бунтуют! — сказал он. — А чего, господи! Разве нельзя мирно жить. Государь вон манифест какой дал... Уж иностранцы внимание на нас обращают. Смотри, что пишут в газете!

— Как же попало сюда «Русское Слово»? Поезда-то не ходят? — спросил Николай.

— А должно, на лошадях возят — тут недалеко! — отозвался отец. — Вместо поездов... Что ж, и с лучиной будем сидеть скоро! Слушай, что говорит знаменитый английский писатель мистер Стэд. Путешественник.

И, вздев очки на нос, он читал опять этим своим нарочитым басом:

«Англия — страна, любящая покой и красоту... В знаменитых по своей красоте местах Англии мы, англичане, устанавливаем мраморные доски с золотыми надписями, в которых хвалим бога за красоту...»

И, подняв голову, отец обвел всю маленькую свою аудиторию строгим взглядом:

— Вот!

А затем продолжал с увлечением читать:

«И когда я подумал у нас дома, в тихой Англии, что делается у вас, в России, об этой страшной борьбе старого и нового, я услышал голос самого господа бога:

— Иди! Иди!»

— Ах, — ахнула бабушка, — надо быть, праведной жизни этот англичанин. Видение ему было, что ли?

Отец мотнул отрицательно головой.

«И я решил — я еду в Россию! — читал он. — Я приду к русскому императору — я давно с ним знаком! Я пойду к его министрам! Я спрошу их, что они думают о положении, как они будут бороться со смутой?»

— Добрый человек, дай, господи, ему доброго здоровья! — прошептала Митревна и перекрестилась.

— Вот видишь? — опять спросил сына Федор Петрович, поднял вверх наставительно палец и продолжал читать: — «Я скажу им всю правду, открою настоящие пути... О, я спасу вашу культуру, помогу вам».

— Кто же это пишет?

— Отец Григорий Петров... Священник... Вот-де как культурно можно действовать... Он с этим самым англичанином в вагоне ехал, ну и разговаривали. Какой хороший народ англичане, а? Что же ты скажешь теперь?

— А почему они своему королю, Карлу Первому, голову-то отрубили, когда надо было? — спросил Николай. — А теперь проповедывают...

— Как отрубили? Англичане? Королю? Не может быть!

— Это — наши враги! — рубил Николай. — Кто Севастополь устроил? Англичане! Кто свиней нашим сахаром кормит? Англичане! Кто Индию захватил и в рабстве держит? Англичане! Каково положение рабочего класса в Англии? Ага! Пусть они у себя порядки налаживают, а мы и без них сами справимся!

— Порядок действительно нужен! — еще примирительнее отозвался Федор Петрович, снова уткнув нос в газету. — А то вон что пишут.

И он прочел:

«Ярославль. Неизвестно при каких обстоятельствах исчезли две наливные баржи с нефтью. Убыток компании Нобель — три миллиона рублей. Виповные не обнаружены...» Ну, подумай только, что творится!

Глава пятая

ГОРЯЧАЯ ОСЕНЬ

Осенним утром навалило туману. Из Запрудни на Низовку, переваливаясь по мягкой дороге, ехала телега в одну пегую лошадь, в телеге сидел семинарист Темпераментов, одетый по-мужицки: в рыжем азяме, теплой шапке.

С телегой шло трое. Прозоров, в короткой куртке,

крепкий, как боровичок, шагал впереди, Николай Прокшин и Василий Сергеевич Ситов, техник, шли за телегой. Все трое были в сапогах, с ружьями, а у Ситова на поводке был ладный, костромской гончак Чур, черный с подпалинами. Пес то и дело рвался в стороны, вперед, чуя заячий след в мокрой траве, и Ситов с трудом сдерживал его, натягивая поводок и ругаясь.

Было необыкновенно тихо. Туман был такой, что лесная дорога пропадала впереди и позади уже в двадцати шагах, туман курился из логов, елки, желтые березки и можжевуха у дороги обросли словно овечьей волной, а стоявший подальше лес маячил черными, рыжими пятнами, то выступающими неясно, то снова тонущими в клубящейся мгле. Крепко пахло сыростью, прелью, грибом, елкой, изредка стрекотала сорока, откуда-то нет-нет и потягивало теплым дымком, и тогда хотелось в жилье и становилось грустно.

Ситову было уже лет двадцать пять; в очках, широкоплечий, приземистый, он походил на небольшого медведя. Лицо его тонуло в черной бороде, в усах, кепка пружинила на голове от курчавых волос. Человек он был добрый, обаятельный, умный — его Николай встречал и слышал на массовках, в кружке у Ряжева, в городской библиотеке, где он постоянно брал книги по сельскому хозяйству.

— Мать честная, ну и воздух! Ну и осень! — восторженно бормотал Ситов, то и дело скользя по черной мази дороги. — Тише ты, дурак. Ну! — прикрикнул он на отчаянно рвущегося пса.

— Далеко еще? — спросил Николай.

Они шли уже часа полтора.

— Нет, — ответил Василий Сергеевич. — Верстушки разве две.

И негромко засмеялся.

— И что делается! Вот я — самый смирный человек, у меня, знаете, жена, сынишка. У нас в техническом училище, знаете, жениться разрешается, мы народ пожилой. Вот сегодня утром меня Анюта и спрашивает: «Ты куда?» А что я ей скажу? На охоту!

— Приходится врать! — сказал Николай и внутренне съежился, вспомнив, как заботливо и осторожно давеча разбудил его утром отец, чтобы он не опоздал. — А как туман курится, словно из кустов кто-то лезет и

лезет, — заметил он помолчав. — И сколько же силищи природа раскидывает зря!

— Я, знаете, так думаю, что человек когда-нибудь всю эту силищу в одно соберет, — живо ответил Ситов и учтиво кашлянул. — На дело направит. Все нужно приспособить и организовать, и тогда, знаете, будет изобилие. И туман, пожалуй, когда-нибудь приспособят. Запрягу-ут. Пусть работает на нас, как вода, как ветер. Запрягли же люди пар на себя работать. Электричество.

— Как его, черта, приспособишь? — зевнул Темпераментов.

— А можно, пусть он хоть воду на горы, на поля втаскивает... Поднять туман с нашего озера, ну и поля полить...

— Это ты, Василь, туману напустил, — басил Темпераментов. — «Запрягут». Да нешто природа-то — лошадь?

— Наука для этого нужна. Она может! — говорил Ситов. И спросил Николая, оставив Темпераментова: — А вы куда после гимназии?

— На историко-филологический!

— В учителя, значит? То-то у вас вид такой... Задумчивый, знаете! Так-с! А зря-с! Жизнь теперь идет все больше к технике, техникой и заниматься надо. Технические, знаете, науки... ну и технику жизни. Мне, знаете, Прокшин, часто снится, что люди полетят, — блеснул он очками и стеснительной улыбкой. — Вот сядут во что-то. А во что? Не знаю! Что-то так все видится из тумана, мельтешит, уж летят, черти, а рассмотреть как следует — не могу!

Ситов так и прет куда-то в своих корявых, сильных мыслях, прет несокрушимо, настойчиво.

«Медведь! — подумал Николай. — О чем думает — лететь ему надобно!»

А Ситов размахивал короткими ручками.

— И уже где-нибудь, а такая мысль завелась. Кто-нибудь да думает, как бы это ему полететь. И человек-то думает, знаете, самый обыкновенный. Сидит за столом. Илья нет, на каком-нибудь станке, знаете, мастерит. И очень уж ему лететь хочется.

Тяжело маша крыльями, боком, разгребая туман между двумя высокими вершинами елей, пролетела ворона.

— Кррр! Кррр!

— Вот видите-с — ворона летит, а мы еще не можем. Ворона-то, выходит, умней нас! И тот человек, который про полет думает, — всех людей оправдать хочет... Чтобы мы не хуже вороны были... А? — он долго провозжал ворону взглядом.

— И, наверное, знаете, тот человек бедный, — продолжал он копаться в мыслях. — Богатому некогда, ему то и дела, чтобы еще богаче стать или жена красивая. Занят он. А тот — бедный. Семья, детишки пищат, жена, знаете, бранится. Наверно того нету, другого нету, а он, бедняга, знай карандаш да бумагу изводит. А то еще хуже — модель строить принялся. Тут все соседи уже смеются — чего затеял. Лететь! Вот дурак! Только ребяташки со всех сторон в сарай к нему лезут, интересуются. Ха-ха-ха...

— Чего тут, Василь, смешного? — гудел Темпераментов.

— Да разве не смешно, что тому, что людям, знаете, нужно, — сами же люди и мешают. Сами себе вред творят. Не верят! А почему-с? А потому, что думать очень трудно. Трудней, чем тяжести таскать. Самое трудное — новое рассмотреть. И понять... Да и делать-то тоже нелегко. Вот и сейчас мы силы расходуем, ноги скользят — трудно. А надо, знаете...

— А когда лошадь брали, Василий Сергеевич, чего говорили? — спросил Николай. — Зайцев, что ли, столько привезем?

— Лошадь — животное нужная, — уклончиво отозвался тот. — Полезная. И дали, кто понимает. Об том речь впереди, а самое, знаете, трудное — наука... Наука всю жизнь меняет. Буду помнить я по гроб моей жизни такой случай. Отдали меня маленьким в школу нашу, в церковно-приходскую... Ну, деревенскую. Посадила меня учительница Марья Ивановна на парту, эдак пальчик подняла и говорит: «Вася, смотри на доску, на доске все обозначено. И с доски в тетрадку пиши! Как все мальчишки».

Ситов остановился, закуривая папироску, желтый огонек спички почти пропал в его растительности. «И как это он себе бороды не спалит», — подумал Николай.

— Другие ребята едят, я сижу, смотрю — ничего

не выходит! Марья Ивановна ко мне — пальчик подымает... Васька, говорит, что ж ты не пишешь? Пропадешь ты, говорит, Васька, чернявый. Я, знаете, плачу, пишу, а она меня корит: ну что ты пишешь? Глупости! Смотри! Разве так на доске написано? Чудак ты, говорит, Васька! А как, впрочем, у тебя с глазами? Надо посмотреть... И что же вы думаете, — засмеялся Ситов и сладко затянулся дымом. — Приехал на мое счастье в школу нашу доктор земский Евгений Семеныч. Стал меня смотреть и спрашивает:

— Да как ты, говорит, мальчуган, видишь?

— Как вижу? Как все! Глазами! Вота окню, вота дом...

— «Вота окню!» «Глазами!» Мужичок! А ну-ка, пойдем со мной! Видишь ты видишь, да не так, как нужно... Вышли мы с ним в комнатку Марьи Ивановны, он ящичек свой достал, стеклышки, стал мне глаза проверять. И как надел я первый раз в жизни очки, так и ахнул.

Василий Сергеевич сердито рванул поводком собаку.

— Назад! Ах, до чего же ты надоел, окаянная сила! — крикнул он. — Не понимаешь, что не в том сегодня дело! Тут только понял я, что значит видеть, — продолжал он. — А я и не знал, что я безобразно близорук. Раньше смотрел — все ребята, как белые пятна, в тумане. А теперь кругом ребята как ребята, — у всех носы, глаза разные. Смотрю — на доске цифры рядками стоят, буквы. На дворе деревья — тоже разные, ясные. У одного один лист, у другого другой. Плачу от радости, что так все вижу, и досадно мне, что раньше не понимал, что ничего не видел. Господи! И доктор, знаете, тоже смеется. Ах ты, говорит, «вота вижу». Первым учеником я стал и лист похвальный получил. Да стой, окаянный! Чур! Все тебе зайцы мерещатся!

— И вот, товарищ Прокшин, знаете, и наука все равно, как мои очки. Все ясно через нее видно... Эх, — воскликнул он, бросая окурочку в лужу на дороге, — кабы всей нашей России да дать бы образование. Всей! Очки бы эти самые! Ничего больше не надо, у нас все свое есть. Некупленное. Просторы, реки, поля, горы, моря. Чего только у нас нет! Самая богатая земля в мире. А народ-то какой, господи, какой народ! — взмахнул он руками. — Огонь, а не народ! Золото народ. Талант. Ему

образование нужно, а его в церковно-приходской школе дураки держат. И почему держат-то? А боятся, что он очень скоро расти будет и они за ним не поспеют. Ну, вот, бог даст, революция скоро будет, народ глаза разинет!

— После революции, Василь, надобно за землю браться, — загудел Темпераментов и закрутил вожжами над лошадью. — Н-но, шевелись, родная! Вот тогда заживем! В земле вся сила!

— После, конечно. Прежде всего временное правительство, — серьезно возразил Ситов, — а там, как Учредительное собрание все наладит, — всем первым делом очки. Всем образованию! Пусть все сами все кругом видят, пусть понимают. Пусть этот каждый человек в десять раз сильнее становится. Пусть каждый на своем месте делает все, как только может крепче, лучше. Пусть каждый двигает науку. Пусть ищет везде, где-то побольше взять, чтобы в ход пустить. Ишь, какой туман! А добьются люди и сквозь туман будут видеть. Ей-богу же, увидят! — воскликнул он в восторге, и очки его заблестели в волосах. — И понятно, что все это рабочий класс должен делать! А кто? У крестьянина ведь все само собой из земли прет. Само растет. Только присматривай, ну и ладно. Коли посеял — вырастет. А рабочий все сам своими руками делает, новое-то у него из головы, из рук растет. Он только начал сейчас видеть, а что уж делает. А дай ему очки — чего он наделает! Ого! Капиталист этого тоже не понимает, потому что для него фабрика, как огород, как земля: сам не работает, само растет, он только урожаи снимает. Ему рабочие заместо земли. Правда, ученые понимают, как много можно сделать, ну да ученые — они не от мира сего, они видят, да пока что этому только удивляются да бога хвалят: премудрость! А нет еще, чтобы науку к практике приспособить, самому этому господу богу помочь. Профессора! Кабинетные! А рабочему, простому серячку, рабочему, — от науки сразу легче, потому что она его сильнее делает. Все, все должны учиться!

— Всеобщая грамотность нужна! — крикнул бас из телеги.

— Грамотности мало! — снова вспыхнул Ситов. — Читать, конечно, важно, а главное-то — что читать? Книжки хорошие нужны, сильные, чтобы все просто объяс-

няли, словно гвозди в стенку вколачивали. Прочел, понял — ну и действуй. А ежели ты человек и грамотный, да читаешь о Бове-королевиче, так из этого пользы мало, ну, вроде, как папироску выкурить. Занятно, а толку нет. Ерунду читать нечего. И когда будет настоящая грамотность да книжки умные, вот тогда люди природу к своим ногам покорят. Эх, и работы, работы будет, что даже весело...

— Эге-гей! — закричал вдруг Прозоров, указывая на небо.

Над головами в тумане проглянула синева, скрылась, опять проявился синий прогал с белым облаком, справа высокой темной полоской обозначился лес, слева все становилось светлей и светлей, потянул ветерок.

— Эгей-гей! — заливался Михаил.

— Эх, черт, сила какая, старшой-то наш! — с беззлой завистью сказал Николай товарищам. — И чего ревет!

— От полноты чувств грохочет! — отозвался Темпераментов.

И вдруг слева совсем близко, рядом, за полосой тумана показалась река, она с приплеском лизала песок.

— Река! — крикнул Николай Ситову.

— А этак мы, пожалуй, и доехали! — сказал Темпераментов, натягивая вожжи. — Тпру! Эвои — ложок. Этта ольшаник. А тут где-то должен быть бугор. Н-но, дальше!

Ветер и солнце быстро выметали туман, тот редел, уволакивался, таял, за ним проступали со всех сторон синие дали, обступали темный лес, отлогами, перевалами, нагорьями уходящий за горизонт. Скоро сверкнуло скудное оранжевое солнце, а под ним заискрилась река Костромка, что спокойно текла сюда из нехоженных просторов, из лесных далей, от нетронутого зверья. По ней плыл плот, на плоту — новая избушка сжала на Запрудню. По высокому теперь небу волоклись жидкие серенькие тучи, синее становились неоглядные леса, и вся эта простая, даром растущая и зря умирающая скромная бесконечность природы налита была допоян такой молчаливой мощью, такой силой, что она, казалось, хлестала через край векового молчаливого терпения, изнемогала от безделья, требовала себе языка, жизни, мысли, звала к делу. Темные леса, тихие воды запева-ли ка-

кую-то свою, героическую песню без слов, без звуков. Кто, кто подберет слова к этой песне темного леса? Какой чудесный инструмент передаст звуками молчаливое ожидание того, что идет, что близко, что вот-вот будет?

Проворно перебирая кривыми ногами, Прозоров побежал вперед — там маячил на реке древний бугор, на нем стояло и прямо и вразвалку несколько высоких елей, одна завалилась навзничь, будто поддержанный другими пьяный великан, со всех свисали длинные мхи. Поседевший уже перед зимой русак вдруг вырвался у Прозорова из-под ног и, наставив уши, покатил вдоль берега.

— А-тат-та! А-та-та! — озорно заревел Прозоров. — А-та-та! Ату, ату его! Собачки-и!

Чур завыл, словно дама в истерике, визжал, лаял тонко, почти волок за собой Ситова, тот припал на одно колено.

— Чертила! Дитяtko! — ругал он Михаила. — Не понимает, жеребьячья сила, что не время баловаться. — И вдруг, приведя Чура к ноге, улыбнулся: — Повезло зайчишке-то, что нам некогда!

С бугра было видно, как вся в оранжевых искрах река давала тут крутого кривуна, место было узкое, фарватер близко, лес отступил, закрыл это место с обоих берегов. Телегу загнали в лес, юноши с ружьями стали на холме вооруженным дозором, взволнованно примолкли. Приходилось ждать.

Курили. Говорили, как на исповеди, вполголоса.

Вдруг Ситов шевельнулся, наклонил голову набок, поднял настороженно руку:

— Неужто, товарищи, идет?

Чуть шелестя, стучали дробно плиты парохода.

— Идет!

Юноши залегли в можжевельник, густо покрывавший бугор, умолкли, и над ними вокруг солнца крутился бурый ястреб.

От волнения у Николая сердце билось падающими, затягивающимися ударами, во рту пересохло. Как-то пройдет операция? Было и жутко и в то же время захватывающе интересно. Как это все было непохоже на все то, в чем он жил до сих пор! И он пощупал свою берданку: тут!

Над берегом за поворотом показалась мачта с флаж-

ком и, покосившись на правый борт, бойко лопоча плечами, бежал набатовский пароход «Макарьев», шедший последним рейсом на зимовку в затон, в Кострому.

Пароход приближался, и вдруг и впрямь произошло то, чего так страстно ждали все охотники на бугре, о чем давно было говорено в одну дождливую ночь на Запрудне.

Раздался, раскатился по лесам длинный гудок, за ним три коротких.

На мостике у рукояти гудка стояла сильная, широкоплечая фигура с лицом, закрытым платком.

— Сашка! Стоюнин! — шепнул Николай в совершенном восторге и толкнул Ситова в бок. Тот не шевельнулся, захваченный дерзким зрелищем, одной рукой успокаивая Чура.

«Макарьев» покатился влево, сбавил ход и наконец мягко ткнулся в берег под самым бугром.

— Сходни давай быстро! — крикнул с мостика Александр.

— Сходни! — миролюбиво и охотно повторил стоявший рядом рыжебородый капитан. — Ванюшка, чего зевашь!

На пароходе, видно, никого не было, кроме немногих матросов, все сидели в каютах, жалюзи были спущены.

Ванюшка в синей рубахе скакнул на берег, вытянул сходню, и с парохода на бугор торопко побежали люди — тоже с закрытыми лицами, с кубическими ящиками в руках.

— Не бросайте ящиков! — крикнул капитан, перегибаясь с мостика через перила. — Пароход расшибете! Осторожно!

Ящики складывались аккуратно рядком, люди с закрытыми лицами бежали за новыми обратно.

«Словно грузчики у Федосеева в Кинешме!» — смешливо мелькнуло в голове у Николая, а Ситов обернулся и подмигнул ему.

— Все? — крикнул сверху Саша.

— Готово! — ответили снизу.

Саша быстро сбежал с мостика, сбежали на берег и другие товарищи. В последнем бегущем с парохода Николая узнал Ряжева.

Михаил Фомич остановился у сходни.

— Теперь езжайте! — крикнул он вверх, на мостик. —

Ванюшка, убери сходни. Да если кто скажет какое слово, что нашему народному делу навредит, — тому мало не будет! Пойдешь, капитан, не быстро, шлюпки не спускай. Будем с берегу следить. А ежели что...

И он поднял вверх короткий карабин:

— Вот!

Капитан, не отвечая, рывкнул свистком, забили плицы, и «Макарьев» стал отплывать к стрежню.

Сошедшие с парохода товарищи стояли на берегу, пока кривун не скрыл парохода.

— Привет, товарищи! — негромко проговорил Ряжев, снимая с лица черный платок. — Все здесь? Где подвода?

— Все в порядке, — говорил взволнованно Прозоров, пожимая ему руку. — Бери, товарищи, ящики. Тут недалеко. В лесу. Вот это по-нашему!

— Тут! Тут! — в совершенном восторге басил Темпераментов. — Ну и здорово, ей-богу!..

— Разговоры потом! — сказал Ряжев, следя, как расхватывались ящики с динамитом. — Осторожно, товарищи, внимание! Груз нежный, стекла!

Николай с тяжелым ящиком бежал по мягкому мху. Вот это было куда лучше слов. Динамит — это дело!

Этот «экс», выполненный совместно организациями социал-революционеров и социал-демократов, мог вооружить теперь бомбами костромскую боевую организацию — обстановка требовала такой объединенной работы.

Ящики бережно уложены на подводе на мох, Темпераментов вылез из телеги, в нее сел Ряжев, и он, и его люди утонули бесследно в синих костромских лесах, пробираясь мягкими моховыми полянами туда, где стояла небольшая усадьба...

Родился когда-то в этих лесах помещик Куклин Сергей Иванович, служил в гвардии в Санкт-Петербурге. Был взыскан «за храбрость и верность» милостями государя Петра III Федорыча при его восшествии на престол, а всего через полгода государя того Орловы задавили в Ропше, посадили на престол его жену немку Катьку. Сергей Иванович Куклин, как верный и храбрый субъект, не признал Екатерины и, получив по вольности дворянской полную отставку, отряс прах неверного Санкт-Петербурга от ног своих, отъехал в костромское поместье.

Нелюдим, мизантроп, возненавидевший людей за их трусость и неверность, хранивший, как драгоценность, ночную рубаху своего государя, которую тот сбросил тогда, уезжая из Петергофа, Сергей Иванович выстроил себе дом в глухом лесу, вдаль от деревень; его мужики выкопали ему перед домом пруд, на пруду оставили островок «Уединение», на островке поставили круглый бельведер-беседку со статуей, и прожил он тут до смерти, в чтении Вольтера, кушая водку и учредив для своих поданных лесную барщину: земли мужики его пахали мало, больше охотились на зверя лесного, на птицу, все имели ружья, чтобы в случае чего оборонять его благородие, а бабы обязаны были доставлять в Куклино ягоды, грибы, весь провиант.

Таким же нелюдимым окончил жизнь в Куклине и сын его, Иван Сергеевич, прижитый от крестьянки: не мог простить Сергей Иванович дворянству, что вело себя, как последняя потаскуха, пресмыкаясь перед Каткиными фаворитами. Он тоже просидел век в своей библиотеке, иронически подсмеивался над богом и куклинским попом — отцом Лукой — и считал себя республиканцем, но только на польский образец.

— В Польше ведь дворяне сами себе короля выбирали, и каждый шляхтич мог, крикнув гордо — «не позволям!», потешить свой шляхетский гонор. Зато уж в своей деревне над своими людьми был там каждый шляхтич великим паном, сильным, как сам пан бог, — так мыслил Иван Сергеевич и даже оставил после себя о сем «Записки».

Внук Сергея Ивановича был Наполеона и, служа в Санкт-Петербурге, в декабре 1825 года вышел на Сенатскую площадь, за что и пострадал от Каткиного внука — Николая.

Будучи услан в Сибирь, он растил там своего сына, который и унаследовал по амнистии благополучно куклинские костромские вотчины и угодья, а также и завешание — мстить за прадеда.

Времена менялись, и следующий Иван Сергеевич в 1848 году дрался в Париже на баррикадах в качестве «русского дворянина и гражданина вселенной», сын же его, Ивана Сергеевича, Сергей Иванович, потерпел на крестьянской реформе 1861 года, ходил в народ в 80-х годах и доживал теперь свой скучный век в усадьбе Куклино.

Оскудение шло быстрыми шагами. Главный дом с колоннами сгорел от громового удара в самую страду, когда все мужики были заняты, а куклинская земля истаяла тоже вся оттого, что на ней не было больше даровых мужицких рук. Не мог же сам пахать землю, словно какой-нибудь однодворец, столбовой дворянин Куклин, обиды которого насчитывались столетиями.

И вокруг этой захолустной лесной усадьбы, пропитанной обидой, шумели вечно синие леса, деревья в них сеялись, росли, спели, валились с грохотом, умирали бесполезно, а под единственным флигельком еще каких-нибудь несколько месяцев тому назад грохотала «техника», то есть подпольная социал-демократическая типография: сагитировала на нее старика Куклина, убедила его посчитаться еще раз с царями — потомками царя-бабы Катьки Клавдия Ивановна, румяная, чернобровая домашняя учительница, что готовила внучка Сергея Ивановича — Сережу — за первый класс Костромской классической гимназии.

Сережа был сыном Ивана Сергеевича — штабс-ротмистра, погибшего в лихой конной атаке против японцев в 1904 году под Вафангоу, на сопках Маньчжурии.

Лысый, тонкогубый, длинноногий, в лиловом халате, дед Куклин интересовался по-барски делами типографии и не раз читывал сам сквозь надетое боком пенсне корректуру листовок.

«Улицы Петербурга вот уже несколько дней как залиты кровью, пролитой от руки самодержавного палача...» — читал он.

Сергей Иванович откладывал перо в сторону, дрожащими, желтыми от табаку руками крутил автоматически кручонку, довольно глядя на поясной портрет своего непреклонного предка, гвардии поручика Куклина, в белом супервесте с двуглавым, шитым золотом орлом на груди. А потом, поправив пенсне и высоко подняв брови, правил в слове «несколько» — «е» на «ять», иронически улыбаясь.

— Малограмотно-с, матушка Клавдия Ивановна, — говорил он, — малограмотно-с! Но хлестко, сказать нечего! Горячо! Пусть, пусть почитают эти хамы в Зимнем дворце, — выговаривал он, изящно грассируя. — Но все-таки желательно бы тоньше. То-онь-ше! Ядовитее.

Ну, возьмите Мольера, Вольтера. Даже Раблэ. Да разве они так писали? Нет, нет! Надо тоньше!

По мере того как нарастала буря 1905 года, «техника» на столь отдаленном расстоянии от Костромы оказывалась неудобной, типографию перевезли в Кострому, и в видах конспирации ее поместили в доме, рядом с домом на Никольской, где жил Кошуро-Масальский, прокурор, на счету которого было много жизней революционеров. И поэтому, когда боевые организации хотели было расправиться с ним, это было отклонено: покушение на прокурора Кошуро-Масальского могло вызвать обыски вокруг его квартиры, и «техника» могла провалиться.

Типография продолжала работать под боком у прокурора, а в Куклине, в белой баньке, возник небольшой завод бомб и несложного оружия. Какое же место было бы удобнее для такого дела?

Хорошо русские леса хранят тайну! Мутная заря угасла уже за лесом, когда подвода, которой правил Ряжев, въезжала в ворота куклинской усадьбы, открытые настежь Клавдией Ивановной, выбежавшей под пуховым платком на лай псов.

— Опять эсеры помогали? — спросила она Ряжева, улыбаясь легкой своей улыбкой.

— Даже беспартийные! — отвечал тот. — Здравствуйте, Клавдия Ивановна. Как же бы мы, запрудненские, подводу достали? А куда складывать, Клавдия Ивановна?

— А в погреб, в погреб. Лошадь знаете куда поставить? Потом идите в дом. Поговорите с Сергеем Ивановичем.

Николай шагал обратно, на Запрудню, в город, точно на крыльях летел. Он сделал дело. Дело, а не огородниковская самовлюбленная болтовня за серебряным самоваром. Все было так просто, как эта земля, как лес, как бездымные трубы за лесом, высоко воткнувшиеся в голубенькое небо. Дело, которое делало новое, не похожее на прежнее.

Николай, шагавший со своей ижевкой за плечом, в высоких сапогах, в рваной куртке на вате, казался себе каким-то солдатом. Какой армии? Он не знал. Только в правой ладони, которой он придерживал висевшее за

плечом ружье, он чувствовал холодок стали — это была освобождающая сила оружия. Удача с динамитом окрыляла его веру в организацию. Какую? Он тоже не знал: партия окружала его надежно, но невидимо. Радиант действовал безотказно. Велико ли было сегодняшнее дело? Но оно — начало. Чего? Того, что будет. И ведь все эти леса, облегающие горизонт, эти миллионы деревьев — тоже выросли из одного зернышка! И придет время, когда эта новая сила охватит миллионы людей. В нем, в Николае, в его уме, сердце, росло это будущее, эта сила, и то, что является теперь — не исчезнет никогда, останется жить. Расти. Развиваться. Он не одинок со своими мыслями — эти мысли у многих. А когда мысль у многих — она становится делом. И не федосеевским скопидомным делом, а народным делом. Николай, подходя к Запрудне, понимал, что она тоже росла, перерастала Кострому. Ее улочки, переулочки, избушки казались такими близкими, своими. Тут ведь живут решительные, смелые люди, вроде Ряжева. А куда же уехал Ряжев с телегой? Этого он, Николай, не имел права знать. Правильно. Ему доверяли, и он, Николай, обязан доверять. А вот ружье неудобно в городе, надо действительно иметь револьвер. Можно купить. Деньги еще есть, лежат в почтовой сберегательной кассе, те, что от Федосеева получил за уроки.

И на эти самые последние золотые он и купит себе «Смит и Вессон», стоит недорого, всего двадцать два рубля. Надо быть го-то-вым!

Подходя к Нижней Дебре, Николай заметил, что уже смерклось, и очень удивился: день пролетел так стремительно, быстро, опасно и все же неся внутреннюю тишину удовлетворенности.

Открыл дверь из сеней в переднюю — в комнатах тихо, сонное царство. Весь дом спал после обеда перед вечерним чаем. Даже Коська спал, свернувшись калачиком на постели, на белостокском одеяле. Позвать его? Но все равно рассказать ничего нельзя. Николай отстегивал патронташ, когда в дверь — бессонная, живая душа дома — шмыгнула бабушка:

— Ну, убил чего?

Николай мотнул головой:

— Нет!

— Эх ты, горе-охотник, — смеялась она, и живот у

нее трясся. — Жалко! Отец-то любит зайчатинку. Только, знаешь, — глаза у бабушки сузились, поострели, — надо зайца-то того нашпиговать свиным салцом побольше... Да чесночком... Побольше. Эх, хорошо! — и она унеслась, исчезла в сумерках, словно само прошлое.

Николай прилег было тоже, но лежать не мог. Что-то билось, рвалось в нем, гудело, как машины на запрудненских фабриках, и это было тем же самым морем времени, что бурлило по всей стране, меняя и меняя причудливо, но закономерно свои формы.

С осени круто сбывала волна «конституционного», по выражению Ленина, «возбуждения», падала, замирала, подходила к концу шумная эпоха столичных и провинциальных общественных съездов, банкетов, резолюций, речей, вежливой интеллигентщины, эпоха величественных профессоров, либеральных адвокатов — этих «профессиональных болтунов, пролезавших во все общественные гсворильни».

«Массовое движение в капиталистическом обществе возможно лишь как классовое рабочее движение», — говорил Ленин.

«Пролетарий, — говорил он, — не должен позволить потопить себя в воде общих фраз». И номер первый вышедшей в Женеве газеты «Вперед» давал точную директиву:

«Пролетариат должен воспользоваться необыкновенно выгодным для него политическим положением. Пролетариат должен поддержать конституционное движение буржуазии, встряхнуть и сплотить вокруг себя как можно более широкие слои эксплуатируемых народных масс, собрать все свои силы и поднять восстание в момент наибольшего правительственного отчаяния, в момент наибольшего народного возбуждения».

Революция подымалась по всей стране, вступая в полную зрелость, переходя от стихийности в политическую нацеленность. Ее центром обозначился в этот период Петербург, со своей Выборгской стороной, Шлиссельбургским шоссе, с Московской заставой, Галерной гаванью, со своими высшими учебными заведениями и университетом, протянувшимся поперек всего Васильевского острова в петровском здании Двенадцати Коллегий.

Осенними вечерами Николай теперь сидел в библио-

теке Общественного собрания на Русиной улице, где Федор Петрович состоял членом. Под низкими яркими лампами огромный, покрытый зеленым сукном стол был завален газетами всех городов, всех направлений. Петербургские газеты описывали грандиозные митинги.

В сентябре 1905 года конференция петербургского социал-демократического студенчества постановила: вновь открыть университет и другие высшие учебные заведения в целях проведения в них массовых политических митингов.

«Белый с колоннами мраморный актовый зал Петербургского университета не может вместить всех желающих попасть на него, — читал Николай в газете «Русь». — Задолго до начала митинга в университет на Васильевский остров спешат кучки желающих послушать доклады и прения по текущему моменту. Идут бастующие рабочие — они теперь свободны, идут с женами, с детьми, идут курсистки, студенты, идут подростки... Зал уже набит так, что пройти невозможно. Кафедра окружена сплошной толпой, люди сидят на ступеньках, стоят на стульях, столах, на окнах. Актовый зал — море голов — слушает необыкновенно внимательно, волнуясь, раздражаясь оглушительными аплодисментами на каждую смелую фразу, на смелую мысль...»

На этом митинге, состоявшемся 30 сентября 1905 года в Императорском университете, повестка дня состояла из трех огненных пунктов:

- 1) нарастание либерально-буржуазной оппозиции по мере роста рабочего движения;
- 2) анализ классового характера тактики буржуазного отношения к Государственной думе;
- 3) диктатура рабочих и крестьян.

Рабочее революционное движение в стране нарастало в форме всероссийской политической забастовки, и когда было прекращено движение на железных дорогах, на одном из таких всенародных митингов в Технологическом институте 13 октября родился Совет рабочих депутатов, чтобы «...объединить руководство всем забастовочным движением в руках общего рабочего комитета. Мы предлагаем выбрать каждому заводу, фабрике, каждой профессии по одному депутату от пятисот рабочих. Собрание таких депутатов на своей фабрике, заводе в своей профессии образует заводской, фабричный, про-

фессиональный рабочий комитет. Собрание депутатов от всех фабрик, заводов, профессий образует общий рабочий комитет.

Цель нашего постановления — получить организованность, единство, силу. Такой комитет явится представителем нужд петербургских рабочих, определит, что нужно делать во время забастовки, и укажет, когда надо прекратить ее», — так гласила резолюция митинга.

Рабочие депутаты были выбраны по Петербургу медленно же в ночь на 14 октября.

Бастовала вся Россия, забастовкой подкреплялся ряд политических требований. В те дни была популярна сказка «Конек-Скакунок», выходящая в многочисленных изданиях по всей России и вызывавшая улыбки читателей:

Дворник улиц не метет,
Пекарь булок не печет.
У царя у Берендея
Разбежались лакеи —
Ни кваску испить подать,
Ни лучины нащепать...

Забастовка проникала всюду, вплоть до царского дворца. С неслыханной силой весь народ говорил обанкротившейся власти: «нет!»

«Вся Россия бастует! — писали в одном из номеров «Известия Совета Рабочих Депутатов». — Забастовали адвокаты, врачи, чиновники, банковские служащие, семинаристы, гимназисты. Вся Россия бастует! Она бастует против самодержавия, против бюрократии, против рабства, в котором так долго царь и его шайка придворных держали русский народ. Пришел час расплаты!»

«Костромской листок» получал новости по железнодорожному телеграфу и был полон сообщений об энергичных действиях Совета рабочих депутатов. И Кострома, как вся Россия, следила с неослабным вниманием, как Петербургский Совет рабочих депутатов выпускает свои «Известия», не имея собственной типографии, для чего он захватывает ту или иную нужную ему типографию. «Известия» уже выходили в типографиях газет «Русь», «Наша жизнь», «Сын Отечества», «Биржевые ведомости». Вся городская Россия ахнула, когда узнала, что очередной номер «Известий» вышел в типографии Суворина, в типографии газеты «Новое время» в Эрте-

левом переулке. Само название «Эртелев переулок» в интеллигентском обществе того времени было синонимом реакционного суворинского злопыхательства, нечестной политической интриги.

— Ты смотри, Николай, что же это делается! — вскричал Федор Петрович, вваливаясь однажды занесенный снегом прямо в столовую, и, не раздеваясь, выхватил из кармана форменной шинели номер «Нового времени». — Сам старик рассказывает, как революционеры захватили у него типографию...

Николай сидел за столом в столовой — в их комнате дымила печь — и читал «Коммунистический манифест», — он готовился к кружку. В «Манифесте» за 60 почти лет до этого времени было написано как раз то, что делалось в России:

«...Из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности, пролетариат же есть ее собственный продукт».

Делалось как раз то, чем возмущался Федор Петрович. Делалось как раз то, что делала Запрудня.

— Что делается! Ты слышишь, Николай! В «Костромском листке» пишут, что у нас, в Костроме, появились бандиты, — вон пароход ограбили! Утащили динамит! И в масках...

Серые, добрые глаза отца были широко раскрыты.

— Значит, бомбы будут бросать! А что Суворин пишет!.. Да брось ты чтение, ты мне скажи, можно так делать или нет? Слушай!

Николай поднял голову. Бедный отец!

«В нашу типографию, — читал Федор Петрович, — вечером явилось трое молодых людей, вооруженных...»

— Без масок? — дерзко уронил Николай.

Отец мешал ему читать.

Федор Петрович доверчиво поискал глазами в газете:

— Ничего не сказано. Очевидно — без. «Было уже темно, газа в переулке не было, и фонари не горели. Сторож не пускал пришедших, однако они добились, что прошли к управляющему...» Какой ужас!

— Какой ужас, папа? Просто им нужно было поговорить.

— Но ведь их не пускали! К чему лезть?

— А 9-го января к царю не пускали? Ну, вот теперь и лезут!

— Эх, — махнул рукой Федор Петрович. — К царю — это одно, а в чужой дом разве можно лезть? Слушай! — пенсне падало с носа, на шинели таял снег, а он читал и читал: — «Управляющий принял их в конторе типографии. Молодые люди заявили, что они будут печатать в типографии «Нового времени» седьмой номер «Известий».

— Я должен поговорить с хозяином! — настанвал управляющий». Ты слышишь, — поднял палец отец, — с хозяином!

— А кто же хозяин? — спросил скучным голосом Николай. Эти споры шли неделями, они надоели. — А может — они хозяева?

— Как они? Кто?

— Да вот эти самые — трое! Которые пришли!

— Как так? — оstonбенел Федор Петрович. — Что ты говоришь?

— Папа, — мягко сказал Николай. — Папа, послушай. Да ведь они от народа, значит, они имеют право требовать для народа, чего у него нет! Ты же сам согласился с этим, помнишь? Ага! Ведь дворяне до сих пор говорят, будто их ограбили, отняв у них крепостных. Ведь это же просто глупо.

— Да, но там это сделало государство!

— А может быть, и тут новое государство? Почему ты так не думаешь?

— Но эти люди самозванцы!

— Их послал Петербургский Совет рабочих депутатов!

— Они наставили револьверы!

— А разве у полиции нет револьверов? Полиция не будет охранять этих людей, народ, она охраняет только хозяев. Вот им и приходится иметь револьверы.

— Федор, — вбежала в столовую Митревна, — да разденься ты, Христа ради! Как зашел, так и спорить!

Она разбрасывала тарелки по столу для обеда.

— Да, но ведь это грабеж! Грабеж чужого имущества! — кипятился Федор Петрович.

— Папа, да тебе-то что? Разве у тебя есть что гра-

бить? А у Суворина, слава богу, есть... Пусть сам и отбивается.

— Так это же восстание! Нарушение порядка!

— Федор! Да брось ты разговаривать с дерзким мальчишкой! Только себя расстраиваешь! Опять спать после обеда не будешь.

Митревна тоже была вне себя — Федосья тащила уже голубую с розами миску с дымящимся супом. В дверях показались Костя, бабушка.

— Обедать, обедать! — кричала Митревна. Обед да будущий ребенок для нее были центром всей жизни. — Подано!

— Нет, это еще не восстание.

— Что же?

— Революционный акт!

— Законный?

— Необходимый! Рабочим нужно иметь типографию, чтобы печатать то, что им нужно для борьбы за свои нужды. Они ее не имеют, потому что она принадлежит богатым. А когда народу нужна типография, — он ее и берет!

— По праву?

— По необходимости, папа!

— Но это захват частной собственности!

— Скажи еще «священной». Но пока временный. Ведь «Новое время», ты сам видишь, выходит. То, что он пишет, народному делу, ясно, вредно... Значит, когда народ поймет это, — он отберет типографию совсем. Народ хозяин.

— Что ж, Суворину нельзя иметь типографию?

— Можно! Но нужно печатать в ней то, что полезно народу! Будет работать так, будет иметь типографию.

— Да, значит, и у меня могут, Коля, этак забрать мой сундук. Или вот у бабушки? — проговорила тихо, с притушенной ненавистью Митревна, упершись побелевшими глазами в лицо пасынку.

— Зачем народу бабушкин сундук! А вот у Михиной, у Елены Михеевны, фабрику ее когда-нибудь отберут... И даже если и не отберут, так это хозяйку до добра все равно не доведет...

— А теперь до добра дошли? — закричал отец и застучал кулаком по столу. — Мальчишка! И так уж у нас два правительства... Россия погибает! Запрудня уже

в городе распоряжается! Требуется, чтобы флаги национальные в царские дни не вывешивали... Свою полицию хочет ввести.

— Согласен! — вдруг сказал Николай. — Согласен. Два правительства — ненормально! Нужно одно правительство!

— Какое? — отец насторожился, отложил взятые было ножик и вилку.

Николай молчал. Опустив руку в карман, он ощущал холодный револьвер. Михаил Фомич будет доволен. Николай будет в боевой дружине.

Все скоро молча хлебали суп, спор утих — рты были заняты. Или действительно все дело в этой голубой эмалированной миске с розочкой на боку? В погонах статского советника? В жалованье двадцатого числа? И! больше ни-че-го? Отец сейчас ест с оскорбленным видом — еще бы! Такие разговоры отбивают аппетит. Когда-то он, Николай, сказал же Павлу Соколову, что он будет говеть в Великом посту именно для того, чтобы не огорчать отца. Как это теперь смешно!

Федосья поставила на стол гречневую кашу в глиняном горшке. Константин немедленно заглянул в горшок и сделал губы сквородником.

— Ну, опять каша! — захныкал он. — Надоело!

— Выгоню! — вдруг взревел отец, давая ход раздражению, которое он не решался высказать против старшего сына. — Выгоню из-за стола! И что за мальчишки, прости господи! Одному каша не нравится, другому — правительство!

И, бросив салфетку, вскочил, ушел к себе. Митревна побежала за ним. Из спальни послышался успокаивающий шепот, бабушка сидела с каменным лицом. Молния истории дробила и дробила эту маленькую семью.

Что в России в те дни было два правительства — это было сказано именно в «Новом времени», в статье хитрого, умного реакционера, самого Суворина, которому все казенные туманы не могли затемнить ясного ума.

«Россия не повинуется законному правительству, — писал Суворин, — а повинуется правительству самозванному или, правильнее, — поправлялся автор, — правительству, избранному союзами. Оно могло бы назваться союзным, рабочим правительством.

Его учреждения существуют по всей России, во всех уголках.

Оно не теряет своей связи ни при каких забастовках, ни политических, ни почтово-телеграфных. В то время, когда законное правительство остается без железных дорог, союзное правительство всем этим пользуется.

В то время, когда законное правительство России не знает, что делается в России, союзное правительство все знает и все распоряжения свои по поводу этого публикует.

Когда законное правительство рассылает свои секретные циркуляры или получает секретные донесения, союзное правительство публикует их в своих революционных органах...

Я стою вне правительства и вне революции, — меланхолично писал Суворин. — Я наблюдаю действия законного и незаконного правительств, слежу за их борьбой и рассказываю свои впечатления. Я смотрю, где живые люди, и я ясно вижу их у правительства незаконного, и они, как в тумане, видятся мне у правительства законного...»

Совет рабочих депутатов шел в своих действиях все дальше и дальше. Он постановил, что все газеты, осуществляя свободы, указанные в манифесте 17 октября, должны не посылать своих гранок в цензуру. Если они будут выходить под цензурой, рабочие типографии должны отказываться набирать их, вышедшие газеты должны конфисковываться пикетчиками и уничтожаться, а типографские рабочие, если они продолжали бы работать в таких газетах, — должны были исключаться из союза и бойкотироваться.

Совет рабочих депутатов вынес резолюцию, согласно которой, тоже для обеспечения гражданских свобод, возвещенных манифестом, — пролетариату Петербурга должно быть роздано оружие и учреждена рабочая милиция.

С каждой такой резолюцией словно гул прокатывался по стране: настолько такие действия были неслыханны, невозможны раньше.

29 октября Петербургский Совет рабочих депутатов вынес новую резолюцию:

«Совет рабочих депутатов приветствует всех това-

рищей, которые революционным порядком ввели у себя на заводах восьмичасовой рабочий день.

Совет единогласно постановляет с понедельника 31 октября на всех фабриках и заводах ввести революционным путем восьмичасовой рабочий день».

Получая все эти резолюции Петербургского Совета рабочих депутатов по железнодорожному телеграфу, Запрудня их знала раньше, чем губернатор. Центр жизни действительно уходил на Запрудню, — старая, неповоротливая Кострома явно хирела.

По-прежнему великолепно развевался в Костроме ансамбль Сусанинской площади, с памятником первому Романову посередине в сквере, окруженном решеткой, Гостиным рядом, пожарной каланчой, гауптвахтой, Окружным судом, присутственными местами.

По-прежнему стоял с 1239 года Успенский собор, пугая суровой живописью своей, возвещая тщету мира сего.

По-прежнему розовел невинно губернаторский дом, а у подъезда его два фонаря и два городских.

И тем не менее становилось все ясней и ясней, что все это старое, древнее великолепие меркнет, съезживается.

Первым в Костроме захирел сам губернатор. Он как-то скукожился, стал показываться на улице не в черной своей с красными кантами и с красной подкладкой шинели, а надел какой-то воробьиного цвета ридингот, вывезенный еще из Парижа со Всемирной выставки 1900 года, а на голову — кургузый котелок, из-под которого на затылке розовела полулысина, очевидно полагая, что такой наряд придает ему вид заправского рядового гражданина. Его превосходительство учуял, что былая его импозантность просто опасна.

Равным образом и владыка Тихон прекратил свое громовое скаканье по городу на паре серых в яблоках гривастых львов, под колокольный перезвон попутных церквей, молниями разбрасывая верующим свои благословения сквозь хрустальные окна черной кареты. Он ездил теперь на караковом меринке в одиночку, в пролеточке, это вызывало тревогу, жалость, слезы у соборных вдов и сирот и множило неуверенность.

Впрочем в церквях одновременно с этим начались проповеди о приближающихся последних временах, о

могущественном антихристе, приходящем в самом непродолжительном времени.

Стали меняться, худеть в тучных своих чревах и костромские купцы. Они уже не сидели, как раньше, в лавках в Гостиных рядах, под образами, не дулись днями в шашки, не пили чай, доставляемый быстрым, как ветер, мальчишкой из «Славянского базара», трактира рядом с городской управой, а тревожно шагали по лавкам друг к другу, совещаясь о политическом положении. В Городской думе зал заседаний частенько отдавали под разного рода собрания. Так возникли такие реакционные организации, как отделение Союза русского народа и Союза Михаила Архангела. На собраниях этих организаций выступал преимущественно домовладелец Павел Семенович Русин и всячески пугал и упреждал, а купцы, мещане, отставные чиновники слушали его с трепетом.

— Православные! — восклицал он с трибуны под царским портретом. — Да что ж это такое творится? Вы знаете, братцы, будет собрана Государственная дума! Каждый депутат будет получать по десять рублей золотом в сутки. Десять рублей! А их четыреста человек! Значит — четыре тысячи в день! А? Шутка! Да нешто это можно? Такие деньги! Грабеж! Нет, братцы, пушай, как раньше, один царь-батюшка правил, так и теперь правит. Не надо нам Думы! Давайте, братцы, прокричим — не надо нам Думы! А ну, кричи — не надо нам Думы! Три раза!

И две сотни глоток разверзались среди черных, рыжих, седых бород и кричали, словно колдуя:

— Не надо нам Думы! — так, что окна дрожали. Но в этом громовом реве тоже были озабоченность, растерянность, тревога и страх перед несомненно надвигающимся будущим.

В гимназии тоже не стало видно старого директора Сергея Павловича — он дипломатично хворал. Занятий не было, но гимназисты собирались кучками по классам, по коридорам. В актовом зале каждый день проходили митинги. Здесь звучали искренние молодые сильные слова. В этот актовый зал, за его двухаршинной толщины вековые стены, за двойные рамы, аккуратно выложенные внизу ватой, посыпанной настриженной крашеной шерстью, с его белыми фигурными кафелями голланд-

ских печей, сверкающих медными дверцами и конфорками, которые жарко топили николаевские солдаты, — врывался ветер русских полей и лесов, бодрый, гневный, резкий. Здесь, с учительской кафедры, ставшей теперь народной трибуной, гимназист Раевский, большой, хромой на одну ногу, страстно декламировал, прижав руки к груди:

Что тебе эта скорбь вопиющая?
Что тебе этот бедный народ?
Вечным праздником быстро бегущая
Жизнь очнуться тебе не дает!

То, что гимназисты здесь раньше «учили», «проходили» в виде искаженной, иссушенной казенной «литературы», то, что они «сдавали» на экзаменах, чтобы потом вообще забыть, все это переставало быть предметом изучения, а заменялось самой жизнью, облекалось плотью, наливалось кровью. Все ранее «запрещенное», «нелегальное» становилось теперь единственно возможным, нужным.

Это все делал незримый, неизвестный, но могучий радиянт, посылая и сюда все новые и новые свои импульсы, сигналы, разбивая старые заперды, освобождая творческие силы народа, глубоко перепахивая эту почву, очищая ее от старых сорняков, подготавливая посевы на девственной целине. Как и на Запрудне, как и всюду по всей стране, здесь формировался, креп, развивался, подбирал людей цовый костяк народа — партия; среди всех этих бесконечных разноречий выростала единая народная воля, создавалась новая интеллигенция.

И Николаю было так весело смотреть, как затерянные в этой толпе серых курточек, уверенные в себе, скромно гордые и молчаливые ходили его товарищи по кружку, по лесному делу на реке Костроме — Стоюнин, Козлов и другие, словно отмеченные неуловимым, но тем не менее ясным каким-то признаком.

А между ними, между этими беседующими, спорящими, оживленно рассуждающими юношами то и дело шмыгал Серко — инспектор Алексей Семенович, благоуветливо улыбаясь, виляя отвисшим брюхом с золотыми пуговицами, скаля в ласковой улыбке желтые зубы, толкаясь то в одной, то в другой кучке.

Как-то раз вместе с ним в гимназии появился высокий, очень худой старый господин с костяным белым ли-

цом, с высоко поднятой головой; на форменном синем вицмундире из-под лацкана скромно выглядывала анненская звезда.

Это приехал окружной инспектор из Москвы — Панкратов. По этому случаю гимназисты были быстро собраны в залу, и Панкратов уверенно, плавно, заученно-красноречиво говорил как ни в чем не бывало о красотах классики, о Риме и Элладе, о синем Эгейском море, о белых мраморах Парфенова и Эрехтейона, цитировал Гомера по-гречески, Вергилия по-латыни, внушительно убеждал их, учеников классической гимназии, оставаться классиками, и потому, что в мире ничего не изменяется и красота вечна, звал их изучать великих поэтов древности.

Николай стоял близко, слышал, как от господина во фраке со звездой сладко пахло пачулями. Очевидно, этот господин скрывался все время в каком-то музее в окружении пустоглазых мраморных бюстов и статуй, законсервировался там, словно мумия, и просто неловко, стыдно было видеть этого старого ученого человека, до такой степени ничего не понимающим в том, что происходило в России.

— А главное, — говорил Панкратов, — занимаясь классиками, вы, молодые люди, избежите соприкосновения с современными чрезвычайно нежелательными событиями. События эти напоминают восстания рабов в Греции и в Риме, которые, как известно, подавлялись чрезвычайно жестоко и были очень опасны для участвовавших в них. Позвольте мне предупредить вас об этом...

— Товарищи, — вдруг раздался знакомый голос. — Товарищи! Да ведь это же человек в футляре! Господин Беликов!

И от хохота, громового, свежего, молодого, задрожал зал.

«Как я не догадался об этом? — смеялся и Николай. — Молодец Стоюнин! И ведь я все время думал — кого-то он напоминает!»

— Кто это сказал? — бесстрастно спросил Панкратов.

— Я!

— Вы отвергаете классику? — невозмутимо говорил Панкратов. — А ведь даже великий Пушкин жалел, что не получил классического образования.

— Но Пушкин писал и Пугачева! — крикнул Козлов. — Да и классики вовсе не музей.

Неизвестно, чем кончился бы этот спор, но в зал в сопровождении толпы гимназистов быстро шел товарищ Емельян, — было назначено выступление по текущему моменту.

Он по-хозяйски поднялся на кафедру — времени было мало.

— Товарищи! — начал он. — Очень важно. Реакция подымает голову. В Москве на второй же день после объявления манифеста 17 октября убит, как вы слышали, освобожденный только что из тюрьмы большой революционер Николай Эрнестович Бауман. По всей России катится волна погромов — поджоги, избиения, убийства. Много погибло учащейся молодежи. В Одессе в последнем погроме, как раз после объявления манифеста, в течение трех дней убито свыше тысячи человек, ранено пять тысяч... В Киеве войска стреляли по митингу, перебили больше полутораста, ранили до трехсот... В Иваново-Вознесенске черносотенцами убит старый революционер, работавший и здесь, в Костроме, ткач Федор Афанасьевич Афанасьев... В Кронштадте подавлено жесточайшим образом восстание матросов, которые пытались освободить свыше четырехсот арестованных своих товарищей. Товарищи! Опасность погромов растет и растет. Правительство вооружает темные элементы, люмпен-пролетариат. Предупреждаем вас — будьте бдительны. Не поддавайтесь провокации!

Николай слушал, плечом прижавшись к стене. Враг был близок, где-то уже тут, рядом и при этом очень хитер.

После митинга к Николаю подошел Прозоров.

— Колька, револьвер с тобой? — спросил он тихо товарища.

— С собой!

Вооружение народа и, в частности, учащейся молодежи было не только словами. Классик Переверзев как-то на уроке, рассчитывая на свою популярность, спросил восьмиклассников:

— Господа, я слышал, что некоторые из вас носят оружие и в гимназии? Правда?

В ответ он получил дружное:

— Правда, Василий Григорьевич!

— Можно мне посмотреть? — спросил Василий Григорьевич.

И перед ним на стол со смехом сразу же было положено 18 револьверов, а учеников всего было 32. Черное, ржавое, старое или, наоборот, сверкающее никелированное новое оружие завалило собой классный журнал с его двойками и тройками.

Учитель, статский советник Переверзев, перебирал револьверы, улыбался, очевидно стараясь не показать своего смущения. Вопрос его был ясен, полученный же ответ — еще яснее...

— Ну, так идемте сейчас в сборную. Постреляем в цель. Пусть этот московский чиновник услышит, — предложил Прозоров.

Когда Прокшин сбежал по внутренней лестнице в сборную, там было уже полно народу. Сборной называлась длинная низкая комната в нижнем этаже, около кухни, с окнами на задний двор. Одна дверь в коротком конце вела в «палатку», как жеманно назывался гимназический клуб, и на ней была уже приготовлена цель — ряд кругов на картоне. Из палатки были удалены ее завсегдатаи, на другой стороне собралось человек пятьдесят гимназистов с револьверами в руках и за поясами. Это была линия огня.

Громкий выстрел из ружья, из пистолета не был популярен у русского человека. Герои исконной русской ночи не подымали шума. Их засапожный ножик и кистень, топор не беспокоили соседей, ружье же всегда ассоциировалось с солдатом, с городовым, с казенным, словом — с царским человеком. Солдат со своим ружьем был символом царской власти.

И вот теперь эта неотъемная прерогатива власти — огнестрельное оружие — оказывалось в руках юношей-гимназистов. С тайны власти, со священного права царя убивать своих «подданных» был сорван покров. Оружие оказывалось в руках учащих, значит, и они могли вместе с другими революционными организациями оказывать сопротивление царю, полиции, казакам!

Юношей волновал блеск оружия в их руках, оружие объединяло, оно обязывало их быть верными друг другу, блюсти какую-то новую, солдатскую присягу. Эта масса юношей, взявшая в руки оружие, тем самым становилась боевой единицей, требовала от всех подчинения, а

от одного, самого способного в этом деле — принятия на себя командования, как выражения общей воли. И в то же время все вместе они самым фактом вооружения переходили какую-то грань, становились вне старого закона.

Гимназисты выстроились в две шеренги у слезящихся осенних окон, лицом к палаточной двери.

Командир явился: это был Саша Стоюнин.

Широкоплечий, с тонкой талией, с открытым лицом, он уже привычно стоял перед этой толпой, спокойный и смелый. Такой, каким он сходил тогда по сходням пархода «Макарьев».

Саша нахмурился — говорить он не любил. Не умел. Саша мог только командовать. В руках у него был никелированный «Смит и Вессон».

— Товарищи! — сказал он. — Вот в чем дело: черная сотня готовит такое же избиение, как тогда на площади 19 октября... Черная сотня готовит и еврейский погром. Мы как честные люди должны дать ей крепкий отпор. Мы разгоним, товарищи, черносотенцев! Пусть Русин не орет, что нужно убивать студентов и гимназистов! Мы дадим отпор и полиции, если она будет поддерживать погромщиков и хулиганов. А для этого мы должны уметь стрелять. Говорить мало... Итак, я стреляю первым! — закончил он.

Слегка вытянув вперед голову и шею, подавшись корпусом вперед, уравновесив тело, Саша пускал пулю за пулей. Выстрелы гремели, едкий дымок наполнил сборную. Саша опустил револьвер, и все помчалось к цели.

— Попал! Все пять тут! — счастливо воскликнул он. — В кругу номер три две пули. Две в четыре! Одна — в пятерке.

За Стоюниным стрелял Козлов, потом Погребешкий, потом другие. Выстрелы сверкали и гремели, отмечались на картоне попадания, промахи встречались насмешками, синий едучий дым затянул все помещение.

Но у запертой двери в сборную началось волнение. Гимназисты, охранявшие вход, навалились на дверь — с противоположной стороны, очевидно, налегали на нее своими тучными телами два надзирателя — Сигара и Чернослив, оттуда доносился взволнованный голос инспектора Алексея Семеновича.

— Не пускайте, — озорно кричали стрелявшие. — Не пускайте их, товарищи! Держите дверь!

— Господа! — кричали педагоги с той стороны. — Пустите же нас, ради бога! Откройте! Его превосходитьельство требует! Иначе позовет полицию!

— Не пускайте, а то убью! — вскричал очередной стрелок Векшинский — высокий юноша, заросший рыжим пухом. У него в руке был предмет общей зависти — черный офицерского образца наган.

Оранжевым клубом вспыхнуло, рывкнуло пламя, револьвер в руке даже назад прыгнул, а Векшинский стрелял снова и снова, выпуская из него пули.

И к возбужденным голосам за дверью, покрывая всех, вдруг примешался мощный бас.

— Откройте, окаянные! — гремел он. — Пустите! Что же это вы делаете? Спятели, что ли? Вы у дьяконицы моей лампу разбили! Управы на вас нету, а!

Последовал сильный толчок, дверь приоткрылась, в сборную влезал гимназический диакон отец Константин, огромный, в подряснике, подхваченном наборным казачьим поясом.

— Что вы, ироды, стенки дырявите? Доколе же такое безобразие будет? Пулей стенку прошибло! Лампу разбило! А?

За диаконом влезли бледный, потерявший свою улыбку, инспектор Алексей Семенович, надзиратели Сигара, Чернослив, толпа любопытных оживленных гимназистов:

Линия огня замолчала: одни торопливо совали оружие в карманы, другие продолжали держать его открыто.

— Господа! — не говорил, а стонал Алексей Семенович. — Ах, что же вы делаете? Господа! Вы нарочно не хотите этого понять! Как мне вам объяснить? Как? Это что-то такое, что я и выразить не могу... Нет, не могу. Так я и доложу его превосходительству...

И, подняв обе руки выше головы, Алексей Семенович повернулся, стал уходить, спотыкаясь на ввороченных внутрь тупыми носками начищенных сапог ногами, беспомощно твердя одно и то же:

— Нет, что же это такое? Я не могу, не могу понять!

Николай Прокшин глядел на его железно-седой затылок, на морщины, на крутую спину с четырьмя золотыми орлеными пуговицами ниже поясицы. Этот толстый, се-

дой, отживающий жизнь человек, облеченный властью, удалялся беспомощный, трясущий воздетыми вверх руками, жалкий в самой своей почтенности.

Чему же он служил всю жизнь, если уходит так, без сопротивления?

Организация Советов рабочих депутатов росла и росла, распространяясь по всей России, образуя целую сеть своих центров. В номере от 14 ноября газета «Костромской листок» писала:

«На Зотовской фабрике ввиду повышенного настроения рабочих приступают к организации зотовской секции Совета рабочих и солдатских депутатов. Организация РСДРП дала указания и другим фабрикам о пополнении Совета своими депутатами...»

— Что же это такое? «Повышенное настроение рабочих!» — восклицал Федор Петрович, как всегда утром стоя в одном жилете у стола в столовой и наспех глотая гелый горячий чай — он всегда боялся опоздать, всегда торопился. — Так, значит, теперь, как его — этот михинец Малышев будет здесь председателем Совета? Вторым губернатором? А может быть, он заменит губернатора? Вон «Русь» что пишет: хочет, чтобы Петербургский Совет стал временным правительством по всей России?

— Едва ли! — буркнул Николай, ломая с треском бананку.

— Почему?

— Иди, папа, ты опять опоздаешь, меня будешь брать!

— Или ты даже и разговаривать не хочешь? — горячился Федор Петрович и корчился, как в судорогах, натягивая пальто. — Скажи, пожалуйста! Ну, погоди, я до тебя уже доберусь!

И он ушел, хлопнув дверью. «Хорошо, что Митревина не дома, ушла на базар. Была бы опять история!» — улыбнулся Николай.

Николай знал, что говорил. На вчерашнем кружке на Запрудне Николай слушал последнюю статью Ленина в «Новой жизни» — статьи Ленина теперь появлялись все чаще и чаще. И там было указано, что революционным правительством меньшевистствующий Петербургский Совет быть не способен...

«Вы болтаете, господа, об органах власти народа, — писал Ленин. — Властью может быть только сила. Силой в современном обществе может быть только вооруженный народ и вооруженный пролетариат во главе его». Если сочувствие свободе доказывается делами, — указывал Ленин, — так единственным таким делом является теперь содействие вооружению рабочих, содействие образованию и управлению действительно революционной армии.

— Факт! — сказал вчера Михаил Фомич на кружке, рубя как всегда воздух рукой. — У нас чего делается? На митингах рассуждаем, а из-за заборов казачьи пики торчат! Того только и ждут, чтобы разогнать. И разгонят, как пить дадут. Сколько раз это бывало, ежели отпору не дадим... Наша задача теперь, товарищи, вооружение, вооружение и вооружение.

И эта сила проявлялась всюду — обездоленные люди по всей стране хотели иметь свою жизнь в своих собственных руках. В их сознании росло их право, а с ростом сознания права — росла и сила. Они готовились драться за свое существование, и сроки схватки приближались.

В тот же самый день, 14 ноября, когда на Запрудне формировался Совет рабочих депутатов, вслед за волнениями и восстаниями в армии и флоте в Кронштадте, во Владивостоке, в Восточной Сибири, в Чите, Красноярске, в Ташкенте, Самарканде, Сухуме. Варшаве, Риге, Киеве, Курске — восстал в Севастополе крейсер «Очаков».

— Командую Черноморским флотом! — поднял на нем сигнал лейтенант Шмидт.

Адмирал Чухнин приказал восставший крейсер расстрелять...

«...Мы увидели огромный дым от огромного пожара, — писал в газетах писатель Куприн. — Весь Севастополь был залит электрическим светом прожекторов, и в этом мертвом, голубоватом свете клубы дыма казались белыми, круглыми и неподвижными. Город точно умер. Встречались только отряды солдат. Горел крейсер «Очаков».

...Адмирал Чухнин хотел показать всему городу пример жестокой расправы с революционерами... Это тот самый адмирал Чухнин, который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшими на фоке.

Лекция кончилась запоздно, Николай спешил домой. Какой ударил мороз! Черное небо сплошь было завалено звездами, большие сверкали, переливались разноцветно, мелкие сплывались в пыль, в облака, в кашу Млечного Пути. Русина улица, покрытая снегом, была в синей дымке звездного отсвета.

Не до звезд было Николаю — очень уж было холодно. Мороз, словно обваливаясь откуда-то, хватал за щеки, уши, надо было бежать, прятаться в тепло дома, отдохнуть.

В ушах еще отдавались речи ораторов. Сегодняшняя лекция была посвящена исполнявшемуся на днях восьмидесятилетию Декабрьского восстания на Сенатской площади в Петербурге. Красные, красивые билеты с пятью буквами «РСДРП» были распространены по всему городу, узкий и высокий под мрамор зал Общественного собрания был освещен лампами в белых шарах. Присутствовала вся интеллигенция, рассаживались по венским стульям — дамы в темных платьях, мужчины в длинных черных сюртуках, военные в сюртуках царского сукна при эполетах и оружии, студенты университета в тужурках — серых и черных, с голубыми петлицами, студенты — институты с разными наплечниками, гимназисты и реаллисты, девочки в серых и зеленых платьях с черными пердниками. Много было и рабочих в черных и синих комсоморотках и в пиджаках, неловко сидевших на сильных плечах.

Был и Михаил Фомич, тоже в синей рубашке, в пиджаке, из-под которого виднелись кисти пояса, держался своих, запрудненских. Как было условлено, с ним участники кружка не здоровались по соображениям конспирации.

В темную толпу были вкраплены жандармские мундиры, блестящие серебряные погоны. Пришел и прокурор Кошуро-Масальский, рыжеватый, с лисьим лицом, с длинным носом, оседланным золотым пенсне, с надменно выдвинутой вперед нижней губой.

Лекцию читал член губернской земской управы Спасский, широкоплечий, большой, из столбовых дворян Кос-

тромской губернии, обладавший странной манерой — во время речи держать неотрывно у плеч крепко, до судороги сжатые большие кулаки.

Доклад был очень подробным, Спасский очень вкусно повествовал, какой сильный мороз был в тот день в Петербурге, как на Сенатской площади пришлось разжечь костры, как сквозь их сизый дым маячили леса и купол строившегося Исаакиевского собора. Он рассказал, как на площадь подходили и подходили с барабанным боем за своими офицерами-заговорщиками гвардейские полки — Московский и Лейб-гренадерский, потом подошел Морской гвардейский экипаж, выстраиваясь каре у памятника Петру Великому; как солдаты, несмотря на мороз, целый день стояли в строю, только крича «ура» в честь Константина и конституции.

Все эти события были очень хорошо известны. О них было много написано книг, статей. Много раз все это изображалось на картинах, гравюрах. Лев Толстой даже хотел писать об этом роман...

Декабристы, можно сказать, шефствовали над интеллигенцией России, были первыми, выступившими открыто с заявлениями общественного, политического свойства.

В первом ряду кресел сидел директор гимназии Лебедев, а рядом — директор реального училища Жигарев, с большой бородой, которого все звали «Да-с»! Рядом директор народных училищ, пергаментный, перегнутый пополам болезнью, но обаятельно улыбающийся дамам своим выразительным лицом. Елена Михеевна Михина тоже изволила присутствовать на этом докладе — рыжая, эффектная, в ярко-лиловом парижском платье, с крупными жемчугами на набеленной шее. Был и предводитель дворянства Павел Васильевич Шулепников — высокий, представительный, в золотых очках. Сидело здесь и несколько священников. Одним словом, весь цвет костромской интеллигенции.

Особенно полно была представлена адвокатура, с толстым Вармундом во главе, с громогласным, вальяжным и быстреньким Огородниковым со своей Анной Павловой.

Эта популярность восстания декабристов происходила из двух источников: либеральная интеллигенция видела в нем первое проявление своих идей о конституции. Это — первое, а вторым было то, что об этом восстании

можно было говорить и писать свободно — цензура не мешала: ведь это выступление было подавлено, и гром, дым, огонь пушек 14 декабря и пять июньских виселиц навсегда остались грозными атрибутами российского самодержавия, этим внушающего страх перед собой всякой крамоле.

Николай Прокшин и раньше никак не мог понять, что же это произошло тогда, 14 декабря 1825 года, не понимал этого и теперь, после лекции. Был заговор, был задуман переворот, правительство должно было быть переименовано. Тот самый «царь наш немец русский», который «носит мундир узкий», как пели декабристы на своих собраниях в агитационных песнях, согласно этим песням подлежал определенной судьбе:

Уж вы вейте веревки
На барские головки!
Вы готовьте ножей
На сиятельных князей.
И на месте фонарей
Поразвешивать царей.
Тогда будет светло, тепло,
И умно и светло...
Слава!

А во что же вылилось фактически все выступление? Войска пассивно простояли на площади весь морозный день, дождались того, что их по наполеоновскому образцу разогнали пушками.

Где был, куда девался их «диктатор», князь Трубецкой, который должен был вести их на штурм твердыни? Как могло случиться, что он не явился на площадь? Почему титулованное дворянство, которое неплохо умело душить своих царей в Ропше и в Михайловском замке, не посмело, однако, двинуть за собой народ на штурм ненавистного самодержавия?

Да разве теперь не повторяется то же самое? Целый год бурлит, встает, демонстрирует страна, а в ответ на это с 9-го января целый год трещат солдатские винтовки, грохочут пушки, расстреливаются люди. Прошла чуковичина Цусима — этот смертный приговор старому строю, который породил ее, и все же Петербургский Совет не решается рвануться вперед, на штурм.

Пусть народное революционное полководье захватывает в Петербурге Выборгскую сторону, Московскую и Невскую заставы, в Москве — Пресню, в Костроме —

Запрудню, но Петербург оставался все еще столицей, цитаделью империи, сильной хотя бы своей исторической инерцией.

По-прежнему катит Нева свинцовые, закованные в гранит воды, все так же занесенной над городом шпагой торчит в небо шпиль Петропавловской крепости. Монументальна, как и раньше, на площади против Зимнего дворца Александровская колонна, память о победе над Наполеоном. Дремлют в Эрмитаже изящные искусства. По-прежнему на всех этих Английских, Французских, Дворцовых набережных, в особняках этих Моек, Екатерининских каналов, Таврических, Кирочных, Пантелеймоновских улиц сидит старая петербургская знать, богатое титулованное дворянство, у которого еще целы зубы. Постарому прямы «перспективы» — проспекты и, пересекаясь под прямым углом, они в точках пересечения имеют рослых, усатых, звенящих медалями городских, то и дело козыряющих пролетающим лаковым кубам придворных карет, с толстыми, в поясице наваченными кучерами на козлах, с лакеями в треуголках на запятках, в орленых красных ливреях с пелериной.

Клубком плетутся интриги в аристократических салонах графини И., герцогини Л. В сером здании Мариинского дворца за Исаакиевской золотокупольной махиной в раннем электрическом свете осенними петербургскими днями заседают члены Государственного совета — вельможи, сановники, генералы, академики.

Бурные демонстрации, краснознаменной лавой катящиеся по Литейному проспекту, видят, как из-за приподнятой занавеси из цельного окна смотрит на них, поскверкивая очками, обер-прокурор святейшего синода Победоносцев — сухой, бритый, с большими белыми, бескровными ушами. Этот человек управляет еще самовластно целой армией митрополитов, архиереев, попов. Он давно приказал духовенству наступать на народ, пугать его адскими муками, смущать его совесть. И в пятидесяти тысячах церквей империи, и в девятистах ее монастырях гремят проповеди против революции, а за спинами ораторов в ризах стоят золотые иконостасы, откуда смотрят на народ грозные очи святых угодников.

Страхом, злобой, тревогой наполнены золотые, голубые, розовые, китайские, французские гостинные, залы, аванзалы, коридоры, покои царскосельского дворца, где

отсиживался от народа царь, где в личных покоях царской фамилии толклись десятки надменных, чванных, титулованных стариков и старух, изуверов, худых монахов, архиереев, иностранных проходимцев, объятых тревогой.

А главное — нерушимо стоят казармы Преображенского, Семеновского, Измайловского, Павловского гвардейских полков, старой, привилегированной даже в солдате гвардии. Титулованные шеголи густо вкраплены в плотные ряды саженных гигантов, подобранных толькo из простодушных крестьян. В старых сводчатых казармах еще бродят гневные привидения — тени покойных императоров, отправлявших бывало с дворцового развода полки в полном составе прямо в Сибирь. Еще витают здесь хмельные традиции славных побед над шведами, поляками, французами, немцами, турками, над всеми окружающими народами, ведется проповедь против врага внутреннего, на крепкие замки предусмотрительно замкнуты в пирамидах стоящие винтовки, а ключи хранятся у надежных седоусых фельдфебелей, носивших почему-то нелестное наименование «каша», с ударением на последнем слове.

Аристократический Петербург давно отгородился от народа своими гранитными парапетами и крепостями, дворцами и соборами, бумажными завалами канцелярий, казенными четырехэтажными зданиями министерств, отражающихся в неподвижных каналах. Петербург еще мечтал пропустить весь народ России через церковно-приходские школы, сбить набекрень, смять ему мозги так, чтобы он стал покорным православным стадом, надежным пьедесталом империи, словно пирамида Хеопса.

И вот этот самый аристократический Петербург всей своей вековой махиной, злобно ощерясь, двинулся против пробуждающегося, восстающего народа, спасая свою силу, власть, богатства, блеск, нарушая всякие свои торжественные обещания, плюя на все свои манифесты, на звонкость их церковно-славянских слов.

26 ноября полиция арестовала председателя Петербургского Совета.

На этот вызов Петербургский Совет ответил, опубликовав к общему сведению такую резолюцию:

«Председатель Совета рабочих депутатов взят в плен правительством.

Совет избирает нового председателя и продолжает готовиться к восстанию».

И продолжал по-прежнему топтаться на месте, продолжал мертвую тактику меньшевистской интеллигенции, пытавшейся приспособиться к тактике либеральной буржуазии.

«Какой мороз! — думал Николай. — Неужели же в России никогда не потеплеет?»

Кто это, кто сказал когда-то это словцо, застрявшее в мозгу из какой-то статьи: «Россию нужно подморозить!»

— Под-мо-ро-зить!

Заковать ее в льды, в снега, напудренные негреющим звездным светом слишком далеких солнц.

О, жертвы мысли безрассудной! —

всплывали в голове все новые и новые слова, —

Вы полагали, может быть,
Что хватит вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить? —

так прощался с декабристами Тютчев.

По черному небу, прорезая тьму, протягивая сзади фосфорический свет, слетела одна звезда. Потом вторая. Третья...

Радиант! Где же он? Что он предпринимает в этот грозный час? Как он готовится вывести из неустойчивого равновесия миллионы великого народа, двинуть его вперед? Все надежды Николая были связаны с действием радианта.

Скрипя по снегу, Николай шел по горе вниз, мимо Ивана Богослова. Высокая колокольня чернела на фоне роев звезд, под нею, в низкой широкой церкви, горел красный огонек, как глаз притаившегося чудовища. А холод из черного, сверкающего неба падал и падал на землю, стеклянный, безумный холод до слез жал юноше лоб под тонкой фуражкой.

— Домой, скорей бы домой!

Обжигая руки морозным железом замка, Николай долго возился у парадной двери, пока наконец не отпер его ключом, вошел в столовую, нащупал спички, зажег свечу. На столе как всегда — тарелка с гречневой кашей и

накрытый ломтем черного хлеба стакан молока. Кот Семен, это единственное приданое Митревны, мягко прыгнул на пол с лежанки у печки, стал тереться у ног Николая, мурлыкая и взволнованно рассказывая что-то свое, кошачье.

Свеча в столовой боролась с темнотой, наплывавшей из всех дверей, а в промерзших углах, в толстом льду на стеклах окон в дом неотрывно с улицы смотрел мороз.

Николай сел боком на стул и, уставясь на клеенку стола, стал есть. Черная тень его упала в угол, оттуда перегнулась под потолок.

Легкий шорох заставил его поднять голову — перед ним стоял отец в байковом клетчатом халате, подпоясанном зеленым шнуром, и за ним тоже шевелилась ушедшая на потолок его огромная тень.

— Н-ну? — протянул он, смотря на сына в упор.

Это было привычным обращением в доме Прокшиных.

Тот, не отвечая, мотнул головой, сделал жест, обозначающий на семейном языке — «ничего особенного».

— Видал телеграмму? — спросил отец и вытянул из кармана экстренный выпуск «Костромского листка». — Прочти!

Отец не говорил, почти даже не шептал — его губы двигались беззвучно.

«Должно быть, и заснуть не мог, все меня ждал!» — зло подумал сын. И спросил:

— Чего там?

— Вот видишь, «арестован весь состав Петербургского Совета рабочих депутатов...»

И Федор Петрович решительно запахнул плотнее халат.

— Что скажешь? Чего другого было и ждать? — продолжал отец на молчание Николая. — Я тебе говорил. Так оно и должно было быть, — пророчески вытянул он руку вверх. — Каково — пошли против царя! Все равно, что против бога... Ну, вот и начинается... Говорят, сегодня Власьевский, полицмейстер, целый день по городу метался. Губернатор — тоже... Хлопочут... Я волновался — вернешься ли ты...

Отец, видимо, подготовлял еще какую-то новость.

— Во вторник Николин день, — сказал он. — Царский день. Царь именинник. Говорят, готовят подарок

царю — перехватать да перебить всю крамолу. В церк-вах открыто говорят об этом. Будут арестовывать, а больше — просто бить...

— Кого же бить?

— Студентов... Гимназистов... Чиновников... Всю интеллигенцию. Ну, конечно, и евреев... Всех забастовщи-ков. Что скажешь?

Николай молчал.

— Коля, очень страшно, — шептал беззвучно отец. — Очень. И ведь это не только у нас. В Москве... Союз рус-ских людей теперь по всей России хозяйничает. В Моске на 6 декабря назначается общенародное молебствие на Красной площади.

— Ухх!

Гулкий удар потряс весь дом, ухнул, раскатился.

Оба вздрогнули.

— Ух, и мороз, — шептал отец, поглядев на пуши-стые ото льда окна. — Страшный. Сколько градусов, ин-тересно?

Взял свечку, пошел к окну, но оно было бело ото льда.

— А после этих молебствий?

— Что? Погромы, конечно! — шептал отец, разводя руками. — Избиения! Вот смотри, что пишут в «Русском Слове». Предупреждают...

«От кого исходит инициатива этого собрания? — шептал Федор Петрович. — От Союза русского народа. Союз этот по всей России. Для чего? Какая цель собра-ния? Борьба с освободительным движением! Это — фа-натики! Они этому молебствию придают монархический, кровожадный характер. И мы, пастыри, должны просить, убеждать молящихся не подымать рук своих на брать-ев... Братие, не убивайте...» Подписано: «Московский священник».

— Очевидно, попик знает, что пишет!

Николаю захотелось вдруг странно, неудержимо — взять да и брякнуть, что все это ему давно известно, что Саша Стоюнин приказал всей боевой охране уже соби-раться к 8 часам во вторник, в царский день...

Накануне уже состоялось заседание Костромского Со-вета депутатов в связи с поступившими сведениями о го-товящемся погроме в городе в царский день, 6 декабря. Было постановлено: 1) привести в готовность самооборо-

ну; 2) заготовить бомбы и 3) обратиться к солдатам с воззванием.

— Николай, я давно хотел с тобой поговорить, — шептал отец, оглядываясь на спальню. — Ты должен ос-торожнее относиться к твоему и к моему будущему.. Твой дед был крепостным, бедняк. Попал под красную шапку, на военную службу. Трубил двадцать лет. Ходил в Венгрию усмирять мятеж в сорок девятом году... Был ранен, уволен вчистую. Служил кондуктором на Нико-лаевской железной дороге, в крушении потерял ногу... Служил швейцаром в Московском окружном суде в Мос-кве, где я и родился. А я — вот художник... Статский советник... Хе-хе! Личный дворянин. И вдруг потерять все это... Ты можешь подвести себя... Меня, если попа-дешь по политике... Я потеряю службу. Буду ошельмован.

— Ухх! Ух! — снова раскатился гул от мороза по дому на Нижней Дебре. В спальне послышался кашель Митревны. Отец замолчал, прислушался.

— Нет, слава богу, спит, — шептал он. — Спит. И все, представь, пойдет прахом. А ты теперь можешь окончить университет, со всех сторон мне говорят, что ты способный парень... Туда не всех пускают. Хочешь на историко-филологический? Ну, что ж, иди! Будешь преподавателем... На худой конец. А то — профессором. От тебя зависит. Тебе открыта дорога. Свое детство и юно-шество ты прожил в квартире, а не в кремлевском под-вале, как я... И я уже не подаю пальто, шубы и шине-ли, как подавал их мой отец, получал, бедняга, двугри-венные, когда в Митрофаньевском зале шел какой-ни-будь громкий процесс... Когда выступал Плевако. Я знаю, ты твердишь все время одно — народ, народ... Ко-нечно, это хорошо. Но я помню еще как отец в детстве водил меня к своим бывшим господам, Лапиным, когда они приезжали в Москву... Я помню, как он кланялся, целовал ручку. Народ — это рабство. Холопство! Только чиновники, дворяне, только благородные имеют право на жизнь! Ты не видел ничего этого, ты не понимаешь этого...

— Ух! — раскатился удар мороза.

— Ты не осуждай меня, Николай. Но для меня нет назад пути... Я не могу терять, чего добился мой отец, выдравшись из подлого, ты слышишь старое слово, — из подлого сословия... Тссс!

Из спальни донесся кашель.

— Фёдор! — проговорила Митревна сонным голосом. — Чего ты там свечку зря жжешь? Иди сюда...

— Тсс! — сказал отец, подняв палец, и, задув свечу, ощупью ушел в спальню. — Тсс!

Николай в темноте сжевал хлеб, смотря на тусклые бельма окон. Страх! Всю жизнь страх! Страх за эту жизнь. За эту кашу, хлеб. Страх за погоны статского советника. Страх перед губернатором, перед царем... Перед святыми...

В темноте стало заметно, что в лампадке в углу чуть тлеет еще фитилек. Едва, едва. И вот жизнь, вроде этого, чуть заметного уголька. Нет, не может быть! Жизнь должна быть светлой... Светлой... Жизнь — есть жизнь. И он-то, он, Николай, несмотря на свою молодость, все же видит куда дальше, чем отец. Он живет ведь после отца. Весь этот девятьсот пятый год разворачивается перед ним, как бурное половодье. Наш народ никогда не был рабом! Никогда не признавал крепостного права. Народ теперь стучится во все двери. Народ имеет уже людей, которые поведут его. И первое, что сделает народ — самое первое, — он будет учиться, выберется из церковно-приходского невежества, темного, теплого, душевного, куда можно укрыться, когда на улице такой мороз.

— Ухх! Ухх! — стукнуло в углах, раскатилось по всему дому.

Николай встал и, вытянув вперед руки, как слепой, осторожно шаря вокруг, пошел искать дверь в свою комнату.

«Ах, радиант, радиант...» — подумал он и очень четко представил, как они снимали динамит с парохода.

Незримый радиант действовал... Действовала партия.

В двадцатых числах ноября 1905 года на площадь со ступенек Финляндского вокзала сошла дама с чемоданчиком в руке. В Женеве и в дороге она столько слышала о бушующей в Петербурге революции, что тишина этой пустынной площади здесь, на Выборгской, рабочей стороне поразила ее. «Полно, — подумала она, — Петербург ли это? Не слезла ли я в Парголово?»

И она спросила у стоявшего у саней извозчика:

— Скажите, пожалуйста, какая это станция?

Извозчик от вопроса качнулся даже назад, а потом подбоченился и насмешливо отвечал:

— Не станция это, а город Санкт-Петербург!

Так незаметно приехала в Петербург тогда Надежда Константиновна Крупская, а за десять дней до нее уже приехал в Питер В. И. Ленин. Крупскую встретили, отвезли на Пески, в квартиру друзей, где без прописки жил Ленин.

«Я стосковалась по Питеру», — писала Крупская. Еще больше стосковался по нему Ленин. Вернувшись после двухнедельного пути через Швецию из Женевы в Питер 7 ноября, он сразу становится к руководству легальной газетой «Новая жизнь». Манифест 17 октября как никак, а был победой, после которой можно было действовать открыто и широко. Спустя два дня после приезда В. И. Ленина в Питер появляется в «Новой жизни» его статья «О реорганизации партии»: — «Партия должна расширяться, охватывать рабочие массы».

«Наша партия застоялась в подполье... Подполье рушится. Смелей же вперед, берите новое оружие, раздавайте его новым людям, расширяйте свои опорные базы, зовите к себе всех рабочих-социал-демократов, включайте их в ряды партийных организаций сотнями и тысячами. Пусть их делегаты оживят ряды наших центров, пусть вольется через них свежий дух молодой революционной России».

...Это даст нам и новые, молодые силы, выходящие из самых недр единственного действительно революционного, и до конца революционного, класса, который завоевал России половину свободы, который завоеует ей полную свободу, который поведет ее через свободу к социализму!»

Кто завоевал эти свободы? Только силы народа, силы организации. Прочны ли эти завоевания? Нет, они только «полусвободы». Для того чтобы была завоевана полная, надежная свобода, — нужно увеличение, рост социал-демократии, охват и вооружение ею масс. Пока еще завоеванные эти права до последней степени непрочны, и конспиративный аппарат партии должен быть сохранен.

Кто же грозил этим правам?

Грозил им сановный Санкт-Петербург.

В. И. Ленин сделал было попытку жить легально на Греческом проспекте, но за ним сейчас же увязалась це-

лая туча шпииков, пришлось снова пускаться в ход чужой, «хороший паспорт», скрываться, жить без прописки.

Во-вторых, грозили и тактические расхождения в партии: Петербургский Совет рабочих депутатов Ленин рассматривал, «как зародыш временного, революционно-го правительства», цель которого было укрепление завоеванной полной свободы и в условиях ее — переход к социализму.

А между тем меньшевики, захватившие Петербургский Совет, смотрели на Советы, «как на органы местного самоуправления, вроде демократизированных городских самоуправлений».

Необходимо было объединение в рядах социал-демократии, причем объединение могло быть лишь в единственной форме — в форме принятия всей социал-демократией тактики большевиков. Гегемоном революции должен быть и оставаться при всех условиях пролетариат: это он дерется за себя, за весь обездоленный народ, эти люди с Запрудни, с Пресни, со Шлиссельбургского шоссе. А между тем интеллигенты-меньшевики, все эти люди свободных профессий, адвокаты, писатели, с их комфортабельными квартирами, с их европейскими связями и стандартом жизни, с их парламентарными понятиями тянули к легальным формам борьбы, не желая никаких опасностей, никаких особых напряжений. Тем более они не хотели браться за оружие. Недаром, когда в Царском Селе на совещании министров был поставлен вопрос об аресте Носаря, председателя Петербургского Совета, то со стороны некоторых сенаторов раздавались голоса, что для ареста формально нет никаких оснований, потому что-де все, что делал председатель Совета, — он делал открыто. Такая-де деятельность государству не вредит, при ней Петербург может оставаться спокойным.

Меньшевицкие стремления к лояльности оказывались все более и более вредны, потому что они политически размагничивали простой народ. Межеумочные интеллигенты оказывались плохими революционерами, не надежными в суровые, решающие дни.

«...На III съезде партии, — с горечью пишет В. И. Ленин в примечании к статье в «Нашей жизни», — я выражал пожелание, чтобы в комитетах партии приходилось, примерно, 8 рабочих на 2 интеллигентов. Как устарело это пожелание!

Теперь надо желать, чтобы в новых организациях партии на одного члена партии из социал-демократической интеллигенции приходилось несколько сот рабочих-социал-демократов».

А царское правительство исподволь готовилось.

В царский день, утром 6 декабря, во всех ротах, эскадронах, батареях и командах армии был прочитан на проверку приказ военного министра генерала Редигера, гласивший, что милостью царя «...увеличивается в армии ежедневная дача мяса с полуфунта до трех четвертей фунта на человека. Приварочный склад увеличивается с одной и трех четвертей копейки до двух с половиной копеек. Будет теперь выдаваться также чай и сахар — чаю по 0,48 золотника, сахару по 6 золотников на человека в суточную дачу».

Осчастливленные такой милостью войска по всей России собирались на парад, мучительный, морозный парад на Николу зимнего. Эти парады вместе с тем были местом собрания и черной сотни.

В Костроме в этот день мороз, на счастье, сдал — с утра небо над городом было в серых тучах, сыпался снежок.

Бабушка вернулась только что от ранней обедни, принесла с собой просвирку, сияла от умиления. Над городом несли бархатный звон соборного колокола, мягкий, приглушенный снегом.

— Колюшка, ты куда? — спросила старуха. — И чаю не пил?

— Я к обедне! К поздней!

— Ну, тогда ладно, иди натошак. Потом попьешь. И пирог будет. Большой день сегодня.

Но Николай уже выбежал во двор, натягивая шинель, — собираться нужно было точно, по графику, чтобы не явиться всем сразу слишком заметной толпой.

Дом, где собиралась боевая охрана отряда, в который входил и Николай, помещался в восточном конце Русинной улицы, неподалеку от губернского земства, во дворе. Большая, пятикомнатная квартира давно стояла пустой, от улицы ее прикрывал палисадник с высокими акациями и сиренями, нагнувшими свои ветки под грузом снега. Комнаты были натоплены, заботливые руки натащили туда лавок, табуреток, в углы набросали соломы. На кух-

не топилась плита, там возилось несколько девушек — кипятили два больших чайника.

Николай пришел одним из последних — его дорога пролегла безлюдными переулками, и можно было идти позднее. Комнаты были полны молодежи. Тут были все кружковцы, были из мужской гимназии, реального, технического училища, из духовной семинарии — все учебные заведения Костромы были представлены довольно полно. Как всегда похлопывали друг друга по спине, по плечам, отпускались шуточки насчет «симпатий». Все было, как в школе, и в это же время — совершенно по-иному. Значительнее. Серьезнее.

Как все далеко ушло от прошлогодних собраний у Вассы Алвиановны! Года не прошло, а как выросли эти юноши! Они собрались сюда, в эту пустую квартиру, на целый день, не сказав дома, куда ушли. Их отряд самообороны был слаб, неопытен, это правда. Но они добровольно взяли на себя моральное обязательство защищать и себя, и город, и своих единомышленников.

Все это, сливаясь в неясное, неразвернутое, но большое ощущение, поднимало настроение.

— Ну, что, голова, как дела? — спросил Михаил Прозоров Николая. — Опять мы с тобой вместе?

— Идти врозь, бить вместе! — отвечал в тон ему Николай формулой, имевшей большой оборот в те дни. — Ты знаешь, Миша, что мне все это напоминает?

— Хм?

— Запорожскую Сечь. Помнишь, как Бульба с сынами приехал туда? «Здорово, Густый! Здорово, Печерица! Что нам наши хаты? Мы все свободны от них!»

И вспомнил сонный дом на Нижней Дебре, и тревожный шепот отца, и гулкие удары мороза.

— Верно, — отвечал Михаил. — Все делает вот эта штука! — он вытащил блестящий револьвер.

— Прозоров! — раздался спокойный голос Саши Стоюнина. — Сколько раз говорить, что оружие обнажается лишь только для его употребления!

— Именно так!

— Доложите, в чем дело?

— Его вид должен убедить товарища Прокшина, что он, положась на оружие, может быть свободным...

— Обрати внимание на мое замечание!

И Саша перешел к другой группе, с интересом рассматривающей бутылку шустовского коньяку.

— Неужели ребята пить хотят? С ума сошли? — заметил Николай.

— Даже тебе, имениннику, нельзя?

— Я не именинник. Я — на Николу вешнего.

— Никто не пьет. Наш Совет договорился с губернатором, и сегодня в городе водки не продают нигде. Эти бутылки покрепче!

— Не понимаю!

— Да это наша же работа. Бомба. Из того динамита, — шептал Прозоров. — Эх, уронят — мало не будет...

— Тише! — крикнул голос из комнаты, выходящей на улицу. — Слушайте!

Все затихло. Из-за окон донесся мерный дробный бой барабанов. Из Мичуринских казарм на Русиной шли на парад роты 108-го пехотного Рославльского полка, выравненные, трудно держащие шаг и строй по мостовой, затянутые сеткой летящего снега. Впереди колыхалось свернутое в чехле знамя, которое нес унтер-офицер, георгиевский кавалер, между двумя ассистентами с обнаженными шашками. Впереди, отсвечивая медью и латунию, двигался молчаливый пока оркестр.

Рычание и переливы барабанного боя были теми же, с которыми русские полки Чернышева входили в Берлин, те же самые, с которыми Суворов уходил от одних, бил других маршалов Наполеона... И солдаты были одеты все в те же плащи-шинели, широкие, растежные, завернувшись в которые и уснуть можно, с длинными рукавами-обшлагами, чтобы, спустив с рук, сделать из них род рукавиц, и в заимствованных на Кавказе башлыках, поставленных, как воротники.

На проходившие картинно роты отрядники жадно выглядывали из окон: ведь это были их возможные враги!

А с той, другой стороны, с улицы, никто и не подозревал, что в старом одиноком доме за прорезным фигурным забором, за кустами опушенной снегом акации прорастает крохотное, ничтожное зернышко новой, другой армии, будущей, небывалой еще армии, которая завоеует целый мир, чтобы не заковывать его в цепи, а дать ему свободу.

Когда звон колоколов, гул пушечного салюта дали

знать, что парад оканчивается, когда дружинники глотали весело горячий чай с черным хлебом, прибежавшая связная девушка принесла приказ — высылать по три человека — патрулировать улицы.

И скоро уже Николай не спеша шел в свою очередь по Русиной улице. Все было спокойно. Развевались трехцветные флаги, магазины открывались по-праздничному, как только отошла обедня, бойко торговали. День был нерабочий, народ был рад, что погода потеплела, сновал по снежным улицам, словно черные мухи по сахару.

Николай шел между Прозоровым и Писемским. Револьвер уже нагрелся у него под рукой в кармане. Вот встретилась, прошла Катя Летемина в беличьей шубке, румяная, белозубая, искоса искоркой взглянула на Николая. «Валю хотя бы встретить — тоже, верно, на параде», — думал он.

На углу Губернаторского переулка, против трехэтажного с колоннами дома Шарова, Николай постоял у большой кирпичной колонны, заклеенной сплошь цветными афишами. В театре сегодня труппой Панормова-Сокольского ставились «Разбойники» Шиллера с гастролирующими братьями Адельгейм. А в Дворянском собрании — и как это он забыл! — сегодня, 6 декабря, «с дозволения начальства», как писалось тогда, большой вечер-концерт костромского землячества при Московском университете в пользу недостаточных студентов. Из Москвы едут артисты императорских театров Нежданова и бас Петров. После концерта танцы под духовой оркестр. Наверное, и Валя будет. Эх, жаль, ведь неизвестно, сколько времени придется нести службу...

Три гимназиста шли по улице как разведчики, как соглядатаи армии, наступающей из будущего.

Разбрасывая снег, пролетели навстречу губернаторские сани, губернатор сидел в классической военной позе, — слегка подавшись вперед, захватив под подбородком обеими руками бровный воротник черной шинели, в треуголке с белым плюмажем, с золотой кокардой.

— С парада! Значит, все благополучно...

Тройка дошла, как было указано, до Богословского переулка, затем вернулась назад. Старший тройки, Мишка Прозоров, доложил Саше, что все обстоит благополучно.

Патрули приходили и уходили, приносили вести. Го-

ворят, на площади собирались было толпы темных людей, но так как по городу держался крепко слух, что погром повторить не придется — готов отпор, они постояли и разошлись, не посмев даже поднять заготовленных и завернутых в полотно царских портретов. Были отдельные выступления на Власьевской, недалеко от Запрудни, но они быстро были ликвидированы рабочими патрулями.

Много оживления внес рассказ одного патруля, посланного для связи на Запрудню. Там, в Михинском сквере, все время шли обычные рабочие митинги, на которых было немало крестьян. Выступивший позднее Алеша Дьяконов, тоже их гимназист, лишь в прошлом году окончивший гимназию, внес предложение идти в ближайшие районы и там, где вывешены флаги, обрывать у них синие и белые полосы, оставляя одни красные, что и было выполнено. На самой Запрудне национальных флагов вывешено не было.

Во второе или в третье свое патрулирование Николай встретил Ряжева: тот как ни в чем не бывало прошел мимо и, только совсем поравнявшись, вдруг весело и лукаво подмигнул.

И Николай опять понял, что узы крепче стальных связывают его с этим простым, сильным человеком, что он, гимназист последнего класса, завтрашний студент, чувствует, признает превосходство этого человека, что по его жесту, по его слову он сделает все, что тот прикажет, несмотря на хотя бы смертельную опасность. Ведь это был человек из могучего, безвестного радианта.

День нового общества в старом мире прошел быстро — в чаепитии, разговорах, отправлениях патрулей, возвращении их, в приказаниях и донесениях, посылаемых через девушек. Хотели было запеть песни, когда стали в окна наваливаться сумерки, но это не было разрешено, нельзя было и зажигать огня.

А в Москве в этот Николин день была хорошая погода — солнце так и сверкало на соборах, на дворцах, на красных стенах и башнях Кремля, Красная площадь была словно покрытая серебряной парчой. С утра к Василию Блаженному стал собираться народ, но немного. Зато на тротуарах, в галереях Верхних Рядов, у памятника Минину и Пожарскому стояло народу очень много. Смотрели, что будет. Ждали событий.

Целые две недели перед этим звонили в колокола мос-

ковские «сорок сороков», говорились проповеди, как народ московский должен подняться, стать во всем своем старом великолепии, выйти на Красную площадь, отслужить молебен на Лобном месте, одним словом, разыграть сцену из «Бориса Годунова». С Лобного места выступят бородатые, чреватые бояре, торговые, черные и разного звания люди, скажут патриотические горячие речи на манер Минина и Пожарского.

Однако говорившие принимали свои желанья за действительность. Цари, князья, бояре, святые патриархи давно уже спали в своих могилах, кто в Архангельском соборе, кто в своем поместье, кто в склепах монастырей, кто на бранных полях Польши, Турции, Украины, а живой народ московский и жил и думал теперь совсем по-другому. Он шевелился, подымался, организовывался у себя вокруг Москвы, на Пресне, в домишках фабрикантов купцов Прохоровых, в Орехово-Зуеве, на Сетуни, он готовился по-новому решать новые, живые вопросы.

И народ на Красную площадь не вышел.

На Красную площадь явились старички, старушки, бородачи с пылающими яростью глазами или, наоборот, охотрядские молодцы с глазами, как оловянные пуговицы, гостинодворцы, какие-то персоны неопределенного звания, до подозрительности благопристойные, и личности, вид которых не оставлял никакого сомнения в их желаниии полностью использовать благоприятный момент общественного замешательства. Было всего тысяч до пяти. Со стороны Верхних Рядов их охраняли наряды полиции, а у Спасской башни стояли конные жандармы.

В полдень из Спасских ворот вышел под охраной полиции крестный ход. На Лобном месте отслужили молебен, выступил бородатый оратор, который призвал к прекращению смуты. Словно и не было ни 9-го января, ни Мукдена, ни Цусимы...

Затем крестный ход ушел в Кремль, а толпа двинулась по Тверской, к дому генерал-губернатора. Толпа по пути быстро таяла, но число любопытных на тротуарах росло.

Бледный генерал-губернатор адмирал Дубасов приказал наскоро открыть замазанные на зиму двери, вышел на балкон. И снова снизу заговорил тот же бородатый оратор. И в самый разгар речи со стороны гостиницы «Дрезден» выскочила стайка мальчишек.

— Боевая дружина! — кричали они. — Боевая дружина!

И толпа из-под балкона дома генерал-губернатора бросилась врассыпную при общем смехе.

Тени прошлого вдруг сразу же исчезли, растаяли в этот ясный декабрьский день.

И в Костроме и в других городах готовая начаться братоубийственная война не состоялась.

— А погром-то мы отменили! — вдруг в темноте раздался веселый голос, очевидно Михаила Фомича. — Все благополучно, товарищи! Идем домой! Отдыхайте... Пока нас не позовут...

Отца и мачехи не было дома, и Николаю не пришлось докладывать, где он был: все ушли на именины к тетке Митревны. Бабушка охала и ахала, что Коля пропустил пирог по случаю царского дня, кормила его на кухне остатками. Пирог с мясом все-таки был вкусен, и можно было с усмешкой слушать болтовню старухи.

— Вот, хотели сегодня избить всех, аки Ирод избил сорок тысяч младенцев, да не вышло, — говорила она, нюхая табачок.

— Почему не вышло, бабушка?

— Да, Колюша, у забастовщиков-то, говорят, все было готово. За заборами, говорят, людей сидело видимо-невидимо. И на Запрудне все с леворверами. И солдатам-то с ними не справиться, не то что полиции... Куды ей! Только посулы да поминки берет, а у соседей намени опять двух куриц хороших украли. И чего она, полиция, смотрит, прости господи!

Грудь Николая так жало, теснило, давило хорошее, теплое чувство выполненной задачи, оправданного доверия, что оставаться дома было положительно немислимо. Во всем теле мелкими жилками дрожал восторг, хотелось на люди. Надо было идти на студенческий вечер.

Дворянское собрание во все свои три этажа сверкало окнами, у подъезда горели с шипением два дуговых шара, оплетенных проволокой, снежинки играли в воздухе, снег на мостовой и в сугробах у тротуаров переливался искрами. К подъезду одни за другими подлетали сани, одиночки, парные, с медвежьими, бархатными, собачьими полостями, были даже кареты, городовые суетились, кричали кому-то:

— Отъезжай, разиня!

Из саней выскакивали, смеясь высокому снегу, барышни, дамы в платочках, чтобы не испортить причесок, вылезали толстые бары, барыни в красных, синих, зеленых ротондах, подходили и подъезжали на извозчиках студенты, офицеры.

В вестибюле у вешалки была страшная толкучка, распоряжались студенты с кокардами из белых и голубых лент на груди, изысканно любезно проверяли билеты, и по двум маршам расходящейся чугунного литья лестнице вверх восходила благоухающая, улыбающаяся толпа прекрасно одетых мужчин и дам, барышень и молодых людей.

Аванзал с мраморными колоннами и с золоченой мебелью был полон публики, слышались смех, отдельные слова, отрывки речей, треск вееров, посверкивали драгоценности на руках, в ушах, на шеях, на полных корсажах.

Это было случайно возникшее видение старого мира, почему-то еще чувствующего себя сильным.

Из аванзала направо высокие, розового дерева с бронзой штучные двери вели в мраморный большой зал в два света, залитый мерцанием старинных люстр с переливающимися хрустальными подвесками, куда вместо свечей были вставлены электрические лампы, в простенках между окнами сияли бронзовые бра. С поворотом направо, в глубине зала, на циркульном возвышении — ярко освещенный портрет Николая Второго улыбался между колонн наполнявшей зал публике, над портретом сияла золотая корона. С веселым гулом публика усаживалась на ряды кресел.

Сегодняшний день в боевой дружине утомил Николая впечатлениями, тревогами, волнениями, радостями, переживаниями, своей абсолютной новизной, ободрал, как наждаком, его нервы. Ему показалось вдруг, что он не в Дворянском собрании, а в какой-то церкви, храме. Эти сытые, богатые, уверенные в себе люди пришли сюда молиться своим богам, потому что те очень милостивы к ним, осыпают их своими благодеяниями, покровительством.

А за этим пришло другое:

— Если эти люди так веселы, так уверены в себе, в своем праве на беспечальную жизнь даже теперь, во время подымающейся грозной революции, теперь, спустя сорок

пять лет после конца крепостного права, после целого дня ожидания кровавых уличных событий, то какими же они были тогда, когда оно, это «благородное дворянство» незыблемо и самодержавно правило всей закрепощенной Россией?

И на Николая надвинулась стена такой самоуверенности, такого барского чванного презрения ко всему, что не принадлежало к белой кости и голубой крови, такой неколебимой невосприимчивости, жестокой косности ко всему новому, что стало страшно. Он въявь увидел перед собой горькую судьбу затравленного Пушкина, застреленного Лермонтова, растерзанного Грибоедова.

А декабристы? Только теперь-то, всем существом ощутив мертвую тяжесть старого, отживающего дворянского мира, он понял величие их подвига. Пойти открыто, пусть не до конца, против такой чудовищной классово-косности было великим делом. Геройством...

Когда-то в «Ниве», в отделе «Смесь», рядом с заметкой «Еще об уме слонов», Николай прочел китайскую поговорку: «Легче убить тигра, чем сказать правду в лицо большому человеку».

И вся эта торжественная, классическая архитектура Дворянского собрания, и красный, голубой, зеленый штоф его стен, золоченые бра с хрустальными, и эти портреты императоров — все это было действительно столетним капищем, в котором благополучные, ничего не замечающие вокруг себя жрецы приносили в жертву таким же сытым своим богам обильные до отрыжки жертвы, вплоть до человеческих...

— Здравствуйте, юноша!

Перед Николаем стоял Огородников, насаживая пенсне на нос, улыбаясь иронически:

— О чем это вы размышляете? Отличный вечер, прекрасный вечер, а?

Из-за Огородникова показался Шнееров, с язвительно растянутыми уголками толстогубого рта.

— Вы не готовились ли сегодня днем к лихим схваткам? — съязвил он. — Наверное, наверное! Ах, молодые люди. Вам бы только драться. Однако пойдём, Николай Елисеевич.

И, вильнув фалдочками фраков, оба адвоката исчезли в толпе, как рыба в воде, прежде чем Николай собрал мысли, чтобы ответить им.

— Здорово, Николай! — раздалось с другой стороны. Его крепко взяли под руку.

Перед ним стоял Писемский, как всегда в потертой своей серой форме.

— Ну, что скажешь? — юмористически подмигнул он. — Как тут все пышно! Как все богато. А?

Ясно, Сергей думал то же самое, что и он, Николай

— А вон и Мишка!

Мишка, чуть сутулясь, упорно, чубом вперед, прокладывая через толпу путь своей особе.

— И Алеша Дьяконов здесь! Какую он сегодня штуку устроил с флагами... Ловко!

Румяный, полный, в серой студенческой тужурке поверх синей рубахи, подошел Алеша.

— Хороший будет концерт, товарищи! — говорил он. — Нежданова молодая совсем. Из сельских учительниц. А какой голос... О! Ну, немного в сторону, а то задавит...

Товарищи посторонились. Шествовал сам Илларион Амнеподистович Ватаци, высоко неся свои досиня бритые второй раз сегодня за день щеки, с супругой — худой блондинкой с длинным лошадиным лицом.

— И Витька пришел! — воскликнул Сергей, здороваясь с Козловым.

Если смотреть в Нижнем-Новгороде с Кремля, то видно, как воды Волги и Оки, уже слившись, текут все же отдельно... Так и здесь, в этом стародворянском капиче текли вместе, но не сливаясь, старые и молодые воды жизни.

— Слушай, Сергей, будет время, — прошептал Николай, схвативши под руку Писемского, — вот таких людей, как эти, — больше не будет.

Тот повернулся к нему:

— И у меня такая мысль... Они — отжили свое. Их уберет могильщик капитализма. Кому они нужны? А вот смотри, твоя Валя!

И славно, понимающе улыбнулся Николаю.

Кругом были свои, была Валя, и в душе зазвенели опять уверенность, счастье, радость.

Николай подошел к Вале, глаза которой сияли через мельканье толпы.

— Валя! — проговорил он. — Я так рад вас видеть Валя... Особенно сегодня...

Они смотрели друг на друга, словно никого, кроме них, не было в этом беломраморном аванзале.

Валя немного покряхтела, на это «сегодня» не обратила никакого внимания и сказала, смущенно улыбаясь:

— Коля, знаете, скоро мой день рождения. Придете, Коля, ко мне? К Железновым! Хорошо? А то я скоро потом уеду домой на рождество...

Старик с седыми бакенбардами в синей ливрее, Евстафийч, пробирался в толпе, дробно звоня бронзовым колокольчиком. Охваченные плотно толпой, Николай и Валя вошли в белый зал, где и стали у окна — у них обоих были самые дешевые входные билеты.

Оркестр начал «Итальянское каприччио» Чайковского — воздушное, улетающее, полное нежностью и страстной лирики.

...И что это за год — девятьсот пятый! В нем каждый месяц, каждый день, даже час, пожалуй, несли с собой, открывали все больше и больше кусков невозможно богатой жизни. Николай смотрел на стоявшую рядом с ним Валию в скромной серой форме восьмиклассницы Григоровской гимназии, смотрел на ее розовое ушко в путаных пушистых волосах и видел, что, должно быть, и их любовь тоже перешла в другой, высший класс. Валя не была уже больше той девочкой в сумерках июньского вечера, в Векшине, пахнувшей парным молоком, малиной свежестью, когда она, сбиваясь, играла смешную «Молитву девы». Валя, должно быть, много пережила, переборола в себе. Даже если она сейчас и звала его к себе, то тоже по-иному — по-дружески, чуточку с грустью. Что ж... Он тоже много узнал, пережил. Он свободен, как же не поделиться с нею, с той, которая, несмотря ни на что, по-старому так ласкова и мила? Как она затихла, слушая музыку, и только блеск горящих глаз вспыхивал и вспыхивал, как зарницы за Волгой. Он перешептывался с Валей, чувствовал, как пахли ее пышные косы, слышал, как скрипело платье, и обоим было тихо и хорошо.

А концерт летел, как на крыльях, оба больших артиста, и Нежданова, и Петров, пели много и хорошо. Зазвучал великолепный дуэт из «Риголетто», тот, где жемчужный плач несчастной Джильды переплетается с яростными страданиями оскорбленного отца, шута и горбуна. Музыка, слова, голоса, в их слияниях и расхождениях вычерчивали, выпевали такую глубокую, такую чи-

стую муку сердец, что Валя порывисто обернулась к Николаю, на глазах ее мерцали слезы.

— Как хорошо! — шептала она детскими полными губами, по белому горлу под кружевным воротничком прошла судорога вдоха.

О, сколько прекрасного в жизни, только надо смелей, смелей дышать. Думать. Делать... Оно несомненно придет, явится прекрасное будущее, полное такого же высокого искусства... Перед Николаем по мраморным стенам и колоннам зала так и полетели нежные цветные отсветы, виденные им в физическом кабинете в вечер смерти Васи. Наука и искусство скоро придут вместе и навсегда в такие же высокие, прекрасные залы. Это делает, этого добивается незримый, бодрствующий радиант, что подымает миллионы народа. Непременно, непременно добьются этого стоящие в публике знакомые юноши, с которыми Николай встречался и в Михинском сквере, которые лазили на бочку, смело говорили оттуда под красным флагом будущего, которых видел он тогда, на древнем бугре, под мохнатыми елями, на берегу Костромки и которые вместе с ним слушали рефераты в кружках на Запрудне. Да вон та гимназистка в зеленом платье, в белом фартучке, у ней косы коронкой, вздернутый носик. От музыки, пенья у нее на глазах блестят взволнованные слезы. А кто знает, что она, прикрывая пуховым материнским платком, сегодня несколько раз прибегала связной туда, на квартиру, где сидела боевая дружина. Всюду, во всех уголках вспыхивают их решительные, светлые глаза, их всюду разбросала эта партия. Она зовет, толкает, торопит их к жизни, к действию, к борьбе, к сопротивлению, к победе... И кто теперь в силах, чтобы оттеснить назад, попятить подымающуюся волну народного движения? Кто может остановить таяние снегов, когда пришла весна? Сколько их теперь, изучающих на практике азбуку борьбы, практику революции? Сколько тысяч уже узнали, как вести пропаганду, агитацию, организовать забастовки, демонстрации! Как говорить так, чтобы зажигать сердца людей! Разве по всей стране не выросла огромная надежная сеть квартир, адресов и явок, разве не выпестована осторожно, любовно целая нервная система, которая передает отовсюду сигналы в центральный мозг, а оттуда волевые импульсы на периферию? Да разве мало сегодня в Кост-

роме по тайным квартирам сидело людей, готовых пойти на бой, на смерть?

И разве теперь останется без ответа бесстыдное нарушение графом Витте своих обещаний — о свободе, правах, о свободной возможности строить свое будущее? Нет!

Похмелье — не только от вина. Оно бывает от всякого избытка ощущений, когда цветет, гуляет душа, когда слишком много счастья или много горя хлынет в нее, когда слишком много горячих слов выплеснется из души разом. Прошедший боевой день — волнения в боевой дружине, и концерт, и проводы Вали темными улицами, где желтые круги фонарей были едва заметны в падающем беззвучно снегу, наконец, поцелуй, взятый им почти насильно у ворот железновского дома, — все осело похмельем в Николае. Душа выгорела, как пожарище, он сам казался себе неумным, безрассудным, пошлым, надо было снова накапливать силу и уверенность...

Ну, вот сидели в дружине. А судя по газетам, продолжают аресты петербургских депутатов, передаются унижительные подробности об их арестах. Взяли их во время заседания в помещении Вольно-Экономического общества — «замели» и депутатов и гостей. Были, правда, слухи, что Измайловский полк выходит из казарм, готов оказать помощь, но все оказалось неверным. Напротив, опубликован закон о стачках, которым запрещены железнодорожные, почтово-телеграфные и подобные забастовки предприятий государственного значения. Похмелье жгло душу, стыдило ее неслышно словами, наполняло безнадежностью.

Ах, этот маленький домик на Нижней Дебре, перед которым торчит, покосившись на своем столбе, старый керосиновый фонарь, домик, придавленный снежным небом. Так тяжело было входить в него после блеска концерта, после проводов и поцелуя Вали, в потемках осторожно пробираться по столовой, шарить по столу... Ни спичек, ни свечки, ни еды оставлено не было. Только из спальни неслышно храп отца: «тележку возит!» — всегда смеялась бабушка. Все спят.

Но когда Николай вошел в свою комнату, туда со свечой в руке, с куском пирога, со стаканом молока вдруг шмыгнула бабушка:

— Где был? Эх, ты, беглый!

— На вечер!

— Отец-то — и-и-и! — тревожно шептала старуха, и опять ее большая тень уродливо скакала по стене. — Тебя дожидаюсь... Отец вернулся домой пьянее вина, бушевал, бушевал. «Колька, — говорит, — у меня с пути сбился». И эта, ну, горбатая-то, прости господи, подзуживает. Так ведь Катька видела, как ты из дому выходил — днем сегодня, отсюда, где вас, гимназистов, много сидело. «Не спроста, — говорит отец, — Николай там! Это что-нибудь они затеяли» — и как кулаком по столу трахнет, руку в кровь разбил. «Я, — кричит, — здесь хозяин! Я! Не позволю!» Так ты смотри, Колюшка, завтра утром-то поговори с отцом-то. Он тебе, чать, не чужой, — старуха всхлипнула, утерла нос и глаза красным табачным платочком.

— Своя кровь-то. У него о тебе душа болит. И за себя тоже... Понимать надо, Колюшка. Полегче... Пирог поешь... а то отец и есть не велел тебе оставлять. Ох, господи, — и, залившись слезами, ушла к себе.

«Что делать? Что делать? Бросить дом? Неслыханно! Невозможно! И жить здесь? Как?!»

Темная, снежная ночь тянулась медленно, казалась ямой, откуда невозможно вылезти. Костя стонал во сне, натопленная печка душила...

Наутро Федор Петрович с несчастным, помятым лицом сидел за столом, пил чай с лимоном из своей кружки, посматривая на свою завязанную руку, перекладывая ее, морщась от боли. На Николая он едва взглянул и отвел в сторону глаза: он, очевидно, конфузился сам за себя... Похмелье жгло его нервную, нестойкую душу. Митревна, надувшись спозаранок, сидела за столом, высоко подняв подрисованные бровки, обирая заботливо капот на поднявшемся животе. За окнами сплошной пеленой валил снег, тихий, неслышный, как раскаянье, как похмелье после свирепства недавнего мороза.

Николай хмуро глотал пустой чай, молчал. И оба молчали — сын и отец чувствовали, что надо молчать. Потому что, если не молчать, слова, набившиеся в душах колючими переживаниями, взорвутся в крике, в угрозах, в оскорблениях... Спросить Николая, где он вчера был, значит нарваться на дерзость или во всяком случае на ложь. А там и пойдет, и пойдет, когда душа несвежа, когда шумит голова и напоминающе ноет рас-

шибленная по-пьяному делу рука... А ведь и молчанье жжет.

Молчала и Митревна.

И Николай сказал, не выдержав:

— Папа, позволь мне поехать на охоту, что ли... Пока занятий нет. Наши гимназисты едут...

— Опять, как в прошлый раз? — метнул на него отец хмурый взгляд. — Без толку?

Николай просил у него разрешения — это его смягчало.

— Нет, — проговорил Николай, опустив голову. — Нет, не так, как в прошлый. В Нерехпу. Там, говорят, зайцев много. Лунин давно зовет.

— Когда?

— Завтра, должно быть. С петербургским поездом.

— Ну-ну... — и проворчал: — Поезжай. Лучше подалее от ваших всех дел!

Когда Прокшин, Прозоров и студент Лунин шагали через Волгу по недавнему ледоставу, небо еще чуть серело за Козловыми горами, на Фроловой горе зазвонили к утрени, шел снег, и воздух был по-утреннему легок и свеж. И движения юношей тоже были по-утреннему стремительны, бодрой той бодростью, которая задорно заставляет людей прыгать там, где можно просто перешагнуть.

За Волгой поднялись в гору широким трактом, между заснеженными екатерининскими березами. Трактир на въезде уже торговал, там толпились крестьяне, носились их тоже бодрый голоса, стояли дровни, фыркали кони. И было весело, что люди уже не спали в это раннее утро, и что вокзал был освещен, и что в буфете первого класса уютно кипел огромный самовар, что им сразу подали по стакану чаю, что на столе сняла красивая, в цветах, лампа, что на буфете под стеклянными колпаками горой лежали закуски, и земский начальник Васьков в красной дворянской фуражке с кокардой выпивал уже у буфета «рюмку водки».

Еще веселее было идти брать билеты в зал III класса, где из окошка выглянула кассирша, причесанная «а ля красавица Кавальери», что в просторечии называлось тогда «собачьими ушами». Девушка была очень красива, и Лунин, шегольски изогнувшись у окошка, завязал с ней веселый разговор.

Лунин был сыном богатого коммерсанта, кончил гим-

назию в прошлом году, а позапрошлым летом был хорошим партнером по крокету, когда Прокшины жили на даче у Угличаниновых. Всегда болтун и танцор, студент-юрист Лунин был веселым парнем, и теперь был именно удобен тем, что не интересовался политикой. Ехали они на охоту в Нерехту, а в Нерехте у Лунина был доверенный папаши, тоже охотник, мог их принять, и таким образом все складывалось так, что можно будет, не думая ни о чем грозном, весело провести время.

Николай и Прозоров последние месяцы жили напряженно, словно вытаскивали колесом какую-то тяжелую бадью из глубокого колодца — настолько был труден, необычен, да в конце концов и опасен каждый их шаг. А тут было так весело усаживаться в чистые, свежей краской пахнущие вагоны — пусть тяжелое ведро и летело в обратный, привычный, бездумный быт, в болтовню, в смех...

Было уже светло, когда подъехали к Нерехте. На чисто разгребенной платформе встретил их Василий Панфилич с парой костромских сильных гончаков.

Василий Панфилич снял шапку, и его умные рыжие глазки утонули, пропали в сиянии угодливых морщинок.

— С приездом, Геннадий Емельяныч! — приветствовал он молодого хозяина. — Добро, добро! А это товарищи? Так, так!

И совал всем широкую твердую руку.

— Поохотиться? Сейчас и пройдем с ходу. Зайчишек тут прямо, можно сказать, понасыпано. Знают, хе-хе-хе, каналы, что молодой хозяин едет... Да отчего это им и не быть-то? Жизнь у них легкая, охотников мало, гумна полны, ну и плодятся. А ежели и охотнички когда и приезжают-с, так и те, того гляди, милостивцы, спуделяют. Вы как-с, Геннадий Емельяныч, на это смотрите?

Тот знал, на что намекал Василий Панфилич.

— Ну, тогда я спуделял просто зря! — ответил Лунин, несколько, однако, смутившись.

— А я так думаю, что вы потому спуделяли, что накануне уже очень много в клубе на нашу судейшу смотрели, — смеялся Василий Панфилич, показывая обломки желтых зубов. — Ну, в глазах и замстило. А зайчище был правильный, толстый, как барин. Ей-бо. Папёрсочку не угодно ли?

Закуривали уже выходя из вокзала. Псы Василия

Панфилича сильно тянули смычок, напрягали свои грудастые тела, рыли лапами снег.

— Подержите, Геннадий Емельяныч, собачек! — сказал старик, отваливаясь назад всем корпусом, чтобы сдержать собак. — Вот окаянные! Руку оборвали! Так и рвутся к своему делу, словно наш брат, рабочий человек! — подмигнул он своим острым рыжим взглядом и передал смычок Лунину: — Вот теперь пошли!

Уснувшее на зиму, закрытое снегом поле неподвижно, словно неживое, раскидывалось перед ними, курясь небольшой поземкой. Какая сила! Серые тучи летели над полем, а все поле, как рана, перерезал ров с падутиными сугробинами, кое-где с пятнами красной глины, из него, качаясь, торчали страшно черные репейники, сухая полынь. Вдали чернел лес.

— Спускайте, Геннадий Емельяныч, собачек! — слышался говорок Василия Панфилича. — Ничего... С богом! Пусть ищут, как девки вшей. А мы пройдем на горушку. Оттуда все, как поднимут, как на ладони видать.

А с горушки видно — впереди такая же горушка, да еще одна, да дальше угоры, и кругом тоже горушки, и на них ведут беспокойные подъемы, увалы, перевалы, уходят вдаль черные рощи и перелески, и под пухлыми тучами разбросаны то тут, то там черные деревни, села с колокольнями, и по всему необозримому простору крутится, метется снег.

Но как спокойно в этом вечном холодном миропорядке!.. Как сильно дует в лицо острый ветер, румянит щеки, как рвет, уносит клочки голубого папиросного дыма.

— А-тта-та-та, собачки, а-та-та-та! — с гулким дробным подвыванием закричал Василий Панфилич, как-то боком скакнув вперед, рукой показывая псам седого русака, ходко катившего в черных травах межи.

— А-та, а-та-та! — взревел и Лунин, срывая с плеча ружье. Выстрел... Струйка огня с дымом вылетела из ствола, из другого, показала собакам зайца. Русак наддал, пошел прытче. Могучим, плавным броском перелетел через канаву, ткнулся в сугроб вниз головой, подняв клуб снежной пыли, и стал уходить грядой к леску.

Собаки заварили по зрячему. Сбочившись, бросая комья снега из-под лап, в белом облаке они спешили за русаком, впереди — седой кобель Полетай.

А Николай страстно, самозабвенно сжимал ружье,

полный нахлынувшего охотничьего азарта. Как бы он хотел взять этого зайца во что бы то ни стало, убить его, держать в руках, унести бы его домой, как завоеванную добычу, как что-то захваченное, как свое...

— Господа, занимайте места лицом назад. Он пошел в круг! Непременно даст круг! — кричал Лунин, размахивая руками. — Мишка — туда. Николай — туда!

Николай встал за невысокой отдельной елочкой. Исчезло кругом все, остался только неистовый, смертный гон собак... Николай ничего не понимал, ни о чем не думал. Разве был он, царский день, и Дворянское собрание, чудесная музыка? Что-то темное, страстное, древнее вылезло из него, село рядом на снег и визжало, выло, размахивая косматыми лапами, блестя зелеными глазами, улыбаясь ощеренным ртом... Это оно торжествовало, слушая, как приближался гон, как, судя по голосам, наваливались на русака собаки. Убить! Убить! Взять!

Николай и убил этого зайца, с восторгом ударив ему прямо в усатую мордочку с овальными, выкаченными косо глазами, когда в облаке снега русак вынесся на него из-под собак, из-за черного острова жухлой полыни. Выстрела Николай даже не слышал, только толкнуло в плечо, но он видел с восторгом, как заяц перевернулся в воздухе и, окровавив снег, дернувшись несколько раз, накрылся набежавшими псами...

— С полем вас! — поздравлял Василий Панфилич, спеша, чтобы отнять зайца у собак.

Николай не отвечал. Со счастливой улыбкой, которую хотел сделать равнодушной, продул по-охотничьи ствол своей ижевки, заложил новый патрон.

Поле оказалось успешным, выстрелы гремели то и дело. Взяти несколько зайцев, раз подняли лисицу, но золотой умный зверь ловко ушел от одураченных псов. И от того, что охота была успешна, и Николай, и Прозоров, и Лунин улыбались, говорили уверенно, не спеша, солидно, особенно, когда, присев в укрытом от ветра ложку на поваленной ели, выпивали из серебряной чарочки Василия Панфилича, закусывали захваченными из дому бутербродами и рассказывали старые анекдоты.

Под вечер просветлело, ветер окреп, алая заря окрасила посиневшие снега, охотники вернулись в Нерехту и, усталые, довольные, надышавшиеся полями и ветром, обедали у Василия Панфилича в его доме, где весь угол

был в иконах. Ели лапшу со свиной, пирог с сушеным судаком, жареного гуся. Подавала хозяйка, повязанная платком по-старинному — двумя ушами наперед, а Василий Панфилич, не переставая, говорил о коммерции.

— Торговля этта шла — нечего жаловаться! — говорил он. — Забастовка на железной дороге нам подмогла! Ух и хорошо. Так и скажи папеньке: Василий Панфилич заработал хозяину неплохо. Отлично даже. Муку на две копейки подбросил, керосин на одну... Ну, и все... По-коммерчески. Хе-хе-хе... Хозяйским детишкам на молочишко. Ежели так будет — чего лучше!

Василию Панфиличу спокойно и уютно жилось в этом мире за хозяйской спиной, за бесчисленными зайцами, за толстой хозяйкой в платке с двумя ушами надо лбом... Он даже саму революцию ценил с той точки зрения, что нарушение транспорта дает хороший барыш.

— Вы-с, Геннадий Емельяныч, скажите папеньке, чтоб товару сюда подбросили. Ежели на счастье опять на дороге ребята забастуют, у нас все в порядке — работаем! Да я так думаю, неплохо во время забастовки гужом перевозку наладить. Пусть коняшки товаришко везут, как раньше возили. Ну и работаем! Господь поможет!

— Так и доложу!

Николаю почудилось на мгновение, что около Василия Панфилича и Лунина сидят и ухмыляются такие же ощеренные, мохнатые существа, какое он сам видел давеча на снегу около себя.

Вдруг раздался такой длинный пронзительный звонок, что все вздрогнули, а Василий Панфилич захохотал:

— Ага-с, не знали еще? А я этта телефон тута наладил... В конторе. Ежели хорошо крутануть — мертвого подымает. Не хуже, как в Костроме! — говорил он, идя к телефону. — Ну, чево там надо? Кто это? Чево? — кричал он уже в соседней комнате. — Так, так... Так... Ну, спасибо! Ну... Ну... Ага, вона што!

— В чем дело? — крикнул Лунин. — Василий Панфилич!

— А все в порядке! — улыбался Василий Панфилич с порога. — Опять забастовка! — покрутил он головой. — Сейчас идет последний поезд из Москвы — звонит начальник станции. У тебя, грит, гости, так предупреждает... Торопитесь! Не оставляет нас господь — только что

товар я получил. Ну, хоть и немного... Охулки на руку не положим. И скажите тятеньке насчет гужевых перевозок. Может, наладит? Забастовка, сказывают, надолго теперь, в Москве народ бунтует.

Юноши бежали на станцию, еле вытаскивая из глубокого снега ноги, задыхаясь от разыгравшегося ветра...

В темной станции, в кабинете начальника горела лампа под зеленым колпаком, стрекотал телеграф, вертелось медное колесико, и над аппаратом наклонились три черные фигуры, жадно просматривая ленту.

Поля кругом затаились, курилась над ними поземка, сумасшедший ветер трепал черные репейники, прочно ввязанные в землю, а здесь, в полосе света от лампы, в точках, в тире морзянки, рождалось новое, что сменит это белое безмолвие стремительным бегом нового мира.

«Исполком Моссовета рабочих депутатов постановил объявить в Москве 7 декабря с 12 часов всеобщую политическую забастовку, — читал седой приземистый человек в красной фуражке. — ...перевести ее в вооруженное восстание... Потому вчера, ровно в 12 часов, движение по линиям и работа в мастерских прекратились на Ярославской, Казанской, Брестской, Курско-Нижегородской, Окружной и Виндавской железных дорогах... Николаевская дорога еще работает, но на телеграфе сидит одно начальство, а на линии — железнодорожный батальон из Петербурга...»

— Что это передают? Что передают, Сергей Александрович? — добивался Лунин.

— «Известия Московского Совета Рабочих Депутатов», — отвечал начальник станции.

«...На Казанском вокзале был большой митинг, во время которого товарищам раздавалось оружие...»

...Бастуют крупнейшие механические заводы — Лист и другие, фабрики Сиу и Эйнем. Мануфактуры — Прохоровская, Жиро, Циндель, Михайлова и другие... Табачные фабрики — Бостанжогло, Габай, Дукат... Встал весь Рогожский район с Гужоном во главе. В Сокольническом районе прекратила работу Резиновая мануфактура. Полностью бастуют все десять тысяч типографских рабочих — стоят типографии Сытина, Кушнарера и все другие... Газеты не выходят...

...Товарищи, передавайте дальше — забастовка идет необыкновенно дружно... Настроение повышенное...»

Раздался гудок, все бросились на платформу. Светя из крутящегося снега тремя фонарями, в облаке пара, покачиваясь на стрелках, подходил последний поезд из Москвы. Рослый обер-кондуктор скользнул ловко на правую ногу, подошел к начальнику, отковырял:

— Следуем до конечной станции. Мы последние... Поездов больше не будет, — доложил он.

— Что в Москве?

— Восстание!

Когда поезд, погромыхая на стыках, бежал к Костроме, и следа не осталось того ленивого покоя, той безмятежности, которых было так много давеча и на охоте и у Василия Панфиловича. Стеариновый огарок в фонаре догорал, то полыхая, то замирая, будто ругаясь, и все трое — Лунин, Прокшин и Прозоров — сидели против обер-кондуктора, слушая его рассказ, как полиция брала приступом театр «Аквариум», где шел большой митинг... Потом пришли войска...

— Какие части? — осведомился Лунин.

— Астраханский полк... Гренадеры. Подняли стрельбу. Всех разоружили... Москва шуми-и-ит, шумит... Ээх!..

— Ну, и чем, говорят, кончится?

— Как чем? Известно. Народ силу возьмет, ну и кончит это безобразие... Как это солдаты могут в живой народ в свой стрелять! Или затем солдатам ружья дадены? Понимать надо! Как начали с 9-го января безобразничать — так все одно и то же...

— Да ведь это же войска?

— Дак что ж, что войска? — качнул головой кондуктор и закрутил сивый ус. — Ежели ты солдат, или значить у тебя и понятия нету, что ли? Ну, сейчас, может, и нету, а завтра есть... А будет понятие — и стрелять не будут... Понятие — это главное. Ну, дай бог им здоровья, об этом — как их? — большевики эти самые хорошо стараются. Чтобы было понятно... Листовок теперь много по Москве...

— А у вас с собой нет? — спросил Николай обера.

Тот испытующе, по-стариковски взглянул ему в лицо. Глаза Николая так были ясны, так горели внутренним огнем, что старик вытащил из-за пазухи клеенчатую записную книжку с документами, шелкнул резинкой, порылся и вынул листок:

— Вот!

«Мы, рабочие завода Гужон, — читал с трудом Николай лиловые буквы, — собравшиеся на собрание, после обсуждения пришли к следующему выводу. В настоящее время, когда под ударами революции разрушается старый режим, рабочим необходимо тесно сплотиться в одну партию, чтобы неумолимо бороться за наши интересы. В противном случае буржуазные партии захватят в свои руки плоды всей работы, добытые нашими руками. Рабочим нужна единая партия. Рабочая партия должна принять программу, которая выражает интересы пролетариата всего мира. Российский пролетариат есть часть всемирного пролетариата, и РСДРП — часть всемирной социал-демократии...»

— Во как! — сказал обер, и крупными, неловкими пальцами бережно сложил листок. — Всем миром, значит. Так Ленин говорит, а он — голова!

Свеча мигала, по купе прыгали тени; толстый обер в своей шинели с малиновым прибором, с погонями из малинового шнура с серебром высился монументально, неколебимо, и все три юноши, сидевшие перед ним, понимали ясно, как в зеркале, видели, что у таких людей, как этот обер, вся жизнь которого прошла в поездах, в заботе, в труде, — все было бесповоротно решено. Он, как и весь народ, был с этим восстанием.

А вот эти три юноши, три «интеллигента», все еще сомневались то в одном, то в другом, обсуждали, возились, раздумывали.

Прозоров, сильный и смелый, завязал в своем эсертстве, в личном своевольном культе, Прокшин со своей любовью к размышлениям медлил, искал. Однако всем сердцем оба они были с тем, что творилось в Москве.

А Лунин?

Можно ли было сомневаться в том, что он расскажет отцу, что Василий Панфилович предполагает использовать перерыв сообщения для ради наживы? Наверное, тот и лошадей пошлет с товарами в разные пункты, где прервано сообщение... И выходит, что эти люди используют положение в своих выгодах, сорвут шкуру с зажатых бедой людей!

И выходит, что революция была уже здесь, среди этих четырех людей в купе III класса и что против них трех сидит их общий враг, в щегольской студенческой фуражке, такой веселый и приятный парень, который пока и

виду не подает, который пока старается смотреть им в глаза, как и они ему, но возможно, что придет время, когда всем им придется братья за ружья...

Свеча в фонаре помигала-помигала и потухла, обер со своим фонарем ушел, и в молчании и темноте доехали до темного вокзала Костромы.

Выскочили из вагона и остановились ослепленные — на темной платформе мела метель. Проскочили вокзал, полный встревоженных, гудящих людей. На тракте, над высокими березами ходили, толкались, металась белесые полосы снега, словно взволнованные пассажиры, которым нельзя было никуда уехать.

— У-у-у-у! — выл ветер.

— Изво-о-щик! — крикнул Лунин и повторил: — Изво-о-о-щик! — но ветер подхватил крик, унес с собой.

— Какой к черту тут извозчик! — прокричал Михаил. — Вьюга! Пошли пешком!

И, нагруженные добычей, шатаясь под ветром, изнемогая в перевоях, скользя и падая, они брели с горы к Волге. Ничего не было видно в этой летящей, воющей зверем метели, словно губернского города с тысячами жителей и не бывало. На торосистом льду вьюга бушевала всюду, весь воздух был пропитан снегом, и приходилось ощупью находить елочки, означавшие дорогу.

А в голове Николая горело одно:

«В Москве восстание! Народ не покоряется, как раньше! Как декабристы. Нет! В махине царской России, стало быть, явилась народная сила. Народ больше не раб! Как хорошо! Как хорошо! Радиант действует! Действует...»

И закричал в вьюгу:

— Эй, Мишка! Геннашка! Где вы?

— Ту-ут! — слабо донеслось из белесой мути.

«А что теперь? — спрашивал себя Николай, перебрасывая зайца с плеча на плечо. — Надо быть готовым. Собраться вместе и ждать. Будет приказ! А кто поведет? Он, Михаил Фомич... С его такой легкой усмешкой. «Нам нужна своя власть и наши руки, — говорил он. — И власть возьмем, и сумеем распорядиться ею...» Сперва восстание. За восстанием — прекращение этого полицейского безобразия... Свободная народу жизнь...»

И на душе Николая стало тепло:

— Так тому быть!

— Э-эй! — закричал он. И на этот раз из мглы совсем рядом ответил Мишка:

— Ну, э-э-э-эй. Чево, э-э-эй? Тут мы! Скоро Молочная гора! Вона, должно, баржонка чернеет! Близко!

Как поднятый собаками заяц в своем беге дает круг и вновь и вновь обреченно возвращается на свою лежку, так все выходы, выбеги его, Николая, тоже оказывались петлями и оканчивались Нижней Дебрей. Он был крепко пришит к семье. Куда деваться в такую вьюгу? Но когда же он распрямит линию своей судьбы?

В городе давно задуло все фонари, белые призраки бродили в улицах. Выли телеграфные провода, оплакивая кого-то, стучали, гремели вывески, хлопала под ветром где-то ставня.

Расстались все трое у бульвара, утонули в вихрящейся мгле. И когда Николай застучал неистово в свои ворота, сразу отозвался хозяйский пес Мухтарка — на посту, несмотря на непогоду.

После долгого стука открыла Федосья. И когда Николай в прихожей при свете свечки сложил русака на пол, она так ахнула, что проснулась бабушка, выглянула из своей двери. Послышался кашель отца, и он тоже показался в дверях со свечой.

— Русак? — осведомился он. — Уши-то черные!

— Он! — сказал Николай.

— Хорош! — похвалил отец. — А чего же ты ночью явился? Ты же хотел, Коля, завтра?

— Поезд шел последним! Больше поездов не будет!

— Почему?

— В Москве восстание... Железные дороги бастуют! — выложил возбужденно Николай.

И сразу все сонное спокойствие домика на Нижней Дебре унесло вьюгой. Свеча в руке отца запрыгала.

— Что за болтовня?

— Железнодорожный телеграф передавал. И кондуктор в поезде рассказывал.

— Изменники! — крикнул отец горлом. — Мерзавцы! Против государя идут! Восстанье? Чего улыбаешься, сукин сын? Негодяй! Я знаю! Знаю тебя! Охота! Походы с ружьями... Стрелять учись! Туда же тянешь!

Бабушка испуганно крестилась.

— Федор! Федор! — кричала Митревна из спальни. — Не волнуйся! Тебе вредно!

— Не нужны мне твои зайцы! — кричал отец. — К черту! Убрать! Сейчас же убрать! Федосья! Ходит ночами все время черт его знает где, является, когда все спят. Нет покоя! Нет покоя! Пропал покой! Пропали дети!

Николай стоял, как приговоренный, засыпанный снегом, со своим ружьем, с патронташем, в высоких сапогах, в шапке, готовый к высоким подвигам, с мыслью, бежавшей далеко вперед. Стоял в этой маленькой прихожей, куда по-глупому выходили две печки и целых четыре двери, где потолок был полон летающими тенями от двух прыгающих в руках свечек, стоял перед этим широкоплечим, сильным в своей ярости человеком в распахнутом клетчатом халате и чувствовал всем телом, видел, понимал, как против него встала сила, такая же косная, ощеренная, древняя, как днем на охоте вылезла из него самого, как вылезла из Василия Панфилыча и Лунина во время их беседы о доходах. Теперь она не улыбалась, а выла и металась. И теперь одно могло сломить ее — сила. Иначе она проглотит все новое в своей ощеренной пасти... Время, конечно, двигалось вперед, несло с собой новое, но, боже мой, с какой натугой одна минута вылезала из другой, как трудно одна минута рождала другую. Он слышал этот скрипучий, натуженный ход времени, слышал хруст ломающегося старого, чувствовал, как оно не хотело умирать, как оно сопротивлялось — вот оно, вот оно было здесь, в этих бешеных глазах отца, в этом страхе бабушки, в этих рыданиях мачехи.

— Что ж, — кричал отец, — ты, пожалуй, в восстании примешь участие?

— Да! — крикнул Николай неожиданно сам для себя.

И тут же повторил:

— Да! Приму! Непременно!

Удар в лицо чуть не свалил его с ног, спиной и затылком он ударился о дверь, но выпрямился, стоял напряженный, стройный, сильный, молодой, с глазами, блестящими от бешеных слез, с закушенной губой, по которой текла кровь, как давеча у застреленного им зайца.

— Примешь? Будешь? — спрашивал отец, охваченный взорвавшимся бешенством, которое давно тлело в нем с тех самых пор, когда Николай вернулся после митинга на лодках с товарищем Емельяном.

— Буду!

И снова падали, сыпались удары. Против Николая шла сила старого кулачного бойца. Он стоял, опустив руки, голову, только уклоняясь слегка, чтобы сохранить лицо. Сила! Но он-то не мог поднять руки, чтобы обороняться. Ведь перед ним в распахнутом непристойно халате метался в исступлении его отец. Отец!

Рождение нового здесь было особенно трудно. Отец, как в древности Хронос, почему-то хотел сам пожрать свое творение. Почему он не давал ему родиться свободно, по праву занять место в жизни? Или рождение всегда так трудно? Так безобразно? Почему, кутаясь в перекошенный на плечах капот, прибежала эта худая женщина с большим животом? Почему плачет бабушка? Почему худущий братишка, с голенастыми из-под рубашки ногами выглядывает испуганно из-за приоткрытой двери?

Под одним из ударов по голове Николай осел, скользнул по стене, очутился на полу. Отец остановился, взглянул на него суженными от ярости глазами, хотел что-то сказать, но слов не вышло из сдавленного спазмой горла, из перекошенного рта, он только что-то промычал и, потрясая нелепо задранной рукой, ушел к себе...

Около Николая хлопотали Костя и бабушка, отвели в комнату, усадили на кровать. Бабушка проворно принесла в тазу воды, при свече рассматривала его лицо, жалостно качая головой и обтирая ссадины полотенцем.

— Э, Колюшка-батюшка, до свадьбы заживет! — приговаривала она. — И не стыд это, нет... Да кабы чужой! Отец ведь. Арникой бы примочить, что ли. Отец и бьет, потому что любит. Другому-то наплевать, что ты делаешь... Ничего-с! Ложись, спи, утро вечера мудренее...

Хорошо сказать «ложись, спи», когда все сердце, вся душа полна стыда, негодования, оскорбления, обиды. Спи, когда болит все тело, гудит медными колоколами череп. Спи, когда зло на себя, на свое бессилие. Что же он мог сделать с отцом? Драться? Немыслимо. Невозможно! Отец! Надо терпеть. Не всегда терпение — слабость, терпение — сила, когда оно выдержка... Как его завтра встретят товарищи? Взять бы револьвер и бежать из дому!.. Куда? В Москву? Невозможно. К кому-нибудь из товарищей? Но Прокшины жили всегда как-то цирлих-манирлих, всегда в особинку, чопорно — никуда за просто не пойдешь... А хорошо бы взять револьвер, что спрятан за печкой под выпавшим изразцом, и бежать...

Ночью, в вьюгу. Ишь, как она воет. Будто в романе оскорбленный принц бежит из дому... В изгнание... Ну, убежал, и все, а отец-то остался, и все в доме по-старому... Как от семьи оторваться? Отец-бедняга охает, мачеха ему мокрые полотенца на сердце кладет... Страшно ему, а мне — нет! Все равно будет по-нашему. Правда, только одна правда!..

И Николай уснул и увидел сон. Он в коридоре, вроде того, что был недавно в «Ниве» на картинке, изображавшей внутренность египетской пирамиды. Камни и своды, и падает свет луны. Николай один, чего-то ждет. В тишине далеко слышны шаги... Шаги все громче, слышно, будто металл звенит... Шаги, как звон, — и в лунном свете приближается голая женщина. Тело у нее бронзовое. Пустые, без зрачков, глаза открыты, высокая грудь, как два острия, на животе лунный свет. Женщина вытягивает к Николаю длинные руки, губы шевелятся.

— Я правда! Я жизнь! — говорит глухой голос.

И бронзовые руки обнимают Николая, жмут его плечи, давят спину, грудь...

С бронзовым гулом в ушах, в холодном поту он проснулся от боли в груди, в спине. Окно уже все было в красно-розовом свете зари сквозь морозные фигуры, в комнате холодно, синее... Нет, она его не испугает! Нет! Надо бороться, наверное, отец тоже мучается... Слабый ведь он — боится, ну и дерется! Надо к товарищам, выяснить, что же будет в Костроме...

Поднялся, кряхтя достал из стола зеркальце, посмотрел. Около глаза было рассечено, запеклась кровь, наливался синяк, разбита верхняя губа...

Утром, выждав, когда отец, ни разу не подавший голос, ушел на службу, Николай поднялся, оделся, умылся, глотнул чаю и, завязав лоб и глаз платком, выскочил на улицу.

Вьюги как не бывало. Зеленоватое морозное небо, взошло солнце, снег сверкал чистейше, за Волгой свешниковская лесопилка была окутана паром, труба аристовской мукомольни гнала черный дым.

Вдохнув ядреного воздуха, Николай всем своим путем понял: все кончилось! Он оторвался! Он свободен! Вчерашние побои отца были жертвой, которой откупился Николай. Что еще мог бы противопоставить ему отец? Конечно, ничего!

Цепи семьи лопнули сами от собственной тяжести.

«Свободен! Свободен!» — пело все в Николае...

Улитка выползла из своей раковины, и нет больше улитки!

Он вскочил в гимназическую раздевалку. Первым, кого увидел здесь Николай, был Саша Стоюнин.

— Слышал — восстание! — сказал он. И вскрикнул: — Да что с тобой?

— Недоразумение с отцом! — отвечал Николай.

— Обижается папаша?

— Не без того. Знаю, что восстание.

— Откуда знаешь?

— Вчера из Нерехты ехал в последнем поезде. Кондуктор говорил...

— Восстание, товарищи! — метнулся к ним вошедший Писемский.

— Кто сказывал? — спросил Стоюнин.

— Квартирная хозяйка!

— Восстание в Москве! — тряс им руки взволнованный Краснопевцев.

— Откуда новости?

— Сегодня утром архиерей прислал отцу указ — каждый день в соборе служить молебен об одолении внутренних врагов.

Торопко бежал навстречу по коридору Козлов:

— Восстание, товарищи. Восстание в Москве!

— Какие новости?

— А вот! — показал он бумажку. — Московские «Известия». Пойдемте в класс. Идем! Собирайтесь...

И в классе, залитом солнцем, как счастьем, Виктор читал, весело поблескивая карими глазами:

«Московский Совет рабочих депутатов, Комитет и группа социал-демократической рабочей партии и Комитет партии социалистов-революционеров постановили:

Объявить в Москве со среды 7 декабря в 12 часов дня политическую стачку и стремиться перевести ее в вооруженное восстание.

По всем улицам Москвы вывешены красные флаги».

— Вот начало, — говорил вполголоса Виктор. — А затем были такие события. — И он читал то, что слышал вчера Николай на станции в Нерехте.

— А бои были? — спросил Стоюнин.

— Данных нет!

— Были! — крикнул Николай. — Были! Была осада театра «Аквариум». Осаждал Астраханский полк... Вчера рассказал кондуктор в последнем поезде из Москвы... Рассказывал еще, что в Москве крепко надеются, что Питер поддержит...

— А что будет здесь, Виктор? — спросил Писемский.

— С сегодняшнего дня забастовка на фабриках и заводах. Вот обращение Совета наших депутатов!

«Товарищи! — читал Виктор. — Наша организация в опасности. Правительство задумало смести с лица земли всех передовых товарищей и посадить на мель рабочее движение. Совет рабочих депутатов и Костромской Комитет социал-демократической партии призывают всех товарищей и граждан откликнуться на это зверство правительства всеобщей стачкой... Пусть вместе с другими рабочими центрами замрет вся жизнь в Костроме! Да здравствует всеобщая всероссийская политическая забастовка!» Такое же положение, товарищи, в Красноярске, Ростове-на-Дону, в Сормове, в Нижнем Новгороде, в Латвии. Забастовки, вооруженные восстания...

Козлов обвел глазами жадно слушающих юношей.

Москва, Кремль, широкие московские улицы, московские фабрики, московские честные и смелые рабочие оказались теперь вот тут, рядом. Всего-то каких-нибудь три дня назад состоялось фальшивое молебствие на Лобном месте, а теперь вон как показала себя настоящая-то Москва! Весь мир видит, чем бьется ее живое, полное горячей кровью сердце... Народ не будет больше стоять и молчать, как стоял восемьдесят лет тому назад на Сенатской и десять месяцев тому назад на Дворцовой площади Петербурга. Мужественный московский народ решительно вытянул свою мускулистую руку, чтобы сорвать самодержавную корону у маленького пьяницы на троне, и он возьмет всю нужную свободу, защитит ее своей вооруженной силой... Весь народ! Недаром даже монашки Никитского монастыря несут осажденным в университете студентам головы сахару и вареных осетров.

К Николаю сзади подошел Стоюнин и тихо сказал:

— Сегодня в четыре... В пустом доме на Русиной!

Он становился настоящим командиром, этот тихий Саша!

К четырем часам юноши один за другим проскальзывали в дом среди сугробов и акаций. Пустые, нетопленные комнаты нежилого дома в сумерках декабрьского короткого дня снова заполнили дружинники.

Пришел и Михаил Фомич. Затаив дыхание, дружинники слушали доклад о положении в Москве. Решение о забастовке было вынесено, и с ней остановилась вся деловая жизнь столицы. Всюду на улицах шли митинги, ораторы то и дело влезали на фонарные столбы, говорили горячие речи, звали к боям. Дружинники начали охоту, как за воронами, за городовыми. Генерал-губернатор адмирал Дубасов из своего дома на Тверской переселился в Кремль и заперся там.

9 декабря вечером в доме немецкой школы Фидлера собралось на митинг до двухсот вооруженных дружинников, много организованных санитарок и просто публики. Скоро дом оцепили полиция и жандармы. На предложение сдать осажденные ответили отказом. Завязалась перестрелка. Подошли солдаты, подвезли пушки, и начался артиллерийский обстрел. Дом был разгромлен, части людей удалось скрыться, большинство было задержано и разоружено.

И в первую ночь артиллерийской пальбы по древнему городу вся Москва по приказу Боевого комитета партии покрылась баррикадами. Валили поперек улиц трамваи, конки, телеграфные столбы, фонари, извозничьи санки, сорванные с петель ворота, столы, стулья, словом все, что попадалось под руки; все это опутывалось проволокой, заваливалось снегом, заливалось водой. Образовалось множество укрепленных пунктов, за которыми появились тысячи вооруженных московских дружинников и начали бой при полной поддержке и симпатии населения. Бои и сейчас идут. Цель — окружение и захват Кремля. Настроение самое бодрое и уверенное в победе — если поддержит Петербург. Но Николаевская железная дорога до сих пор работает, находясь в руках царских войск, и потому задерживается подход помощи из Петербурга...

— Товарищ, а как у нас? Что мы? — слышались голоса.

— Будем в готовности! — отвечал Михаил Фомич. — Как шестого декабря. Держите связь с командиром дружины. Из Москвы имеем инструкцию — ждать, пока вы-

яснится положение с Николаевским вокзалом... Из Москвы будет приказ, что делать...

Бешеные декабрьские дни шли, как сон, сплошным волнением. Там, за двести с чем-то верст, дерутся братья, а невозможно им помочь.

В доме Прокшиных в сущности тоже шла настоящая война нового и старого. Отец было думал, что, «поучив маненько сына», он добился победы, а между тем истратил последнее средство, которое могло бы еще действовать морально в качестве угрозы, а будучи уже применено, оно не решало ничего. Напротив. Ссадины на лице сына быстро подживали, отчужденность росла, и выражение глаз Николая становилось все ироничнее и независимее. Отец и сын встречались за столом, но их нелюдимое молчанье было пыткой для обоих. Отец передавал свои новости и соображения по поводу событий в Москве в виде общего разговора, а Николай упорно отмалчивался. Между тем было несомненно, что у Николая есть, должны быть тоже интересные новости. Иногда Федор Петрович нарочитым басом авторитетно говорил, что скоро в Москву прибудет из Петербурга подкрепление — гвардейские полки, это очень успокаивало его. Но раз нужны подкрепления, значит, восставшие были сильны, и это опять его начинало беспокоить. Спросить бы у Николая, что знает он по этому поводу? А Николая радовало то, что он знает, что московские военные части ненадежны, а прибытие солдат из Петербурга пугало: это значит, что в Петербурге все было настолько спокойно, что можно было посылать полки в Москву...

И такой неизбывной тревогой по поводу московского восстания была объята каждая семья, каждый человек в России: кто возьмет верх? Старый Петербург? Московская молодая революция?

В. И. Ленин, в это время выезжавший в Финляндию, в Таммерфорс, на партийную конференцию по текущему моменту и торопившийся вернуться после начала восстания в Москве, проезжая с Надеждой Константиновной Крупской на извозчике по Петербургу, у Троицкой церкви видел такую глубоко волнующую сцену: сумрачный шагал по улице великан — солдат Семеновского полка, а рядом с ним шел, сняв шапку, о чем-то прося, в чем-то убеждая его, молодой рабочий. И было совершенно ясно то, о чем просил этот рабочий семеновца:

— Не выступать против рабочих в Москве.

Это было как раз накануне отъезда Семеновского полка в Москву...

С 9 декабря Москва, вся в красных флагах, билась на бесчисленных своих баррикадах день и ночь, билась плохо вооруженная, билась против царских войск. В городе не было воды — не работал водопровод, были выключены телефоны, по приказу Московского Комитета партии выпекался лишь в нужных количествах черный хлеб — пролетарский. Не было света, сидели при свечах. Стекла в окнах на главных улицах — на Тверской, на Садовой — сплошь были выбиты пулями, осколками снарядов, взрывами бомб и заткнуты подушками, матрасами, завешены коврами. Раненые дружинники, помогающие добровольцы и просто прохожие падали на улицах, потому что ворота и парадные подъезды были наглухо заперты по приказу адмирала Дубасова и их охраняли три тысячи экстренно нанятых дворников, подобранных по рекомендациям союзов русского народа и Михаила Архангела. Адмиральские пушки стояли на Ходынском поле, у Кремля, в Замоскворечье, у Страстного монастыря, и каждый дом, где только обозначался очаг восстания, сносился беспощадно с лица земли.

Адмирал Дубасов громил Москву еще азартнее, чем он отважным молодым лейтенантом на Дунае взрывал с минного катера в 1877 году турецкий броненосец «Сеиф».

Снаряды визжали в морозном воздухе, и дома с грохотом и пылью падали на Тверском и Никитском бульварах, у Никитских ворот, в Грузинах. Огненный вал постепенно подкрадывался все ближе и ближе к Пресне, к последнему форту московских прохоровских ткачей и ткачих, пока не накрыл его совсем.

В ответ на сосредоточенный артиллерийский огонь, на бессмысленную заградительную пальбу из пулеметов вдоль прямых улиц дружинники рассыпались небольшими отрядами в два, три, в десять человек, дрались, укрывшись за баррикадами, двигались не улицами, а между домов, разбирая заборы, пробивая стены, появляясь неожиданно в тылу врага, окружая его, как кольцом, нанося ему быстрые жестокие удары и опять бесследно исчезая, с каждым днем совершенствуя боевую баррикадную тактику, накапливая пролетарский боевой опыт.

Но 15 декабря из хмурого здания Николаевского вок-

зала, из-под его туповатой башенки с часами, показался на Каланчевской площади первый отряд рослых семеновцев: в Москву прибыл из Петербурга под командой полковника Мина лейб-гвардии Семеновский полк. Кровавая борьба приняла еще более ожесточенный характер.

Петербург не поддержал Москвы, и царь смог отправить в Москву один из своих гвардейских полков. В Москву пришла царская гвардия, та самая, которая привыкла, мерно раскачиваясь телом, обозначая шаг на месте, орать песни во время попок царя в офицерских собраниях в Красном Селе, пришла петербургская щегольская гвардия, густо прослоенная титулованным, богатым дворянским, барским офицерством, скованная жестокими фельдфебелями из сверхсрочнослужащих, развращенная подачками, знакомая с противоестественным развратом, охмеленная водкой и посулами царских наград, воспитанная в вековой казарменной муштре павловских и николаевских времен, ослепленная ура-патриотическими традициями, обильно вооруженная отсутствовавшими в Маньчжурии пулеметами. В пасти царизма оставался, правда гнилой, но еще крепкий зуб, и он, этот зуб, мог еще крепко укусить.

Артиллерийский огонь усилился теперь в направлении Красной Пресни, и царская гвардия пулеметами и гранатами начала разбивать баррикады на улицах, заставляя пожарные команды и случайный народ растаскивать их под огнем дружинников.

Московское восстание подавлялось куда более беспощадно, чем восстание 14 декабря. Еще более бесчеловечно, чем выступление 9-го января. И память народа до сих пор клеймит имена этих аристократов-палачей: полковника Мина — командира семеновцев, полковника Римана — начальника карательной экспедиции по Московско-Казанской железной дороге, огнем и мечом прошедшей по Перову, Люберцам. Наконец, не забудет она и поручика второго батальона Семеновского полка Аглаимова, уцелевшая полевая книжка которого по сей день хранит краткие, трагические записи:

1. Ник. Афанасьев. Раб. Сах. завода. Боев. друж. +
2. Фед. Мантулин. Раб. сах. завода. Боев. друж. +
3. +
4. +

И так далее. И так далее.

Крестик означает, что рабочий расстрелян самодеятельно, волею его, поручика Аглаимова, без суда и следствия.

Нет, не уговорил тот безвестный питерский рабочий безвестного гиганта-семеновца не ездить в Москву.

Не дождалась дружинники Костромы телеграммы об исходе боев у Николаевского вокзала.

За одну неделю, пока в Москве шло восстание, Николай пережил столько, сколько не пережил он и за всю свою юную жизнь. Так тяжело было терять надежду среди хмурого, напряженного молчания семьи на Нижней Дебре, среди тихих, оглядчивых разговоров, с товарищами, среди потоков слухов от Митревны, от бабушки, среди хитреньких информаций «Костромского листка».

С отцом Николай не сказал ни одного слова со времени безобразного избития. Молчал Николай, молчал и отец, но это молчание было в то же время непрерывной напряженной борьбой двух волей между собой.

Заговорить должен был победитель. И утром 19 декабря Николай удивленно поднялся из-за своего стола, когда отец, не раздевшись, прямо с улицы ввалился в комнату ребят. В руках у него белым флагом развевалась телеграмма «Костромского листка».

— Пожалуйста! — сказал отец нарочитым басом. — Изволь! Почитай! Что скажешь?

Николай читал:

«Официальное сообщение. Ввиду циркулирующих в последнее время в г. Костроме множества разного рода злонамеренных и необоснованных слухов наш губернатор, в звании камергера двора Е. И. В., Д. С. С. И. А. Ватаци обратился с телеграфным запросом о положении в Москве к московскому генерал-губернатору, генералу-адъютанту адмиралу Ф. В. Дубасову, на что был получен следующий ответ:

«Рад сообщить вашему превосходительству, что мятежное движение, охватившее всю Москву, в настоящее время успешно подавляется: Со вчерашнего дня все бастующие железные дороги в руках войск, движение восстанавливается согласно расписанию. Московско-Курская железная дорога уже приступила к отправке поездов. Общественная жизнь столицы восстанавливается. 17 декабря. Генерал-адъютант, адмирал Дубасов».

— Что и требовалось доказать! — продолжал отец, преувеличенно аккуратно складывая телеграмму. — Все вышло-с, как я говорил-с. Вот видишь? Мы, пожилые люди, имеем опыт, мы понимаем жизнь. Надо думать, а не бросаться с визгом на всех по-щенячьи. Завтра изволь отправляться в гимназию. Давно пора! — он расправил пальцем усы, фыркнул и ушел.

С каменным лицом выслушал Николай всю эту тираду и пристально посмотрел вслед отцу, когда тот, такой широкий в своей шинели с каракулевым воротником, боком пролезал обратно в узкую дверь. А в душе его с такою силой родилось «нет!», что Николай даже глаза зажмурил... «Нет! Ничего не кончилось! Не могло кончиться! Нет, не могло оказаться пустым все, что так наполняло собой девятьсот пятый громокипящий год!»

С такими же каменными лицами, с такими же ноющими сердцами — сидели на следующий день юноши в гимназии. Уроки прошли своей старой чередой, учителя забегали как-то оживленной.

С опущенными глазами выслушивали юноши авторитетные, благоуветливые речи инспектора Алексея Семеновича, как должно держать себя воспитанникам классической гимназии. А по коридорам, чуть сторбившись, изящно держа за дужку золотое пенсне в заложенных назад руках, из класса в класс ходил строгий директор Сергей Павлович, заботливо проверяя преподавание.

Идя из гимназии, Николай в тот же день встретил губернатора, летевшего на своей паре вороных под зеленой сеткой в туче снежной пыли.

Правящий владыка Тихон по указу святейшего синода приказал служить 26 декабря в соборе всенародный молебен с коленопреклонением по поводу прекращения смуты, как гласило объявление в «Костромском листке».

И по-прежнему дурным голосом ранними утрами рвели победоносно фабричные гудки на Запрудне.

И когда Николай пришел к Вале на день ее рождения, он увидал, что и она словно старалась стать прежней.

В розовом широком платье, с темной косой, сияя великолепными очами своими, она стояла перед столом, заботами тети Паны сплошь заваленным пирожными, мазурками, печеньями.

Куда девалась ее настороженность, ее нервная чуткость, которая была в ней в вечер 6 декабря в Дворян-

ском собрании, когда они оба так чудесно слушали вместе музыку, пенье Неждановой и Петрова? Перед Николаем, перед его двумя товарищами, которые были приглашены вместе с ним, Прозоровым и Писемским, стояла опять хорошенькая провинциальная барышня.

— Я завтра уезжаю к себе, в деревню, в Векшино! — радостно повторяла она.

Выпили немного красного удельного вина, ели, пили чай и шоколад, потом танцевали под хрипучий граммофон с большой трубой. И, отшаркивая ножкой в лаковой туфельке по натертому полу треугольник венгерки, Валя в который раз спрашивала Николая:

— Коля, вы ведь приедете к нам, в Векшино? Правда, правда?

— Приеду! — говорил он. — Непременно!

И знал, что теперь этого никогда быть не может... В Вале так быстро уснула та благородная тревога, просыпавшаяся было в ней в те бурные дни, что становилось страшно. А что теперь говорит торжествующая Лизавета Васильевна?

Все летело обратно, словно тяжелое ведро в колодец, когда перестают крутить колесо, подымать воду наверх... И это было страшно...

Было еще не поздно, когда трое юношей вышли из гостеприимного дома Железновых, сытые, чуть хмельные от вина, но как-то обескрыленные... И остановились...

Было очень холодно. Луна заливала ледяным зеленым светом безмерное небесное пространство. Глубокие декабрьские снега завалили, закопали, похоронили дома, тротуары, улицы. Холодные синие огни сверкали на крышах, в сугробах, на заснеженных деревьях, на золотых крестах церквей. И весь этот блеск играл и переливался в глубокой, неизбывной тишине зимы.

— Так тихо, что даже страшно! — заметил Сергей.

— Спит Кострома! — отозвался Николай.

— Давайте, идем! Идем! — крикнул Мишка. — Холодно! Тут замерзнешь! Пора!

И все трое бодро зашагали по скрипящему, звонкому снегу, и тени бежали и прыгали за ними по сугробам, как собаки. И трем друзьям стало вдруг совершенно ясно, что они чужие уже этому сонному городу. Они где-то в будущем, в том, что идет. Что будет!

А что будет? Конечно, будет весна... Окончание гим-

назии. Университет. Наука. А главное — народ, народ, кипучий, сильный, смелый, каким являлся он в девятьсот пятом, как сильна и кипуча сама природа, пусть оцепенелая, скованная на время теперь этой зимой под ледяной луной, вся в синих колдовских искрах.

Да разве можно его подморозить, этот народ? Разве можно оледенить, остановить его начавшийся бег? Разве можно остановить жизнь! Разве можно отменить уже существующую организацию? Разве не сказано великое слово «власть Советам рабочих»? Разве не успешно проведена репетиция будущего?

Трое гимназистов быстро шагали теперь по Сусанинской площади, бюст царя Михаила на колонне стыл высоко в лунном морозе, а внизу, у памятника, в огромной бараньей шубе, с заиндевелым воротником, с винтовкой стоял городской, большой, как гора...

И вдруг высоко в небе сверкнула одна, другая звезда, летящая куда-то сюда, на землю, оставляя за собой светлые бледные следы.

Радиант! Не может прекратить свою работу радиант! Не может! Не может перестать биться сердце великой страны — ее партия! Надо быть с ней... Только с ней!

И правда.

В это самое время, на нелегальном положении, на случайном ночлеге, в чужой, дружеской петербургской квартире, низко склонясь под зеленой лампой над столом, быстро-быстро, бисерным почерком В. И. Ленин писал:

«Дубасовские пушки революционизировали в невиданных размерах новые массы народа...»

Пусть же ясно встанут перед рабочей партией ее задачи... Надо собирать новые, примыкающие к пролетариату, силы. Надо «собрать опыт» двух великих месяцев революции (ноябрь и декабрь). Надо приспособиться опять к восстановленному самодержавию, надо уметь везде, где надо, опять залезть в подполье. Надо определеннее, практически поставить колоссальные задачи нового активного выступления, готовясь к нему более выдержанно, более систематически, более упорно, сберегая, елико возможно, силы пролетариата, истощенного стачечной борьбой...»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая. НИЖНЯЯ ДЕБРЯ

<i>Глава первая.</i> Мартовский вечер	3
<i>Глава вторая.</i> В кружке	21
<i>Глава третья.</i> Последняя исповедь	36
<i>Глава четвертая.</i> Первая любовь	57
<i>Глава пятая.</i> Праздник.	62
<i>Глава шестая.</i> Первая смерть	79
<i>Глава седьмая.</i> Весенний месяц май	101

Часть вторая. КАМЕННЫЙ ДОМ

<i>Глава первая.</i> В Кинешме	122
<i>Глава вторая.</i> В дворянском гнезде	150
<i>Глава третья.</i> Отречение	170
<i>Глава четвертая.</i> «Князь Потемкин-Таврический»	184
<i>Глава пятая.</i> На Илью-пророка	201

Часть третья. ЗАПРУДНЯ

<i>Глава первая.</i> Гимназия снова!	223
<i>Глава вторая.</i> Запрудня	246
<i>Глава третья.</i> Перед девятым валом	271
<i>Глава четвертая.</i> Семнадцатое октября	302
<i>Глава пятая.</i> Горячая осень	327
<i>Глава шестая.</i> Декабрь	359

ВСЕВОЛОД НИКАНОРОВИЧ ИВАНОВ

На Нижней Дебре

Редактор Ф. В. Иконников.

Художник В. Г. Зуенко. Художественный редактор Л. М. Мосейчук.
Технический редактор М. Д. Кайдалова. Корректор П. К. Мельнишина.

Сдано в набор 8/X-57 г. Подписано к печати 16/XII-57 г.

Бумага 84x108/32=6,375 б. л., 20,91 п. л., 22,87 уч.-изд. л.

Тираж 30 000 экз. ВЛ 05740.

Хабаровское книжное издательство, г. Хабаровск, ул. Ким Ю-чена, 9.
Заказ № 3082. Типография № 5 Госстатиздата, г. Хабаровск, ул. Л. Толстого, 3.

Цена 8 р. 35 к.